МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ЭГО-ДОКУМЕНТЫ:
РОССИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
В МЕЖИСТОЧНИКОВЫХ ДИАЛОГАХ

МОСКВА — ЕКАТЕРИНБУРГ, 2021
КАБИНЕТНЫЙ УЧЕНЫЙ

УДК 94(47)”19”
ББК 63.3(2)6
Э 17

Рекомендовано к печати Ученым советом
Института истории и археологии УрО РАН

*Монография подготовлена и издана за счет
гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00221)
«Эго-документы: межисточниковые диалоги о России
первой половины XX в. в историко-литературном контексте»*

Научные редакторы:
д.филол.н. М.А. Литовская
д.и.н. Н.В. Суржикова

*Рецензенты:
С.А. Красильников, д.и.н., Новосибирский государственный университет
Т.А. Сабурова, д.и.н., Индианский университет
Е.К. Созина, д.филол.н., Институт истории и археологии УрО РАН*

Э 17 **Эго-документы: Россия первой половины XX века в межисточниковых диалогах: [коллективная монография]** / под ред. М.А. Литовской и Н.В. Суржиковой; Институт истории и археологии УрО РАН. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2021. 408 с.; илл.

ISBN 978-5-6044025-9-7

Опубликованные или впервые вводимые в научный оборот дневники и записки, автобиографии и интервью, вербальные и визуальные воспоминания, очерки и письма, став предметом обсуждения на страницах настоящей книги, демонстрируют не только разнообразные модели «воспроизводства» индивидов или групп на фоне истории. Они позволяют объяснить природу как дифференцированного, так и инвариантного видения истории различными индивидами и группами и вместе с тем фиксируют структурирующую функцию самоописательных практик, их способность генерировать, консервировать и модифицировать те или иные социальные альянсы. Краткосрочные или долгосрочные, эти альянсы, в свою очередь, свидетельствуют о том, что российскому (советскому) обществу вполне релевантны «маленькие» группы, повестки которых на фоне глобальных задач (например, «строительства социализма») не теряли и не теряют своей актуальности.

Книга адресована широкой аудитории читателей, интересующихся не только историей России, но и современными гуманитарными исследованиями в целом.

ISBN 978-5-6044025-9-7

© Авторы, 2021
© ИИиА УрО РАН, 2021

От редакторов

Настоящая монография возникла как один из результатов реализации исследовательского проекта «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX века в историко-литературном контексте», который изначально был нацелен на отказ от рассмотрения эго-документов с позиций фрагментирующего фактологического подхода, отношения к любому из них как к «еще одному уникальному источнику». При том речь в книге идет не о столько рассматрении различных эго-документов в массиве, сколько о возможностях включения их в широкий контекст разновидовых источников и разножанровых текстов, чтобы точнее и полнее ответить на вопросы, почти неизбежно возникающие у каждого, кому в руки попадают дневники, воспоминания, письма, автобиографии, записки для памяти, путевые заметки и другие самосвидетельства. Почему люди начинают писать о себе и своей жизни? Какие события, мысли, чувства вызывают к жизни тот или иной текст? Что его создатель хочет сказать о себе и не только о себе? Кому он адресует свое послание? Насколько позиция автора совпадает с позицией других участников событий? Как она соотносится с современными представлениями о прошлом?

Эти первые, самые общие и очень эмоциональные вопросы связаны с более широким кругом специальных проблем. На какие образцы сознательно или бессознательно ориентировался автор документа, когда создавал свой текст? Насколько влияют на содержание и форму документов дисциплинирующие рамки того или иного жанра, конкретно-исторический контекст и/или личность автора? Каким образом интерпретировать эго-документы, созданные под давлением? Как разножанровые эго-тексты освещают одни и те же события? Как связаны истории, рассказанные несколькими авторами одножанровых документов? Как прошлое модифицируется в жанрово различных эго-текстах одного и того же автора? Какова логика каталогизации описываемых событий в таких документах? Какова

морфология текстов, объединяющих мемуары с официальными документами, интимные дневники с газетными публикациями, письма или воспоминания с фотографиями, и т. п.? Каковы стратегии рационализации и присвоения исторически значимого в эго-документах?

В итоге на первый план в нашем исследовании вышла проблема выбора подходов к источниковым комплексам, в рамках которых можно рассматривать инвариантные связи между эго-документами. Дабы не ограничивать ее решение узким кругом оптик и методик, к полилогу об эго-документах были приглашены представители разных научных специальностей, институций и взглядов. Так настоящая книга стала открытой площадкой, на которой ее авторы — историки, антропологи, филологи, социологи — продемонстрировали, как возможно проинтерпретировать эго-документы или их комплексы (в том числе разножанровые) в рамках межисточниковых диалогов о России прошлого и настоящего. «Архивное воображение», «косвенный адресат», «непроявленный автобиографизм», «автомифотворчество», «разговорчивые вещи», «автобиографический проект», «организованная память», «нарративная идентичность» — этих и других «изобретений», созданных в рамках прагматически ориентированных исследовательских опытов, которыми в результате наполнилась данная книга, достаточно, чтобы понять, насколько многоаспектными могут быть различные «эго-изыскания» и почему они сегодня превращаются в самостоятельное исследовательское поле.

Структура книги, три основных раздела которой получили названия «Тексты», «Контексты» и «Подтексты», подчеркивает, что исследования эго-документов, обособляясь в отдельное исследовательское направление, группируются вокруг трех основных задач. Первая из них предполагает анализ эго-документов как специфических текстов или массивов текстов, разнообразно связанных между собой. Решение второй задачи обещает приблизить нас к пониманию того, почему, зачем и при каких обстоятельствах эго-документы создаются, как они функционируют и для чего используются. Третья задача требует погрузить эго-документы в пространство других текстов, давая возможность увидеть в *Я*-свидетельствах не только очевидные, но и скрытые смыслы, актуальные для своего времени социальные интуиции и ассоциации, бывшие, являющиеся или впоследствии ставшие основой для формирования у современников тех или иных культурных представлений.

Однако, какое бы из направлений исследования эго-документов не представляли главы настоящей книги, все они в конечном итоге сходятся в главном. Давно опубликованные или впервые вводимые

в научный оборот дневники и записки, автобиографии и интервью, вербальные и визуальные воспоминания, очерки и письма — все эти эго-материалы демонстрируют не только разнообразные модели «воспроизводства» индивидов или групп на фоне истории. Они позволяют объяснить природу как дифференцированного, так и инвариантного видения истории различными индивидами и группами, и вместе с тем фиксируют структурирующую функцию самоописательных практик, их способность генерировать, консервировать и модифицировать те или иные социальные альянсы. Краткосрочные или долгосрочные, эти альянсы, в свою очередь, свидетельствовали и свидетельствуют о том, что российскому (советскому) обществу вполне релевантны «маленькие» группы, повестки которых на фоне глобальных задач (например, «строительства социализма») не теряли и не теряют своей актуальности.

Завершая свое обращение к читателю, также отметим, что едва ли не все исследования, составившие данную книгу, отмечены в той или иной степени печатью личного отношения ее авторов к своим героям и их текстам. В случае с человеческими документами, как нередко называют эго-документы, это практически неизбежно. Вступая в диалог с автором дневника, мемуаров и т. д. (к такому диалогу подталкивает имманентная диалогичность любых эго-документов), даже профессиональный исследователь при всей строгости своего научного подхода начинает «примерять» на себя жизненный опыт автора. Документы, которые интерпретируются в настоящей книге, другими исследователями могли быть истолкованы иначе, а, значит, и сама книга с названием «Эго-документы: Россия первой половины XX века в межисточниковых диалогах» могла бы быть иной. Но это, как нам представляется, только подчеркивает потенциал «эго-изысканий», их безусловную перспективность с точки зрения формирования более глубокого понимания исторического и социокультурного процессов, а также расширения полигона междисциплинарных исследований гуманитарного профиля.

Мария Литовская
Наталья Суржикова

Эго-документы советского времени (из исследовательского опыта), или Вступительное слово

(Ю.П. Зарецкий)

В этой части книги представлены несколько соображений общего характера, связанных с изучением автобиографических текстов[1]. В ее вводной части историзируется и проблематизируется понятие «эго-документ», широко использующееся сегодня в социально-гуманитарных науках. Во второй и третьей частях, составляющих основное содержание этих заметок, рассматриваются вопросы, относящиеся к изучению эго-документов советского времени. В центре внимания здесь — историографическая ситуация вокруг новых исследований «советской субъективности» и методология анализа автобиографических текстов как социальных практик. В заключении формулируются несколько предложений по дальнейшему изучению эго-документов советского времени.

I. Тексты личного содержания: Терминология

> Равнодушие к спорам о словах обычно сопровождается путаницей в представлениях о предмете.
>
> *Поль Вен*

Эго-документ

Все знают, что, рассказывая о прошлом, историки чаще всего употребляют слова, указывающие на те или иные его реалии. В некоторых случаях для объяснения этих реалий они употребляют термины и понятия, заимствованные из других дисциплин (социологии, филологии, психологии, экономики и т. д.) Гораздо реже с той же целью используют графики, таблицы, формулы и математические символы (если не считать, конечно, цифры, без которых невозможна датировка рассказываемых ими историй). Однако иногда, сталкиваясь с необходимостью объяснения реалий прошлого, у историков возникает потребность

[1] Данный текст представляет собой расширенный вариант публикации: *Зарецкий Ю.П.* Эго-документы советского времени: термины, историография, методология // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2021. Т. 137. № 3. С. 184–199.

в создании собственных терминов. Например, решая задачу выявления и обособления конкретной группы источников, которые они изучают. Тогда появляется необходимость в прояснении значений слов, часто хорошо всем знакомых, чтобы придать историческим реалиям точные смыслы — «подобрать» нужное обозначение для какой-то не вполне понятной/очевидной «вещи», а иногда, в случае если существующие слова их не удовлетворяют, самим «придумать» новое. Это те случаи, когда, если использовать язык лингвистов, *означаемое* настоятельно требует уточнения или даже обновления *означающего*.

Проблема означивания исторических реалий в полной мере относится и к слову «эго-документ», сегодня хорошо известному историкам разных стран. Однако, несмотря на свою популярность, смысловое содержание этого слова редко становится предметом специального внимания. В результате между исследователями сплошь и рядом возникает недопонимание: получается, что они как будто говорят об одном и том же, но в действительности имеют в виду разные вещи. Чтобы прояснить значение слова «эго-документ» как научного понятия, остановлюсь дальше вкратце: 1) на обстоятельствах его появления; 2) смыслах, которые в него изначально вкладывались; 3) его предшественниках и 4) преемниках.

Хорошо известно, что «эго-документ» (*egodocument*) — это неологизм, изобретателем которого в 1950-е гг. стал профессор Амстердамского университета Жак Прессер[1]. Придумал он это слово потому, что тексты личного содержания, с которыми ему приходилось иметь дело, плохо укладывались в рамки дефиниций литературных жанров, традиционно использовавшихся его коллегами-историками. В итоге он изобрел слово, которое указывало на различные письменные свидетельства, чьей отличительной особенностью является их выраженно личностный характер. Эго-документы в самом широком смысле, объяснял Прессер, это «те исторические источники, в которых исследователь сталкивается с *Я* — или иногда (Цезарь, Генри Адамс) *Он* — как с одновременно пишущим и присутствующим в тексте субъектом описания»[2].

[1] О Жаке Прессере и его неологизме подробно рассказывают многочисленные статьи Рудольфа Деккера, опубликованные на разных языках. Укажу здесь только одну, написанную им в соавторстве с Арианной Баггерман и недавно вышедшую на русском: *Деккер Р., Баггерман А.* Жак Прессер и традиция еврейской автобиографии в Нидерландах // Неприкосновенный запас. 2019. № 2 (124). С. 238–256.

[2] *Presser J.* Memoires als geschiedborn // Winkler Prins Encyclopede. Vol. VIII. Amsterdam: Elsevier, 1958. Цит. по: Dekker R. Jacques Presser's heritage. Egodocuments in the study of history // Memoria y Civilización. Anuario de Historia. 2002. № 5. P. 14.

Попытка Прессера ввести это новое понятие в научный оборот долгое время не находила понимания у его коллег. Ситуация изменилась только в 1980-е гг., после того как неологизм egodocument вошел в нормативный словарь голландского языка. С того времени в нидерландской историографии *egodocument* стал использоваться исследователями разных школ и направлений, причем практически в том же широком смысле, который вкладывал в него его создатель. Рудольф Деккер, которого коллеги называют «дуайеном изучения эго-документов», подразумевает под этим понятием (добавляя, правда, что это упрощенное определение) «текст, в котором автор пишет о его или ее делах, мыслях и чувствах»[1]. В другом месте он разъясняет, что «эго-документы включают автобиографии, мемуары, дневники и другие личные тексты, в которых авторы подробно пишут о своих делах, опыте, мыслях и чувствах»[2].

В 1990-е гг. начинается экспансия неологизма Прессера в другие европейские языки, где он используется в том же самом расширительном смысле. Одним из пионеров его употребления в англоязычном мире (*ego-document*) стал известный историк раннего Нового времени Питер Берк, настаивавший на важности изучения эго-документов для осмысления темы личности в истории[3]. В то же время понятие «эго-документ» вошло в германоязычную историографию (*Ego-Dokumente*) и франкоязычную историю литературы (*egodocument*), а через некоторое время получило признание и у российских историков[4].

[1] *Rutz A.* Einleitung // Zeitenblicke. 2002. Vol. 1. № 2. P. 2: Электронный ресурс. URL: http://www.zeitenblicke.de/2002/02/rutz/index.html (дата обращения: 15.08.2021).

[2] *Dekker R.* Egodocuments in the Netherlands from the sixteenth to the nineteenth century // Envisioning Self and Status. Self-representation in the Low Countries 1400–1700 / Erin Griffey (ed.) Hull: ALCS c/o University of Hull, 1999. P. 255.

[3] См.: *Burke P.* Representations of the Self from Petrarch to Descartes // Rewriting the self: histories from the Renaissance to the present / R. Porter (ed.) L.: Routledge, 1997. P. 2–22.

[4] См. напр.: *Голубинов Я.А.* Эго-документы как способ конструирования личной и семейной истории: случай Петра и Михаила Герасимовых // Genesis: исторические исследования. 2019. № 12. С. 1–9; *Суржикова Н.В.* Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость? (вместо предисловия) // История в эго-документах: Исследования и источники. Екатеринбург: Изд-во «АсПУр», 2014. С. 6–13; *Филатова Н.М.* Подходы к изучению эго-документов в современной исторической науке в свете «лингвистического поворота» // Документ и «документальное» в славянских культурах: между подлинным и мнимым: сб. науч. трудов. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2018. С. 24–40; и др.

Очевидно, что так же, как и его изобретателя, взявших его «на вооружение» исследователей не удовлетворяли традиционные литературоведческие понятия, требовавшие соотнесения разнообразных текстов личного содержания с новоевропейскими литературными жанрами. Теперь же в их распоряжении оказался «зонтик», под которым мог укрыться практически любой текст автобиографического содержания.

Сегодня, пройдя проверку временем, «эго-документ» стал в социально-гуманитарных науках термином если не общепризнанным, то, безусловно, общепонятным. Его вхождение в научный лексикон, однако, не обошлось без трудностей. Чаще всего в неологизме Прессера возражения вызывало «эго-», отсылающее к соответствующему психологическому понятию[1]. Эти возражения были связаны с тем, что в большинстве автобиографических рассказов, с которыми имели дело исследователи, описания внутренних переживаний авторов были скорее исключением, чем правилом. Критики «эго-документа» обращали также внимание на неясную корреляцию понятия с огромным разнообразием современных автобиографических жанров: охватывает ли оно их все, или только те, которые упоминаются в определениях Прессера и Деккера? Наконец, новый термин подвергся критике в связи с проблематизацией понятий «автор» и «авторское *Я*» в постструктуралистской критике последних десятилетий прошлого столетия. Сам феномен автобиографического текста стал трактоваться в ней принципиально иначе, чем это обычно делали историки: из свидетельства о личности автора и его времени он превратился просто в один из «дискурсивных типов», а *Я* его автора — в языковую конвенцию. Соответственно внимание исследователей переместилось с личности автора на анализ автобиографического дискурса и выяснение особенностей восприятия этого дискурса читателями. Очевидно, что ключевым для историков понятиям «правдивости» или «исторической достоверности» при таком подходе просто не осталось места[2]. Впрочем, на большинство из них эти философские откровения не оказали ощутимого влияния.

[1] См.: *Perreault J.M.* Egodocuments and History: Autobiographical Writing in its Social Context since the Middle Ages (review) // Biography. 2003. Vol. 26. № 3. P. 467–468.

[2] О постструктуралистской трактовке автобиографии и авторского *Я* см.: *Зарецкий Ю.П.* Теория литературных жанров и некоторые вопросы исторического изучения автобиографических текстов // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 159–172.

До и после эго-документа

Признание научным сообществом понятия «эго-документ» как полезного инструмента анализа рассказов людей о себе не привело, однако, к отказу историков и их коллег из других дисциплин от традиционных литературоведческих обозначений. Неологизм Прессера их существенно потеснил, но вовсе не вытеснил.

Самым распространенным из этих обозначений на протяжении долгого времени было слово «автобиография», также являющееся составным неологизмом, однако с гораздо более давней историей. Появилось оно на рубеже XVIII и XIX в. путем соединения греческих *bios*, *grapho* и *autos*. В сущности, тогда произошло только добавление приставки *autos* к хорошо известному с античных времен слову *biographia*. В 1820-е гг. новое слово укоренилось в европейских языках (*Autobiographie, autobiography, autobiographie, autobiografia*), а с 1840-х гг. стало употребляться и в русском[1]. С конца же XIX в. теоретики и историки европейской литературы стали обозначать этим словом один из ее специфических жанров. Задачу очертить смысловые границы автобиографии и определить ее отличия от других (прежде всего, мемуаров и дневников) они поначалу не ставили. Оживленные дискуссии на этот счет с участием известных литературоведов, философов и историков культуры развернулись только в 1970–1980-е гг. — сначала во Франции, а затем в и других странах[2].

По-видимому, в значительной мере эти дискуссии были спровоцированы выходом книги историка французской литературы Филиппа Лежёна «Автобиографическое соглашение», в которой содержалась формальное определение автобиографического жанра. Согласно ему, автобиография — это «ретроспективное повествование в прозе, которое ведет какой-нибудь реальный человек о своем собственном бытии, с особым акцентом на своей индивидуальной жизни, в частности, на истории своей личности»[3].

Дальнейшие разъяснения Лежёна к каждой части этого определения несколько смягчали его догматический характер, однако это не спасло его от критики. Чаще всего возражения вызывала

[1] Первое известное мне употребление этого слова в печатном издании относится к середине XIX в.: *Суворов А.В.* Очерк жизни и деяний графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. М.: Университетская типография, 1848. На шмуцтитуле книги читаем: «Автобиография графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского».

[2] См. об этом подробнее: *Зарецкий Ю.П.* Историки и автобиографии // Cogito. Альманах истории идей. Вып. 4. Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2009. С. 311–324.

[3] *Lejeune Ph.* Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975. P. 14.

та часть определения, в которой упоминался «реальный человек» и описание им «своего собственного бытия». Само употребление этих понятий, указывали оппоненты Лежёна, имплицитно исходит из того, что автобиография является изображением «подлинной», «объективной» жизни человека или по меньшей мере допускает возможность такого изображения. Однако существует множество разнообразных доказательств того, настаивали они, что в действительности дело обстоит совсем не так. Любопытно, что несмотря на весомые аргументы оппонентов Лежёна и даже на то, что позднее он сам отказался от формализма этого определения, оно оказалось широко востребованным в социально-гуманитарных науках[1]. Предложенная французским историком литературы логичная и стройная формула автобиографии подкупала исследователей своей ясностью, предлагая им хоть какое-то подобие твердой почвы при встрече с разнообразием текстов, в которых люди рассказывали о себе.

Если подытожить результаты споров 1970–1980-х гг., то главным из них, по-видимому, стал вывод, что понятие «автобиография» не универсально и применимо прежде всего к истории европейской литературы Нового времени, начиная с «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Что же касается сочинений, не относящихся к «большой» литературе и тех, которые были созданы в предшествующие эпохи, то его использование малопродуктивно. Впрочем, с этим заключением согласились далеко не все участники дискуссии[2]. Один из непримиримых оппонентов Лежёна Жорж Гюсдорф заявил, например, что подобное истолкование понятия вычеркивает из числа автобиографий многие хорошо известные рассказы людей о себе. И в данном случае не может быть аргументом ни то, что эти рассказы долго не были известны широкой публике, ни то, что сам термин «автобиография» появился только в Новое время. К этому своему заявлению Гюсдорф иронично добавлял: «Руссо, Августин, Джироламо Кардано и многие другие не употребляли неологизм “автобиография”, однако это нисколько не мешало им ее писать»[3].

[1] О переосмыслении Лежёном этого определения см.: *Lejeune Ph*. Moi aussi. Paris: Seul, 1986. P. 14–34.

[2] Лежен считал, что автобиография заявляет о себе, включаясь в систему жанров западноевропейских литератур, только с конца XVIII в. (обычная точка отсчета здесь — «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо). Сочинения, появившиеся до этого времени, следовательно, в строгом смысле слова автобиографиями не являются.

[3] *Gusdorf G.* De l’autobiographie initiatique a l’autobiographie genre litteraire // Revue d’Histoire litteraire de la France. 1975. № 6. P. 963.

В последние два десятилетия прошлого века начались активные поиски новых, «лучших» по сравнению с «эго-документом» и «автобиографией» обозначений рассказов людей о себе. Инициативу теперь взяли на себя историки раннего Нового времени, которым постоянно приходилось иметь дело с разнообразными текстами, создатели которых рассказывали о себе иначе, чем это делал Руссо и его последователи. В немецкой историографии, во многом благодаря концептуальной статье Бенигны Крузенштерн, тогда упрочилось понятие «свидетельство о себе» (*Selbstzeugnis*)[1]. Обновление терминологического аппарата историков произошло в то же время во Франции, где получило признание словосочетание *l'écrit du for privé* (сочинение частного характера?), впервые употребленное Мадлен Фуазиль в третьем томе «Истории частной жизни»[2]. Терминологические новации не обошли и англоязычный мир, где все чаще стало использоваться понятие *life-writing* (жизнеописание?), объединяющее одновременно и «рассказы о себе», и «рассказы о других» (если говорить о литературных жанрах, то это автобиографии и биографии)[3]. Впрочем, здесь сегодня широко используются и англоязычные аналоги терминов, созданных в других языках (*ego-document*, *self-testimony*, *first-person writing*), и заимствованное из лексикона литературных критиков *self-narrative*. То есть историки и их коллеги из других социально-гуманитарных дисциплин употребляют самые разные обозначения рассказов людей о себе, больше того, к ним иногда добавляются и новые, вроде недавно появившегося в русском языке неологизма «автодокументальные тексты»[4].

Какое из этих обозначений «лучше» — всегда зависит от самых разных обстоятельств работы исследователя: дисциплины, специализации, предмета изучения, языка, традиции, научных предпочтений, распространенности в научной литературе, а, возможно, еще и от вкуса. Нужно просто помнить об их условности и иметь в виду,

[1] См.: *Krusenstjern B.* Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhundert // Historische Anthropologie: Kultur. Gesellschaft. Alltag. 1994. Heft 2. S. 462–471.

[2] См.: *Foisil M.* L'écriture du for privé // Histoire de la vie privée. T. 3: De la Renaissance aux Lumières. Paris: Seul, 1986. P. 331–369.

[3] Его употребление, закрепленное выходом двухтомной «Энциклопедии жизнеописаний» (Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms. 2 vols. / M. Jolly (ed.) L.; Chicago: Routledge, 2001) в последующие годы получило особенно широкое распространение в междисциплинарных исследованиях.

[4] См.: *Савкина И.Л.* Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М.: НЛО, 2007.

что в разные исторические периоды и в разных культурах одни и те же термины могут обозначать очень разные тексты как по содержанию, так и по форме. Но как быть практикующему исследователю той или иной группы автобиографических документов советского периода? Выбрать какое-то обозначение из уже имеющихся? Попробовать придумать новое, более точно характеризующее их отличия от других схожих документов? Вряд ли на этот вопрос существует однозначный ответ. И не только потому, что дошедшие до нас свидетельства советских людей о себе очень разные: многое зависит и от вопросов, которые обращает к ним историк в ходе их осмысления[1].

II. Историография

О советских субъектах и ученых, которые их создают.

Эрик Найман

Конечно, вне зависимости от того, как историки называют тексты, с которыми они имеют дело, ясно, что в первую очередь их интересуют люди, о которых эти тексты рассказывают. Их авторы и одновременно главные герои. Что можно из этих текстов о них узнать? О времени, в котором они жили? Можно ли такого рода рассказам доверять? Не пытаются ли рассказчики что-то приукрасить, о чем-то умолчать, кого-то или что-то опорочить? Часто повторяют слова Марка Блока о том, что настоящий историк похож на сказочного людоеда («Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча»[2]). По-видимому, при встрече с эго-документом этот «запах» становится неудержимо манящим: кажется, что из него историк может узнать не только сухие сведения о жизни автора, но и то, каким он был, как воспринимал себя и окружающий его мир и многое другое еще. И несмотря на все сомнения и очевидные теоретические сложности, связанные с изучением человеческой субъективности, эта особая притягательность автобиографических текстов не дает многим из них покоя. Поскольку я тоже отношу себя к этим историкам, поделюсь несколькими соображениями в связи с поисками субъекта в эго-документах советского времени. Однако начать придется с отступления о понимании природы исторического знания, сложившемся в последние десятилетия прошлого века. Согласно этому

[1] Если говорить о текстах автобиографического содержания вообще, то в русском языке «зонтичным» обозначением, на мой взгляд, вполне может быть словосочетание «рассказы о себе». В английском употребляется аналогичное ему self-narrative, однако, оно имеет в первую очередь лингвистическую коннотацию, отсутствующую в русском.

[2] *Блок М.* Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 18.

пониманию, историки не сообщают нам, «как все происходило на самом деле» (хотя, разумеется, стремятся к этому), а *создают* картину прошлого, следуя определенным правилам и исходя из условий и обстоятельств, в которых находятся[1].

Историческое знание в социокультурном измерении

Большинство историков опираются на две предпосылки относительно сути создаваемого ими научного продукта. Первая — что этот продукт несет в себе достоверные, «объективные» знания. Вторая — что его производство является составной частью процесса развития цивилизации и отражает ее ход. Однако теоретики гуманитарного знания последние полвека относятся к ним очень скептически, указывая, что в их основе лежат явные противоречия, нерешенные вопросы и культурные предрассудки. В частности, ими подвергаются сомнению два основополагающих представления об исторической науке, сложившиеся в XVIII в. Первое — что история, которую она изучает, это процесс, имеющий общую логику и направленность. Второе — что существует возможность беспристрастного понимания этого процесса[2]. Разумеется, историки этот скепсис не разделяют. В противном случае вслед Хейденом Уайтом им пришлось бы признать, что историческое сознание — это «специфически западный предрассудок, с помощью которого возможно утверждение задним числом предполагаемого превосходства современного индустриального общества»[3].

Одновременно с критикой базовых предпосылок исторического знания теоретики настаивают на его социальной обусловленности. Они имеют в виду не банальную формулу влияния на историков общественных интересов, государственной политики, научной школы и т. п. — такого рода влияние в той или иной степени признают историки и сами. Социальная обусловленность означает здесь, что

[1] См. подробнее: *Зарецкий Ю.П.* Стратегии понимания прошлого: Теория, история, историография. М.: НЛО, 2011. С. 57–68.

[2] См. об этом, напр.: *Iggers G.* Historiography in the 20th Century // The misuse of history: Symposium on «Facing Misuses of History», Oslo (Norway), 28–30 June 1999 / keynote speech by G. Iggers; general report by L. Wirth. Strasbourg: Council of Europe Pub., 2000; P. 9–22 (или: *Idem.* Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2005). Более подробно см.: *Idem.* Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover, N.H.: Wesleyan University Press, 1997.

[3] *White H.* Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973. P. 2.

представления о прошлом в историографии являются не «объективным» отражением действительности, а «конструктом», созданным людьми. Причем этот «конструкт» в значительной мере представляет собой проекцию властных отношений в обществе, результатом воздействия сил, стремящихся достичь тех или иных политических целей в настоящем.

Разумеется, национальные и международные научные фонды, определяющие направления и тематику исторических исследований, не склонны соглашаться с подобными заключениями. История им нужна такой же, какой она виделась в период становления национальных государств, то есть как инструментальная «позитивная» наука. Историки же, как правило, отвечают на эти общественные запросы, чаще всего объясняя свое нежелание размышлять о природе исторического знания «эффектом сороконожки» (одна сороконожка задумалась, с какой ноги ей пойти, и так никогда и не сдвинулась с места). И такая их позиция связана не только со здоровым стремлением сохранить свою идентичность (что остается от их науки без «позитивной» составляющей?) и «общественную полезность» истории (кому она будет нужна без этой составляющей, кроме книгоиздателей?), но и собственный душевный покой.

Иначе говоря, социальную обусловленность «исторической правды» историки обычно признавать не хотят. Хотя, как правило, они охотно признают влияние политики на историческое знание в «плохих» тоталитарных обществах. Однако, когда речь заходит об обществах, частью которых они сами являются, выходит, что «историческая наука» существует в некоем идеальном пространстве, где возможны лишь борьба профессионалов с поденщиками, «настоящих историков» и «фальсификаторов», разных историографических школ и т. д.

Проблемы периодизации и специализации

Теперь еще одно отступление, которое я проиллюстрирую рассказом о случае, произошедшем несколько лет назад в Англии. Тогда, интересуясь историей исторического знания на Британских островах в XVIII–XIX вв., я обратился за консультацией к одной исследовательнице из Оксфорда, чьи научные интересы были непосредственно связаны с этой темой. Разговор с ней, как и ожидалось, оказался исключительно полезным и позволил мне уяснить общую картину преподавания и «производства» истории в британских университетах XIX в. Ближе к его концу я решил задать коллеге последний вопрос. Звучал он примерно так: «А что было с историей

в английских университетах в XVIII столетии?» Ответ на него меня поначалу несколько озадачил. «Честно говоря, — без всякого смущения сказала она, — не знаю, поскольку специализируюсь на истории образования в Британии с 1800 года». Я, конечно, сталкивался с подобными ответами и раньше, в том числе и российских коллег, но не с такими категоричными. Немного позже пришло понимание того, что в признании англичанки нет ничего удивительного. В силу давно сложившейся специализации историков по хронологическому принципу (чаще всего по столетиям) ткань прошлого и протекавших в нем процессов дробится на отдельные временные отрезки. На содержании этих отрезков их внимание и сосредотачивается — иначе они просто не смогут глубоко и всесторонне исследовать интересующий их предмет. То есть без такого дробления никак нельзя обойтись. Однако могут ли историки обойтись без помещения предмета их интереса в более широкий контекст, выходящий за временные границы их специализации? Ведь совершенно очевидно, что «истинное математическое время» ньютоновой механики для человеческой истории — это мерило условное, вспомогательный инструмент. Можно ли здесь найти золотую середину? Ответа на этот вопрос у меня нет, есть лишь убежденность, что отдавать себе отчет в его существовании стоит.

Сказанное о недостатках специализации историков по отдельным периодам особенно заметно, когда речь идет о российской истории XX столетия (то есть главным образом истории советского периода или истории СССР). Те из них, кто ее изучает, обычно целиком погружены в события и процессы «короткого двадцатого века» и мало знакомы с историей имперской России. Соответственно советское время видится им иным, радикально отличным от времени предшествующего. И, безусловно, еще в большей степени от того, в котором они живут сейчас. Такой остраненный взгляд во многом обязан советской историографии, рассматривавшей все происходившее в стране после октября 1917 г. как принципиально новый период ее истории, главным содержанием которого считалось строительство социализма и коммунизма. Но, может быть, даже в большей степени сегодняшним отношением в России и большинстве других стран к этому неудавшемуся проекту.

О периодизации советской истории

Мне кажется, что сегодня есть необходимость вернуться к обсуждению вопроса о периодизации истории СССР. Сейчас ее этапы чаще всего соотносятся с фигурами советских «вождей», что отвлекает внимание от осмысления глубинной сути событий и процессов, происходивших в стране на протяжении семидесяти с лишним лет. Такая персонализированная периодизация, по сути, игнорирует тот очевидный факт, что главным содержанием советской истории была реализации плана построения коммунистического общества. Напомню в этой связи некоторые достаточно общеизвестные вещи.

Большевики, будучи убежденными сторонниками социальной теории К. Маркса, непоколебимо верили, что в основе исторического развития лежат выявленные им закономерности. Соответственно, они не сомневались в том, что победа мирового пролетариата, объявленная в «Манифесте коммунистической партии», неизбежна. Что же касается совершенной ими русской революции, то она, по представлениям большевиков, являлась лишь первым шагом на пути к революции мировой. Причем эта мировая революция и создание в ее результате «Мировой Социалистической Советской Республики» должны были произойти в ближайшее время. В связи с этими ожиданиями напомню два высказывания В.И. Ленина 1918 и 1919 г.:

> «…Международная революция приблизилась… на такое расстояние, что с ней надо считаться как с событием *дней ближайших*»;
>
> «Победа пролетарской революции во всем мире обеспечена. Грядет основание международной Советской республики»[1].

То есть задача строительства коммунизма в отдельно взятой стране изначально большевиками не ставилась. Соответственно, не был актуален и вопрос о длительном существовании пролетарского государства «в капиталистическом окружении». Эта задача появилась только в ходе дальнейшего развития событий в мире, все дальше и дальше отодвигавшего перспективу мировой революции. В новых условиях несбывшихся ожиданий советское руководство, продолжая исходить из непогрешимости учения Маркса о неизбежности гибели капитализма, заключило, что мировая революция произойдет несколько позднее, чем считалось раньше. Так появились планы построения социализма и коммунизма в отдельно взятой стране, «развивавшие» теорию Маркса и требовавшие принятия важных государственных решений стратегического характера.

Осуществление этих планов ставило на повестку дня множество грандиозных по своим масштабам и сложности задач: создание новой социалистической экономики и новой бесклассовой структуры

[1] *Ленин В.И.* Я.М. Свердлову и Л.Д. Троцкому, 1 октября 1918 г. // *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 50. М.: Политиздат, 1970. С. 185; *Он же*. I конгресс Коммунистического Интернационала, 2–6 марта 1919 г., заключительная речь при закрытии Конгресса, 6 марта [1919 г.] // Там же. Т. 37. М.: Политиздат, 1969. С. 511.

общества, выработку внешнеполитического курса Советского государства, поддержку мирового коммунистического движения и так далее. Споры, развернувшиеся вокруг способов решения этих задач в руководстве партии, вылились в острую политическую борьбу и репрессии против оппонентов ее «генеральной линии», определявшейся И.В. Сталиным. Жестокое подавление инакомыслия в стране, аресты, тюрьмы и расстрелы оправдывались властями тем, что пролетарское государство находится во враждебном капиталистическом окружении. Причем они считали, что этого подавления недостаточно, для защиты от внешних врагов необходимо еще и *упреждающее* уничтожение остатков «буржуазных элементов».

Что касается этапов реализации идей «Манифеста Коммунистической партии», трансформировавшихся сначала в «учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина», а потом в сокращенном варианте — «Маркса-Энгельса-Ленина», то они хорошо известны. Партийные документы, а вслед за ними и официальная советская историография говорят о строительстве социализма, завершение которого было объявлено Конституцией 1936 г., потом о курсе на построение коммунизма к 1980 г., наконец, после фактического признания неопределенно-далекой перспективы «светлого будущего всего человечества», о новом этапе истории СССР — построении в стране «общества развитого социализма». Очевидно, что все эти этапы и повороты были связаны с надеждами советского руководства на так и не произошедшую мировую революцию и что именно эти надежды определяли направленность политического, экономического, социального, культурного и т. д. развития страны в гораздо большей степени, чем личности ее «вождей». Хотя влияние на ход событий каждой из этих личностей, само собой разумеется, странно было бы отрицать.

Я, конечно, не хочу этим отступлением сказать, что нужно вернуться к периодизации «Краткого курса» или советских учебников истории СССР — хорошо известно, как мало официально провозглашенные в ней периоды побед соответствовали происходившему в действительности. Но игнорировать то обстоятельство, что в основе этой периодизации лежала программа построения социалистического и коммунистического общества, которую на протяжении десятилетий не только декларировали советские руководители, но и реализовывали миллионы советских людей, тоже едва ли стоит.

Если говорить об американской и западноевропейской историографии истории СССР, основы которой были заложены в период «холодной войны», то главным ее содержанием являются доминанты иного рода. В отличие от хода строительства социализма и коммунизма главное внимание в ней обращено на репрессивный характер советской власти и так или иначе связанные с этим репрессивным характером события и процессы. Подобная «оптика» рассмотрения советского периода российской истории в целом характерна и для того сравнительно нового ее направления в зарубежной историографии, которое занимается изучением «советской субъективности».

Советская субъективность

Впервые о рождении этого направления было объявлено в 2001 г. Эриком Найманом в статье, выразительное название которой взято эпиграфом к этой части моих заметок[1]. Речь в ней шла о небольшой группе историков, которые на основе различных эго-документов раннесоветского времени занялись исследованием советского человека как субъекта, в частности, осмысления им своего места в социалистическом строительстве и своей жизни в СССР в целом. Позднее этими историками была опубликована серия блестящих работ, использующих новаторские подходы и ранее малоизвестные или вовсе неизвестные тексты. Чаще всего в этих работах ставилась задача реконструкции «советского субъекта» как некоей исторической реальности. Иногда, впрочем, их авторы определяли ее более осторожно, подчеркивая, что предмет их изучения — не «советский субъект» как таковой, а его репрезентации в различных документах автобиографического содержания. Однако в обоих случаях главным предметом интереса ученых был «внутренний мир» советского человека (здесь для ясности я воспользуюсь старым языковым клише).

Историческим материалом для большинства этих новых работ стали тексты, в формальном отношении близкие традиционным литературным жанрам автобиографии, дневника и мемуаров. И, кроме них, личная переписка и другие эго-документы разных видов — вплоть до кратких сведений о себе, которые граждане СССР сообщали по запросам советских и партийных органов. Во всех случаях историки советской субъективности по большому счету исходили из привычного представления о том, что такого рода тексты «могут открыть нам уникальный доступ к переплетению мыслей и чувств, к тому, как воспринималась действительность с одной определенной точки зрения»[2]. Не имея возможности перечислить здесь имена всех, так или иначе работавших или работающих в этом

[1] См.: *Naiman E.* On Soviet Subjects and the Scholars Who Make Them // The Russian Review. 2001. № 3. P. 307–315.

[2] *Wallach J.* Building a Bridge of Words: The Literary Autobiography as Historical Source Material // Biography. 2006. № 3. P. 448.

историографическом направлении, назову только два, Йохена Хелльбека и Игала Халфина — историков, считающихся его отцами-основателями.

После статьи Э. Наймана интерес к осмыслению «истории советской субъективности» как нового историографического направления стремительно возрос. О нем чаще всего стали говорить как об «одном из новейших и наиболее значимых вкладов в изучение истории советского периода», особо подчеркивая методологическое новаторство относящихся к нему работ. И поскольку *Я* советского человека не выглядело в этих работах пассивным вместилищем идеологических клише, стали относить их к ревизионистскому направлению в американской историографии[1]. В последние годы в изучении советской субъективности появились новые акценты, в первую очередь связанные с расширением документальной базы исследований. В отличие от своих предшественников, новое поколение историков все чаще обращается к позднесоветскому периоду и анализирует не только автобиографические тексты, но и самые разнообразные свидетельства времени[2]. В общем, сегодня, спустя двадцать с лишним лет после появления первых работ, исследования советской субъективности не иссякли. Хотя, нужно добавить, продолжаются они почти исключительно американскими и западноевропейскими учеными.

Политический субъект?

Знакомясь с работами, так или иначе относящимся к этому направлению, нетрудно заметить, что во многих из них эго-документы как исторические источники трактуются в духе старой позитивистской историографии. Суть такой «тривиальной» трактовки, как ее назвал Отто Герхард Эксле, очень проста. Чтобы воссоздать прошлое (если следовать знаменитой формулировке Леопольда Ранке — «как это действительно было»), историку нужно просто проникнуть в содержание источников — разумеется, после их тщательной критики[3]. Метафоры, которые в этом случае используются историками, красноречиво говорят сами за себя: они основываются на сравнении

[1] См.: *Chatterjee Ch., Petrone K.* Models of Selfhood and Subjectivity: The Soviet Case in Historical Perspective // Slavic Review. 2008. № 4. P. 967–986.

[2] См,. в частности, статьи в специальном выпуске журнала, посвященном «субъективности после Сталина»: Russian Studies in History. 2019. № 2–3.

[3] См.: *Эксле О.Г.* Что такое исторический источник? // Munuscula. К 80-летию Арона Яковлевича Гуревича / сост. Ю.Е. Арнаутова. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 154–155.

исторического источника с родником чистой воды, к которому достаточно прильнуть, чтобы он открыл нам доступ в прошлое.

Если согласиться с такой трактовкой понятия «источник», то получится, что «советский субъект» — это субъект политический. Такой вывод будет основан на том, что во многих эго-документах советского времени содержатся отклики людей на те или иные политические события. Однако при этом не будет приниматься в расчет, что эти отклики часто были вызваны мощными внешними импульсами. Хорошо известно, например, что на всех этапах истории СССР важной идеологической задачей партии и правительства было написание истории «первого государства рабочих и крестьян». Помимо разного рода достижений, статистических сведений об успехах в экономике, образовании и создании социалистической культуры, для этой истории требовались и рассказы советских людей об их участии в социалистическом строительстве. Нередко такие рассказы создавались по прямому указанию советских и партийных органов для того, чтобы в будущем стать источниками для написания истории Гражданской и Великой Отечественной войн, строительства Днепрогэса, Магнитки, освоения целины и т. д. Впрочем, появление огромного числа автобиографических рассказов советских людей, в той или иной мере содержавших политическую тематику, от этих прямых указаний, скорее всего, не зависело. Больше того, немало их совсем не предназначалось для государственных и партийных органов и тщательно от них скрывалось[1]. Как бы то ни было, но именно эго-документы, так или иначе описывающие политические реалии, и стали главным материалом для историков «советской субъективности».

Не вызывает сомнений, что такой подход является избирательным. Историки «советской субъективности» оставляют без внимания б*о*льшую часть автобиографических рассказов граждан СССР, имевших к политике очень опосредованное отношение или вовсе его не имевших. У советских людей было множество причин и поводов писать о себе, и они оставили нам миллионы воспоминаний, писем, дневников, большинство которых сегодня хранится в домашних архивах. Так что, если даже согласиться с Йохеном Хелльбеком, что «самое большое собрание дневников советской эпохи» действительно находится в архиве бывшего КГБ, это собрание — лишь капля в море других, никем не собранных и несистематизированных

[1] Как, напр., дневник Степана Подлубного, ставший вместе с другими дневниками раннесоветского времени материалом для изучения «советской субъективности» Й. Хелльбеком (см.: *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017).

дневников[1]. Поскольку большинство эго-документов советского времени остается сегодня в силу разных причин невостребованным историками, «советская субъективность» предстает в их работах почти исключительно как субъективность *homo politicus*.

III. Методология

> Избрать областью анализа *практики*, вести исследование на материале того, что *делали* люди.
>
> *Мишель Фуко*

Проблематизация Я

Очевидно, что, пытаясь услышать и понять рассказ человека о самом себе, исследователи сталкиваются со множеством трудностей методологического характера, прежде всего вызванных не вполне очевидным — даже иллюзорным — предметом их интереса. И как бы ни хотели этого многие историки, без теорий и теоретизирования здесь не обойтись. Правда, большинство из них продолжают по традиции рассматривать авторов эго-документов как картезианских субъектов, а сами тексты как «источники», рассказывающие, «как это действительно было». Хотя в последние годы количество таких «традиционалистов», похоже, заметно уменьшилось.

На необходимость осознания проблематичности понятий, обозначающих субъекта и субъективность, историки обратили внимание еще в конце 1990-х гг. В XIX столетии, заметил Питер Берк, сложности использования категории *Я* (Self) ученым были неведомы. Соответственно, для историков основные источники понимания человека (в литературе это были биографии и автобиографии; в искусстве — портреты и автопортреты) казались вполне прозрачными, то есть напрямую говорящими о некоем неизменном *Я*, существующем «за фасадом» текста или картины. Однако наукой XX в., особенно его конца, это старое понимание субъективности было разрушено. С того времени *Я* стали чаще рассматривать не как имманентную часть реальности, а как нечто «формируемое», «конструируемое», даже «изобретаемое», то есть как лингвистический, культурный и социальный конструкт[2]. Так что теперь, заключил Берк, историкам не следует понимать человеческую личность как вневременного картезианского субъекта. Лучше размышлять о ней «в перспективе разнообразия типов личностей или концепций *Я* (более или менее единообразных, обособленных и т. п.) в различных культурах…»[3]

[1] *Хелльбек Й.* Указ. соч. С. 13.

[2] *Burke P.* Op. cit. P. 18.

[3] Ibid.

Развернутая программа переосмысления традиционных подходов к изучению эго-документов была предложена в начале 2000-х гг. в проекте Берлинского свободного университета «Рассказы о себе в транскультурной перспективе»[1]. Главная его мысль состояла в том, что автобиографические тексты следует рассматривать в тех конкретных историко-культурных контекстах, в которых они появлялись и функционировали, а процессы их создания — как особые формы человеческой деятельности, в том или ином виде присущие разным историческим периодам и культурам. Такая перспектива, разъясняли немецкие ученые, дает возможность отказаться от искаженного взгляда на проблему с позиции современного европейца и тем самым лучше понять разнообразие обстоятельств, при которых жизнь конкретного человека превращалась в автобиографический рассказ. Иными словами, такой подход позволяет осуществить прорыв в изучении историками автобиографических текстов, открыв «пути осмысления различных способов описания *Я* как в европейских, так и в неевропейских эго-документах»[2].

Новые предложения

Новую программу изучения эго-документов предложила Габриэла Янке, опубликовавшая в 2002 г. монографию «Автобиография как социальная практика» и рассмотревшая в ней эго-документы германоязычного мира раннего Нового времени[3]. Чеканная формулировка в названии книги содержала суть предложенной в ней новой методологии анализа автобиографических текстов. Позднее разработка этой методологии была продолжена автором в других работах, став в итоге важным руководством по изучению не только европейских эго-документов раннего Нового времени, но и других культур и эпох. Здесь необходимо подчеркнуть, что эта новаторская методология прочно укоренилась в контексте современного социально-гуманитарного знания.

В качестве иллюстрации своего подхода к анализу эго-документов в одной из статей Г. Янке обратилась к краткой автобиографии

[1] Описание проекта и его материалы см.: DFG-Forschergruppe 530. Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive: Электронный ресурс. URL: https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fg530/ (дата обращения: 15.08.2021).

[2] *Jancke G.* History of the Research Group «Self-Narratives in Transcultural Perspective» // Zeitenblicke 1. 2002. № 2. S. 28.

[3] См.: *Jancke G.* Autobiographie als soziale Praxis. Beziehungskonzepte in Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Cologne-Weimar-Vienna: Böhlau, 2002.

Николая Кузанского, написанной им на латыни в 1449 г. и содержавшей сухие отрывочные сведения о его жизни. Современный читатель, знакомый с эго-документами Нового времени, отметила Янке, вполне может заключить, что Кузанец еще просто не умел рассказывать о себе так же подробно и увлекательно, как, скажем, Ж.-Ж. Руссо или И. Гете. Однако такое суждение, продолжили она, будет малопродуктивным и даже ошибочным для понимания этого текста и его создателя. Прежде чем его выносить, необходимо рассмотреть конкретную ситуацию, в которой Кузанец этот текст создавал, и то, как эта ситуация связана с формой и содержанием текста. Почему автор писал на латыни? Почему сообщал об одних событиях своей жизни и умалчивал о других? Почему его рассказ о себе лаконичен и носит официальный характер? Ответив на эти и другие вопросы, связанные с исторической ситуацией рождения этого эго-документа, исследователь увидит, что Кузанец представлял в нем свое *Я* (точнее, отдельные его стороны) совсем не для того, чтобы мы имели возможность выносить о нем свои суждения. Он писал в исторически конкретном времени и месте, и созданный им автобиографический рассказ выполнял функцию коммуникации с другими людьми. В ходе этой коммуникации как раз и формировался вполне определенный нужный Кузанцу на тот момент образ его *Я*. «Таким образом, его автобиография является *социальной практикой*, подразумевающей наличие некоей *публики*, причем само действие совершается в определенное *время*, в определенной *личной ситуации* и является частью определенного социального контекста», — заключает Янке[1].

То есть внимание исследователя всякого эго-документа, по мысли исследовательницы, должно концентрироваться на ситуации его написания как процессе коммуникации — «на *времени, в котором писали авторы*, а не на *времени, о котором они писали*»[2]. Тогда автобиографические рассказы станут поняты как социальные поступки их авторов, а сами авторы предстанут перед исследователем не как абстрактные индивиды (что считается само собой разумеющимся при традиционном взгляде), а как общественные существа, относящиеся к конкретной социальной, профессиональной, религиозной, гендерной группе и действующие внутри конкретных социальных контекстов и связей.

[1] *Jancke G.* Autobiography as Social Practice in Early Modern German-Speaking Areas. Historical, methodological, and theoretical perspectives // Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Würzburg: Ergon Verlag, 2007. P. 66.

[2] Ibid. P. 67.

Развивая эту методологию в одной из недавних работ, Янке предложила рассматривать всякий эго-документ в трех пересекающихся контекстах. Первый связан с фигурой его создателя, прежде всего его социальным статусом и местом в иерархии общественных, политических и экономических отношений. Второй — с конкретной ситуацией появления и бытования эго-документа. Здесь особенно важны мотивы, которыми руководствовался автор, использовавшиеся им нарративные стратегии, адресат, форма и способы хранения и тиражирования текста. Наконец, третий — это современное состояние изучения автобиографических текстов: вопросы, с которыми обращаются к ним исследователи, их понятийный аппарат и аналитические приемы[1].

Мне не раз приходилось слышать от коллег, что в методологии, предлагаемой немецкой исследовательницей, нет ничего принципиально нового: мол, все историки давно знают о необходимости критики источника и реконструкции контекста его создания. Дело, однако, в том, что Янке не ограничилась этими общими декларациями и предложила буквально «пошаговую инструкцию» для контекстуализации таких непростых для осмысления и разнообразных по содержанию и форме источников, как автобиографические сочинения. При изучении автобиографических текстов, подчеркнула она, контекст — это не только важная, но и очень сложная аналитическая категория, заслуживающая пристального внимания. В этом случае следует иметь в виду три направления его реконструкции и, соответственно, три его вида.

Первый связан с человеком, пишущим о себе и его отношением к соответствующим общественным нормам, либо поддерживавшим, либо затруднявшим создание его автобиографического рассказа, но в любом случае в той или иной степени придававшим ему очертания.

Второе направление реконструкции связано с анализом самого автобиографического текста и ситуации его написания. Здесь следует выяснить: а) мотивы, по которым тот или иной автор решил рассказывать о своей жизни, б) стратегии, которым в этом рассказе следовал, в) цель, которую хотел достичь, и г) кому именно адресовал свой текст.

[1] Дальше я частично пересказываю статью Янке, вышедшую на русском языке: *Янке Г.* Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах (XV и XVI столетия) // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: Люди, тексты, практики / ред. Ю.П. Зарецкий, Е.К. Карпенко, З.В. Шушпанова. М.: «БИБЛИО- ГЛОБУС», 2017. С. 149–196. См. также другую ее статью, важную в методологическом отношении: *Янке Г.* Дневники в исторических исследованиях: тексты и контексты раннего Нового времени // Новое литературное обозрение. 2019. № 3. С. 89–106.

Наконец, третий контекст — это современное состояние изучения автобиографических сочинений. В этом случае нужно иметь в виду: а) вопросы, которые обращают к ним исследователи, б) концепты и аналитический инструментарий, которые используют, в) связь их целей с «более общими социальными и политическими программами изучения этих источников»[1]. Чтобы избежать разного рода недоразумений и осуществить убедительную историческую реконструкцию содержания автобиографического сочинения, настаивает немецкая исследовательница, нужно учитывать все эти контексты.

IV. Итоговые замечания

Советские эго-документы как социальные практики

Работы Янке — редкий случай, когда историк, изучающий конкретные автобиографические тексты (то есть работающий в микроисторической традиции), уделяет пристальное внимание историческим обстоятельствам их появления и бытования в пространстве и времени, то есть соединяет микро-, мезо- и макроуровни в единое историческое целое. Кроме того, рассматривает их не только в связи с положением дел в современной историографии, но и в социогуманитарном знании в целом. У меня не вызывает сомнений, что предлагаемая ею методология может успешно использоваться при анализе эго-документов советского периода российской истории. Она в состоянии не только придать новый импульс изучению «советской субъективности», но и лучше понять как жизни отдельных граждан СССР, так и советское общество в целом. Ведь эти граждане, как и немецкоязычные авторы раннего Нового времени, писали дневники, автобиографии, мемуары, письма не для того, чтобы мы рассуждали об их «субъективности», а для каких-то иных целей. И делали они это в конкретных, часто очень разных коммуникативных ситуациях, которые всякий раз необходимо реконструировать, пытаясь услышать голоса разных людей. Нельзя забывать и о том, что интерпретация рассказов этих людей о себе во многом зависит от вопросов, которые им задает историк «с высоты» своего времени. Правда, использование подходов к изучению советских эго-документов, предложенных Янке, задача очень непростая, требующая не только основательной теоретической рефлексии, но и глубокого погружения в конкретный социальный контекст, окружавший каждый из автобиографических рассказов. Однако, может быть, все же стоит попробовать?

[1] *Янке Г.* Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. С. 166.

Эго-документы и эго-документы

Если в соответствии со сказанным выше начать рассматривать автобиографические тексты советского времени как специфические социальные практики, то станут особенно хорошо видны их принципиальные «жанровые» различия, а вслед за этим и различия образов авторского *Я*. Очевидно, что и в том, и в другом случае эти различия обусловлены контекстами появления и функционирования автобиографических рассказов. Вряд ли стоит удивляться, что один и тот же человек представлял себя по-разному в письмах к родным, дневнике «для самого себя», адресованных будущим поколениям советских людей воспоминаниях (о «покорении целины», например), автобиографии, написанной для своих детей и внуков. Историкам чрезвычайно важно обращать на это внимание, когда они пытаются взглянуть на эго-документы как на корпус «источников личного содержания», рассказывающий нам о «советском человеке». Важно иметь в виду, что в этот корпус входят очень разные тексты — как по содержанию, так и по своим формальным признакам, адресатам и социальным функциям[1]. Соответственно, в них звучат очень разные голоса и очерчиваются очень разные образы советских людей, а в некоторых случаях и очень разные образы одного и того же человека. Представление об огромном многообразии этих голосов и образов можно легко получить, познакомившись с материалами электронного архива личных документов «Прожито»[2]. Эти материалы представляют историкам невиданные ранее возможности, до сих пор, добавлю, очень мало ими востребованные.

Субъективность или субъективности?

Похоже, сегодня назрела также необходимость задуматься над тем, продуктивно ли искать в разнообразных автобиографических рассказах, составленных в разных ситуациях, по разным поводам и адресованных разным людям, единую «советскую субъективность».

[1] Настолько разные, что иногда для них даже трудно найти подходящее обозначение. Как, например, следует называть те краткие формальные рассказы о своей жизни, которые миллионы советских людей предоставляли в кадровые службы при поступлении на работу? Все они имели одинаковое название «автобиография», но автобиография ли это в том смысле, в каком это слово обычно употребляется? Мне даже пришлось придумать для их обозначения специальное словосочетание «делопроизводственная автобиография» (см. об этом: *Зарецкий Ю.П.* Моя жизнь для Государства: массовая практика составления делопроизводственных автобиографий советскими людьми // Новое литературное обозрение. 2019. № 3. С. 107–127).

[2] См.: Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/ (дата обращения: 15.08.2021).

Имеет ли, соответственно, смысл говорить об абстрактном советском человеке как ее носителе, наподобие того, как это иногда делают антропологи, «сглаживающие» индивидуальности людей в обществах, которые они изучают?[1] Может быть, лучше говорить не о «советской субъективности», а о «советских субъективностях»? Или «субъективностях» граждан СССР? И пытаться понять эго-документы как специфические субъективирующие практики, в той или иной мере связанные с отношением граждан СССР к нормативному субъекту строителя коммунизма, провозглашенному официальной идеологией.

[1] Похоже, именно против такого рода «сглаживания» выступал в свое время Клиффорд Гирц, говоря о жителях Явы и Бали (см.: *Гирц К.* С точки зрения туземца: о природе понимания в культурной антропологии // *Девятко И.Ф.* Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: ИСО-TEMPUS/TASIS, 1996. С. 89–108).

РАЗДЕЛ I. ТЕКСТЫ

Глава I.1. Личная история vs Великий нарратив в дневниках военного времени[1]

(И.М. Савельева)

События Великой Отечественной войны документированы, изложены и сохранены в многочисленных материалах и артефактах; процесс сбора и атрибуции их далеко не закончен. С точки зрения цели исследования и оптики (фокуса и масштаба) историк может анализировать дневники с самыми разными задачами и результатами: от бесконечного восполнения лакун в истории Великой Отечественной войны (сведения о массе конкретных военных операций, подробности партизанских рейдов, военная повседневность, мобилизационная экономика, портреты современников войны, их поступки и эмоции) до рассмотрения фрагментов прошлого в мельчайших подробностях. То же относится и к любознательному читателю.

Однако меня заинтересовало и подвигло на создание этого текста другое. По мере знакомства с дневниками, собранными на сайте «Прожито»[2], нарастало удивление от того, что на их страницах практически не отражается официальный «великий нарратив», который творился уже во время войны в печати, кино и литературе. Обычные люди, которые, казалось бы, должны активно оперировать образцами и стереотипами (они же с включенным репродуктором

[1] Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

[2] Сайт «Прожито» — текстовый корпус личных дневников. Возник в 2014 г. как волонтерский проект с целью собрать в одной электронной библиотеке максимально полную базу дневников жителей России XVIII–XXI вв. как опубликованных, так и прежде неизвестных. К сентябрю 2021 г. центр «Прожито» собрал 6500 дневников на русском, 157 на украинском и 59 на белорусском языках (Здраствуйте, Прожито! Корпус русских дневников он-лайн. Интервью Андрея Володина и Ирины Савельевой с Мишей Мельниченко // Public History Weekly: The Open Peer Review Journal. 2021. № 9: Электронный ресурс. URL: https://public-history-weekly.degruyter.com/9-2021-10/zdravstvyjte-prozhito/). Максимальное количество дневников (2500) приходится на годы Великой Отечественной войны, из них около 500 — блокадные дневники. См.: Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org (дата обращения: 22.09.2021).

жили, с политинформациями по ночам на передовой)[1], оставили не похожие на официальные ни в плане выражения, ни в плане содержания свидетельства личного экстремального опыта. При этом согласованность содержания дневниковых записей (главные темы, образцы опыта, характеристики эмоций), которые каждый делал наедине с собой, очень высока. Это вызывает удивление, хотя известно о всеобщем, и в этом смысле разделенном, опыте турбулентности в чрезвычайных ситуациях: «all were mobilized; all were transformed»[2].

Таким образом, мотивом к данному исследованию стал когнитивный диссонанс или, говоря обычным языком, недоумение. Мои предположения о стилистике дневникового письма военного времени вытекали из весьма общего «предзнания» сведений о личных документах советских людей 1920–1930-х гг. Однако многочисленные дневники войны, с которыми я столкнулась, выглядят совсем иначе. Исходя из сказанного, свою задачу я вижу в презентации феномена согласованности записей в дневниках военного времени и их отрешенности от существовавшего параллельно «большого нарратива».

Военные дневники: взгляд историка

Почему люди ведут дневник в окопах под обстрелом, на морозе в диверсионных рейдах и партизанских отрядах, в блокаде, в концлагерях, поездах, госпиталях — вопрос отдельный, но очевидные и, наверное, главные ответы на него: потребность в психологической опоре и сохранении памяти. Так, Н.Н., школьница 16 лет, в эвакуации в Горьковской области отмечает 6 января 1942 г.:

> «Я теперь все чаще обращаюсь к дневнику. Он заменяет мне друга»[3].

[1] См., напр., интервью политработников, собранные Комиссией И.И. Минца (В конце ноября 1941 г. была создана комиссия по истории обороны Москвы под руководством Г.Ф. Александрова, его заместителем стал известный историк И.И. Минц. Изначально целью новой организации было написание истории боев за Москву. 15 января 1942 г. организация была переименована в Комиссию по истории Великой Отечественной войны, действовавшую на территории всего СССР. Летом 1942 г. председателем Комиссии стал И.И. Минц, и она известна как «Комиссия Минца»). См.: *Hellbeck J.* Stalingrad: The City that Defeated the Third Reich. N.Y.: Public Affairs, 2015; то же на русск.: Хелльбек Й. «Сталинградская битва: свидетельства участников и очевидцев. М.: НЛО, 2015).

[2] См., напр.: *Winter J.* Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century. N.H. and L.: Yale University Press, 2006. P. 209.

[3] *Н.Н.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/572613 (дата обращения: 15.10.2020).

21-летний офицер Владимир Тарасов во время короткой передышки в боях записывает 2 октября 1944 г.:

> «Сегодня я решил основательно заняться своим дневником, и вот сижу и строчу, иначе все пережитое уйдет в прошлое и забудется»[1].

Цитируемые в данной работе дневники военного времени отбирались следующим образом. Принципиально я не обращалась к дневникам известных людей (Михаил Пришвин, Ольга Берггольц, Евгений Мравинский, Ольга Фрейденберг и пр.), полагая, что публичные люди в дневниках, зная традицию личных документов, «вписывают себя в историю», одновременно предвидят читателя и пишут с прицелом «на будущее»[2]. Некоторые из дневников оказались очень короткими: автор мог погибнуть, едва начав вести дневник, или быстро отказаться от своей затеи, или потерять часть записей. Другие отличаются краткостью самих записей и, скорее, напоминают ежедневник. Третьи представляют собой развернутые «тексты жизни». Мной было отобрано 62 именно таких дневника.

Выборка сложилась достаточно случайно в том смысле, что я не отбирала дневники «под задачу» исследования, но она представляет все поколения и разные группы советского общества. Авторы дневников отличаются социальным статусом, возрастом, полом, образованием, отношением к советской и «новой» (нацистской) власти, обстоятельствами своего военного опыта (военнослужащие, партизаны, крестьяне и горожане, школьники и студенты, эвакуированные, беженцы, проживающие на оккупированной территории и т. д.)[3] Экстраполяция моих выводов на все дневники времен Великой Отечественной войны или даже на все собранные на сайте «Прожито», осмыслена не более и не менее, чем любая экстраполяция в условиях больших массивов источников.

[1] *Тарасов Владимир Дмитриевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/551451 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] См.: *Паперно И.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: НЛО, 2021. С. 10, 23.

[3] Краткие сведения об авторах дневников, которые я упоминаю или цитирую, можно почерпнуть на сайте «Прожито» по сноске. Из них можно узнать возраст, профессию, местоположение и будущее писавшего, выходные данные опубликованных дневников и отсылки к источникам более подробных сведений, если таковые имеются. Все цитаты даны без правки, в том виде, в каком текст представлен на платформе «Прожито».

Можно ли говорить о военном дневнике как особом подвиде дневникового жанра? Мы знаем, как в начале XX в. возник образец военного письма[1]. Формат письма был хорошо известен даже малоопытным пишущим, поскольку на фронте и в тылу (особенно в деревне) существовали профессиональные «писатели» писем; по обе стороны переписки практиковалось коллективное чтение писем вслух. Дневниковое письмо — дело приватное, ими, как правило, не обмениваются и их не зачитывают, хотя в некоторой степени на дневники Великой Отечественной войны могла повлиять традиция дневников Первой мировой.

Дневники, прочитанные мной, очень разные, но по мере чтения вырастает пространство истории Великой Отечественной войны, как она проживалась и фиксировалась отдельными людьми. Как тогда согревались, питались, развлекались, боролись со страхом, скукой и голодом, ждали и спасали, какими видели себя, других, власть и смысл жизни сквозь беды войны. В дневниках опыт войны отражается как сугубо индивидуальный, но при чтении большой коллекции неожиданным образом воспринимается как общий.

Уход от советских стереотипов проживания и фиксации войны — не единственное, что привлекает внимание. Чтение дневников дает новую перспективу исторической культуре: война предстает не как эпопея и не как «большой нарратив»[2]. В то же время, на мой взгляд, дневниковые записи недостаточны для создания текста, который Джеффри Брукс назвал «контрнарративом» войны, возникшим в противовес партийному, который доминировал в контролируемой (другой не было) прессе[3]. Из мозаики отдельных высказываний не всегда целостно выстраивается даже траектория отдельной жизни, не то, что История, но это, безусловно, о том, «как люди “на собственной шкуре” испытывают тот или иной исторический опыт»[1]. Конечно, нарратив на основе этих документов можно сконструировать, но это будет авторская конструкция, не более.

Известно, какую роль играло «приучение» к дневникам, практикуемое советскими психологами в 1920-е гг., и создание жанра советского производственного дневника в инициированной Максимом Горьким серии «История фабрик», в которой дневники занимали центральное место. Редакторы поощряли строителей к ведению производственных дневников, поскольку, как выразился один из редакторов серии Леопольд Авербах, записи в дневник действуют подобно партийным «чисткам»: «Вы исследуете себя во всем, что и как. Дневник должен быть написан так, чтобы рабочий или другой человек спрашивал себя, что ценного он сделал сегодня»[2]. Более того, издатели серии сами предлагали вниманию рабочих Метростроя вопросы, требующие освещения: «Руководящая роль партии, роль инженера, образ комсомола, международная жизнь, классовая борьба на Метрострое, женщины и метро, культура и образ жизни, вся Москва строит метро, метро как всесоюзная стройка»[3]. В результате авторы советских производственных дневников 1930-х гг., если использовать сказанные по другому поводу слова из книги Ричарда Нисбета и Ли Росса, «подозрительно похожи на личностные конструкты, о которых поется в песнях, повествуется в художественной литературе и в работах по психологии личности»[4].

В интерпретациях дневников 1930-х годов историками господствовал дискурс-анализ и разные варианты исследования тоталитарной личности и тоталитарного сознания[5]. В 2000 г. вышел

---

[1] «Установка на организационные особенности письма обнажает устойчивую повторяемость тем, сюжетов, стилистических и структурных приемов, с помощью которых военная корреспонденция сложилась как особый жанр» (XX век: Письма войны / отв. ред. С. Ушакин, А. Голубев. М.: НЛО, 2016. С. 14; см. также: *Юнина Е.А.* Материалы семейных архивов города Тобольска в изучении экстремальной повседневности Великой Отечественной войны // История: Факты и символы. 2018. Т. 3. №16. С. 66–80).

[2] О культуре памяти о войне см.: *Каспэ И.* Место смерти: о значении Ленинградской блокады в позднесоветской культуре // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 1. С. 59–105; *Kirschenbaum L.* The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories and Monuments. N.Y.: Cambridge University Press, 2006.

[3] См.: *Brooks J.* «Pravda Goes to War» // Culture and Entertainment in Wartime Russia / R. Stites (ed.) Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1995. P. 14. Цит. по: *Kirschenbaum L.* Op. cit. P. 46.

[1] *Соколов А.К.* Социальная история: проблемы методологии и источниковедения // Проблемы источниковедения и историографии: Материалы II Науч. чтений памяти акад. И.Д. Ковальченко. М.: РОССПЭН, 2000. С. 75–89. См. также: *Siegelbaum L., Sokolov A.* Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents. N.H.: Yale University Press, 2000.

[2] *Siegelbaum L., Sokolov A.* Op. cit. P. 43. См. также: *Журавлев С.В.* Феномен «Истории фабрик и заводов»: Горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х годов. М.: ИРИ РАН, 1997.

[3] *Hellbeck J.* Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin. Cambridge and L.: Harvard University Press, 2006. P. 45; то же на русск.: *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017.

[4] *Нисбетт Р., Росс Л.* Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 118.

[5] Я не свожу все к «тоталитарной школе», не учитывавшей феномен социальной поддержки режима, ревизионисты, хотя и с другими акцентами, по существу, тоже исходили из модели тоталитарного общества.

сборник документов «Сталинизм как образ жизни…»[1] под редакцией А.К. Соколова и Льюиса Сигелбаума, охватывающий 1930-е гг. от «Великого перелома» до начала Великой Отечественной войны. Составители прицельно собрали письма и другие документальные материалы, позволявшие судить о реакции разных слоев советского народа на сталинскую политику: коллективизацию, индустриализацию, тракторизацию, кадровизацию, Конституцию, Пакт о ненападении и т. д. Сопоставлять эти материалы с дневниками следует осторожно: понятно, что письма редактору районной газеты или М.И. Калинину писались иначе, чем личные дневники. Но есть исследования именно дневников. Стивен Коткин в своей книге, которую он даже назвал «Сталинизм как цивилизация», штудировал дневники строителей Магнитогорска и обнаружил в них «большевистский язык»[2]. Йохен Хелльбек, изучавший дневники первых десятилетий советской власти, тоже пришел к выводу, что «многие люди, ведущие дневники в сталинскую эру, были озабочены тем, чтобы выяснить, кем они, в сущности, были и как они могли трансформироваться», дабы стать настоящими коммунистами[3].

Поскольку люди, вступившие в войну, были теми же, тоталитаризм в условиях мобилизации очевидно не ослабел, то логично предположить, что и сознание советских людей не изменилось, и, соответственно, прежними остались способы интерпретации ситуации войны с помощью «поставленного» пропагандой взгляда, идеологических клише и самовоспитания. Однако тот же Хелльбек, работавший с интервью, собранными комиссией Минца у защитников Сталинграда, считает неоправданной эту характеристику для периода войны, склоняясь к мнению многих исследователей о «спонтаной десталинизации»[4]. Хелльбек отмечает, что чтение стенограмм интервью, взятых в Сталинграде (свидетельств, куда более

[1] См.: *Siegelbaum L., Sokolov A.* Op. cit.

[2] См.: *Kotkin St.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995. P. 198–225. О новой «коммунистической цивилизации» после визита в СССР в 1935 г. написали очарованные увиденным известные лейбористские историки Сидней и Беатриса Вебб (см.: *Вебб С., Вебб Б.* Советский коммунизм — новая цивилизация? В 2-х т. М.: Соцэкгиз, 1937).

[3] *Hellbeck J.* Revolution on My Mind. P. 5.

[4] См.: *Hellbeck J.* Stalingrad: The City that Defeated the Third Reich. P. 20. См. также: *Будницкий О.В., Зеленина Г.С.* «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны / сост.: О.В. Будницкий; отв. ред.: О.В. Будницкий. М.: РОССПЭН, 2012; Гельфанд В.Н. Дневник, 1941–1946 / сост.: О.В. Будницкий, Т.Л. Воронина; отв. ред.: О.В. Будницкий. М.: РОССПЭН, 2015.

контролируемых и структурированных, заметим, характером вопросов и сознанием публичности мероприятия), опровергает предположения о том, что пространные ответы военнослужащих Красной армии состояли из советских клише, изолированных от реальности войны. Как он показывает, язык интервью был двояким: тот, на котором говорили солдаты и офицеры, основывался не на идеологических стереотипах, а на пережитом опыте, в то время как политработники использовали особые формы речи, причем дифференцированные в зависимости от того, относились ли они к «своим» или врагам[1].

В связи с этим изучение военных эго-документов оказывается особенно интересным, потому что речь ведется не только о войне и субъекте, тут есть и третий объект — советская идеология. Тем самым сохраняет важность вопрос, сформулированный Джеффри Хассом в дискуссии, организованной журналом «Российская история» по книге Сергея Ярова[2]: «До какой степени советская цивилизация была укоренена в повседневных практиках, интересах и понятиях?»[3]

Исходя из содержания военных дневников, можно выдвинуть гипотезу, что авторы отринули навязанный им способ мысли не из-за десталинизации или стихийной деидеологизации, а просто потому, что идеологические клише были бесполезны для поддержания их субъектности в условиях войны. Тогда причина и следствие меняются местами, и исследовательскую задачу можно увидеть в анализе «жизненного мира» человека, ведущего дневник на войне, его самоинтерпретации.

Для решения поставленной задачи я использую прежде всего оптику микроистории. Сам характер эго-источника подразумевает микроисторический анализ: работая как с каждым отдельным дневником, так и со всей выборкой, мы имеем дело с предельно фрагментированной исторической тканью. Самые разные по своим характеристикам и занятиям авторы избирательно фиксируют уникальные факты и мысли. Одни подробно, другие кратко, одни — чуть ли не ежедневно, другие — эпизодически. Все это в совокупности требует пристального вглядывания, объектом исследования становится восприятие/интерпретация человеком ситуации войны и выстраивание им своей личной истории или хроники. Чтобы интерпретировать

[1] См.: *Hellbeck J.* Stalingrad: The City that Defeated the Third Reich. P. 83.

[2] См.: *Яров С.* Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. М.: Центрполиграф, 2012.

[3] *Хасс Дж.* Нормы и выживание в военное время // Российская история. 2014. № 3. С 17–22.

дневники и не впасть в наивный диспозиционизм, исходящий из приоритета свойств личности, или вульгарный ситуационизм, лишающий человека агентскости, я следую за социальными психологами Нисбетом и Россом. Хотя они рассуждают о предсказуемости реакции отдельных людей, то есть о вынесении суждения о будущем, историку, «предсказывающему назад», их подход тоже может быть полезным.

Нисбет и Росс в своих исследованиях спорят с диспозиционистами, которые прежде всего обращают внимание на действия и реакции людей, а не на обстановку. В лице историков они нашли бы сторонников, потому что контекстуальность (анализ обстоятельств, ситуации) давно стала condicion sine qua non большинства исторических исследований. Однако, хотя именно ситуация определяет поведение людей, по мнению Нисбета и Росса, недостаточно опираться лишь на анализ обстоятельств. Критическое звено в этой системе, по их мнению, интерпретация ситуации самим человеком: какие цели человек преследует? с какими препятствиями сталкивается? в каком настроении пребывает? и так далее, и «наилучшим образом поведение человека может быть осмыслено и предсказано лишь в свете его собственной интерпретации ситуации, создающей контекст для подобного поведения»[1].

Этот тезис самый важный для меня в концепции Нисбета и Росса, а дневник — едва ли не лучший источник для подобного анализа, в определенной степени позволяющий уловить личное восприятие ситуации через тексты и поставить вопрос о том, в какой степени единство экстремального опыта обусловило согласованность его интерпретации (переживания) множеством автономных субъектов[2]. Нарративный анализ дневников, предпринятый мной, может дать интересные ответы.

Нортон Крю, ветеран Великой (Первой мировой) войны, боровшийся с ложью о войне, заключенной в стереотипных представлениях, мешавших свидетелям годы спустя говорить о том, что они видели на самом деле, сформулировал целый ряд «вопросов к свидетелю»[3]. Среди них: есть ли здесь свидетельство от свидетеля? в чем оно? (is there any evidence from witnesses? where is it?) При отслежи-

[1] *Нисбетт Р., Росс Л.* Указ. соч. С. 93.

[2] Именно о самопонимании и самоинтерпретации жизненного опыта советского человека, каким он предстал в дневниках и мемуарах, опубликованных в 1990-е гг., идет речь в книге Ирины Паперно, переведенной недавно на русский язык (см.: *Паперно И.* Указ. соч. С. 7).

[3] *Winter J.* Op. cit. P. 25.

вании подобных свидетельств изучение выбранных мной дневников позволяет выявить три магистральные темы.

Во-первых, это тема повседневной жизни. Важность быта, связанная с постоянной необходимостью заботиться о собственном выживании и жизни близких. Добывание еды, обуви, документов, прописка, помывка, книги, кино, театры, марш-броски, бомбежки, обустройство жилья (землянок, траншей, блиндажей, коммуналок, углов) — нормализация ненормального опыта.

Во-вторых, рутинизация военной жизни в целом при готовности к смерти. Даже в Ленинграде, как только закончилась первая блокадная зима, когда мысли о жмыховом супе и вареве из столярного клея затмевали все остальные, люди вернулись к формам существования, которые они часто прямо именовали нормальными. Хирург переживал об отсутствии времени на научную работу, чтобы обобщить опыт блокадной зимы за операционным столом, мать страдала из-за того, что сын украл у соседки пуговицы, кинотеатры и театры были переполнены. Поразительно, но это так.

18 января 1943 г. профессор медицины Борис Абрамсон впервые указывает не только дату, но и час в своем дневнике:

> «23 ч[аса]. Только что передали по радио: блокада Ленинграда прорвана! Войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились! Взяты Шлиссельбург, Синявино, Дубровка и много других пунктов… Семнадцать месяцев блокады, которые мы провели в стенах города и провели стойко, закончились. Долго же будем помнить многое из пережитого за эти семнадцать месяцев. И многое будем вспоминать с сожалением. *Как это ни парадоксально, но мы за последнее время "обжились" в блокаде* [выделено мной — *И.С.*]. А может это была только всесильная привычка?»[1]

В-третьих, в дневниках, имплицитно и эксплицитно обнаруживается «философия жизни» на войне практически без газетного пафоса. Так, в свой сороковой день рождения 4 марта 1942 г. находящийся в оккупации сельский учитель Василий Сергеевич Савельев пишет:

> «… Сегодня прошел сороковой год моей жизни, и я перешел в пятый десяток жизненного пути. Жизнь складывается не из плавно идущих линий, а из зигзагов и вихрей. Чего только не испытаешь в продолжение ее; надежды сменяются отчаянием,

[1] *Абрамсон Борис Петрович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/37267 (дата обращения: 15.10.2020).

разочарованием; иногда, как в настоящее время, жизнь давит всей своей тяжестью, но хочется жить, чтобы мыслить, сознавать бытие и надеяться на лучшее. И я говорю: “Пройдут невзгоды, и жизнь блеснет своим проблеском лучшего!” Тяжело жить, но лучше жить, чем умереть рано»[1].

Подчеркиваю, что главные темы последующего изложения выбрала не я — их «назначили» (наделили значением) авторы дневников.

Свидетельства от свидетелей

Дневниковые материалы, проанализированные далее, организованы тематически: быт, работа, искусство, власть, эмоции, мораль, хотя понятно, что часто даже самые короткие записи невозможно свести к одной теме.

Многие мои персонажи начали вести дневник 22 июня 1941 г. или позднее подытожили прошедшие с начала войны месяцы. Вот, в частности, одна из записей, сделанная 22 июня 1941 г.:

> «Какой страшный и трудноописуемый день! Сообщение т[варища] Молотова застало в парикмахерской. Осознать, что будет? Трудно представить, но предчувствую, что очень ужасное. Взяла платье из ателье, но так, без настроения, сшито с моим вкусом, английский стиль. Это все в моем характере, но это все уже не радует.
>
> Трудно себе представить, какое чувство окутало меня, и, глядя на людей в доме, которые носят песок на чердак, тяжелыми непонимающими глазами [так в документе — *И.С.*], стала заниматься тем же и я. В 6 часов провожаем Костю Бочкова, и сегодня же проводила Николашку. Чувство этой разлуки людей сщемило сердце, и казалось, его у меня забирают навсегда. Но крепкое рукопожатие столько вкладывало надежды для победы и силы для борьбы, что ушла одинокой, но сильной и уверенной.
>
> Как много сцен на вокзале! Плач жен, детей, хочется утешить всех, но, слабая в этих силах и чувствах, ушла домой»[2].

Предчувствия ужаса, платье в английском стиле — и уже проводы на фронт и плач.

[1] *Савельев Василий Сергеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/462225 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Маруся К.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/518902 (дата обращения: 15.10.2020).

«“Обжились” в войне»

Если анализировать тематику военных дневников, прочитанных мной, то, прежде всего, поражает значимость, которую люди, ведущие их, придают бытовым вопросам. Все усилия по добыванию еды, одежды, организации помывки, починки, уборки отражаются в дневниках не эпизодически, а регулярно. Быт настолько сложен и экстремален, что оттесняет на второй план другие дела и мысли или неотделим от них. Так, Андрей Авдеев, 30-летний агротехник, а на войне минометчик, в записи 27 февраля 1944 г. в один ряд ставит успешную контратаку и завершивший ее подвоз кухни:

> «Отражаем четыре яростных атаки противника. … Перейдя в контратаку, мы значительно расширили плацдарм. Сегодня переправили сюда кухню, встречу этому “виду вооружения” организовали более, чем торжественную. Еще бы! С 22-го февраля в нашем рационе только мерзлый хлеб и мерзлые консервы, да немного спирта.
>
> А как приятно в феврале, да на морозе похлебать горячей похлебки! Неважно какой, лишь бы горячей. Поневоле встречаем с такими почестями. У некоторых даже ура! прорывается из уст от восторга»[1].

Григорий Васильевич Балицкий, командир партизанского отряда, 22 сентября 1942 г. пишет об итогах диверсионных операций: «8 ночей не спал, сил нет, но энергия для борьбы с врагами очень большая. Спущено под откос 8 вражеских эшелонов, но на этом борьба не кончается, 8 эшелонов уничтожено только с 22 августа по 22 сентября...» Запись он завершает словами: «Народ подбодрился, хорошо покушал. Создано неплохое ЭНЗЕ (500 гр[амм] сала и 2 кг хлеба, имеется мука — 3 пуда, фасоль — 2 пуда и т. д.)»[2]

Тема еды и голода рефреном проходит через все дневники[3]. Хотя большинство пишущих значительную часть жизни прожили в условиях экономики скудости, часто голода и привыкли к обстоятельствам выживания, они начали прямо и подробно об этом писать.

В записях блокадников применительно к продуктам сокращение «и т. д.», которое использует Балицкий, перечисляя наличные

[1] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54181 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Балицкий Григорий Васильевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/149661 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] О ситуации с продовольствием и голоде в годы войны см.: Hunger and War: Food Provisioning in the Soviet Union during World War II / ed. by Wendy Z. Goldman and Donald Filtzer. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015.

продукты, уже немыслимо. Там добытое, съеденное и припасенное столь скудно, что почти всегда описывается со скрупулезной точностью. Пример тому — дневниковая запись Марии Васильевой от 4 февраля 1942 г.:

> «Среда. ... Подвели итоги пищевым продуктам.
> 1 чашка чечевицы — один день питания.
> 2 чашки лапши — два дня питания.
> 18 картошин — три дня питания.
> 2 раза капусты — четыре дня питания.
> 3 раза риса — три дня питания.
> Итак, полмесяца февраля еще протянем. Веруся с работы принесла дополнительное питание — желе, всем досталось по 1,5 столовой ложки и по пол коржика»[1].

Понятно, что в Ленинграде каждая брюква могла стать спасением жизни, но и Георгий Эфрон в хлебном городе Ташкенте вечно голоден, всегда, по его словам, озабочен «жратвой». Изо дня в день фиксируя все, что удалось достать, выменять и съесть, 19 января 1943 г. он отмечает: «Меня все время терзает какой-то сумасшедший голод. Сегодня ел коврижку и бублики; сейчас варю перловую кашу. Блокада Ленинграда прорвана! И вообще замечательные успехи»[2].

Эвакуированная из Смоленска в Горьковскую область девочка 16-ти лет сетует 29 мая 1942 г.: «Жизнь сейчас у нас очень плохая, мы на троих получаем один суп и одну кашу за весь день»[3].

По свидетельству практически всех авторов, мысли о еде не оставляли их ни днем, ни ночью, но и многие другие заботы постоянно отражаются на страницах дневников.

> «20.30. Поселок Долгопрудная, здание Авиатехнического института. Резерв н/с — Гунарти. 3-я мучительная ночь. Температура в помещении как в обыкновенном трамвае зимой...
> Матрац, как прибывший недавно, я получить не сумел. Не хватило. Сплю, если можно так выразиться, нателив на себя 3 тонких нижних рубашки, 2 теплых, свитер, 2 верхние рубашки, 2-е теплых кальсон, 2-е суконных брюк, 1 стеганные брюки. На ногах 1 бумажные носки, меховые рукавицы, 2 пары байковых портянок, 1 пара — летних. На руках теплые перчатки, шапка и шинель с откинутым воротником», —

записал в своем дневнике 21 марта1942 г. Николай Пантелеевич Иванов[1].

Описание способов решения бытовых вопросов часто позволяет судить о силовых линиях в том или ином социуме, о жесткости конфликтов. Так, в сделанной 16 сентября 1942 г. короткой записи командира партизанского отряда Григория Васильевича Балицкого, посвященной дележке вещей и продуктов, добытых в результате операции, мы встречаем и суждения о непозволительной в этом вопросе демократии, и рассказ о расстреле мародера:

> «Настало утро дележки, делили хлеб, яички и свиней. Много неприятностей через товарищей с группы автоматчиков тов[арища] Ковалева. Было решено, чтобы все вещи и продукты после операции делить пропорционально между группами, но вышло так, что сам Аллах не разберет. Ковалевцы еще в деревне разобрали почти все вещи, забранные у полицейских. При распределении вещей некоторые бойцы моей группы проявили недисциплинированность, даже некоторые хотели проявить демократию в этом вопросе. Хоменку было приказано отдать рубахи и куфайки т[оварищу] Пивню. Хоменко заартачился. Кроме того, Хоменко не раз проявлял недисциплинированность, [допускал] проявление мародерства. Так, 15 сентября [19]42 г. Хоменко был послан в засаду со стороны Городня-Гомельская. Вместо того чтобы честно нести службу, этот мерзавец бросил пост и зашел к одной красноармейке, у которой забрал куфайку, верхнюю рубашку и [на]тельное белье. Хоменко не раз не выполнял моего приказания. Хоменко Е.В. 16 сентября [19]42 г. был расстрелян»[2].

Практическим культовым ритуалом в военных дневниках предстает баня и даже обычная помывка. Мытье и стирка для большинства населения в условиях войны оказались недоступной роскошью, а вши и кожные заболевания — неизбежностью. Блокадники замечают в дневниках, сколько месяцев они не мылись и даже не умывались. Служащие в госпиталях и детских учреждениях как великое благо отмечают возможность принять душ на работе. Впрочем, не везде и в больнице доступна такая роскошь. Датированное 15-м января

[1] *Васильева Мария Алексеевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/49981 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Эфрон Георгий Сергеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/48978 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Н.Н.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/572680 (дата обращения: 15.10.2020).

[1] *Иванов Николай Пантелеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/99129 (дата обращения: 23.10.2020).

[2] *Балицкий Григорий Васильевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/149655 (дата обращения: 15.10.2020).

1942 г. описание ленинградской больницы в дневнике хирурга Бориса Абрамсона леденит душу:

> «Больно смотреть на ужасающий развал больницы. Жестокий, все сковывающий холод, температура в палатах около нуля, в операционной 3–5 градусов. Мрак. Лопнувшие батареи и трубы, всюду лужи замерзшей воды. Померзла кровь на леднике. Операций по-прежнему мало, но все же вчера вводил спицу в бедро, сегодня раскрывал тяжелую флегмону кисти. Ходим по отделению в шубах; больные лежат в своих полушубках, в валенках на голых матрацах, кишмя кишат вшами. У меня самого ощущение постоянного зуда…»[1]

Солдаты и партизаны мечтают о бане и всякий раз упоминают ее. Баня становится значимым событием в череде смертельных боевых операций. Попав в цивилизованные условия, люди с трудом перестраиваются, что, в частности, подмечает в своем дневнике 23 декабря 1942 г. Андрей Авдеев: «За два дня пребывания в Москве меня окончательно замучила культура. Я за эти два дня одевался и раздевался в несколько раз больше, чем за полтора года на фронте»[2].

В дневниках люди предстают стихийными экономистами, довольно много места уделяя таинствам и очевидностям экономических обменов, в которых деньги не всегда служили всеобщим эквивалентом. Дневники содержат прекрасный и, возможно, уникальный материал для изучающих экономическую «историю войны снизу». Анатолий Кузьмич Тарасенков 8 февраля 1942 г., к примеру, пишет: «На рынке был на днях. Купил горсть лимонной кислоты за 70 руб[лей]. Вкусно. Продают хорошие вещи. Единственное мерило — еда. Кусочек сахара, хлеба, мяса — на вес золота»[3].

Мария Васильевна Васильева в блокадном Ленинграде регулярно продает карточки на водку, табак и даже на хлеб; полученные деньги посылает 16-летнему сыну, эвакуированному в Новосибирск, и регулярно фиксирует «обменный курс»[4].

---

[1] *Абрамсон Борис Петрович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/37241 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54082 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Тарасенков Анатолий Кузьмич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/288083 (дата обращения: 15.10.2020).

[4] См., напр.: *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258579, https://prozhito.org/note/258615 (дата обращения: 15.10.2020).

Подтверждения своим наблюдениям я нашла и в проанализированном О.Л. Лейбовичем дневнике рабочего А.И. Дмитриева, который «может служить путеводителем по рыночным и государственным ценам 1941–1955 гг. в г. Молотове»[1].

Работа имеет значение

Все авторы дневников во время войны работали или учились. Они не только пишут о своей работе, но и отмечают такие вехи, как окончание школы, получение новых званий, смену работы, возвращение к работе по профессии и пр. Так, 15 января 1942 г. Борис Абрамсон отмечает:

> «И на фоне этого какой иронией звучит представление меня к ученому званию профессора, состоявшееся на последнем Совете института. Что же — буду умирать (а может быть жить? — опять надежда!) профессором…»[2]

Работа (чаще всего это тяжелый изнурительный труд) позволяет выжить и спасти от голодной смерти семью, помочь фронту, защитить от врага дом. Почти всем, независимо от основного дела, пришлось побывать землекопами и пожарными. Работа дает чувство значимости, профессиональной гордости, востребованности, коллективности (это часто отмечают, например, врачи, музыканты).

Анатолий Кузьмич Тарасенков, литератор, газетчик, застигнутый войной в Таллине и назначенный ответственным редактором многотиражки ПВО «На боевой вахте», сообщает 7 июля 1941 г.:

> «За первый месяц войны написал около полу тысячи строк стихов и около пяти листов прозы (очерки, статьи, передовицы, заметки). Никогда в жизни я так интенсивно еще не работал. Но это интересно. Правда, я совсем не думаю, что качество написанного высоко с литературной точки зрения. Тут уж ничего не поделаешь — такая обстановка, такие задачи...»

Фронтовая жизнь тоже часто описывается как будничный труд. Офицер-разведчик Владимир Тарасов постоянно использует слово «работа» в описании боевой жизни:

> «…Постоянно двигаюсь впереди, чтобы разведать дорогу, расставить указки для быстроты передвижения остальных подразделений полка. Утомительная *работка*! Ночью двигаешься,

---

[1] *Лейбович О. Л.* «Недурно бы получить сколько-нибудь премии…»: Советский рабочий наедине с дневником (1941–1955) // ШАГИ/STEPS. 2017. Т. 3. № 1. С. 128.

[2] *Абрамсон Борис Петрович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/37241 (дата обращения: 15.10.2020).

а днем *работаешь* [выделено мной — *И.С.*]. Отдыхать приходится по 5–6 часов в сутки, но я считаю это очень хорошо» (20 октября 1944 г.)[1]

Часто очень напоминает работу и описание самих боев:

«Выбрали площадку, установили минометы, вырыли окопы, наспех соорудили наблюдательный пункт и открыли ураганный огонь по скоплению противника. Наложили мы тут немчуры, как дров» (5 июля 1944 г.)[2]

«Охрана на железной дороге усиленная, так что пришлось подрывать шнуром. Очень опасно, но интересно рвать шнуром. Заряд кладешь, когда состав от тебя метров в 200, и сидишь в 30 метрах от полотна. Только что паровоз подошел к заряду, дергаешь шнур и беги. А через тебя уже летят шпалы, рельсы...» (10 октября 1942 г.)[3]

В тылу Маруся К. отвечает себе на извечный русский вопрос:

«Что делать? Строить баррикады! ... Я на заставе строю баррикады, теперь я уже умею мешать цемент и класть кирпичи, еще есть специальность. Дождь, грязь, идет стрельба, но работа продолжается» (27 октября 1941 г.)[4]

Потом она будет с энтузиазмом работать в бюро агрегатных станков.

Самые страшные дни стынут в Ленинграде, но мысли преподавателя Бориса Абрамсона о зимней сессии:

«… Как она может пройти, если студенты более двух месяцев почти не ходят на практические занятия, очень плохо — на лекции и вовсе не читают дома! Занятий фактически нет, но Ученый совет собирается аккуратно, через понедельник, и слушает защиту диссертаций. Все профессора сидят в шубах и шапках, все осунулись и все голодны» (30 декабря 1941 г.)[5]

И такие привычные профессиональные размышления сельского учителя Василия Сергеевича Савельева в школе при оккупантах:

[1] *Тарасов Владимир Дмитриевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/551464 (дата обращения 15.10.2020).

[2] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54211 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Васёна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/219955 (дата обращения 15.10.2020).

[4] *Маруся К.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/518911 (дата обращения: 15.10.2020).

[5] *Абрамсон Борис Петрович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/37239 (дата обращения: 15.10.2020).

«Понедельник. Вот сейчас пришел из школы — отпустил своих учеников на лето после года занятий. Пришел, и грустно стало, как будто чего-то не хватает. Грустно от сознания бедности нашей, от сознания того, что надо было больше дать начатков знаний, но при всем старании при настоящем положении ничего большего не получилось. Но я счастлив, сознавая, что год учебный не пропал даром, а хотя и с великими трудностями, но мы пришли к его концу и завершили его…» (31 мая 1943 г.)[1]

Власть и строй

О партийной власти и советском строе на разных уровнях властной структуры писали немногие и обычно о власти «ближней»: местных администрациях, начальниках, командовании и непосредственных командирах.

Чаще всего критикуют командование. Идеалистка Васена, готовая повторить подвиг Зои Космодемьянской, 21 июня1943 г. пишет:

«Вчера не удалось взорвать эшелон. … А тут еще идут радиограмма за радиограммой — требуют при взрыве доставать документы, чтобы узнавать номера частей, едущих на фронт. Ну и безголовые сидят в Центре! Неужели они не знают, что как только взрыв, мы бежим сломя голову от железки. Минута задержки, и ты уже окружен. Вот бы сюда того, кто пишет радиограммы»[2].

Сельский учитель Савельев откровенно и горько высказывается о бестолковости командования во время отступления лета 1941 г.:

«Непостижимое, неподдающееся описанию творится дело. Ужаснется и содрогнется будущее, глядя на прошлое! 22-го июня гитлеровская Германия после двух лет договора напала на нашу землю. В течение двух месяцев ее войска прошли большое расстояние от нашей западной границы. Сопротивление оказывалось только на некоторых участках, а на таких, как Псков и севернее, было позорное бегство, когда побросали все от страха быть захваченными и добежали до г. Луги почти без оружия. Наше место у Кр[асной] Гор[ы], которое, думал никогда не увидит войны, стало фронтом настоящих военных действий. Больше месяца, примерно с 12–14 июля были немцы

[1] *Савельев Василий Сергеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/462307 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васёна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/219981 (дата обращения 15.10.2020).

у Осьмина и под Лугой. Наши занимались какой-то непонятной тасовкой войск, но никаких действий, за исключением Луги, не предпринимали. Была досадная беспомощность и бестолковость командования, когда бойцов и целые части оставляли на произвол судьбы» (30 августа 1941 г.)[1]

У 16-летней Н.Н., встретившей войну в Смоленске, совсем иные заметки. Понятно, что в начале войны охота на врагов активизировалась, и девочку волнуют шпионы, проникшие на важные должности:

«В эти дни массами ловили шпионов. Многих ловили дети. Одного шпиона нашли на польском кладбище, переодетого цыганкой. Много шпионов пойма[ли] в военной форме. К одним надом пришло шесть человек и потребовали поесть. Жена стала их кормить, а муж пошел и привел из унквде. Их забрали и они оказались шпионами. Шпионы очень много навредили. Когда начиналась бомбежка они с военных предприятий давали ракеты. Директор военного завода № 35 оказался вредителем. Профессор Некрасов тоже и много других которые стояли на военных госуд[арственных] постах» (не ранее 26 июня 1941 г.)[2]

Самый удивительный exemplum разногласий с системой я обнаружила в дневнике Лидии Тхоржевской, и потому я приведу длинную запись из ее дневника. Она не просто не принимает или критикует советскую власть и большевистскую идеологию, она находит примеры и приводит аргументы, мыслит политически и не боится записывать свои мысли. В 1941 г. ей 23 года. Обычная советская женщина из Свердловска, ну, не совсем обычная — верующая и часто обращавшаяся мыслями к Богу. Романтичная, влюбленная. Проводила на войну мужа 27 июня 1941 г. Эшелон его разбомбили, он тут же пропал без вести, но она ждала. До рождения сына записи в дневнике почти все только о любви, прошлом, ожидании, тоске, надежде. В марте 1942 г., когда у Лидии родился сын, она с родителями, спасаясь от голода, перебралась в деревню, где работала в леспромхозе заведующей смолокуренно-скипидарным производством. В 1943 г. муж обнаружился в заключении, ей сообщили приговор «ужасный, страшный, без надежды на будущее». Переписываться с ним она не могла, но снова ждала. 15 октября 1945 г., проделав привычный путь на работу, написала в дневнике целое эссе «От кордона до Смолокурки!»:

[1] *Савельев Василий Сергеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/462129 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Н.Н.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/572570 (дата обращения: 15.10.2020).

«В 1790 году русский писатель Радищев напечатал книгу “Путешествие из Петербурга в Москву” и за это получил десять лет ссылки в Сибирь. Прошло сто пятьдесят лет с тех пор, эта книга дошла до наших дней, и странно то, что она правдива и даже более ужасно правдива в настоящие дни. Сменила Россия царицу Екатерину Вторую, свергла самодержавие, буржуазная республика сменилась советской властью, и за последние двадцать восемь лет диктатуры пролетариата Россия изменилась только в одном: и на Урале, и в Сибири выросли большие заводы, без конца выпускающие технику для войны. Выросли города, индустрия страны, но, в общем, жизнь людей — и деревни, и города — стала невыносимой. Что можно еще взять от русского человека, если у него взяли хлеб, соль, одежду, здоровье, собственное мнение, совесть, и все это уничтожено диктатурой. Собственно, кому же хорошо живется от этой народной власти? Всем, но только не русскому народу»[1].

В дневниках почти не встречаются славословия в адрес власти, но очень много полных гордости сообщений о наградах и принятии в партию, и в этих случаях мы наблюдаем фактически отождествление с властью (и ее языком):

«Четверг. …Сегодня давали медали “За оборону Ленинграда” — пока верхам. Я бы очень хотела получить такую медаль. Помоему, я имею на нее право, а как бы я ею гордилась» (3 июня 1943 г.)[2]

«Меня приняли! Я кандидат партии! Я верил в нее, верил в Сталина! Сейчас верю еще больше! Я чувствую себя совсем иначе. Ведь теперь на мне лежит гораздо больше ответственности» (18 июня 1942 г.)[3]

Искусство

В дневниках постоянно встречаются невероятные перепады между описаниями страшных будней и редких просветов. Такие разрывы часто связаны с походом в кино или на концерт в тылу или приходом кино и концерта на линию фронта. Хорошо известно об активной культурной политике в годы войны: о фронтовых актерских

[1] *Тхоржевская Лидия Александровна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/386967 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258548 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Августынюк Александр*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/442722 (дата обращения: 15.10.2020).

бригадах, переполненных кинотеатрах и концертных залах, радиопрограммах, выпуске кинофильмов и пр. Достаточно известно и о рецепции искусства: востребованности военных песен и стихов, роли концертов на передовой, любви к популярным киноактерам. Дневниковые записи фиксируют каждое такое событие. Потребность в искусстве была огромная, стремление на концерты и в театры безудержным, радость от встречи с живыми актерами — безмерной.

В тылу люди ждут каждой возможности побывать в кинотеатре. «На днях смотрела кино “Петр I” 1 серию. Кино очень интересное. Играют хорошие артисты: Симонов, Жаров, Тарасова, Черкасов и др. Особенно хорошо играет Жаров в роли Меншикова», — записала Н.Н. в своем дневнике 3 февраля 1942 г.[1] Мария Васильевна Васильева 25 апреля 1943 г. «днем пошла на фильм “Леди Гамильтон”». Была потрясена и собиралась пойти снова[2]. Андрей Авдеев, в 1944 г. находившийся в госпитале в Москве, приводит целую культурную программу для раненых, правда, без комментариев:

> «…В концертном зале им[ени] Чайковского слушали выступление русского народного хора им[ени] Пятницкого.
> …В концертном зале им[ени] Чайковского смотрели художественную выставку картин Репина, и выступление войск [народного]К[омитета]В[нутренних]Д[ел].
> …Организованно посетили выставку трофейного вооружения.
> …В театре войск [Народного]К[омитета]В[нутренних]Д[ел] смотрели постановку “Свадьба в Малиновке”» (11, 12, 15 и 25 августа 1944 г.)[3]

Важным транслятором произведений искусства служило радио. О прослушанных по радио концертах и операх упоминают почти все находившиеся в тылу авторы дневников. Так, 31 мая 1943 г. Мария Васильева подчеркивает: «Сейчас была исключительно интересная передача “по листкам календаря”: Пушкин, Глинка, Белинский, А.Н. Островский. Пел, и пел божественно, романсы на слова Пушкина Глинки и Чайковского Козловский»[4].

[1] *Н.Н.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/572630 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258510 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54228, https://prozhito.org/note/54229, https://prozhito.org/note/54230, https://prozhito.org/note/54231 (дата обращения: 15.10.2020).

[4] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258545 (дата обращения: 15.10.2020).

Отсутствие радио воспринималось как трагедия. Н.Н., перебравшаяся с мамой из Нижегородской области в Сыктывкар, где они лучше устроились с жильем и где в обед давали «суп овсяный, огурцы со сметаной, блины со сметаной, сыр голандский и сколько угодно сладкого чая», тоскует без радио и наконец, получив его, 1 августа 1942 г. записывает: «Я так хотела иметь радио, слушать, чем дышит страна и теперь радио говорит целый день»[1].

Эмоции: счастье и горе

Судя по дневникам, война — время напряженных эмоций, главные и общие для всех: чувство любви, тоска и скука, радость, отчаяние, страх[2].

Описания любовных переживаний — едва ли не самые распространенные эмоциональные характеристики дневников.

2 марта 1942 г. в дневнике Лидии Тхоржевской появляется сделанная красными чернилами надпись прописными буквами: «В НОЧЬ С 1 НА 2 РОДИЛСЯ СЫН ВИТАЛИЙ!»[3]

С любовью к близким у людей связаны самые разные чувства: тоска, надежда и постоянная тревога:

> «Вечером получила чудную открытку от Коленьки. Все забыла. Все неприятности, усталость, а боли в ногах как рукой сняло. Письмо полно интересами театра и филармонии. На заводе все хорошо. Господи, помоги ему быть счастливым» (9 апреля 1943 г.)[4]

Любовь у авторов дневников присутствует, кажется, у всех, счастливая и несчастливая, зрелая и верная у взрослых людей, детская, безответная, как у партизанки Васены, и все о ней пишут или ждут, но не все находят слова, чтобы описать свои чувства. В этом, в частности, признается Андрей Авдеев 14 апреля 1942 г.: «Встретился с Нюсенькой после разлуки более, чем в течении двух лет. Сколько счастья! — на бумаге не опишешь»[5].

[1] *Н.Н.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/572686 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] Подробнее о роли эмоций в социальных процессах см.: *Лившин А.Я.* Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М.: РОССПЭН, 2010; *Плампер Я.* История эмоций. М.: НЛО, 2018; Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe / M.D. Steinberg, V. Sobol (eds.) DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011.

[3] *Тхоржевская Лидия Александровна.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/386923 (дата обращения: 15.10.2020).

[4] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258494 (дата обращения: 15.10.2020).

[5] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54003 (дата обращения: 15.10.2020).

Как ни странно, в дневниках нередко упоминается скука, несмотря на предельное перенапряжение жизни на фронте и в тылу. Оказывается, недосыпание, опасность, усталость, голод спасение от скуки вовсе не гарантировали. Скучала обычно молодежь в тылу, солдаты на переформированиях и в госпиталях:

> «23 и 24 сижу все время дома, на торф не хожу. От отца вестей нет. Очень скучно, вспоминаю Смоленск…» (24 сентября 1941 г.)[1]
>
> «Прибыл в Харьков. Пока оставлен в резерве. …Мучительно протекают дни. На фронте куда веселее! Единственное развлечение — кино. Посмотрел фильмы “Два бойца”, “Золотой ключик”, “Маскарад”, “Арсон”, “Дочь моряка” … Все еще в резерве, тоска замучила. Немного рассеялся» (4 октября и 30 ноября 1944 г.)[2]

Упоминания о скуке встречаются даже в боевой обстановке. Именно с этого слова начинается запись Григория Балицкого, сделанная 24 сентября 1942 г.:

> «Скука. Ночь прошла спокойно. Сегодня подготавливаю на операцию по уничтожению полицейской сволочи в селе Добродеевка. Это делается с тем, чтобы ежедневно не ездить на хозяйственную операцию. Спокойно ходить на диверсии.»[3]

Однако радость, веселье тоже не исчезли в дни войны и упоминаются многими. Люди в самых мрачных обстоятельствах устраивают себе праздники, посиделки, танцы. Так, в том же дневнике Г. Балицкого в записи от 11 января 1942 г. находим:

> «Лысенко организовал нам встречу неплохую, но сам [он] и его комиссар Криницкий почему-то скучали. Пришлось вместе с Алексеем Федоровичем взять на себя все веселье, — сами организовали танцы, песни и т. д.; но и сами не отставали — принимали самое, что и [есть] активное участие в танцах и песнях.»[4]

Поводом для веселья может быть что угодно, но всегда моменты развлечений вписаны в существование, полное опасности, смертей, страдания.

[1] *Н.Н.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/572571 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54234, https://prozhito.org/note/54241 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Балицкий Григорий Васильевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/149663 (дата обращения: 15.10.2020).

[4] *Балицкий Григорий Васильевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/149993 (дата обращения: 15.10.2020).

> «Четверг. Целый день в детском саду стоял несмолкаемый хохот. Елена Николаевна (завхоз) и девушки до того изолгались и изобманывались с 1-м апреля, что прямо страх. До 5 ч[асов] веч[ера] меня никак не могли обмануть, а вечером обманули доплатным письмом от Коли. Много смеялись, как дети. Я тоже многих обманула» (1 апреля 1943 г.)[1]
>
> «Вчера всем отрядом были в гостях у Лешки. Общими силами устроили концерт. Вечером разъезжали по деревням с песнями. Совсем забыли, что мы в тылу и что идет война.
> Не всегда же нам грустить?» (27 августа 1942 г.)[2]

Слово «страх» в дневниках почти не встречается в описаниях боев, разведок, диверсионных рейдов, хотя мы знаем из литературы о страхе на войне, видим довольно частые упоминания этого слова в военной переписке[3]. Зато состояние страха описывается в дневниках почти всеми гражданскими: на суше и на море, в районах военных действий, под бомбежками и обстрелами в городах и на дорогах. Так, эвакуация по морю из Таллина, в результате которой был разбомблен практически весь конвой с беженцами, выразительно изображена прыгнувшим в море с тонущего корабля и чудом спасенным из воды Анатолием Тарасенковым в дневниковой записи 28 августа 1941 г.:

> «На палубе страшно. Ночь. Тьма. Все море стонет — “Поомогите, спасите...” Сотни, тысячи людей с погибших кораблей. Спасти их нет почти никакой возможности. Мы — посреди минного поля. Встаем на якорь...»[4]

Буквально двумя днями позже, 30 августа 1941 г., Василий Сергеевич Савельев записал, как он и его односельчане дрожали от страха во время наступления немцев:

> «Обстрел был всю ночь с небольшими перерывами и, примерно, до 7–8 час[ов] утра. 25-го [августа]. Всю ночь мы просидели, дрожа от страха, под воем летящих мин и снарядов и оглушительным разрывом, думая поминутно, что взрыв будет над нами, и наш блиндаж из 3-х накатников не выдержит

[1] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258486 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васёна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/219947 (дата обращения 15.10.2020).

[3] «“Ужас” – одно из самых частых слов, которым авторы замещают конкретный опыт в своих письмах» (*Голубев А.*, *Ушакин С.* Экс-позиция письма: о правилах чтения чужой переписки // XX век: Письма войны. С. 16).

[4] *Тарасенков Анатолий Кузьмич.* Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/288080 (дата обращения: 15.10.2020).

и рухнет. … Народ зарылся в землю, как кроты, и жуть забирала всех, особенно в могильную тишину в перерывы…» (30 августа 1941 г.)[1]

Мария Васильевна Васильева в блокадном Ленинграде больше голодной смерти боялась бомбежек, особенно отметив одну из них: «Четверг. Дежурила в больнице... Ночь была страшная! Бросал бомбы кругом: и в Пролетарский завод и около 23-го детского сада. Такой страшной ночи не запомню…» (20 мая 1943 г.)[2]

Мораль

Война на страницах дневников оказывается вполне совместимой с моралью, даже со «старой» или «общечеловеческой» моралью[3]. В дневниках при оценке других людей и в самооценках мы постоянно видим ссылки на этические нормы, строгий счет, предъявляемый к себе, обращения к идеалам: «Воскресенье. Утром встала рано. Удалось попасть в церковь. Очень хочу быть лучше, но не знаю, как удастся…» (28 марта 1943 г.)[4]

Аморальные поступки, как это убедительно показано в уже упомянутой книге С. Ярова, при этом тоже оцениваются по старой шкале. Вместе с тем некоторые авторы, явно зная, с кого им «делать жизнь», в своих записях обнаруживают значимость и действенность официального дискурса.

«Почему-то все говорят, что я не смогу работать диверсантом. Я слишком для этого тиха и нежна. Даже командир роты предлагает мне перейти в школу радистов.
Но нет. Что я задумала, так то должно и быть. … Думаю, что хватит сил перенести все, и если придется умирать, так умру, как Зоя» (8 мая 1942 г.)[5]

Иногда нарушение порядка вещей объясняется именно обстоятельствами — тем, «что война сделала с людьми»:

«Гуляли до 2.00 ночи. Оригинальная картина (стояли на квартире у одного командира отряда соединения Бегмы): командиру этого отряда 52 года, а его жене — 21 год. [Черт подери], что война сделала, — молодая девушка живет с таким стариком. Что у них общего в семейной жизни — ничего не понятно; какая может быть между ними [супружеская] жизнь, когда он старше своей подруги на 31 год. Это не жизнь, а просто чепуха» (11 января 1944 г.)[1]

Интересно, что, хотя дневники ведутся для себя, я не заметила описания каких-то хитрых или подлых замыслов, оправдываемых хотя бы войной. Если, как иногда говорят, «дневник — зеркало души», то в отобранных мной дневниках, случайно или нет, отражаются только моральные люди. Другое дело, что убийство врагов, предателей, полицаев и пособников воспринимается «по законам военного времени» и моральных мучений по этим поводам не наблюдается. Власовцы и вообще бывшие «свои» вызывают особенную ненависть и оцениваются именно в категориях морали:

«Пришел отряд. Они два дня вели бой с батальоном Березина. Есть же сволочи… Весь батальон насчитывает более 2000 человек. И весь из наших военнопленных. И вот теперь они называют себя “русско-германская освободительная армия”. Не обидно драться с немцами, но со своими — ужасно» (18 августа 1942 г.)[2]

Иногда достаточно одной ссылки на моральный уровень, чтобы понять, как важен для пишущего «моральный облик» человека.

Часто люди укоряют себя за полученное удовольствие, переживают угрызения совести, настолько очевидные, что испытывают потребность выговориться и оправдаться в дневнике:

«Вторник. … Нонна Михайловна предложила билеты на “Морского волчонка”. Была с Марией Ивановной Петровой. … На лестнице домой увидела сестру свою Зою. Гуленька опять заболел. Зоя плачет и волнуется, а мне стало стыдно, что я была на оперетке, хотя я никакого удовольствия не получила. Дома Маруся сидит усталая, усталая. Еще стыднее...» (8 июня 1943 г.)[3]

«Вчера за 5 месяцев войны Туся пришла с ночного дежурства и была свободна до утра. Она дежурила сутки, но просил ее не спать и сходить хоть раз за 5 месяцев в кино. Она согласилась.

---

[1] *Савельев Василий Сергеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/462129 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258534 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] См.: *Яров С.* Указ. соч.

[4] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258482 (дата обращения: 15.10.2020).

[5] *Васёна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/219914 (дата обращения 15.10.2020).

[1] *Балицкий Григорий Васильевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/149993 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васёна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/219945 (дата обращения 15.10.2020).

[3] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258553 (дата обращения: 15.10.2020).

…Трамваи не идут, провода разбиты снарядами, у одного из домов выносят убитых и раненых. Стоит “скорая помощь”. А мы идем в кино!

Туся спрашивает, хорошо ли это? Отвечаю — ведь на передовых позициях тоже концерты бывают! Разве это плохо?! Мы работали — отдых заслужен» (24 ноября 1941 г.)[1]

Мария Васильевна Васильева почти год не получала писем от 16-летнего сына, находящегося в эвакуации в Новосибирске. Каждая ее запись заканчивалась словами «писем нет». Наконец, она дождалась письма от родственника. Сын Коля оказался на сельскохозяйственных работах, потому и не отвечал. Казалось бы, жив, в безопасности, в отличие от нее. Но он начал курить, пуговицы взял и продал какие-то чужие, и она долго переживает, не может успокоиться, записав в своем дневнике 6 июля 1943 г.:

«Вторник. Сегодня звонила Зинаида Александровна, что я получу талон на посылку. Вера Львовна говорит, что я не должна посылать табак, что это поощрение — безумие, а я думаю, что послать надо. Раз уже курит, то лучше помочь ему табаком, чем, не дай Бог, еще какие-нибудь пуговицы. Ведь ему 17-й год, он пережил блокаду, трупы близких мы с ним вместе возили, работает он на заводе. Трудно воздействовать за тысячи километров. Думаю, что надо помочь, а не усложнять и без того сложное. Я в него верила и верю. Он до сих пор был безотносительно честен и правдив»[2].

И не могу удержаться, чтобы не процитировать не однозначный с точки зрения морали пассаж Александра Августынюка:

«Давно не писал! Обнаружил, что все мои труды на огороде пропали даром. Кто-то украл всю капусту. Жаль! А впрочем — раз украл — значит, съел, а раз съел — значит, жив остался! Черт с ним — все-таки свой — ленинградец. Хоть и вор!» (25 сентября 1942 г.)[3]

Победа

Не все герои, по чьим следам я прошла, читая дневники, дожили до Победы, но те, кто встретил ее в разных точках СССР и Европы, непременно отметили это событие в дневнике. Так, 7 мая 1945 г. Андрей Авдеев записал:

«Вечером наши войска овладевают городом Оломоуц, последним пунктом сопротивления немцев в Чехословакии на нашем направлении. Последняя команда моя была: “6-й батарее, по цели № 4, три мины, беглый огонь!”

Она прозвучала, как смертный приговор над вандалами XX века и навсегда останется в моей памяти, так как это был конец пятилетней, кровопролитной войны, конец страданиям миллионов людей!»[1]

17 мая 1945 г. об исходе войны рассуждал в своем дневнике Василий Савельев, но рассуждал иначе:

«... Немного записать о многом, о великом. Ведь война окончилась капитуляцией Германии. Идя домой 8-го, я узнал об этом, а 9-го стало известно везде, как “День Победы”.

Да, победа пришла, но чего она стоила, каких жертв, и будут ли оправданы эти миллионные жертвы? Я не вижу для народа просвета, проблеска луча, ясного голубого неба. Только на словах народ пользуется всем, а на деле этим пользуются только водители. Многие питают иллюзии о чем-то хорошем с окончанием войны»[2].

Язык войны

Приближаясь к заключению, хочу обратить внимание на язык, которым изъясняются авторы дневников. Я имею в виду соотношение официального дискурса о войне (стереотипы, речевые клише и штампы, то есть стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний и синтаксических конструкций, а также общие модели речевого поведения в конкретных ситуациях) и индивидуального, приспособленного к выражению личного. Люди, не искушенные в письме, часто прибегают к литературным штампам. Штампы использовали и многие авторы дневников, особенно, если речь шла о враге (фашистская гадина, кровожадные собаки, грязная рука остервенелого врага, полицейская сволочь), и это не удивительно. Удивительно, что они прибегали к штампам достаточно редко, оставаясь в целом вполне выразительными и самостоятельными в рефлексии о войне. Конечно, пишущие легко дифференцируются по уровню образования:

[1] *Августынюк Александр*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/442683 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Васильева Мария Васильевна*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/258580 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] *Августынюк Александр*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/442730 (дата обращения: 15.10.2020).

[1] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54259 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Савельев Василий Сергеевич*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/462349 (дата обращения: 15.10.2020).

чем он выше, тем нужда в штампах меньше, но есть среди моих не очень образованных персонажей авторы, достойные пера писателя Андрея Платонова.

В дневниках использовались и стереотипные модели речевого поведения. Как показали Й. Хелльбек и С. Коткин, советское общество в этом смысле обнаруживало своего рода диглоссию: говорить на страницах газеты и у себя в деревенской избе с семьей можно было на двух разных языках[1]. Коткин пишет, что «умение говорить по-большевистски было частью “игры” в советскую самоидентификацию, а начать говорить на этом особом языке не означало отказаться от другого»[2]. Но я вижу еще одну причину диглоссии, может быть, не менее важную. Мои авторы высказываются доверительно на страницах дневников, и, если они снуют между двумя языками, то вряд ли делая сознательный выбор, обусловленный контекстом применения, а скорее потому, что для разговора на некоторые темы официальный язык уже интериоризирован ими (особенно часто такие стереотипные заключения сопровождают вступление в партию, успешный бой, расправу с предателем, триумф победы). Во всяком случае, анализ многих дневников, демонстрирующих диглоссию, дает основания скорее в пользу таких предположений.

Например, известно, как описать Москву:

> «Как на крыльях, влетел в Москву. Москва такая же красивая, но теперь она во много раз роднее, чем это было в мирное время. Потому что она зорко стоит на страже Родины. Она — глаза, уши, мозг и сердце нашей страны; отсюда идут по проводам во все концы страны указания и распоряжения» (23 декабря 1942 г.)[3]

Какими словами говорить о победе, было также понятно с самого начала войны:

> «Возможно, это моя последняя запись, но я глубоко остаюсь убежденным в том, что мы победим! Да, мы победим! Кровожадные собаки найдут на нашей земле собачью смерть!
> Таков приговор всего передового человечества, он будет приведен в исполнение» (11 октября 1941 г.)[4]

[1] *Kotkin St*. Op. cit. P. 198–225; *Hellbeck J.* Revolution on My Mind.

[2] *Коткин С*. «Говорить по-большевистски» // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: антология / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Самарский ун-т, 2001. С. 276–277.

[3] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54082 (дата обращения: 15.10.2020).

[4] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/53942 (дата обращения: 15.10.2020).

Андрей Авдеев прекрасно умел писать и своими словами, но, как мы могли убедиться, уверенно владел штампами официального языка. 28 июня 1942 г., наблюдая беспорядочное отступление и хаос, он записывает:

> «…С горечью узнаю о падении города-героя Севастополя. Заклевало проклятое воронье! Остервенелый враг угрожает моей стране, моей дорогой семье. Его грязная рука протягивается к Воронежу, Ростову. Он тянется, как спрут, к Волге, но руки коротки, еще обрубим — погоди!»[1]

Однако заканчивает он эту запись совсем не стандартно, особенно с учетом драматизма ситуации: «…Встретил машину с надписью “Вперед на запад”, хотя она шла на восток. Но скоро шофер повернет руль, изменит свой курс на 180 градусов. Скорее бы!»

Или Александр Августынюк, другой умелец смешивать языковые модусы, пишет 18 января 1943 г., отмечая прорыв блокады:

> «Ура! Ура! Ура! Да здравствует Сталин!
> Слава маршалам Жукову и Ворошилову! Слава бойцам ленинградского и Волховского фронтов!
> Вечная память погибшим!
> Блокада Ленинграда прорвана! Взяты Шлиссельбург, Синявино. На юге наши войска движутся к Ростову. Фрицы летят отовсюду, как пробки. Огрызаются, правда. Стреляют по городу. Летают над нами целыми часами, бросают бомбы, но не в таком количестве, как в прошлом году.
> Ленинградцы едят свои пайки, едят хряпу и работают. От 3 миллионов нас осталось 700–800 тысяч но самых заядлых!»[2]

В целом в дневниках наблюдается крайне редкое использование клише и стереотипов официального военного нарратива, радикальное вытеснение «большевистского», по С. Коткину, и в данном случае не «авторитетного», по А. Юрчаку[3], языка. Никто из десятков

[1] *Авдеев Андрей Архипович*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/54029 (дата обращения: 15.10.2020).

[2] *Августынюк Александр*. Дневник // Прожито: Электронный ресурс. URL: https://prozhito.org/note/442734 (дата обращения: 15.10.2020).

[3] С точки зрения А. Юрчака, гипернормализация и абсолютная формализация авторитетного дискурса советской системы на заключительных этапах ее существования парадоксальным образом привели к фактическому освобождению смысла, который передавался высказываниями, сделанными на этом языке (см.: *Юрчак А.В.* «Это было навсегда, пока не кончилось». Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2014). В дневниках, исследованных мною, этого точно не наблюдается. Здесь речь идет, скорее, об облегчении собственных усилий по репрезентации сюжета/оценки или навязчивости стереотипов.

авторов, кажется, не описывает отступление словами: «Сегодня после тяжелых и продолжительных боев наши войска оставили…»

Заключение: субъектность и идеология

Наблюдения за языком, конечно, подводят нас к оценке содержания рассмотренных дневников и демонстрируют плохую совместимость записей, фиксирующих частные переживания не только с современными мифами о Великой Отечественной войне, но и с официальным «большим нарративом» военных лет. Наше прочтение дневников высвечивает отсутствие потребности в официальных мифах там и тогда, на уровне частной жизни. Это не опровергает утверждения о присвоении медийных образов впоследствии самими участниками войны. С. Яров пишет, что миф стал частью исторического сознания и его возникновение не всегда может быть объяснено только идеологическим давлением[1]. Изучение мемуаров и проведение интервью, относящихся к Ленинградской блокаде, позволили также и Лизе Киршенбаум заключить, что впоследствии «ленинградцы, с трудом справляясь с болезненной реальностью блокады, часто — чтобы придать смысл трагедии — присваивали государственные мифы и инкорпорировали медийные образы и лозунги в свои собственные воспоминания»[2]. Именно поэтому, на мой взгляд, дневники оказываются самым достоверным личным свидетельством о проживании и переживании войны.

В данном исследовании показано, что в условиях войны советские люди наедине с собой писали иначе, чем предполагала официальная картина этой войны. Выбирая другие темы, другими словами, используя иные выразительные средства, они засвидетельствовали свою интерпретацию происходящего и саморефлексию. В целом же на большом массиве дневников можно говорить о вымывании политической повестки хоть в официальном, хоть в критическом изводе, нормализации ненормального опыта через освоение и рутинизацию новых практик или следование образцам довоенной жизни, которую авторы часто именовали «нормальной».

Похожие наблюдения мы находим у составителей сборника военных писем «XX век: Письма войны», изданного под редакцией Сергея Ушакина и Алексея Голубева:

> «…В представленных письмах практически невозможно увидеть большой политики и идеологии. Они — не об этом, а о тяжелой, даже тягостной военной повседневности — о грязи, вшах, смерти, пропадающем вдалеке урожае, тоске по родным»[1].

Конечно, сравнивать письма с дневниками не вполне корректно: письма обращены к другому человеку и его миру (нередко это мир общего прошлого и будущего) и эмоционально иначе нагружены. Письма в России часто зачитываются коллективно. Военная корреспонденция существует также в условиях жесткой цензуры, хотя, как видно из сводок НКВД, представленных в «Письмах войны», имелось достаточно простецов без самоконтроля, не скрывавших от близких тягот и ужаса войны или, по определению энкаведешников, «упаднических настроений». Тем не менее сравнение показывает, что «история войны снизу» демонстрирует приземляющую оптику и в письмах.

Интересное наблюдение на единичном примере дневника рабочего А.И. Дмитриева довольно давно описал О.Л. Лейбович. Он также отметил, что в записях его персонажа преобладают темы городской повседневности, работы и культуры, а «слияние повседневности с политическим сознанием» (по Й. Хелльбеку) обнаружить трудно[2].

Тексты дневников самых разных людей в обстоятельствах войны — в Ленинградской блокаде, на фронте, в партизанском отряде, в диверсионной группе, в эвакуации, в госпитале или лагере — не демонстрируют «дневниковый набор» тем советского человека и способов описания, которые с разной степенью подробности исследовали в своих работах, например, Й. Хелльбек или С. Коткин.

На страницах десятков военных дневников имя Сталина, обращения к нему, упования на него встречаются крайне редко, равно как и отсылки к «мудрости партии» (яркие исключения: вступление пишущего в кандидаты или члены Коммунистической партии, получение награды, славословия победы), но мое предположение состоит в том, что десталинизация, подтвержденная редким присутствием вождя на страницах дневников, была по преимуществу не свидетельством против власти, а удостоверением смены жизненных приоритетов. Люди описывают жизнь на войне «своими словами», скорее всего, потому что для интерпретации их человеческих и нечеловеческих бед, их стремления победить официальный язык непригоден,

---

[1] *Яров С.* Указ. соч. С. 9.

[2] *Kirshenbaum L.* Op. cit. P. 11.

[1] *Мордвинов Д.* «Все несчастья да несчастья»: о тяготах военного быта // XX век: Письма войны. С. 261. См. также: *Рождественская Е.* Фронтовое письмо // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2018. Т. 10. № 15. С. 78–90.

[2] *Лейбович О.Л.* Указ. соч. С. 124–125.

а другого конвенционального языка они в то время и еще долго после не знают, каждый пишет в одиночку. Их целью вовсе не являлось опровержение официального нарратива, хорошо им известного и в основном для них приемлемого. Их целью было выстраивание личного нарратива как основы для поддержания собственной субъектности и силы духа в экстремальных обстоятельствах, осмысление происходящего с помощью карандаша и бумаги.

Глава I.2. Изотексты как эго-документы: гендерный аспект послевоенной повседневности советских женщин и бывших японских пленных (1945–1955 гг.)[1, 2]

(Н.Л. Пушкарева)

Слово «изотекст» используется в российском дискурсе с начала 2010-х гг. Оно введено в оборот А.И. Куниным, исследователем комиксов, руководителем центра рисованных историй и изображений Российской государственной библиотеки для молодежи. Он исходил из того, что повествование может опираться на визуальный ряд, в котором изображения не просто иллюстрируют, но берут на себя часть функций вербального текста, а иллюстративная роль может даже стать неосновной. Примеры повествований с помощью изображений можно найти в рисованных историях, графических репортажах, русском традиционном лубке, житийных клеймах икон и т. д.

Изотекстами могут оказаться и самоописательные нарративы, как неожиданно открылось мне при обращении к источникам, сохранившим женскую и мужскую социальную память, а вместе с нею — то, что так любопытно и важно этнографам: особенности и детали повседневных практик, отношение к ним людей разного пола. В том случае, когда какая-то информация оказывается за пределами поля воспоминаний, выражаясь метафорически, задвигается в некий «чулан культуры», то для человека, умеющего графически выражать эмоции, изотекст становится способом выговориться, высказать о себе то, что словами трудно передать. Порой это способ заострить внимание на чем-то, а порой — всего лишь часть особенно раздражающих память воспоминаний, касающихся самых обыденных сторон жизни. Гендерный подход во втором случае особенно ценен: он побуждает обращаться к темам, плохо отображенным в официальном публичном дискурсе, поскольку являются травмирующими, неприличными или же мало озвученными в науке, так как затрагивают то

[1] Исследование осуществлено в рамках плана научно-исследовательской работы Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН.

[2] Данный текст представляет собой расширенный вариант публикации: *Пушкарева Н.Л., Икута М.* Советские женщины и японские интернированные (1945–1956 гг.): анализ повседневных практик в ракурсе гендерной истории // Вестник Пермского ун-та. Сер.: История. 2019. № 4. С. 51–67.

обыденное, а порой интимное, что кажется субъективным, мелким, второстепенным по сравнению с общими процессами в экономике, дипломатии или политике[1]. Гендерный подход дает именно новую оптику, в том числе новые акценты в работе с источниками и устными свидетельствами, новые темы, новые грани архивных материалов, предлагая искать там, где еще никто не искал, задавать материалу вопросы, которые не были заданы ранее, а значит, узнавать новое о прошлом, дополнять свое представление о нем.

Обратиться к сравнению обычных изотекстов и воспоминаний побудил коллективный проект «Женская социальная память как консолидирующий потенциал многопоколенной семьи, укрепления государственности и российской нации», который поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Вместе с большим коллективом единомышленниц я собирала воспоминания и мемуары женщин (мужские тексты брались лишь для референцирования), когда знакомая профессор из Университета Осаки Митико Икута обратила мое внимание на множество мемуарных рисунков, сохранившихся от тех японцев, которые «побывали в СССР после войны». Часть этих изображений было легко найти в сети Интернет; японская коллега как раз и обратила внимание на то, что они отразили стереотипы ее этноса в восприятии русских женщин.

Беглый просмотр рисунков японцев поразил лаконичностью и точностью в фиксации деталей нашей повседневной жизни конца 1940-х гг., заставив всерьез обратиться к дипломатической и военной истории двух стран, ее отображению в словесных воспоминаниях.

Исторический контекст: трудности и противоречия в отношениях СССР и Японии в 1940–1950-е гг.

Япония в годы Второй мировой войны была союзником Германии. И хотя в апреле 1941 г. СССР и Япония заключили Пакт о нейтралитете, советское руководство все время ждало внезапного нападения Японии вслед за Германией и держало на дальних рубежах до 28 % своего военного контингента. Когда же Германия капитулировала, а союзник СССР — США — провел две атомные бомбардировки японской земли, СССР, верный союзническим обязательствам, 8 августа 1945 г. объявил Японии войну. Боевые действия были краткими: по требованию императора Сёва японская

[1] См.: *Рингельхайм Дж.* Женщины и Холокост: переосмысление исследований // Антология гендерной теории / сост., коммент. Е. Гаповой, А. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. С. 254–279.

Квантунская армия признала поражение 15 августа 1945 г. Для великой нации, сложившей оружие по приказу императора (традиция заставляла японских воинов всегда предпочитать плену смерть), это было унижение, но оно позволило сохранить тысячи жизней.

Еще через неделю, 23 августа 1945 г., И.В. Сталин подписал решение об использовании японских военнопленных на хозяйственных объектах в СССР[1]. Принуждение военнопленных и интернированных (то есть принудительно задержанных и переселенных) к труду рассматривалось ГКО как возмещение ущерба (репарации) от участия Японии во Второй мировой войне. И хотя японцы участвовали в боевых действиях всего неделю, это стало основанием для использования пленных и интернированных в хозяйственном освоении удаленных от центра советских территорий. Лишь 19 октября 1956 г. СССР и Япония заключили соглашение о прекращении состояния войны, и вплоть до этой даты СССР считал себя вправе использовать союзников Германии на тяжелых работах по всей стране[2].

10 лет экономического «наказания» Японии (1945–1956), равно как вовлеченность в расплату огромного числа мирных жителей, которые и оружия-то в руках не держали, осуждается современной зарубежной либеральной историографией[3]. Она не хочет признавать того факта, что интернирование и депортации были платой за страх войны на два фронта, которая могла начаться в любой момент, за тысячи погибших на западных фронтах, которые могли бы быть спасены, если бы почти треть Советской армии не находилась долгих четыре года на границе с Японией.

Российская историография в споры десятилетиями не вступала. Численность оказавшихся на советской территории японцев исчислялась как сумма пленных (547–640 тыс. человек[4]) и гражданских лиц, в том числе перемещенных из Маньчжурии (3,7 тыс. человек)

[1] См.: Постановление Государственного Комитета обороны № 9898сс «О приеме, размещении, трудовом использовании военнопленных японской армии», 23 августа 1945 г. // Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы / под ред. М.М. Загорулько. М.: Логос, 2000. С. 46.

[2] См.: *Галицкий В.П.* Архивы о лагерях японских военнопленных в СССР // Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 6. С. 120.

[3] См., напр.: *Ealey M.* An August Storm. The Soviet-Japan Endgame in the Pacific War: The Japan Focus // The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2006. Vol. 4. № 2: Электронный ресурс. URL: https://apjjf.org/-Mark-Ealey/1988/article.html (дата обращения: 15.07.2021).

[4] См.: *Галицкий В.П.* Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы // Военно-исторический журнал. 1999. № 4. С. 69; *Карасев С.В.* История плена. Советско-японская война и ее последствия (1945–1956 гг.): автореф. … дисс. д-ра ист. наук. Улан-Удэ, 2007. С. 35.

и с Южного Сахалина (160 тыс. человек[1]). Даже в сравнении с 5 миллионами пленных немцев, работавших на территории СССР по репарациям в расплату за нанесенный СССР ущерб, цифра в 710–803 тыс. (до 1 млн человек) японцев впечатляет. Это была огромная армия бесплатной рабочей силы, отдельных представителей которой страна-победитель заставила трудиться на свою экономику в среднем от 2 до 6 лет. При первой же возможности большинство японцев впоследствии возвращалось в родные дома. А кто-то остался — как Хакамада Муцуо, отец И.М. Хакамады, известной ныне в России женщины-политика, как Ясабуро-сан, женившийся на К. Новиковой, чью историю именуют ныне «колымской сказкой»[2].

Стремление советского руководства скорейшим образом использовать бесплатную рабочую силу японцев не было исключительным отношением именно к ним как к этносу. О том, что в отдаленные от столиц районы и до войны, и после нее свозили осужденных по всем статьям (от политических до уголовных), а также «наказанные народы» — поляков и немцев в 1936 г., корейцев в 1937 г.[3] — было известно. Однако о том, что в СССР работали также и японцы, в открытой официальной печати практически не говорилось до 2004 г., как и о том, что японские пленные и интернированные оказались после 1945 г. раскиданными по всей стране. Их встречали в Краматорске на Украине, в Ивановской и Московской областях, в Татарстане и Грузии, Средней Азии; основная их часть оказалась в Сибири и на Дальнем Востоке СССР.

Чтобы понять особенности повседневности попавших в советские лагеря и на поселения японских пленных и интернированных[4], стоит напомнить о том, что японское правительство не ратифицировало и не ввело в действие Женевскую конвенцию от 27 июля 1929 г. об обращении с военнопленными. Против ратификации такого документа (задолго до начала Второй мировой войны) выступали командующие армией и флотом Японии: они считали, что конвенция своей гуманностью противоречила идее беззаветной храбрости японского солдата, который не имеет права сдаваться.

[1] См.: Российско-японские отношения в формате параллельной истории / под ред. А.В. Торкунова и М. Иокибэ. М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 532.

[2] См.: *Доценко И.* Колымский сюжет для светлой сказки // Российская газета. 2015. 18 дек.

[3] См., напр.: Записка Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х — начала 50-х гг., 25 декабря 1988 г. // Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1995. № 1. С. 123–130.

[4] См.: *Тополь Э.* Япона коммуна, или Как японские военнопленные построили коммунизм в отдельно взятом сибирском лагере (по мемуарам японских военнопленных): Электронный ресурс. URL: // https://www.litres.ru/eduard-topol/yapona-kommuna-ili-kak-yaponskie-voennoplennye-postroili-kommunizm-v-otdelno-vzyatom-sibirskom-lagere-po-memuaram-yaponskih-voennoplennyh/ (дата обращения: 15.07.2021).

Исследование гендерного аспекта «истории советского плена» предполагает фокусировку исследовательского зрения на тех аспектах быта и повседневности, которые оцениваются субъективными, эмоционально нагруженными характеристиками.

Подробности быта японцев, угнанных в СССР, уже описаны в целом ряде работ российских историков, выпущенных как до 2004 г., так и после него, когда с темы был окончательно снят гриф секретности. Определена численность интернированных, порядок их размещения в лагерях, описаны условия жизни и труда, причины высокой смертности[1].

Известно, что японские военнопленные трудились на лесозаготовках, на строительстве жилых и промышленных зданий, а также автодорог. Содержались они в лагерях Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР. Незначительная часть их, осужденных за «антисоветскую деятельность» или за уголовные преступления, оказалась в двух лагерях строгого режима, большая часть работала в отдельных рабочих батальонах Министерства обороны СССР.

Массовый завоз «спецконтингента» пришелся на зимние месяцы; сибирские холода — травматический образ плена для японцев[2]. Непривычная плохая еда, убожество лагерных жилищ, отсутствие нужных лекарств (сыпной тиф и педикулез были бичом прибывших с Сахалина и Японии), изнурительный ручной труд являлись причина-

[1] См., напр.: *Базаров О., Кузнецов С.* В сибирском плену (Японские военнопленные в Восточной Сибири). Улан-Удэ: ОНЦ «Сибирь», 1994; *Бондаренко Е.Ю.* «Жестокий русский плен»? (Свидетельствуют японцы) // Проблемы Дальнего Востока. 1989. № 3. С.101–103; *Она же.* Японские военнопленные на Дальнем Востоке России в послевоенные годы. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1997; *Кузнецов С.И.* Проблема военнопленных в российско-японских отношениях после Второй мировой войны. Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1994; *Кузьмина М.А.* Плен: Японские военнопленные в Хабаровском крае. Комсомольск-на-Амуре: Изд-во Комсомольск-на-Амуре гос. пед. ин-та, 1996; Последние пленники Второй мировой войны. Документы из фондов ЦК КПСС о японских военнопленных / публ. А.М. Петрова // Исторический архив. 1993. № 1. С. 68–78; *Спиридонов М.Н.* Японские военнопленные в Красноярском крае 1945–1948 гг.: проблемы размещения, содержания и трудового использования. Красноярск: Красноярский гос. пед. ун-т, 2003; и мн. др.

[2] См.: *Гучинова Э.-Б.М.* Рисовать лагерь: язык травмы в памяти японских военнопленных о СССР. Sapporo: Slavic-Eurasian research center, Hokkaido University, 2016.

ми высокой смертности «японского контингента» зимой 1945–1946 гг. (80 % умерших, а это тысячи человек, пришлось на эту зиму). За время плена погиб каждый десятый японец, а дистрофией страдал каждый второй-третий. Заработанные пленными ничтожные суммы (зарплаты их были меньше зарплат вольнорабочих в 8–10 раз) так и не были выплачены им при репатриации в силу неконвертируемости рубля[1].

Гендерный аспект демографии 1945–1956 гг.: советские женщины в экстремальной повседневности послевоенного Дальнего Востока

Первые десятилетия советской власти помогли осуществиться значительным демографическим переменам на Дальнем Востоке и в Сибири: женщин там проживало много больше, чем до революции[2]. В довоенные годы они привыкли считать выживание жизнью, обстановка экстремальности была ими (как мы теперь понимаем) нормализована, считалась привычной обыденностью.

Небезызвестный литературный стереотип *тургеневской девушки*[3] вкупе с идеологической индоктринацией, нацеливавшей не только женщин, но и мужчин в СССР быть готовыми отдать жизнь за счастье будущих поколений, сформировал ту модель женского поведения, которая вольно или преднамеренно отобразилась в послевоенных воспоминаниях, записях, изображениях.

Модель эта сложилась на особом этапе женской советской истории с середины 1930-х — до середины 1950-х гг. Его именуют периодом тоталитарной андрогинии — маскулинизации женщин[4]. Это период их экономической мобилизации вначале на подготовку к войне, затем на замещение ушедших воевать мужчин в промышленности

[1] См.: *Еланцева О.П.* Лагеря японских военнопленных на строительстве железной дороги Комсомольск – Советская Гавань: (к вопросу о количественном составе) // Социально-экономические и политические процессы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Материалы и тез. докладов Междунар. конф. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1997. Кн. 2. С. 43–44.

[2] См.: *Арефьева И.А.* Гендерный аспект формирования населения Дальнего Востока СССР: 1920–1930-е гг.: дисс. … канд. ист. наук. Владивосток, 2009.

[3] Тургеневскими девушками (незамужний статус и возраст значения не имеют) именуют сильные женские натуры, возросшие на национальной почве и наделенные готовностью к самопожертвованию, любовью к ближнему и стремлению его понять, равнодушные к невзгодам и трудностям. См. подробнее: *Жиляева Я.* Тургеневские девушки современной России: честная жизнь в ожидании настоящей любви // Неприкосновенный запас. 2018. Т. 3. Вып. 119. С. 145–152.

[4] См.: *Пушкарева Н.Л.* Гендерная система в России XX века и судьбы россиянок // Новое литературное обозрение. 2012. № 5(117). С. 8–24.

и на селе, а после войны — на равноценное участие в восстановлении разрушенного войной хозяйства.

Задачи строительства нового общества требовали гигантских затрат сил, здоровья, времени работавших женщин. С 1925 г. народным комиссариатом труда был разрешен женский труд по ночам и на вредных производствах. Среди сотен тысяч работниц и крестьянок больше 53% составляли малоквалифицированные. Их «вовлекали» в социалистическое строительство, поощряя, например, почти бесплатным жильем, дабы в нем зарождались новые жизни. Послевоенные годы — это время традиционалистского отката в брачно-семейных отношениях, поражения женщин в репродуктивных правах (свертывание производства контрацептивов, запрет абортов, сложности бракоразводной процедуры)[1], их мобилизации на службу государству как репродуктивных единиц и рабочей силы (что и легло в основу структурирующего советскую семью и этакратический гендерный порядок концепта «работающая мать»). Для улучшения управления женскими кадрами государство выработало стройную стратегию подчинения женщин, задействовав и традиционные, и новые гендерные ресурсы[2].

Неустойчивые и опасные условия жизни, экстремальной и после завершения войны, делали семейные и квази-семейные отношения крепче, так как связанные узами привязанности, дружбы, взаимопомощи чувствовали потребность еще более сплотиться во имя самосохранения. Опору таких сплочений составляли женщины[3].

После Великой Отечественной войны соотношение полов оказалось нарушенным: в группе 1914–1918 гг. рождения на 100 женщин приходилось 61 мужчина-ровесник; 1919–1923 годов рождения — 62; 1924–1928 годов рождения — 83,5. Наибольшие расхождения в соотношении полов в пользу женщин наблюдались в сельской местности[4]. Среди мужчин во всех возрастных группах преобладали женатые. Женщины же, особенно старше 50-ти лет, часто были одиночками, растили детей одни. Обострилась проблема пополнения трудовых кадров — как в количественном, так и в качественном отношении[5].

[1] См.: *Timasheff N.S.* The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia. N.Y.: E.P. Dutton and Company Inc, 1946.

[2] См.: *Пушкарева Н.Л.* Указ. соч.

[3] См.: *Фицпатрик Ш.* Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 1930-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2001. С. 169.

[4] См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года: РСФСР. М.: Госстатиздат, 1963. С. 59.

[5] См.: *Вишневский А.Г.* Демографические последствия Великой Отечественной войны // Демографическое обозрение. 2016. Т. 3. № 2. С. 3–42.

Для 1945–1956 гг. были характерны особые формы гендерной мобилизации: во время войны женщины начали заниматься теми видами деятельности, которыми раньше занимались преимущественно мужчины. Трудовой день работниц тыла достиг в городах 10–12 часов, в деревне был еще дольше. После окончания войны, с 1945 г., возвращавшиеся с фронтов мужчины стали вытеснять женщин из положения лидеров, этому способствовало возрастание «символической ценности» мужчин, которых на всех не хватало. Не все женщины и не сразу уступили этому натиску. Традиционные функции разделения труда между полами успешно возродились в условиях постоянного дефицита потребительских товаров. Женщины вязали, шили, готовили, организовывали быт: «доставали» товары в условиях дефицита[1].

Тяжело переносился недостаток продуктов питания. Резко обострившийся в условиях послевоенной разрухи жилищный вопрос сделал основной формой жилья в городах коммунальные квартиры и рабочие бараки[2], от отсутствия приватности в них страдали все[3].

В такой непростой обстановке, когда советским женщинам необходимо было находить пути существования в обстановке дефицита товаров и питания, неустроенности с жильем и огромными нормами выработки на производстве, появление интернированных, привезенных «на помощь», рождало надежду на ускорение процесса нормализации быта.

Вопросы источниковедческого анализа воспоминаний советских женщин и японских интернированных о 1945–1955 гг.

Воспоминания советских женщин редки среди архивных источников о послевоенной жизни, но отчасти нехватка такого рода может быть восполнена устными рассказами-воспоминаниями и публикациями редких женских интервью с бывшими медсестрами в газетах начала 2000-х гг.

[1] См.: *Гордон Л.А., Клопов Э.В.* Человек после работы: Социальные проблемы быта и внерабочего времени: По материалам изучения бюджетов времени рабочих в крупных городах европейской части СССР. М.: Наука, 1972. С. 98.

[2] См.: *Меерович М.Г.* Наказание жилищем: Жилищная политика в СССР как средство управления людьми, 1917–1937. М.: РОССПЭН, 2008.

[3] См.: *Чуйкина С.А.* «Быт неотделим от политики»: официальные и неофициальные нормы «половой» морали в советском обществе 1930–1980-х годов // В поисках сексуальности: сб. статей / под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 99–127.

Что же касается эго-документов, исходящих от японцев, то мемуаров о пребывании в СССР более 2000, они хранимы в «музеях памяти» разных городов Японии, отчасти выложены в Интернет и переведены. Помимо текстов, особую роль в сохранении воспоминаний о пережитом сыграли удивительные для европейцев готовность и умение практически каждого японца рисовать. Часть рисунков была сделана ими еще в 1940-е гг. и сохранилась в архивах, другая, значительно превосходящая первую, появилась много лет спустя, а сами эти мангу (рисованные истории) в 2000-е гг. были выложены в Интернет в открытый доступ. В научный оборот рисунки бывших японских военнопленных впервые были введены С. Кузнецовым и Ю. Михайловой в 2003–2010 гг., но использовались как иллюстративный материал к исследованию истории пребывания японцев в советских лагерях[1], ведь по степени воздействия и непосредственному эффекту визуальные образы превосходят письменный текст[2]. Однако для нас важны не столько иллюстративность и воздействие, сколько сравнение двух типов эго-документов для анализа гендерной и этнокультурной составляющих.

Очевидно, что перед нами документы разножанровые (воспоминания «на заданную тему» советских женщин и желание изобразительным путем осмыслить пережитое у японцев как дополнение к их текстам), так сопоставимы ли они? Насколько дисциплинирующие рамки каждого жанра влияют на контент этих документов? Насколько подробно одни и те же события послевоенного советского прошлого, касавшиеся повседневного быта, освещаются в воспоминаниях советских женщин и интернированных (либо плененных) японцев? Как модифицировано прошлое в этих жанрово различных эго-документах? Что особенно скрываемо? Какую дополнительную информацию исследователь получает, сопоставляя разнотипные эго-документы? Какова морфология редких мультижанровых эго-документов, соединяющих мемуары с рисунками, каковы особенности мемуарных рисунков японцев как эго-документов особого рода?

[1] См.: *Кузнецов С.И.* Россия глазами японских интернированных (1945–1956) // Сибирская ссылка. Вып. 2(14): XIX–XX вв.: сб. науч. статей. Иркутск: Оттиск, 2003. С. 287–304; *Mikhailova J.* Memory, Identity and Images of «Others»: Japanese POWs in the Soviet Union // Hiroshima & Peace / Eds.: Carol Rinnert, Omar Harouk, Inoue Yasuhiro. Hirosima: Keisuisha, 2010. P. 166–179.

[2] См.: *Альчук А.* Сопротивление маскулинности // Наслаждение быть мужчиной: западные теории маскулинности и постсоветские практики: [сб.] / под ред. Ш. Берд и С. Жеребкина. СПб.: Алетейя, 2008. С. 264–276.

Вопросы исследовательского анализа «повседневноведа» и социоантрополога

Помимо этих вопросов источниковедческого анализа, хотелось бы поставить вопросы, типичные для гендерных исследований прошлого.

Что обучало женщин и мужчин, попавших в непривычные житейские обстоятельства, умению совладать с трудностями? Поразному или схоже реагировали женщины и мужчины на необходимость преодоления невзгод и насколько это умение обострялось в обстановке экстремальности? Как менялись в такой обстановке сексуальные пристрастия и что вообще можно сказать об интимном мире тех, кто был окружен чужой культурой и враждебно настроенными людьми, говорившими на чужом языке?

Повседневность людей в периоды социальных потрясений — научная проблема, требующая особых методологических подходов. Случившееся в необычное время предполагает анализ массовых поведенческих реакций в подвижной, нестатичной обстановке, в неразрывном взаимодействии противоположных чувств, ожиданий, стремлений и поступков[1] . Не случайно в XXI в. для историков особое значение обрело частное — личный опыт, чья-то судьба, яркая, показательная история — важно изучать субъективное, слышать *другую историю*[2] и сравнивать ее с той, что считается публичной и официально признанной, восстанавливать прошлое, рассказанное не только громкими мужскими голосами, но и тихим шепотом женщин, а также *других мужчин,* побежденных, неполноправных, зависимых[3].

«Какой маленький!»: гендерный аспект аккультурации (советские женщины-врачи и их отношение к мужским телам японцев)

Под влиянием пропаганды («Японец — союзник немцев!») местное население относилось к прибывавшим на работы иностранцам первоначально очень настороженно и даже враждебно. Дальнейшее знакомство прибывших с не лучшими сторонами советской жизни могло бы привести к тому, что облик русской женщины в представлении японца стал бы мрачным и недружелюбным[1]. Однако даже беглый обзор «изотекстов» японцев убеждает в обратном.

Всем пленным и интернированным пришлось столкнуться с советскими женщинами буквально в первые же дни лишения свободы: именно женщины-врачи участвовали в принятии решения о направлении пленных на те или иные работы. Мало кто из «медичек» того времени записал свои впечатления о работе, к которой их тогда привлекли, но все же они есть, хотя очень краткие: «Положено лечить — лечила, что поделаешь. Снаружи мы пытались не показывать наши настоящие чувства. Относились как к людям, которые не по собственной воле взяли оружие в руки»[2].

Легче судить о межгендерных отношениях по воспоминаниям мужчин-японцев — воспоминаниям, которые буквально пестрят упоминаниями о первичном и регулярном медосмотрах, которые в СССР проводились, как правило, женщинами-врачами[3]. Часто внимание этих врачих к интернированным было значительным, иначе бы один из них не написал впоследствии в адрес «доктора Нечаевой»: «Я молюсь за ваше здоровье…»[4], а другой: «Нас защищала Нина Александровна, военврач-капитан, решительно и непреклонно. Ее красноречие, надежность и доброту мы не сможем забыть до самой смерти»[5].

Сколько таких признаний о конкретных женщинах-врачах, воплотивших в себе представление о русских как нации! Некая Акико Муроками из Киото, попавшая в число интернированных (хотя по большей части попадали мужчины), впоследствии отказалась вернуться домой и так ответила на вопросы японского корреспондента: «Когда я загибалась среди здешних снегов, все меня бросили. Мне помогли выжить русские. Я убедилась, они всегда выручат и придут на помощь»[6].

---

[1] См.: *Трапянок Н.Г.* Социологический мониторинг массового поведения людей в экстремальных ситуациях (методологический аспект): автореф. дисс. … канд. соц. наук. Минск, 2001.

[2] См.: *Колпинец Е.* Песни нативности и опыта // Colta. 2018. 28 апр.: Электронный ресурс. URL: www.colta.ru/articles/specials/17962 (дата обращения: 15.07.2021).

[3] См.: *Кузьмина М.* Указ. соч.; *Кузнецов С.И.* Россия глазами японских интернированных (1945–1956); *Гучинова Э.-Б.М.* Указ. соч.

[1] См.: *Бондаренко Е.Ю.* Японские военнопленные на Дальнем Востоке России в послевоенные годы. С. 68.

[2] *Сафина А.* Встречи с прошлым и настоящим: Немецкие и японские военнопленные глазами жителей Елабуги // Мемориал: Уроки истории. Двадцатый век: Электронный ресурс. URL: // http://urokiistorii.ru/article/1135 (дата обращения: 15.07.2021).

[3] См.: *Кузьминых А.* Иностранные военнопленные и советские женщины // Отечественная история. 2008. № 2. С. 114–119.

[4] *Сафина А.* Указ. соч.

[5] Печальные японские военнопленные были в СССР. Боевые друзья плачут под мерзлой землей: сб. картин. Б/м: Б/и, 1995. С. 65.

[6] Эхо войны на Тихом океане // Моя родина – Магадан: Электронный ресурс. URL: http://www.kolymastory.ru/glavnaya/hh-vek-neizvestnoe-o-vojnah-na-tihom-ok/eho-vojny-na-tihom-okeane/ (дата обращения: 15.07.2021).

Шок плена, интернирования, аккультурации[1] был усилен у японцев неожиданным столкновением с советской политикой гендерного равенства (в частности, в медицине, ведь в Японии мужчины и женщины получали разную зарплату за один и тот же труд, так что во врачевании женщины были только на вторых ролях)[2]. В Японии в 1940-е гг. медосмотры мужчин проводились только мужчинами-врачами, а в СССР их вели врачихи: за годы войны в экстренном порядке были подготовлены сотни женщин со средним и высшим медицинским образованием. Японцев поразил высокий статус женщины-врача в СССР. Эго-документы запечатлели позитивные образы «медичек» — смелых, решительных, легко командовавших мужчинами, равно как и пометки японцев: «…Должность врачей занимали в основном женщины…»[3] (см. вклейку 1, рис. 1).

Увиденных врачей-женщин — как и вообще советских женщин — японцы именовали «мадама»[4]. Позже мемуаристы описывали их в ярких красках («расцветшие, как цветы»), а себя справедливо воспринимали «обтянутыми кожей скелетами, дистрофиками»[5]. «Один раз пришлось мне оказаться перед женщиной-врачом в не совсем пристойном виде, — сетовал мемуарист. — Она переживала за самых исхудавших солдат, настойчиво укладывая их в постель: “Скорее спать!” Голос у нее был очень добрый»[6] (рис. 2).

Истории о том, как женщины-врачи организовывали ежедневные помывки пленных (приказав сделать из железных ящиков умывальники), как их брили и стригли, сохранились в воспоминаниях, легших в основу беллетризированной повести Э. Тополя[7] «Япона коммуна, или Как японские военнопленные построили коммунизм в отдельно

[1] См.: *Суржикова Н.В.* «Мы были в шоке»: Советский плен и интернирование как стресс аккультурации // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Сер.: История России. 2009. № 3. С. 132–143.

[2] См.: *Волынец А.* Как японцы строили социализм на Южном Сахалине в 1945–49 годах // ТАСС: Дальний Восток: Электронный ресурс. URL: https://dv.land/history/stalinizm-po-yaponski-2 (дата обращения: 15.07.2021).

[3] *Киути Н.* Иллюстрированный дневник японского военнопленного // Записки японские военнопленные: Бывший воздушный десант, Киути Нобуо: Электронный ресурс. URL: http://kiuchi.jpn.org/ru/nob/nob_top_m.htm (дата обращения: 15.07.2021).

[4] См.: *Кузнецов С.* Россия глазами японских интернированных (1945–1956) // Окно в Японию: Бюллетень Общества «Россия – Япония»: Электронный ресурс. URL: http://ru-jp.org/kuznetsov02.htm (дата обращения: 15.07.2021).

[5] *Хисанага Ц.* Спи, друг. Реквием по Сибири. Токио: Изд-во Дома евангелистов, 1999. С. 52–53.

[6] *Киути Н.* Указ. соч.

[7] См.: *Тополь Э.* Указ. соч.

взятом сибирском лагере». Часто попадаются в воспоминаниях японских интернированных и рассказы о том, как советские женщины спасали их от болезней. Один военнопленный спустя много лет разыскал русскую медсестру, которая не отходила от его постели несколько суток, и он выжил. Добрые чувства благодарности простым русским людям — самое главное и светлое, что увезли из плена японцы[1].

Постановочное фото, призванное показать, как проходил медосмотр в середине 1940-х гг., являет нам смущенного пациента-японца[2] (опустил глаза, пока его прослушивают, рис. 3). Комментируя эту фотографию из газеты «Нихон синбун», российский антрополог Эльза-Баир Гучинова, зорко отметила, что японец на снимке похож на мальчика, хотя этот человек мог иметь военный опыт[3]. Инфантилизация взрослого — распространенное следствие деперсонализации в условиях плена, когда от бессилия люди начинали вести себя, как дети[4]. Мужчин-японцев смущало и то, что всем им брили волосы в паху (способ избежать педикулеза). Спустя время они посмеялись над этим, вспоминая, что становились, «как девочки»[5] (рис. 4).

Женщины-медсестры не видели в этой процедуре как ничего веселого, так и ничего особо травмирующего, хотя у иных мемуаристов образ женщины с бритвенным прибором наперевес вызывал и много лет спустя малоприятные воспоминания. Одна из таких сибирских врачих изображена на рисунке японского интернированного: толстая баба в халате поверх верхней одежды, с угрожающе нацеленной на стоящих рядом голых мужчин машинкой для бритья в руке. Подпись к рисунку «Прежде всего всех побрили!» говорит о том, что встреча с такой бабищей нежной не была[6] (рис. 5).

[1] См.: *Баранова Е.* Токио в 1945-м предлагал Москве использовать пленных японцев как бесплатную рабочую силу. Многие из них пробыли в советских лагерях долгие годы // Комсомольская правда. 2015. 8 авг.

[2] Осмотр у врача-женщины. Фото // Сибериа ёкурю (Сибирское интернирование) / сост. К. Сато. Токио: Изд-во Хюмансй, 1997. С. 95.

[3] *Гучинова Э.-Б.* Гендер, память и травматическое прошлое // Ежегодный информационный бюллетень Центра славянских исследований Ун-та Хоккайдо. 2006. № 13 (февр.): Электронный ресурс. URL: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/eng/news/no13/enews13-essay2.html (дата обращения: 15.07.2021).

[4] См.: *Беттельхейм Б.* Люди в концлагере // Чернявская А. Психология господства и подчинения: Хрестоматия: Электронный ресурс. URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Chern/05.php (дата обращения: 15.07.2021).

[5] *Сато К.* После дезинфекции. Бумага, тушь, перо. 1979 // Сибериа рёсю-но инори (Молитва сибирского пленника). Токио: Тайрюся, 1986. С. 221.

[6] См.: *Уэцухара Ё.* Карта «И». Бареи ироха карта // Сибериа ёкурю гатен (Shiberia yokuryu gaten (Выставка картин об интернировании в Сибирь). Сер. 1. Майдзуру: Майдзуру Хикиаге Кинекан, 1995. С. 138.

Крупные сибирячки в экстремальных обстоятельствах работы в лагерных «больничках», не желая обидеть, но простодушно выражая свое изумление размерами детородных органов взрослых мужчин («Какой маленький!»), конечно, наносили невольную травму тем, кого осматривали. Возгласы женщин-врачей, зафиксированные мемуаристом, были невольной реакцией грубоватых, малообразованных женщин, впервые столкнувшихся с людьми другой страны и другой культуры, средний рост которых сто лет назад был всего 165 сантиметров (155 сантиметров у женщин)[1].

На поднадзорном рисунке конца 1940-х гг., сделанном в лагере, пленники изображены крепкими, высокими, женщина-врач с фонендоскопом равного с ними роста и комплекции[2]. И даже на рисунке, «сделанном для себя», рост японца мало отличен от роста врача, который его осматривает (рис. 6).

При этом женщина-врач очевидно не японка, хотя женщины-медработники встречались и среди интернированных. Об одной из них, некой Харусен, благодарно поименованной Доктор Весна, сохранились воспоминания[3]. Ее, что характерно, не сравнивали с советскими врачихами, но память о ней сохранилась благодарная, ведь она была «своя», человеком своей национальной культуры.

Причина пережитой японскими мужчинами травмы, связанной с бритьем волос в паху и оценками их детородных органов, имеет основания в патриархатности укорененных в их сознании стереотипов[4]. Если до интернирования традиционная культура вполне позволяла мужчине трогать женщину за ягодицы или тактильно оценивать размеры ее груди, то в культуре, перевернутой войной, в экстремальной повседневности женщина-врач, к тому же представительница страны-победительницы, обретала властные полномочия — она могла проверяюще щупать мужское тело, прикасаться к нему с целью лишения такого признака мужественности, как оволошение в паху, выражать недоумение размерами пениса («Какой маленький!») и т. д. Гендерная инверсия мучительно напомнила о себе годы спустя, когда пленный или интернированный дал себе волю «выговорить» в рисунках то, что стучало в его висках десятилетиями, став одним из образов «неприличных» (тезаурус мемуариста) действий и жестов.

[1] Поднадзорный рисунок, сделанный в лагере // Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4п. Оп. 30я. Д. 145. Л. 32.

[2] Там же.

[3] См.: Эхо войны на Тихом океане.

[4] См.: *Гучинова Э.-Б.* Гендер, память и травматическое прошлое.

Помимо бритья волос в паху, судя по рисункам, мужчин сильно задевало ощупывание женщинами-врачами их ягодиц[1]. На рисунке японца проводящая медосмотр женщина изображена высокой, статной, с прямой спиной. Как ей и было предписано, она оценивала на глазок степень физической готовности привезенных интернированных к тем или иным работам. Если подкожный жировой слой говорил об отсутствии истощенности, пациента направляли на обычные работы; худых велено было считать годными только к легкому труду: «Врач старалась ухватить нижнюю часть туловища пальцами и потянуть. Были те, у кого зад был упругим, круглым. Эти шли по первому классу. А если человек был ослаблен, то его зад был как спустившийся надувной шар»[2] (рис. 7).

Женщины-врачи разглядывали мужские тела японцев без смущения. Спустя месяцы, смущение прошло и у мужчин-пленных. Женщины-очевидицы рассказывали, что японцы летом без стыда раздевались почти до нага: «Протянут между ног полотенца, как детские подгузники, и бегают так по территории, девчонок наших на торфоразработках смущают»[3].

Память тела оказалась бесхитростнее памяти интеллекта, традиционные гендерные стереотипы сыграли свою роль: поначалу для мужчин дотошный осмотр казался унизительным, особенно оценка физического состояния прикосновениями к интимным зонам. Но жизнь взяла свое, и то, что казалось вначале унижением, стало восприниматься с юмором.

«Без вас мы не выжили бы»: экстремальность повседневной жизни в эго-документах советских женщин и пленных мужчин-японцев

Трудности послевоенной жизни, неустроенности и общей разрухи оказалось легче преодолевать вместе — и охраняющим, и охраняемым. Едва интернированные появлялись в советских городах, становилось очевидным, что они «отличались высокой культурой, трудолюбием, у них были невероятные способности»[4]. Фельдшерица Зайтуна Камаева, сопровождавшая в 1947 г. японцев в бухту Находка в Японском море, рассказала, что многому научилась тогда у пленников,

[1] См.: *Сато К.* Если на ж…пе нет мяса, это слабый солдат. Фрагмент // Сиберия рёсю-но инори (Молитва сибирского пленника). С. 125.

[2] *Като К.* Сибирь в сердце японца / отв. ред. А.П. Деревянко. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1992. С. 59–60.

[3] *Сажнева Е.* Русский гроб для самурая // Московский комсомолец. 2005. 11 мая.

[4] *Сафина А.* Указ. соч.

«пока мы сами наблюдали, как они пищу варили…». Но и сами японцы признавались бывшим охранницам позже: «Если бы не вы, то нас бы здесь в живых не было»[1].

В известной степени тут присутствовало то, что позже назвали стокгольмским синдромом, когда под воздействием сильного переживания заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия, а захватчики входить в положение зависимых от них людей[2]. А.В. Субботина, трудившаяся бок о бок с военнопленными на кирпичном заводе, спустя много лет вспоминала о пленных с теплотой, объясняя свою тогдашнюю готовность помогать им:

> «Небольшого роста, черноволосые, нам они казались все на одно лицо. Не успевшие привыкнуть к нашему климату, постоянно простуженные и сопливые, трясущиеся от холода, у наших баб они вызывали умиление и жалость. Хоть и у нас с продуктами было не очень, но, отварив картошки, мы постоянно подкармливали их. За такую заботу они нас благодарили: “Спасибо, мадам” — и дарили всякие безделушки»[3].

Тем же чувством проникнуты воспоминания С.О. Фоломьевой, текст которых перекликается с записями японца: «Люди японцы как люди. Мы их жалели. Ребятишки носили им папиросы и что-нибудь из еды»[4] (ср.: «“Японец! Тебе голодно, да? На. Кушай!” — русская женщина подала черный хлеб. Из благодарности за теплоту ее сердца, я просто склонил голову и получил хлеб»[5]).

На рисунках мемуаристов, изображающих советских колхозниц, попадаются прежде всего изображения угощения японцев, иной раз — простой картошкой[6] (рис. 8).

Некий Г.П. Горовецкий, с 1945 г. работавший дежурным офицером в лагере военнопленных в Красноярске, рассказывал, что однажды застал японца, ходившего по домам офицеров за подаянием и стучавшегося в разные двери (он «думал, что стучит к гражданским»): «Взял я самурая за рукав, говорю, мол, заходи, раз стучал. Жена моя налила ему щей. В общем, заставили пообедать… Долго-долго он кланялся»[1].

По закону работавшим японцам полагалась даже скромная зарплата. Советские женщины помогали ее «отоварить», обменять на хлеб, крупу, масло, молоко[2]: «Каждое утро местные женщины оставляли свой товар у стен плотины, а взамен брали деньги, которые японцы оставляли под пустыми бутылками»[3].

При этом, по воспоминаниям Евгении Кривелевой, японцы были и сравнительно сыты, и сравнительно «хорошо одеты». Матери останавливали детей, когда те выпрашивали что-то у японцев, понимая, что они подчас делились последним: «Один раз даже домой принесла кусочек хлеба. Нас тогда пятеро детей было. А мама увидела и сказала, зачем ты, мол, взяла. Это ведь он, японец, значит, свой кусочек принес и кинул»[4].

Оказывая помощь взаимообразно, советские женщины и японские мужчины могли реализовать собственные интересы, и картинами таких обменов воспоминания буквально пестрят. Россиянки, к примеру, часто обращались к японцам за помощью по хозяйству, например, с просьбой помочь заготовить дрова на зиму[5]. Попадая в иную обстановку, сталкиваясь с чуждой культурой, и советские женщины, и японцы приспосабливались к обстоятельствам, невольно перенимая новые привычки и навыки. Советских женщин изумляла японская баня — офуро, но вскоре они поняли, что подобный навык позволяет экономить воду: «…На берегу бухты… устанавливалась большая бочка, внутри которой прикреплялась скамейка. Разводили под бочкой большой огонь, подогревали воду… Далеко окрест слышался здоровый мужской смех»[6]. «Женщины дарят нам потихоньку разные вещи», — признавался один из мемуаристов, привыкая пользоваться предметами

---

[1] *Сафина А.* Указ. соч.

[2] См. об этом, напр.: *Namnyak M, Tufton N. and others.* Stockholm syndrome': psychiatric diagnosis or urban myth? // Acta Psychiatrica Scandinavica. 2008. Vol. 117(1). P. 4–11.

[3] Русский архив: Великая Отечественная. Иностранные военнопленные Второй мировой войны в СССР. Т. 24[13]. М.: ТЕРРА, 1996. С. 66–67.

[4] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 26. Оп. 16. Д. 11. Л. 31.

[5] Печальные японские военнопленные были в СССР. Боевые друзья плачут под мерзлой землей. С. 59.

[6] *Киути Н.* Указ. соч.

[1] *Спиридонов М.Н.* Японские военнопленные в Красноярском крае (1945–1948 гг.): проблемы размещения, содержания и трудового использования: Электронный ресурс. URL: https://memorial.krsk.ru/Articles/2001/Spiridonov/43.htm (дата обращения: 15.07.2021).

[2] См.: *Хисанага Ц.* Указ. соч. С. 76.

[3] *Тутов А.В.* Японские военнопленные в Узбекистане // Награды и нагрудные знаки современного казачества: Электронный ресурс. URL: http://cossac-awards.narod.ru/Zametki/Zametka71_Tutov_Yapan_War.html (дата обращения: 15.07.2021).

[4] *Сафина А.* Указ. соч.

[5] См.: *Тарасов А.* Два сержанта. Василий Дурочкин охранял, Юкио Ёсиду сидел. Как погибали и как выживали пленные японцы в Сибири // Новая газета. 2018. 7 мая.

[6] Эхо войны на Тихом океане.

быта, принятыми в другой стране[1]. Другой рассказывал, как женщины из близлежащего поселка радостно меняли электрические лампочки (которые выдавали японцам, умевшим обращаться с электропроводкой на столбах освещения) на еду; и проиллюстрировал это[2] (рис. 9).

В обстоятельствах собственной неустроенности русские женщины, будто оправдывая прозвание «тургеневских девушек», проявляли самоотверженность и заботу по отношению к больным японцам. Воспоминания пестрят сообщениями, что именно советские девушки были готовы помочь лекарством (если оно было) или просто приютить в теплой избе: «Когда я сказал, что болен и у меня температура под 40, она затопила печь и старательно согрела комнату»[3]. Японцев поражала готовность советских женщин, с которыми они сталкивались, дать взаймы деньги или продукты, а потом не требовать возмещения, «забывать» о долге[4].

Советские женщины понимали, что прибывшие иностранцы — из другого, наполненного множеством бытовых товаров мира, понимали это и японцы («в Японии, которая проиграла в войне, было гораздо больше товаров, чем в СССР, в войне победившем»[5]). Вот почему все японское было для женщин желанным, и они с удовольствием им пользовались (особенно, как вспоминают женщины, японским зубным порошком[6]).

Личное — это политическое. Любовь и привязанность в эго-документах советских женщин и японских интернированных

Сильные эмоциональные привязанности, несмотря на все запреты, часто случались в обстоятельствах экстремальной послевоенной повседневности. Они не могли быть очень распространенными среди интернированных японок и российских военных (хотя есть и такие примеры)[7]. Воспоминания отобразили типичность

[1] *Оути М.* Старые военные ботинки. Хоккайдо: Б/и, 1955. С. 160.

[2] *Сайто К.* Манга. Сибэриа ёкурюхеи моногатари. (Повесть о сибирском интернировании). Т. 2. С. 56–62.

[3] *Сидзуо Я.* За мир! Документальные зарисовки одного японского солдата. Рассказ о Сибири. Тиба: Б/и, 1993. С. 73.

[4] См.: Эхо войны на Тихом океане.

[5] *Кузнецов С.* Россия глазами японских интернированных (1945–1956) // Окно в Японию.

[6] См.: Город на Дальнем Востоке, отстроенный японскими военнопленными // ИноСМИ: Электронный ресурс. URL: https://inosmi.ru/history/20150813/229618335.html (дата обращения: 15.07.2021).

[7] См.: *Волынец А.* Указ. соч.

отношений между вольными женщинами, жившими недалеко от лагерей и строек, и японцами — «молодыми, энергичными и сильными парнями солдатского возраста», которые «давно не ощущали женского тела»[1]. Женщины-«вольняшки» иногда специально завербовывались в конвоирши, чтобы найти среди охраняемых кого-то, кто восполнил бы нехватку мужчин рядом:

> «В соседнем селе девчонка молодая жила. Завербовалась она работать конвоиром. Фигуристая, кровь с молоком. Приглянулась та девушка одному японскому майору: “Поменяйся ночью с Верочкой сменами, она согласная ко мне в барак прийти”. Я знал, что это запрещено, но жалко их стало»[2].

Советские женщины рады были показать японцам свои профессиональные умения, удивить их — и тем самым приблизить. Позже мемуаристы записывали и сопровождали свои воспоминания рисунком:

> «Отважные женщины справлялись даже с самой опасной работой. В то время в Японии было трудно представить себе подобную картину. Были даже случаи проявления любви русских женщин к японским солдатам. То были прекрасные мгновения»[3] (рис. 10).

Не только рисунки японских военнопленных, но и воспоминания самих женщин говорят о том, как трудно было найти в то время какие-то косметические товары. Но желание нравиться за счет нехитрых приемов макияжа заставляло женщин проявлять чудеса смекалки. Экстремальность повседневности забывалась, свидетельствуют воспоминания, если удавалось «днем одеваться по-рабочему, а вечером выходить в прекрасной одежде» (так это воспринимали японцы). И как было тем девушкам не заметить, что они привлекательны, если японцы долго провожали их взглядами и потом еще «спорили — на кого она посмотрела — на меня или на другого»[4].

> «В Сибири мы впервые увидели женщину, носящую туфли на высоких каблуках. Она нам показалась странной оттого, что вид ее был слишком неуместным в Сибири. Она могла быть женой кого-либо из служащих...»[5] .

[1] *Юкио Ё.* Три года в японском плену: Сказание бывшего военнопленного сержанта японской армии. Зеленогорск: Зеленогорская типография, 2000. С. 78.

[2] *Сажнева Е.* Указ. соч.

[3] *Киути Н.* Указ. соч.

[4] *Оути М.* Указ. соч. С. 163–164.

[5] Русский плен глазами японского солдата // Прибайкалье. 2010. 29 сент.: Электронный ресурс. URL: http://www.pribaikal.ru/events-culture0/article/5450.html (дата обращения: 15.07.2021).

Прошли годы, а японцы помнили, какими красавицами представали перед ними те, кто не имел возможности ни приодеться, ни поухаживать за своим телом, но зато умел держаться по-королевски: «Вот и красавица доктор-лейтенант с пышной грудью, осознавая свои достоинства, проходит расправив плечи...»[1]

Пленные и интернированные, сами жившие в ужасных условиях, внутренне, судя по всему, жалели тех советских женщин, которые вынуждены были работать по-мужски. Сопереживание такого рода иногда помнилось лучше, чем неправедные приказы и окрики (подчас исходившие от женщин). В то же время советские «мадамы», соскучившиеся по мужскому вниманию за годы войны, умышленно или невольно забывая про все запреты, старались понравиться даже тем, кто был от них зависим и кого они охраняли или осматривали (рис. 11).

Вступление в более близкие отношения, как ни странно, не всегда оказывалось в радость не только женщинам, но и японцам, воспитанным на высокой сексуальной культуре. Неожиданное столкновение с неразвитостью культуры тела и интимных отношений могло разочаровать даже истосковавшихся по женской ласке:

> «Она отличалась особой дородностью.... Когда она ответила ему взаимностью, любовь сразу прошла. Он пожаловался товарищу, что она не сумела так доставить наслаждение, как японка… Такими можно увлечься, но ненадолго…»[2]

Мужчин-японцев раздражала неумелость советских женщин в интимных делах, но не стоит забывать, что для женщин были недоступны не то что чьи-то «уроки» такого рода, но даже разговоры об этом. Половая жизнь в СССР «могла существовать только в сфере стыдливого умолчания или эвфемизмов, общественный этикет делал немыслимым обсуждение таких вещей»[3]. Меж тем расплата советских женщин за вспыхнувшие чувства к японцам была куда значительней, чем простое разочарование. Обстановка послевоенного времени, когда за контакты с иностранцем можно было дорого заплатить, предстает в рассказе Моринари Оути: «Женщина, работница конторы, влюбилась в Х., который красил там стены. Она сказала ему, что он похож на ее мужа, погибшего в Ленинграде. Позже она родила ребенка. Ее отправили на материк. Х. перевели в другое место»[4].

[1] *Киути Н.* Указ. соч.

[2] *Маркдорф Н.* Считалось, что сбежать невозможно // Аргументы и факты. 2011. 28 сент.

[3] *Вайль П., Генис А.* 60-е годы. Мир советского человека. М.: НЛО, 1996. С. 298.

[4] *Оути М.* Указ. соч. С. 132.

Кому-то из вступивших в отношения везло: в городе Канске Красноярского края осталось около 50 бывших солдат Квантунской армии, женившихся на местных жительницах[1]. Однако не всем желавшим остаться в СССР такое разрешение давали. Как ни хотели японцы, не по своей воле оказавшиеся в чужой стране и нашедшие тут, казалось, свою судьбу, добровольно остаться в СССР, чаще они получали отказ и еще чаще — перевод в другой лагерь. Преступившие закон (исключавший эмоциональное сближение с пленными) женщины за свою запретную любовь часто расплачивались несколькими годами работы в системе ГУЛАГа[2].

Не связанные обязательствами вольные работницы, трудившиеся вне системы охраны, врачебной помощи и вообще лагерей и решившиеся на открытые отношения с японцами, часто ощущали на себе предосудительные взгляды. И все же — по словам очевидцев, с тех пор в Сибири «осталось много детей русско-японского происхождения», потому что женщины с радостью (если это позволялось) «выходили замуж за японцев: те имели деньги и не пили “горькую”»[3].

Много лет спустя в Японии был создан мюзикл «За сопками родины», сюжет которого был построен вокруг судьбы сына бывшего премьера Японии Фумимаро, оказавшегося в плену в СССР (рис. 12). По сценарию герой влюблялся в медсестру, которая его убивала за несколько месяцев до репатриации, вколов яд. В реальности любовь была, а убийства не было; драматизм досочинил автор мюзикла[4].

В обстановке экстремальной повседневности прекрасные чувства между влюбленными все время были (физически или условно) разделены колючей проволокой. Между тем, и на воле, и в лагере о таких романах знали, слухи быстро распространялись: «Эстакадница Маруся — возлюбленная шахтера Кооно, канатчица Аня влюбилась в забойщика Оцукава. Даже в стесненной жизни лагеря было такое веселое время»[5].

В Алтайском крае при досмотре одного из отъезжающих на родину военнопленных было обнаружены письмо и фотография русской девушки. «Убитая горем, что не может уехать за любимым

[1] См.: *Кузнецов С.* Россия глазами японских интернированных (1945–1956) // Окно в Японию.

[2] См.: *Маркдорф Н.* Указ. соч.

[3] *Тарасов А.* Указ. соч.; Японские военнопленные в Советском Союзе // Все о Второй мировой: Электронный ресурс. URL: https://wwii.space (дата обращения: 15.07.2021).

[4] См.: *Баранова Е.* Указ. соч.

[5] РГВА. Ф. 1п. Оп. 11з. Д. 16. Л. 327.

Рис. 1. Красавица доктор-лейтенант: «Должность врачей занимали в основном женщины. Вот и красавица доктор-лейтенант с пышной грудью, осознавая свои достоинства, проходит, расправив плечи… в этой многонациональной стране нет никакого пренебрежения к другим национальностям. И военнопленных японцев осматривали каждого в отдельности, как бы и любого другого человека».

Рис. 2. Непристойный вид: «Один раз мне пришлось оказаться перед женщиной-врачом в не совсем пристойном виде. Особенно переживала она за самых исхудавших солдат, настойчиво укладывая их в постель:“Скорее спать!” Голос у нее был очень добрый».

Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode2.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 3. На приеме у врача (1940-е гг.).
Сибериа ёкурю (Сибирское интернирование). Токио, 1997

Рис. 4. После дезинфекции. Худ. Сато К. Бумага, тушь, перо. 1979 г.
Сато К. Сибериа рёсю-но инори (Молитва сибирского пленника). Токио, 1986

Рис. 5. Прежде всего все побрили.
Сибериа ёкурю гатен. (Shiberia yokuryu gaten. Выставка картин об интернировании в Сибирь). Сер. 1. Майдзуру, 1995. С. 138

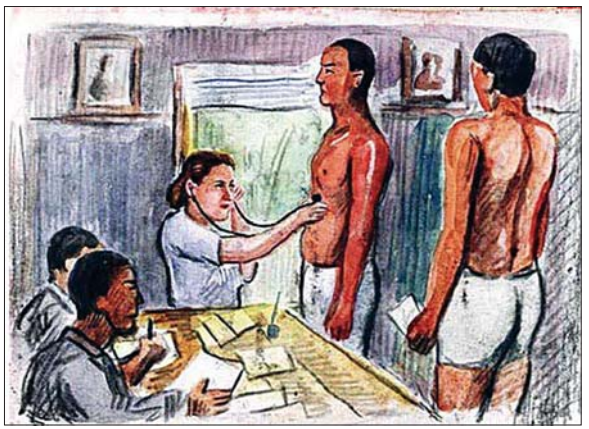


Рис. 6. Рисунок японского интернированного 1940-х гг.
РГВИА. Ф. 4/п. Оп. 30я. Д. 145. Л. 32

Рис. 7. Медицинский осмотр перед направлением на работы.
Сато К. Сибериа рёсю-но инори (Молитва сибирского пленника). Токио, 1986

Рис. 8. «На, “японец”, держи картошку». В любой стране девушки очень добрые. Говорят, что на Украине – плодородная земля, и поэтому там очень много картофеля.
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode2.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 9. Обмен необходимым.
Кузнецов С.И. Россия глазами японских интернированных. Электронный ресурс. URL: http://www.ru-jp.org/kuznetsov02.htm (дата обращения: 10.10.2020)

Рис. 10. Проявление любви: «В работе по восстановлению города по окончании второй мировой войны принимали участие и мужчины и женщины. Отважные женщины справлялись даже с самой опасной работой. Были даже случаи проявления любви русских женщин к японским солдатам. То были прекрасные моменты».
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode4.htm (дата обращения: 15.07.2021)

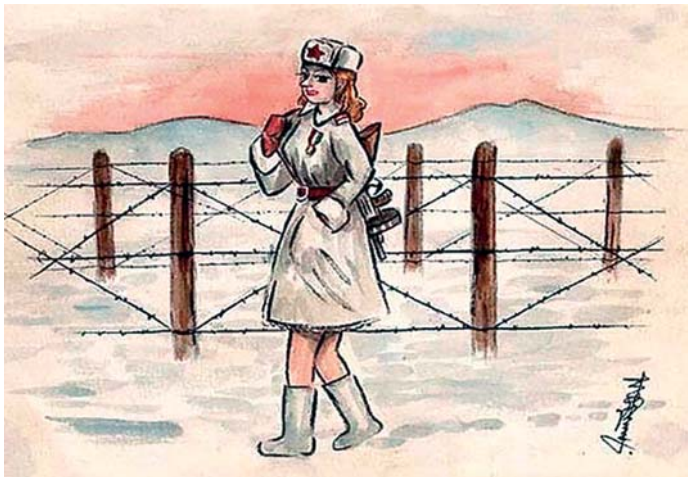


Рис. 11. Женщина-сержант Советской Армии: «В стране равенства мужчин и женщин большим удивлением для всех было видеть женщину-солдата. У японцев, которые все еще жили в старом добром патриархате, это вызвало крайний шок. Стойкие к холоду, волевые, лишенные какой-либо мягкости [женщины], с удивительно красивыми глазами были великолепны».
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode2.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 12. Афиша мюзикла «За сопками родины».
Комсомольская правда. Электронный ресурс. URL: https://www.kp.ru/daily/26417.7/3290559/ (дата обращения: 10.10.2020)

Рис. 13. «Не плачь, Наташа! Любая встреча неизбежно влечёт за собой расставание. Кажется, там была девушка, боевая подруга, для которой это расставание было особенно больно. И ты, Наташа, что так горько шепчешь слова прощания, что ты сейчас делаешь, что с тобою, бедная, стало».
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode5.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 14. «Чисто надо подметать! Была у нас такая страшная тетя офицер. Зато весело было. В застекленном коридоре, отскоблив грязь, нужно было потом все аккуратно вытереть. Но с неожиданными проверками было совершенно не схалтурить».
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode2.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 15. «По плану работа по восстановлению города была рассчитана на пять лет, поэтому в ней принимали участие и молодые девушки, всецело отдававшиеся работе. И мужчины, и женщины были красивыми в своей работе».
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс. URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode4.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 16. «Попробовал я как-то поработать славянской косой.
У молоденькой девушки получалось с легкостью, а с меня только пот течет.
“А все потому, что нельзя вертеть спиной”, — говорила девушка».
Киути Н. Записки японского военнопленного. Электронный ресурс.
URL: https://kiuchi.jpn.org/ru/nob/episode2.htm (дата обращения: 15.07.2021)

Рис. 17. «Русские мадамы все толстячки, настоящие силачки» .
Ёсида Ю. Три года в плену: Сказание бывшего военнопленного сержанта японской армии. Зеленогорск, 2000. С. 102

в Японию, она писала, что ей одной придется воспитывать ребенка», — сообщало донесение[1]. Будто пояснением к этим строчкам служит рисунок из «Иллюстрированного дневника японского военнопленного» и подпись к нему: «Там была девушка, боевая подруга, для которой это расставание было особенно больно. И ты, Наташа, что так горько шепчешь слова прощания, что ты сейчас делаешь, что с тобою бедною стало?»[2] (рис. 13).

Обобщая тему интимных отношений в обстановке экстремальности, какой был социально-политический контекст возникновения близких связей между советскими женщинами и японцами, трудно не вспомнить вывод известного социопсихолога о том, что в СССР это было время запрета на все, приносящее индивидуальную радость, в том числе на радость секса. А «когда секс — запретная тема, критическая способность и мысль человека также становятся запретными, превращая его в покорную личность, которая, несмотря на нищету и унижение, должна соответствовать требованиям авторитарного общества»[3].

Вынужденная маскулинизация женщин в послевоенном СССР глазами японцев (надсмотрщицы, ВОХРовки, рабочие)

Идеология «новой женщины-матери», которая активно индоктринировалась на протяжении всего предвоенного времени и особенно во время войны, включала апологию женщины-труженицы и помощницы мужчины в борьбе с врагами. Эта идея имела внешнее воплощение в стирании гендерных граней в рабочей одежде и общей внешней маскулинизации, которая оценивалась положительно[4]. Столкновение с такой стороной политики гендерного равенства, когда женщины становились по-мужски грубыми и обретали право начальственного окрика, впоследствии было оценено японцами с юмором, но (похоже) вначале столкновение не столько культур, сколько идеологий было для них травматическим. «Была у нас такая страшная тетя офицер. С неожиданными проверками было совершенно не схалтурить», — вспоминал один из бывших военнопленных, давший название своему рисунку «Чисто надо подметать!»[5] (рис. 14).

[1] РГВА. Ф. 1п. Оп. 17а. Д. 4. Л. 41.

[2] *Киути Н.* Указ. соч.

[3] *Райх В.* Психология масс и фашизм. СПб.: Университетская книга, 1997.

[4] См. об этом, напр.: *Неминущий А.Н.* Категория женственности в советском кино 1930-х гг. // Вестник Псковского гос. ун-та. 2016. № 3. С. 117.

[5] *Киути Н.* Указ. соч.

Воспоминания о том, что работа, выполняемая женщинами в обстановке послевоенного восстановления страны, была действительно тяжелой не только для самих интернированных, но и для женщин, вынужденных приспосабливаться к высоким нормам выработки и просто к неженской работе, характерны буквально для всех мемуарных свидетельств японских военнопленных и интернированных. Советское «равенство полов» по умолчанию предполагало адаптацию женского тела к традиционному мужскому стандарту. В японских изображениях работающих советских «товарок», трудившихся рядом и наравне, также заметна акцентуация на широких плечах, заметных мускулах, крепких руках и ногах при отсутствии готовности быть уступчивой, робкой или застенчивой. В воспоминаниях и рисунках представлены женщины доминирующего типа — крепкие, уверенные в своей правоте, явно воспитанные в духе таким образом понятого равенства. Бывшие пленные и интернированные, как ни странно, много лет спустя не подтрунивали над этим, а напротив, писали, что «молодые девушки, всецело отдававшиеся работе, были красивыми в своем труде»[1] (рис. 15).

Образы физически крепких, энергичных женщин-товарищей фиксировали множественные изображения совместного труда японцев и русских — работы, не разделенной по гендерному признаку. «Попробовал я как-то поработать славянской косой. У молоденькой девушки получалось с легкостью, а с меня только пот течет. “А все потому, что нельзя вертеть спиной”, — говорила девушка», — признался один из мемуаристов[2] (рис. 16).

Другой ему вторил:

> «Сбор сена был обязанностью женщин. В России мужчины и женщины равны. Существует железное правило в русском обществе, что только те, кто работает, заслуживают того, чтобы поесть. То, что русские женщины так много работают, следуя этому правилу, впечатляет. Они хорошо сложены и так же сильны, как мужчины»[3].

Высокие, сильные, необыкновенно выносливые — такими виделись японцам россиянки 1940-х гг., жившие далеко от столиц и выдюжившие немалые тяготы непривычной по нагрузкам работы. Никто из современников тогда не задумывался о том, что «им

[1] Там же.

[2] Там же.

[3] *Isamu I.* For a Japanese Soldier a Long Way to Return Home. Osaka: University of Osaka, 1994. C. 185.

бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд»[1]. Для изможденных невысоких японцев русские женщины выглядели силачками; они описывали их физическую и трудовую доблесть и силу с восторгом («одну даму можно было сравнить с пятью человеками»[2]). Другой очевидец-японец Оути-сан отметил: когда на работе появлялись девушки, норма выполнялась быстрее, «особенно, если девушки были красивые»[3].

О том, как русские угольщицы справлялись с авариями — сходом вагонеток с рельсов — рассказал другой современник:

> «Мадамы собираются все вместе и, приложив все силы больших задов, пытаются поставить вагонетки на место. Сила задов мадамов удивительно мощная и замечательная. Под крики "Раз-два, взяли!" им удается ликвидировать аварию. Русские мадамы все толстячки, настоящие силачки»[4] (рис. 17).

По словам колымчанки Л.К. Новиковой, трудившейся с 1947 г. вместе с японцами на лесозаготовительном участке вблизи поселка Хениканджа, после подъема и завтрака в шесть утра и русские, и японцы шли вместе на работу 10 километров к своим делянам. Норма была для мужчин и женщин, пленных и вольных, одна — 12 кубометров, а питание скудное — хлеба 500 грамм тем, кто норму выполнял, плюс горох и горячая вода. «Нет нормы — пайка уменьшалась до 300 грамм». Вспоминая то время, Л.К. Новикова удивлялась, что японцы ее оптимистично подбадривали словами «Хороссо, мадама!»[5]

Женщин обязывали жертвовать собой ради будущего детей, а в реальности делали их заложницами военно-промышленного комплекса. С ощущением постоянной ответственности за то, чтобы выполнить норму, добровольно отказываясь от реализации индивидуальных потребностей (во имя «государства» и «нации»), советские женщины, жившие в Сибири и на Дальнем Востоке, ни о чем Советское государство не просили; государство пользовалось их молчанием и дальше скупилось на ассигнования в сферу социальной защиты и здравоохранения, бытовых услуг и рынка товаров.

[1] Строчка из стихотворения Н. Коржавина, отклинувшегося на известные строки Н.А.Некрасова «…Есть женщины в русских селеньях»: «Она бы хотела иначе, носить драгоценный наряд… Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят…».

[2] *Камицухара Й.* Ироха кард. Ро // (Выставка картин об интернировании в Сибирь). Сер. 1. Майдзуру: Майдзуру Хикиаге Кинекан, 1995. С. 138.

[3] *Оути М.* Указ. соч. С. 163.

[4] *Юкио Ё.* Указ. соч. С. 78.

[5] Эхо войны на Тихом океане.

Вместо заключения

Подводя итоги рассмотрения отражения в эго-документах двух типов (нарративных и визуальных источниках) гендерного аспекта истории взаимодействия двух культур и разных идеологий в экстремальных условиях послевоенной разрухи и широкого использования советским ГУЛАГом бесплатной рабочей силы, можно сделать несколько заключений.

Главная эвристическая ценность проведенных сравнений — возможность размышлять о проблеме самоактуализации личности на фоне массификации социальных процессов и о разрыве между «большой» национальной историей и частными историями людей.

«Большой» истории важно было замолчать эту страницу истории послевоенных репараций Японии СССР, скрывать до 2004 г. детали взаимодействий двух культур и идеологий. А гендерная история благодаря эго-документам возвратила историкам новый ракурс понимания прошлого. Она убедила, что «ментальность, эмоциональность и установки поведения... — не поверхностные или излишние "украшения" истории», напротив, они «способны сказать больше, чем изощренно построенные... абстракции»[1].

Женская советская история того времени — чуть менее опасного и тяжелого, чем годы Второй мировой войны, времени, полного обещанной, но не начавшейся нормализации быта, — предстает периодом особым. И его никак нельзя назвать обычным, «не экстремальным». Короткие, скупые воспоминания женщин, взаимодействовавших с японскими пленными и интернированными, убеждают: судьбы тех, кто жил тогда, при всем разнообразии сопоставимы в главном: на долю тех женщин выпало несколько крупнейших социальных катаклизмов. Их детство пришлось на период формирования советского тоталитаризма, их юность совпала с войной, и каждая из них — в большей или меньшей степени, так или иначе — имела опыт столкновения с советской карательной системой.

Не потому ли женщины с неохотой отвечают на вопросы о том, какой была их жизнь рядом с японцами? Их гендерная травма не была артикулирована в массовом сознании как проблема ни тогда, ни сейчас. Травмированные женщины остаются и поныне «молчащими», как мы ни расспрашиваем их самих или заставляем заговорить их эго-документы. Причина проста: для этих женщин не было выработано способа говорения о наболевшем, особого языка,

[1] *Ле Гофф Ж.* Цивилизация Средневекового Запада. М.: Издательская группа «Прогресс-Академия», 1992. С. 6–7.

на котором можно высказать пережитое так, чтобы не быть осмеянной, чтобы переживания того времени не были бы обесценены иронией. Поскольку женщины сами не рассказали тогда, да и сейчас говорят мало об интимных сторонах своей прошлой жизни, на помощь приходят записки и рисунки людей другой культуры, в столкновении с которой острее видны проблемы быта женщин нашей страны.

Есть еще одна сторона значимости скрупулезного анализа эго-документов как свидетельств повседневных практик двух культур — советской и японской. Жители современной России (особенно в ее центральной части, в столицах) почти ничего не знают о том, что сотни тысяч японцев после войны бесплатно работали на советскую экономику. Мы, изучая историю интернирования, не просто восстанавливаем справедливость в отношении японцев, рассказывая об этих утаенных страницах советского прошлого, но и получаем возможность больше узнать о своей стране и советских людях, в том числе женщинах, работавших, страдавших и любивших более полувека тому назад: «Мир един, и люди во многом похожи друг на друга. Не знаем языка, но подними руку и помаши ею — и все станет понятно без слов»[1].

Гендерный аспект анализа эго-документов советских женщин и японских пленных придал реконструкции прошлого не только объемность, но и реальную достоверность. Уже много написано о травматическом опыте самих пленных в чужой стране с суровым климатом — в стране, которая не ценила жизни даже своих-то граждан и тем более не старалась заботиться о пленных. О них заботились, вопреки всем идеологическим установкам, «тургеневские девушки» страны-победительницы. Этот анализ бытовой истории дал новые основания для понимания женского советского послевоенного прошлого, деталей повседневности советских женщин, модусов межгендерной и межкультурной коммуникации.

[1] *Киути Н.* Указ. соч.

Глава I.3. История завода в эго-документах и художественных текстах[1]

(Н.Б. Граматчикова)

История заводов-гигантов советской индустриализации, запечатленная в текстах, с точки зрения филолога, может быть рассмотрена как гипертекст, состоящий, в свою очередь, из текстов разного происхождения: служебных документов, публицистических очерков, газетных материалов, художественной прозы и лирики, эго-документов (писем, дневников, записок, автобиографий, воспоминаний ветеранов и др.)[2] Рассмотрение всего массива созданных об Уральском заводе тяжелого машиностроения (УЗТМ) текстов в такой парадигме позволяет обнаружить переклички и связи между текстами разного происхождения и назначения, традиционно рассматриваемыми раздельно друг от друга. Между тем сферы эго-документалистики и художественной словесности тесно взаимосвязаны: модели описания профессиональных литераторов проникают в массовую литературу и тексты личного происхождения, а индивидуальные свидетельства становятся элементами художественного мира.

Металлургический завод как концепт и *уже* — как художественный образ — обладает сложной разветвленной семантикой, уходящей корнями в глубокую архаику персонажей, отыскивающих руду и преобразующих ее в железо. Эта семантика закрепляется в топографии заводских уральских поселений XVIII в. (плотина — пруд — завод — церковь — поселок) и в устойчивой поэтике описаний заводских работ в очерках XIX — начала XX в. В заводских поселениях формируется особая культура, отличная от крестьянской[3]. Безостановочная

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00221 «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX в. в историко-литературном контексте».

[2] Гипертекст, взятый в еще более широком смысле, однако все еще не достигающем широты контекста культурной антропологии, включает в себя фотоколлекции, живописные и графические работы профессиональных и не/полупрофессиональных художников, документальные и художественные фильмы о заводе.

[3] О специфике горнозаводской культуры в ее фольклорном аспекте см., напр., статьи В.В. Блажеса 1980-х гг. Многоаспектному изучению этой специфики посвящены работы А.В. Черных, Е.Л. Березович, С.Ю. Королевой и др.

работа доменных печей, тьма и огонь в цехах устойчиво связываются в литературе с «нижним миром», с силами, притягательными и пугающими одновременно. Завод дает жизнь жителям поселка и служит постоянным источником травм, болезней, смертей. В связи с этим амбивалентность образа завода — яркая черта уральской идентичности в словесности[1] XIX в.

Эпоха индустриализации ставит иные задачи. Рассмотрим их литературные проекции на примере одного завода и соцгорода. В силу масштабности процессов индустриализации на Урале и их неразрывной связи с общесоветским (в том числе — художественным) контекстом, тексты об «отце заводов» Уралмаше не только заложили основу региональной и профессиональной идентичности десятков тысяч заводчан-уральцев, но и вошли в их личные и семейные истории.

Тексты профессиональных литераторов 1920–1930-х гг., писавших о стройках индустриализации, базировались на радикально иной, модернистской поэтике, воспевавшей индустриальное, промышленное и его создателя — «нового рабочего»[2].

Основные тексты об Уральском заводе тяжелого машиностроения (УЗТМ) были написаны с 1926 по 2000 г. Начальной точкой можно считать разработку проекта завода и описание этого процесса инженерами-конструкторами и архитекторами во второй половине 1920-х гг., а переломным моментом, с которым заводчане связывают конец «прежнего» Уралмаша, стало убийство генерального директора УЗТМ О.Н. Белоненко в июле 2000 г. Однако «текст о заводе» (гипертекст, включающий и судьбу соцгорода Уралмаш) продолжает создаваться и по сей день.

История создания гипертекста о заводе Уралмаш может быть разделена как минимум на четыре периода:

— строительство завода и предвоенные годы (1926–1934 гг.), время активного конструирования новой коллективной идентичности;

[1] Здесь и далее под «словесностью» мы понимаем всю совокупность создаваемых людьми письменных текстов, включающую не только художественную литературу, но и фольклор, и эго-документы.

[2] См. об этом, напр., поэтические сборники А.К. Гастева 1920-х гг. и его разработки в Центральном институте труда: *Гастев А.К. (Дозоров И.)* Как надо работать. Как изобретать. М.: Центральный ин-т труда, 1922; *Он же.* Поэзия рабочего удара. Пг.: Пролеткульт, 1918; *Он же.* Трудовые установки / под общ. ред. Ю.А. Гастева, Е.А. Петрова. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. Та же новая образность присутствует и в повести А. Платонова «Котлован» (1930 г.), которая представляет с собой, с точки зрения образно-аксиологической системы, своеобразную «зеркальную», «опрокинутую» модель агитационных текстов об индустриализации.

наполнение: газетная периодика, сборники очерков об Уралмаше, два романа о заводчанах, письма и автобиографии руководства; большинство авторов — профессиональные журналисты и писатели;

— время Великой Отечественной войны и послевоенное восстановление (1941 — середина 1950-х гг.); наполнение: газетная периодика, немногочисленные сборники очерков военного времени;

— позднесоветское время (вторая половина 1950-х — середина 1980-х гг.): появляются новые многочисленные акторы памяти, среди которых созданный в 1967 г. Музей боевой и трудовой славы УЗТМ и ветераны завода; наполнение: материалы Фонда воспоминаний работников УЗТМ, массовая литературная продукция крупных жанров (книги А. Бусыгина, Я. Резника и др.), песни и стихи к юбилейным датам в газетной периодике, художественные и документальные фильмы об УЗТМ;

— постсоветский период (1990–2020-е гг.): завод-гигант разделил печальную участь тяжелой индустрии советской экономики, однако гипертекст о заводе прирастает силами «детей и внуков Уралмаша», то есть людей, зачастую не работавших на заводе, но связанных с ним семейной историей и местом жительства — соцгородом Уралмаш; наполнение: сборники, собранные и изданные по инициативе самих уралмашевцев, выпускников школ, участников театральной студии, «детей Уралмаша военной поры», и др., устные и семейные истории уралмашевцев, драматургические проекты Музея истории Екатеринбурга, графические высказывания в стиле стрит-арт и др.

Таким образом, соотношение текстов разной степени документальности и художественности (фикциональности) было различно в разные периоды формирования гипертекста об истории завода Уралмаш.

Каждый тип текстов о заводе (газетная периодика, художественная проза и самодеятельная поэзия, воспоминания, семейные истории, письма, автобиографии и др.) может быть изучен как в его целостности (авторская позиция, адресат, жанровая доминанта, семантическое, эстетическое и аксиологическое наполнение образа завода и др.), так и во взаимосвязях с другими текстами, относящихся к предшествующим периодам либо синхронных изучаемым[1].

На данном этапе работы ограничимся сопоставлением двух типов источников, создававшихся в разные периоды, но обращенные

[1] Естественно, что кроме объективных лакун (утраченных или еще не выявленных текстов), существуют и субъективные исследовательские ограничения, определенные степенью проработки различных групп текстов.

к первым десятилетиям работы Уралмаша: речь пойдет о художественной прозе крупных форм 1930-х гг. (неопубликованная повесть Владимира Федосеева «Обратный удар» и роман Льва Овалова «Утренняя смена» (первоначальное название — «Зина Демина») и материалах Фонда воспоминаний работников УЗТМ, написанных в 1960–1980-х гг. К новизне подхода в данном случае относится не только сопоставление разных сфер словесности на тему становления уральской индустрии, но и снятое противопоставление текстов по принципу большей или меньшей достоверности, как этого можно было бы ожидать от «художественного» и «документального» материала. Иначе говоря, наш исследовательский фокус сосредоточен на поиске, обнаружении и описании «языков» или «каналов» межисточникового взаимодействия. При этом отказываться от биографического и собственно исторического методов, включая историю повседневности и микроисторию, нецелесообразно, поскольку только знание контекста позволяет обнаружить глубину и протяженность лакун памяти или сознательных умолчаний ее носителей[1].

Конструирование коллективной идентичности и коллективной памяти в повестях 1930-х гг.

Строительство заводов-гигантов требовало большой пропагандистской работы, поскольку предполагало формирование новой коллективной идентичности для значительной части населения, стекавшегося на стройку из деревень и поселков. Агитационные мероприятия включали в себя как чтение литературы о строительстве новых городов[2], так и поездки на передовые стройки и заводы по маршрутам «пролетарского туризма». «Читать и видеть фотографии — это одно, а видеть, ощущать, дышать воздухом строительства — другое: сильное, захватывающее», — писал автор путеводителей по заводам нового Урала[3]. Так проявлялась связь с идеологией фронтира: столицы оказывались «в тылу», а «фронт» проходил по прежним окраинам страны, связывая новые точки роста отношениями соревновательности и конкуренции, для чего были задействованы наиболее передовые на тот момент информационные средства и ресурсы.[1]

Завод-гигант, таким образом, мыслился гораздо шире, чем место работы и профессионального роста[2], становясь локусом наиважнейших преобразований человеческой природы и культурного ландшафта. В наиболее архитектурно проработанных проектах соцгородов (Магнитка, Уралмаш, Кузнецкстрой) топография заводского поселения подверглась трансформациям, пожалуй, большим, нежели пространство и логистика самого завода[3].

Строительство и пуск в строй новых заводов должны были сопровождаться текстами как агитационными «на злобу дня», так и более длительного использования. Возникший и получивший

---

[1] О возможностях совмещения подобных методов, см.: *Зевелева О.* Биографический метод и критический дискурс-анализ: перспективы сочетания // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2014. № 39. С. 7–39.

[2] Среди подобной литературной продукции см.: *Козырев М.Я.* Подземные воды. М.: Никитинские субботники, 1928; *Козырев М., Кремлев-Свэн И.* Город энтузиастов. Л.: Изд-во политической литературы, 1930; *Охременко В.* Город энтузиастов. Киев: Б/и, 1931; и др., берущие за основу утопическую модель города будущего.

[3] *Ловцов Н.А.* К большому Уралу. М., Л.: ОГИЗ, Физкультура и туризм, 1931. С. 4.

[1] Время первой пятилетки характеризовалось взрывным увеличением населения Свердловска: в 1924 г. – 96,124 тыс. человек, в 1929 г. – уже 148 тыс. человек (см.: *Ловцов Н.А.* Указ. соч. С. 43). В путеводителе пролетарских туристов Н. Ловцов писал: «По размерам строительства Свердловск уступает только Москве и Ленинграду» (Там же. С. 53). Ср. с записью в дневнике М.М. Пришвина: «И не только одна память прошлого не дает в Москве ясно видеть новое: как бы то ни было, Москва является все-таки тылом в отношении передовой позиции строительства Урала и Юга...» (*Пришвин М.М.* Дневник, 12 марта 1931 г. // Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина: Электронная библиотека М.М. Пришвина: Дневники: Электронный ресурс. URL: https://elsu.ru/prishvin.html) (дата обращения: 12.10.2021).

[2] Н. Ловцов, составляя маршрут по предприятиям черной металлургии Свердловска, описывал мощности УЗТМ согласно существовавшему на тот момент плану, который вскоре был пересмотрен в сторону значительного увеличения: «В трех километрах от Свердловска идет постройка крупнейшего на Урале машиностроительного завода. Завод будет иметь цехи: чугунный, меднолитейный, сталелитейный, кузнечнопрессовый, цех металлических конструкций, термический и механический. Топливом будет служить торф, который находится вблизи завода. На заводе будут работать до 4000 человек. Будут вырабатывать: прокатные устройства, молота, гидравлические устройства, формовочные машины, дробилки, бегуны, краны, драги и т. д. Постройку завода намечено закончить в 1931 году» (*Ловцов Н.А.* Указ. соч. С. 43).

[3] Как показывает М. Ильченко, для эволюции архитектуры авангарда, влияние которой испытывали проекты соцгородов эпохи индустриализации, огромное значение имело не только физическое воплощение проектов, но и язык их описания (см.: *Ильченко М.* Архитектура слова. Символические трансформации советского архитектурного авангарда в публичной риторике // Новое литературное обозрение. 2021. № 1(167). С. 7–18; см. также: *Адонина А.В.* Особенности трансформации архитектурно-строительных утопий в процессе реализации: автореф. дисс. … канд. архитектуры. Нижний Новгород, 2021; *Барышева Е.В.* «Советские архитектурные проекты: утопия и реальность» // Советский проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации: сб. науч. трудов. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2018. С. 335–342; *Конышева Е.* «Солнце, воздух и дом для всех»? Европейский опыт массового жилищного строительства и его советские вариации в годы первых пятилеток // Quaestio Rossica. Vol. 4. 2016. № 3. С. 34–54; и др.)

развитие (но не воплотившийся полностью) проект Истории фабрик и заводов (ИФЗ) предполагал создание такой версии истории строек индустриализации, где ведущую роль играли бы голоса самих рабочих, то есть категория, которая прежде была практически лишена «права на память» в публичном дискурсе[1]. Однако фактически вместо рабочих писали профессиональные литераторы, изучавшие новую фактуру в командировках либо обретавшие новую идентичность вместе с овладением рабочей профессией[2]. Личная память рабочих оказывалась либо недостаточно контролируемой, либо лишь с большими усилиями производившей нарратив нужного качества[3]. Кроме того, «идеологические просчеты» встречались и у опытных журналистов, например, в случае с созданной на материалах Гражданской войны документальной повестью П.П. Бажова «Формирование на ходу» (1936 г.) Даже хорошо сделанный проект в дальнейшем мог подвергнуться редукции или изъятию из библиотек, как это произошло, в частности, со сборником «Были горы Высокой» (1935 г.)[4]

Однако замыслы и проекты их оформления не пропали. Так, например, идея создания технического музея УЗТМ, возникшая и частично реализованная в 1930-е гг. Э. Цетлиным и др., воплотилась в создании Музея трудовой и боевой славы УЗТМ в 1967 г. Сборники

[1] О сложностях выражения субъектности рабочих и «распределенном авторстве» этого проекта, см. напр.: *Веселкова Н.В.* История фабрик и заводов Алексея Маленького: портрет и проект // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований: сб. науч. трудов. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2017. С. 641–649; *Она же.* Конструкции авторства/субъектности в опыте отечественных биографических проектов первой половины XX века // Уральский исторический вестник. 2020. № 4(69). С. 84–92.

[2] Об этом процессе среди пролетарских поэтов Магнитки см.: *Граматчикова Н.Б., Рожкова Т.И.* Конструирование идентичности в рабочей поэзии Магнитки: память как ресурс // Уральский исторический вестник. 2019. № 2(63). С. 14–21.

[3] В сборнике издательства «История заводов» 1933 г. в статье методического характера читаем: «Те, кто думает о существовании готовых устных рассказов, которые нужно только притти и записать, – глубоко ошибаются. Готового ничего нет. ... Тот, кто будет только стенографировать устный рассказ, тот ничего не добьется. ... Чтобы рассказ получился наиболее полноценным, необходимо разработать все заложенные в рассказчике возможности. ... Вообще, как правило, записывающий все время должен быть хозяином положения, должен руководить. Ему, а не рассказчику принадлежит ведущая роль... ... Идеалом для себя т. Мирер считает окончание работы тут же на месте записи, без какой-либо предварительной правки. Но добиться этого пока не удалось» (*Рабинович И.* О записи воспоминаний. Из опыта работы т. С. Мирера // История заводов: сб. Вып. 4–5. М.: История заводов, 1933. С. 205–210).

[4] См. об этом: *Литовская М.А., Подлубнова Ю.С.* Авторство как «достижение рабочего человека» в автобиографических книгах уральских рабочих 1930-х годов // Вестник Пермского ун-та. Сер.: История. 2020. № 4(51). С. 17–18.

очерков 1950–1960-х гг. указывают, что составлены они были по собранным прежде материалам ИФЗ: в постсоветское время идеологические фильтры не исчезли, но стали привычной частью культурного пейзажа, где неблагонадежные, выбывшие из строя авторы были заменены другими.

О строительстве Уралмаша нам известны два романа (воспользуемся авторским определением жанра, хотя в отношении текста Овалова это признается не всеми): «Зина Демина» Льва Овалова (1935–1937 гг.) и неопубликованный «Обратный удар» Владимира Федосеева (1935 г.) Это первые художественные тексты крупной формы об Уралмаше, отразившие становление «соцреалистического канона», но сохранившие живость и прямую связь с реалиями строительства.

В художественных текстах о заводах 1930-х гг. можно отметить несколько важных моментов. Во-первых, своеобразие темпоральной организации текстов: предполагалось, что литературное обеспечение строек индустриализации будет происходить синхронно с возведением и запуском промышленных объектов, однако в некоторых случаях литераторы получали заказ на изображение проектов, реализация которых «вязла» и откладывалась (как, например, произошло в случае с романом Н. Ловцова «Канал» (1933 г.)[1] и некоторыми главами его путеводителя); либо автор при знакомстве с реалиями строительства испытывал чувства более сложные, чем было возможно выразить в требуемом тексте (случаи М.М. Пришвина и П.П. Бажова). С другой стороны, устройство внутритекстового хронотопа также отражало специфическую динамику времени, определяемую исследователями как «невозможность настоящего»[2].

Во-вторых, в системе персонажей прозы об индустриализации ключевую роль играют молодые люди, проходившие личное и профессиональное становление на стройплощадке завода-гиганта[3]. Романы и повести 1930-х гг. зафиксировали заказ на представление взгляда рабочих, их способов видеть мир. При этом место рождения

[1] Об этом романе см.: *Подлубнова Ю.* Фантастическое, утопическое и историческое в романе Н. Ловцова «Канал» (1933 г.) // Литература Урала: история и современность: сб. статей. Вып. 7: Литература и история — грани единого (к проблеме междисциплинарных связей): в 2 т. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013. Т. 2. С. 291–297.

[2] См.: *Веселкова Н.В.* Невозможность настоящего: три жизни очерка 1920–1940-х гг. на Урале // Политизация поля искусства: исторические версии, теоретические подходы, эстетическая специфика / ред. Т.А. Круглова. Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2015. С. 303–322.

[3] Классический пример: *Катаев В.* Время, вперед! // Красная новь. 1932. № 1–10.

новых рабочих — обычно глубинка, село, «захолустье»[1]. Истоки же поэтики таких текстов, в свою очередь, отсылают к художественно-стилистическим средствам прежней, уходившей в XIX в., художественной системы: «уралмашевские» тексты, как и многие другие о футуристических проектах, написаны вполне традиционным языком. Тогда как вербуемые в деревнях крестьяне овладевали новыми специальностями по мере строительства завода, так и внутри классической поэтики формировалась новая образность и идеология индустриализации.

В-третьих, для произведений об уральских заводах XIX в. характерен этнографизм и нередко фольклоризм в качестве ресурсов (само)репрезентации территории на литературном поле. Романы о старых и строящихся новых уральских заводах 1920–1930-х гг., например, В.В. Лебедева «Товарищи» (1935 г.), «Мастера. Хроника двух заводов» (1937 г.) и Г. Никифорова «Единство» (1933 г.), «Мастера» (1936–1937 гг.), также активно использовали эти приемы, вводя в тексты мотивы местных преданий в их авторских вариациях. Особенно в этом отношении примечательны тексты Лебедева, где развивались мотивы поиска кладов, власти золота и драгоценных камней над человеком, создававшие экзотизированный образ Урала в жанре приключенческого романа.

Гипертекст о строительстве Уралмаша начинался с «нулевой отметки»: завод строился «в нетронутом лесу», «на голом месте»: стройка у озера Шувакиш, неподалеку от которой размещалось небольшое демидовское производство, подавалась в текстах как освоение абсолютно дикого прежде пространства; отсутствие логистики, необходимой для строительства, вынужденное нарушение последовательности работ[2] в официальном историческом дискурсе выглядело то как «дело, посильное только большевикам»[3], то как неизбежные трудности всякого начинания с нуля.

[1] Образ взят из романа: *Малышкин А.Г.* Люди из захолустья: М.: Гослитиздат, 1938.

[2] См.: *Агеев С.С.* Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003 / авт. и сост.: С. Агеев, Ю. Бриль. Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2003. С. 23–24.

[3] *Дрягин Г.Я.* Большевики на стройке Уралмашзавода. Свердловск: Партиздат, Уральское областное отделение, 1933. С. 7. Далее у него же: «Отсутствие элементарной механизации строительных процессов, отсутствие сколько-нибудь удовлетворительных навыков крупного строительства, а фактически тоже отсутствие сколько-нибудь серьезной промышленности стройматериалов, делали замысел Уралмашстроя смешным и бредовым в глазах многих людей, не верящих в силы рабочего класса» (Там же. С. 8).

Так же, с нуля, выстраивают свои повествования Л. Овалов и В. Федосеев: прошлое главных героев здесь лишь иногда напоминает о себе, центральным конфликтом становится борьба старого и нового, в которой рождается «новый рабочий человек». Этнографизм как экзотизация места и профессии при этом практически сходил на нет[1]. Место действия, с одной стороны, предельно конкретно (тексты Овалова и Федосеева полны узнаваемых реалий), с другой — обобщено в повествовании о «первых людях», если воспользоваться термином из уралмашевского фрагмента дневников М. Пришвина[2].

Как уже говорилось, сверхзадачей проекта ИФЗ было создание «истории заводов» голосами рабочих. И у Овалова, и у Федосеева главными героями выступали рабочие разной квалификации: Зина Демина проделала путь от пришедшей на стройку девушки без специальности[3] до фрезеровщицы, освоившей передовые методы работы на станке; герой Федосеева, автогенщик Трубин, со своей бригадой разрабатывал новый метод резки прибыл*е*й[4], стараясь разгадать секрет мастерства антагониста — корыстного мастера Рябинина. Тексты Овалова и Федосеева повествовали о настоящем, а не близком/желаемом будущем, раскрывая жизнь рабочих в конкретных условиях строительства. Фактографичность повествования не исключала идеологическую и иную «правку» реальности, скорее, наоборот, подкрепляла доверие идеям авторов. Вообще, романы 1930-х гг. об Уралмаше интересны своей фактурой, «незатертыми швами», подробностями и реалиями, которые спустя десятилетия будет практически невозможно обнаружить ни в производственных романах, ни даже в воспоминаниях очевидцев: в тех и других будет довлеть канон, и личная память «простых заводчан» не сможет в большинстве случаев его преодолеть.

Рассмотрим романы по отдельности.

[1] Остаточные формы этнографизма актуализируются лишь при появлении «внешнего взгляда», как например, во время поездки на трамвае приехавшей в Свердловск из Москвы жены главного героя романа Федосеева.

[2] См.: *Пришвин М.М.* Дневники. Запись от 01.03.1931.

[3] Подруга Зины и ее alter ego Тамара так описывает начало строительства: «Мы все начинали одинаково ... Мы приезжали отовсюду. У всех у нас были фанерные чемоданчики. Приходили в контору. На всякий случай нас спрашивали: специальность есть? Мы даже не знали, что значит это слово. Тогда нас спрашивали: руки крепкие? Мы отвечали: увидите...» (*Овалов Л.С.* Зина Демина. Свердловск: Свердлгиз, 1937. С. 17).

[4] В литейном производстве прибыль — это верхняя часть стального слитка (отливки), габариты которой выступают за пределы требуемых размеров.

Авторы их известны в разной степени: Лев Овалов (Лев Сергеевич Шаповалов, 1905–1997 гг.), медик по образованию, журналист и писатель, редактор журналов «Вокруг света» и «Молодая гвардия», наибольшую известность получил благодаря детективам о майоре-чекисте Пронине, цикл которых был прерван 15-летним лагерным сроком автора. «Зина Демина» относится к ранним произведениям Овалова. Сведений о Владимире Федосееве пока крайне мало: в 1934–1935 гг. он публиковался в заводской многотиражной газете «За тяжелое машиностроение», в городском «Уральском рабочем» и в центральной «Правде»; отрывки из повести (в текст, сохранившийся в Государственном архиве Свердловской области, они вошли не все) печатался в журнале «Штурм» и заводской многотиражке, был членом ВКП(б). Однако его жизнь и творчество до и после Уралмаша нам неизвестны. В краткой летописи литературного объединения Уралмаша он назван «молодым электросварщиком ... приехавшим на строительство по комсомольской путевке»[1]. Повесть действительно детальнейшим образом воссоздает все этапы работы автогенщиков, что свидетельствует о профессиональных знаниях автора в этой области. По всей вероятности, в тексте много автобиографического, однако утверждать это наверняка пока невозможно. Ассоциативный ряд повести, подтверждающий определенную образованность или, по крайней мере, начитанность автора и эстетические достоинства текста говорят в пользу того, что Федосеев, как и Овалов, мог быть молодым литератором-профессионалом, а не просто литературно одаренным рабочим, прибывшим на Уралмаш с тем же мотивом, что и Борис Ручьев на Магнитострой — найти свой голос и место в современной литературе.

В основание романов Овалова и Федосеева положены две различные сюжетные схемы, через которые сквозными линиями проходят личная/семейная и производственная темы. Текст Овалова построен как роман воспитания: его героиня, попав на Уралмашинострой из «глухой старообрядческой деревушки», проходит путь от разнорабочей до передовика соцсоревнования. Своеобразным «средством развития» становится для нее брак с китайцем Чжан Чжоу[2], пробудившим в ней жизнь души и выведшим из полудремотного состояния.

[1] *Бусыгин А.* Что горит в нашем сердце // Всходы. «Уралмашевские голоса»: сб. произведений участников литературного объединения Уралмашзавода / сост. А.И. Бусыгин. Екатеринбург: Б/и, 1994. Вып. 2. С. 3.

[2] Вообще мир романа Овалова многонационален: кроме китайца, в нем присутствуют японский и корейский шпионы, но, например, вовсе нет немцев, популярных еще 2–3 года назад, в начале 1930-х гг., в газетных заводских публикациях.

Развившись в «полноценного человека», Зина выбирает продолжение карьеры на заводе[1], отказавшись следовать за мужем в Китай:

> «Быть только женой Чжоу, его спутницей и помощницей... Это было для нее недостаточно. Жизнь в Китае не могла бы ее удовлетворить. Здесь она имела нечто такое, от чего она никак не могла отказаться... Родина надеется на тебя! Она все дает тебе и ждет, чем сама ты подаришь ее [так в тексте — *Н.Г.*] завтра... Разве может Зина отказаться от своего завтра? От завтрашнего дня своей замечательной родины? Зина хочет украшать, беречь родину, быть всегда вместе с нею… Всегда вместе с родиной! …Служить для нее, петь для нее, растачивать для нее детали… Она чувствовала, что не в силах расстаться со своим цехом...»[2]

Путь героини к самообразованию, контролю над собой и управлению своим временем транслировался автором как безусловно верный: Тамара, подруга Зины, выбравшая путь гибельной любви, разбилась во время прыжка с парашютом, не оправившись после аборта и не дождавшись семейного счастья. Для Зины замужество стало частью личного роста, уступая в иерархии ценностей профессиональной и личной самореализации.

В основе романа Федосеева — не только производственный конфликт, но и «мысль семейная». Если у Овалова большинство действующих лиц молоды, а старость имеет смысл лишь тогда, когда поддерживает молодую дерзость, то у Федосеева в центре мира находится семья: отец с четырехлетним сыном живут в заводском поселке и ждут приезда матери, задержавшейся по служебным делам в Москве. Мир главного героя, отца и автогенщика Трубина, делится на две неравные части: работа бригады на заводе, где главная цель — изобрести новую технологию резки, устранив застои в производственном процессе и монополию единоличника-резчика Рябинина, и вечерне-ночные часы дома, в компании малолетнего Вовки. Несмотря на верность реалиям и идеологемам эпохи (отец уходит на смену, нередко оставляя сына без надежного присмотра и даже болеющим), сцены «из детской жизни» настолько живы, приметливы и избыточны для повести производственной проблематики, что выдают несомненную авторскую волю и, вероятно, автобиографизм.

[1] С одной стороны, выбор на роль главного героя производственного романа женщины в середине 1930-х гг. уже не нов, а позднее станет устойчивым приемом производственных романов. С другой — в такой героине «нового мира» всегда просматриваются черты Евы, рядом с которой и чуть впереди — Адам (здесь — Чжоу).

[2] *Овалов Л.С.* Указ. соч. С. 127–128.

Мир повести Овалова, напротив, игнорирует родственные связи и межпоколенческую трансляцию опыта: на строительство стекались совсем разные люди, и их дружеские и деловые отношения становились важнее родственных, оставшихся за пределами текста (и нового мира). В романе Овалова нет детей и, значит, яслей, детских садов, школ, — что объяснимо наведением «крупного плана» на молодых героев. Однако такая логика не срабатывает, когда речь шла о локусах, появление которых в повести было бы оправдано сюжетом: события вокруг беременности и смерти Тамары предполагают наличие больницы, кладбища, которых-тем не менее в тексте нет. Наиболее здоровые и безопасные пространства у Овалова — общественные и открытые: стадион, улицы, площадь, лес. Камерные, частные, закрытые — немногочисленны и показаны как места шпионских действий и тяжелых разговоров[1].

Такие лакуны в возрасте персонажей и топике романа Овалова создают интересный эффект «длящегося настоящего»: главная героиня преображалась, оставаясь при этом неизменно вписанной в природный контекст (первый метафорический двойник Зины — рыба), минуя семейную «бытовизацию». «Новый человек», рождающийся на заводе и проживающий в заводском поселке, обладал телом, которое было практически неуязвимо и в ближайшей перспективе не смертно[2].

[1] Влияние пространства на героя нередко даже важнее, нежели различие между героями-антагонистами. Ср. описания комнат инженера Груза и первого совместного жилья Зины и Чжоу: «Рабочим кабинетом Грузу служила просторная и неуютная комната, сплошь увешанная чертежами и диаграммами, обозначавшими структуру цеха и движение производственных процессов. Даже среди мебели здесь не было ничего, что имело бы утилитарное значение: большой письменный стол, чертежный стол, высокая конторка, простые стулья... Ни одного украшения, ни одного лишнего предмета. Груз неохотно пускал посетителей в кабинет. Цой пришел к нему без приглашения, и хотя инженер высоко ценил его, как отличного токаря, ему было неприятно это неожиданное вторжение, и он разговаривал с корейцем, не отходя от двери» (*Овалов Л.* Указ. соч. С. 27). «Комната была погружена в полумрак, тускло горела под темно-зеленым абажуром настольная лампа, мелкая мошкара суетилась в полосе света, падавшего на подоконник, трепыхалась от ветра оконная занавеска, откуда-то издалека доносилось всхлипывание гармошки. Перекинув через плечо холщевое полотенце, концом его Зина тщательно вытирала чайную посуду. Она забыла, что находится в комнате не одна, и слегка вздрогнула от неожиданности, когда, повернувшись, увидела Чжоу; к постоянному присутствию возле себя другого человека она не успела еще привыкнуть» (Там же. С. 38–39).

[2] Эпизоды, наглядно демонстрировавшие физиологические возможности «нового коллективного тела», можно обнаружить в некоторых очерках и романах 1930-х гг.: рабочие меняют кирпичи домны без ее остановки; ныряют в 30-градусный мороз в воду, перекрывая под водой аварийные краны и т. д. Новое тело неуязвимо в ситуации героического подвига, но удивляло это только внешних наблюдателей, в основном, немецких специалистов.

Своего рода «дополненную реальность» по отношению к художественному миру Овалова создавал оставшийся неопубликованным роман Федосеева: его герои ютятся в комнатах бараков, гротескные детали быта первостроителей (обросшие мохнатой шерстью коровы, ночные горшки, розданные в качестве посуды; горы разбитых унитазов и др.) соседствуют с живыми зарисовками детских игр времен строительства соцгорода Уралмаш. Кроме того, если топография Овалова устремляет героев по тропинкам от лесного озера через поселок к асфальтированной площади завода, то в мире Федосеева жители зачастую не могут разобраться в логике и нумерации построек заводского поселка:

> «Трубин читал цифры на фанерных дощечках; они располагались в странном порядке: 2, 4, 6, 7, потом вдруг 15, 22 и, рядом, 11 — видимо дома нумеровались в той последовательности, как они возникали. А может быть эти дощечки означали кварталы: Или это были куски какого-то еще не реализованного полностью плана и пустоты между цифрами будут заполнены домами?»[1]

Сам же Уралмашинострой, тонкой ниткой трамвайного сообщения соединенный с городом Свердловском, теряется в череде многочисленных остановок-«строев»: Машинострой, Челябстрой, Автогенстрой[2].

Подчеркнем, что распределять романы по шкале большей или меньшей достоверности не приходится: оба текста подчинены в первую очередь авторской художественной логике и решению не только художественных, но и насущных идеологических задач. Реальность строительства должна была быть преображена, но оставаться узнаваемой.

Как уже упоминалось, поэтика текстов Овалова и Федосеева, при всем их различии, в целом, восходит к традициям русской классической литературы XIX в. более, нежели к авангардным исканиям. Хронотоп повести Овалова связан не только с романом воспитания (в духе эпохи индустриализации), но и перекликается с повестями Тургенева, задавшими срок развития чувства границами весенне-летнего дачного сезона: Зина появляется во время майского купания в озере, рифмуясь с рыбьими/русалочьими образами, а в финале романа, проводив Чжоу, украшает комнату веткой

[1] *Федосеев В.* Обратный удар, [не ранее 1935 г.] // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 44. Л. 77–78.

[2] См.: Там же. Л. 154–156.

красной рябины[1]. Художественный мир Федосеева погружен в зиму, мороз и тьму[2]. На заводе холод контрастно соседствует с пламенем сварки, манящим героя и опаляющим его, а в финале укрощенным до алого цвета шарфа — подарка приехавшей жены, предвещающего победу в состязании автогенщиков.

Природный мир повести Овалова мягок: лесное озеро, летние ночи, цветущие липы, звуки музыки из открытых окон. Мир Федосеева открыт стихиям[3]: огня, мороза, но прежде всего — ветра. Фрагмент из романа, опубликованный в заводской газете, в сокращенном виде вошедший в итоговый вариант повести, Федосеев полностью посвятил образу ветра — как подлинного, и в прошлом — единственного хозяина Урала: ветер объединял пространство и время и оказывался носителем «взгляда сверху», наравне с авторским. Образ ветра, наполняя текст символической глубиной, выводил повествование из повседневности в широкий историко-философский контекст:

> «Он вихрем шел над “Урочищем четырех братьев”, где глубоко под снегом, у старой шахты, лежала пыль — все, что осталось от царствующего дома Романовых. Снова вздымаясь и снова падая, он шел над Шувакишем, распластав мощные крылья. Продирался сквозь чащу леса, как через громадный гребень, ломая зубья — клочья снега летели на землю. Он омывал основание башни “Интце”, которая, как белая статуя, стояла над черным лесом. Ветер... Он спускался в ложбину, проносился над кучами снега, сдувая снежную пыль... пыль... Нет, это не пыль, дым шестисот землянок. ... Свистел в дымовые трубы — на улице не было ни одного человека и ни одной собаки, и ударял, как в бубен в вывеску с надписью “...социалистический город”»[4].

[1] Подробнее о хронотопе романа Л. Овалова см.: *Gramatchikova N.* Summer Season in the Working Settlement: From Mushrooms to People and Back. Uralmash in Fiction and Non-fiction Literature About 1930s // Convention 2017 «Modernization and Multiple Modernities» (ISPS Convention 2017) (Ekaterinburg, Russia, 28–29 April, 2017). Dubai: Knowledge E, 2018. P. 275–294.

[2] Фрагмент повести Федосеева, опубликованный в издании «За тяжелое машиностроение» и не вошедший в итоговый вариант текста, был посвящен борьбе героя с холодом и ветром: каждый вечер после смены герой возвращался к себе в темную комнату-нору и заделывал дыру в стене, ожидая приезда семьи (см.: *Федосеев В.М.* Ветер. Из романа // За тяжелое машиностроение. 1935. 7 нояб.)

[3] В. Федосеев вообще был внимателен к дихотомии стихии и организованности (см. об этом: *Федосеев В.* Песня. Отрывок из повести об Уралмаше // Уральский рабочий. 1934. 27 мая).

[4] *Федосеев В.М.* Ветер. Из романа.

Вода, кислород, металлы у Федосеева тоже проявляют свой характер и часто находятся в предельных состояниях, что перекликается с предельностью состояний человеческого тела — мерзнувшего, обожженного, как у Трубина, мечущегося в горячке, как у заболевшего Вовки. В зимней стуже, тьме и разъединенности герой делает, «что должен», столь же стоически, сколь и героически, вновь и вновь пробуя разнообразные способы резки и сварки. Ориентир для него — ни много ни мало — сам архангел Михаил с огненным мечом, «первый автогенщик»[1].

Итак, романы об Уралмаше и шире — о стройках индустриализации — несмотря на то, что их полноценное участие в проекте ИФЗ не состоялось в силу разных обстоятельств, дают неоценимый материал для размышления. Мы видим, как сюжетно-композиционные схемы романа воспитания («Зина Демина») и социально-бытового романа («Обратный удар») наполнялись новым содержанием: рождением нового человека и описанием героически-повседневных будней «начала начал» на «заводе заводов».

Для хронотопов обоих романов характерна «отсечка» по временной углубленности (дореволюционное, демидовское прошлое Урала не вошло в историю Уралмаша, это мир и завод «с нуля»), но далее творение происходило в разных модусах. У Овалова, несмотря на присутствие шпионской линии и увлеченность героини соцсоревнованием, — это, скорее, органическое, пластично перетекавшее из природного в цивилизационное подобно тому, как лесная тропинка становилась дощатым тротуаром, а потом асфальтированной дорогой к заводу. Это ускоренная, но совершенно естественная эволюция. У Федосеева мир находился в состоянии первотворения, если судить по активности и самостоятельности природных стихий и материалов, по смещению и текучести функций, казалось бы, привычных вещей и предметов, и в этом мире была важна активность человека.

С большой долей условности можно считать, что эти художественные произведения давали голос рабочему или выражали его мысли и чувства: несомненное авторское присутствие организовывало все художественное пространство, а природные силы выступали в качестве мощного регулятора, практически равного по силе социальному заказу. Ожидания новаторской образности (когда тело «нового рабочего» — это железные конструкции цеха и др., по А.К. Гастеву) — не оправдывались: образность романов оставалась

[1] См.: *Федосеев В.* Обратный удар, [не ранее 1935 г.]. Л. 188–189.

вполне традиционной, однако специфические отношения между рабочим и станком/ инструментом/ цехом, несомненно, находили свое место в романах[1]. Завод также занимал особое место в повествовании и в топике текста: биение его энергетического «сердца» отзывалось в каждой комнате ритмичным мерцанием электрических ламп.

Романы об Уралмаше представляют собой не только исторический интерес. Например, «Зина Демина», при понятной для эпохи риторике «возвращения долга стране» (тоже, впрочем, не ушедшей в прошлое) утверждала довольно современно звучащий приоритет самореализации, «полноценности», реализуемый через производственный труд. Сюжет романа Федосеева в качестве благополучной развязки предлагал не только изобретение нового типа резака, но и воссоединение семьи и выздоровление ребенка — вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам. Счастливая встреча не превращала картинку в рождественский рассказ, хотя финальные события в романе и приходились на новогодние дни: приехавшая жена/мать долго добирается до Уралмаша в одиночку, слушая рассказы кондукторш о гибели детей под колесами трамвая, застает сына тяжело больным, в кризисном состоянии… Однако семья собралась вместе, что, в конечном счете, способствовало в том числе и производственному торжеству. Таким образом, некоторые переклички хронотопа и отношений персонажей, соединенных узами любви, актуализировали евангельские смыслы этой истории.

«По-настоящему» услышать голоса рабочих того времени — желание, по-видимому, утопическое. Однако через три десятилетия части первостроителей будет дано право (почти) публичной памяти. Сможем ли мы обнаружить в текстах рабочих Уралмаша нечто родственное прочитанным историям?

Воспоминания ветеранов Уралмаша 1960–1980-х гг.: проблемные вопросы анализа корпуса позднесоветских эго-документов

В послевоенные годы в развитии заводской темы заметным литературным явлением стал роман В.Ф. Пановой «Кружилиха» о Мотовилихинском заводе (1947 г., Сталинская премия), написанный

[1] В становлении Зины Деминой станок играл вторую по важности роль после мужа Чжоу, а появление еще одного станка и увлечение стахановскими методами работы, в сущности, вытеснило мужа из дальнейших жизненных планов. У Федосеева интрига повествования закручена вокруг необходимости разгадать секрет мастера Рябинина и из доступных средств смастерить супер-резак. Испытания нового инструмента при этом оказались рискованны и потребовали не только смекалки, но и недюжинной смелости.

под впечатлением эвакуации в Пермь. Автобиографическую линию художественной прозы об уральских заводах продолжила публикация в 1968 г. в «Новом мире» романа Н.П. Воронова «Юность в Железнодольске» о Магнитогорском металлургическом комбинате. В начале 1960-х гг. получили право голоса и профессиональные историки, издавшие несколько сборников по истории индустриализации Урала, понимаемой широко хронологически и географически (Урал как макрорегион и с XVIII в.)[1]

Во время Великой Отечественной войны об Уралмаше вышло лишь несколько брошюр исторически-пропагандистского[2] и производственно-методического характера [3]. Однако в 1950-е гг. деятельность по составлению и публикации сборников очерков о делах и людях Уралмаша (именно в такой иерархии) продолжилась[4]. Собственно литературно-художественная продукция о «заводе заводов» добавилась достаточно поздно, лишь во второй половине 1970-х гг., когда вышел в свет сборник стихов, очерков, рассказов и картин свердловских авторов об Уралмаше[5]. Таким образом, количество голосов, рассказывавших о прошлом и настоящем завода, увеличилось многократно.

В 1967 г. следуя общей тенденции по сохранению памятии в преддверии 50-летия Великого Октября было решено создать Музей трудовой и боевой славы УЗТМ. Заводской музей мыслился при этом не только как место памяти, но и как субъект, формирующий эту память: например, в фильме С. Герасимова «Дочки-матери» (1974 г., сценарий А. Володина) есть эпизод экскурсии школьников по уралмашевскому музею и прием их в комсомол.

[1] См.: Из истории заводов и фабрик Урала: сб. статей / [ред. коллегия: канд. ист. наук А.А. Волсков и др.]. Вып. 1–2. Свердловск: Книжное изд-во, 1960, 1963; История индустриализации Урала (1926–1932 гг.) / под ред. Зуйкова В.Н. (глав. ред.), Фельдмана В.В., Бабикова И.И. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1967.

[2] См.: *Третьякова Е.* Уральцы в Отечественной войне против германских захватчиков в 1918 г. Свердловск: Госполитиздат, 1942.

[3] См.: *Гладков Ф.Г.* Создатели боевых машин. Очерки о людях Уралмашзавода. Свердловск: Свердлгиз, 1942; *Дранников А.Б.* Тысячники (Опыт завода имени Орджоникидзе). Свердловск: Свердлгиз, 1942.

[4] См.: Создатели машин: Книга об Уральском ордена Ленина, ордена Красного Знамени и ордена Трудового Красного Знамени заводе тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе: сб. статей. Свердловск: Свердловское книжное изд-во, 1953; Уралмаш. Рассказы уралмашевцев о своем заводе. Свердловск: Свердловское книжное изд-во, 1958. Выходят и книги индивидуального авторства, см., напр.: *Малофеев П.Р.* Дела и люди Уралмаша. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1967.

[5] См.: Ладоней рабочих тепло: Свердловские писатели, художники, журналисты — об Уралмаше. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1976.

В том же году партком завода и музей инициировали проект по сбору воспоминаний ветеранов УЗТМ. Проект перешагнул рамки задуманного анкетирования и отведенного для этого времени (предполагалось — до осени 1967 г.): воспоминания поступали в музей, с неоднородной интенсивностью, вплоть до 1983–1984 гг. (последний всплеск активности, видимо, был связан с надеждой использовать их для юбилейного сборника к 50-летию УЗТМ). В результате сформировался Фонд воспоминаний работников Уралмашзавода, ныне переданный на хранение в ГАСО[1]. Опись Фонда насчитывает 277 дел разного объема: от страницы заполненной анкеты до рукописных книг по истории своего подразделения; и различной степени личной заинтересованности: кто-то сам писал в музей письма, обходил сослуживцев, записывая их трудовые биографии, чьи-то ответы фиксировали работники музея. Авторы воспоминаний — ветераны завода, в большинстве своем прошедшие определенный отбор: подавляющее их большинство были членами КПСС и относились к Уралмашу как к месту личностного и профессионального роста. Воспоминаний недовольных работой на УЗТМ или уволенных с завода в этом Фонде нет.

Насколько оправдано наше ожидание иных версий исторической памяти в такого рода Фонде, инициатива создания которого исходила из официальной, но «родной» для многих авторов структурой в период отсутствия тотального цензурирования текстов? Почему собранные тексты не были использованы в предполагавшемся объеме, а лишь как источник фактографического краеведческого материала[2]? Насколько автобиографические рассказы «простых заводчан» о строительстве завода похожи на сюжеты романов Овалова и Федосеева?

Сходный процесс трансформации личной памяти в публичную риторику описал Борис Васильев в рассказе «Ветеран» (1976 г.) Героиня Васильева — Алевтина Ивановна, бухгалтер 50 лет, получила приглашение выступить в клубе с рассказом о фронтовой юности, и весь вечер провела, вспоминая эпизоды далекого прошлого, отвергнув наставления мужа-фронтовика, поклонника серьезной мемуарной литературы, ради того, чтобы остаться свидетельницей собственного опыта, сказать о погибших и выживших сержантах, лейтенантах, прачках. Однако на следующий день, поднявшись на трибуну в клубе, она

> «встала в тесном трибунном загончике, погладила ладонями отполированные локтями предыдущих ораторов дубовые панели и, с ужасом понимая, что она так и не сможет сказать того, о чем думала, о чем плакала и что вспоминала, вдруг отчаянно выкрикнула в переполненный зал:
> — Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия, сломив ожесточенное сопротивление озверелого врага, вступила в порабощенную фашизмом Европу...»[1]

Итак, рассказ Васильева заканчивается немотой памяти рядовых участников войны. Однако жизнь шире и длиннее художественного текста, и реальные участники событий имели более, чем одну попытку выразить пережитое. Материалы Фонда воспоминаний работников Уралмашзавода предоставляют редкую возможность исследования разнообразных (со)отношений коллективных и индивидуальных версий памяти.

Перед нами массив текстов, созданных авторами, непосредственно участвовавшими в строительстве и дальнейшей деятельности Уралмашзавода, в течение двух позднесоветских десятилетий. Первоначально авторы следовали разработанной анкете, при изложении трудовой биографии два пункта требовали более развернутых ответов. Первый касался периода строительства завода, второй — времени Великой Отечественной войны. Однако сохранившихся анкет в Фонде всего около десятка, что позволяет предположить, что позднее, после 1967 г., далеко не все авторы ориентировались на этот делопроизводственный шаблон. В Фонде остались свидетельства того, что часть текстов проходила процедуру верификации: ветераны читали тексты друг друга, однако следов внесенной после «рецензирования» правки не обнаружено, а свое мнение коллеги высказывали в приложенных к воспоминаниям заметках или письмах. Таким образом, в подавляющем большинстве авторы, очевидно, самостоятельно решали возникавшие по ходу письма проблемы, совершая выбор средств описания[2].

---

[1] См.: ГАСО. Ф. Р-2910: Воспоминания работников Уралмашзавода Музея истории Уралмашзавода. Оп. 1: [1945]–2010-е гг. За возможность работы с документами Фонда приношу свою благодарность сотрудникам Музея истории Уралмашзавода и лично Сергею Степановичу Агееву.

[2] Музей за это время сменил название и профиль: из Музея трудовой и боевой славы стал Музеем истории УЗТМ, добавив к своим функциям краеведческую функцию.

[1] *Васильев Б.Л.* Ветеран // Юность. 1976. № 4. С. 6–13.

[2] Некоторые личные дела содержат тексты воспоминаний одного автора, датированные разными годами: напр., у Аникеевой М.С. — тексты воспоминаний 1958, 1968, 1983 гг. (см.: *Аникеева М.С.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 6. // *Аникеева М.С., Жуков С.И., Банникова Е.Г., Бубнов В.П., Курочкин В.М.* Воспоминания о строительстве Уралмашзавода // Там же. Д. 7); у С. Е. Герчикова — тексты 1965, 1981, 1983 гг. (см.: *Герчиков С.Е.* // Там же. Д. 56); и др.

Следует сказать, что документы Фонда можно рассматривать не просто как коллекцию, но своеобразный корпус текстов, структура которого была задана начальной «разметкой» вопросов анкеты. Авторы описывают начало своей трудовой биографии на Уралмаше, первые годы строительства завода, сложности военного периода, свои непосредственные трудовые обязанности, этапы профессионального роста, перечисляют полученные награды и знаки отличия. Эти общие для большинства текстов признаки образуют своеобразную «сеть», обеспечивающую Фонду дискурсивную цельность. С другой стороны, редкие тексты обладают полным набором общих признаков, реализуя их с разной степенью полноты. Не менее важной характеристикой Фонда в целом является значительное количество документов, разнообразных тематически и жанрово: присланные в музей бывшими работниками завода, они были приняты на хранение, но иногда имеют лишь косвенное отношение к истории завода Уралмаш. В общем виде композиция воспоминаний работников Уралмаша выглядит так: краткая предыстория рассказчика / первое появление на заводе / учеба и преодоление трудностей вместе с коллективом / война и послевоенное восстановление / обзор профессионального и карьерного роста на Уралмаше, награды и грамоты / окончание работы на заводе / статус рассказчика в настоящее время. Периоды работы завода заполнены в эго-документах Фонда крайне неравномерно (но эта неравномерность также носит устойчивый характер): первые годы строительства и становления производства описаны подробно, затем 1930-е гг. практически отсутствуют в воспоминаниях, и вновь более подробное повествование о военных годах и послевоенном восстановлении, далее период подъема производства в позднесоветское время дан пунктирно, не порождая ярких нарративов.

При этом дискурсивная общность документов Фонда очевидна[1]. Так, регулирующие (дискурсивные) факторы очень сильны в текстах, описывающих *свое* и *наше*, но часто *чужими словами*. Однако активность пишущего воспоминания субъекта проявляет себя не только в апроприации значимых категорий («первостроители», «первые комсомольцы», «члены фронтовой бригады», «синеблузники» и др.), но и в построении нарратива. Анализ нарратива — повествования, организованного самим рассказчиком, — позволяет увидеть не только «коллективное тело», но и «лицо» каждого заводчанина — автора конкретного эго-текста.

Каким образом организуются нарративы авторов Фонда?

[1] См.: *Граматчикова Н. Б., Енина Л.В.* Время и пространство воспоминаний заводчан в конструировании коллективной идентичности первостроителей Уралмаша // Научный диалог. 2020. №7. С. 55–75.

Есть несколько «входных установок», которым следует человек, согласившийся написать воспоминания либо заполнить «анкету ветерана».

Во-первых, автор неизбежно производит выбор «жанрового ориентира», делая его с разной степенью осознанности: тексты имеют явные признаки автобиографии, свободного рассказа о себе, воспоминания-отчета о работе собственного подразделения, письма в музей и др. Эта жанровая установка может быть отражена в названии документа («Воспоминания прошлых лет», «Зарницы воспоминаний», «УЗТМ 50 лет»[1], «О работе ... в годы...», «Отчет о работе...»[2] и др.), либо документ может содержать мета-текстовые пометы (например, в письмах таковые тяготеют к начальной и финальной позиции в тексте)[3] и риторические формулы (вопросы, обращения «дорогие товарищи» и др.)

Во-вторых, с жанровым выбором связана степень солидарности индивидуальной авторской позиции с текстовым *Мы* и/или выраженности собственного *Я*. Степень вовлеченности автора текста в коллективный дискурс часто и определяет избранную жанровую стратегию. Отметим, что более образованные авторы часто демонстрируют менее индивидуализированные тексты за счет лучшего владения официальным дискурсом, используя устойчивые риторические обороты как речевую маску, своеобразную «социальную мимикрию». *Мы* бывших партработников устойчиво соединено с маркерами жанра отчета в воспоминаниях; другие образованные авторы могут скрывать собственное *Я* за подчеркнуто объективированными формами изложения, безличными и пассивными конструкциями и др. («было построено», «пущено в строй», «произведено» и др.)

Сказанное не означает, что одни авторы пишут «из головы, от себя», а другие «из газеты». Это означает, что «от себя» различно у разных авторов и включает в себя как готовые газетные клише

[1] См.: *Белик В.П.* УЗТМ 50 лет // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 34; *Светлаков В.М.* Воспоминания прошлых лет // Там же. Д. 207; *Ширяева Е.А.* Зарницы воспоминаний 1926–1933 // Там же. Д. 249.

[2] Последние два заглавия наиболее частотны в текстах Фонда, равно как и однословное – «Воспоминания».

[3] Письма очень показательны среди документов Фонда: в них, обращаясь к конкретному адресату, автор чувствовал себя более свободным и различал сказанное «в вечность» и реплику, адресованную знакомому: «извините, многое забылось», «не знаю, так ли я написал», «пишу по памяти» и др. (*Аникеева М.С.* Воспоминания, 1983 г. // Музей истории Уралмашзавода. Б/н. Б/л; *Бергман-Смертина Н.В.* Письмо от 10 февраля 1982 г. // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 38. Л. 6; *Бакиров Б.У.* Воспоминания. Парткому Уралмашзавода // Там же. Д. 18. Л. 11; и др.)

и формулы, так и ошибки, оговорки, суждения, готовящие «перформативный сдвиг» (по А. Юрчаку[1]). Там, где у «наивного автора» «свое» находит выражение в ошибках и наивных суждениях, образованный автор, реализуя установку на дополнение официального дискурса, находит иные средства выражения своей позиции.

Нарратологический анализ эго-документов Фонда позволяет по-иному взглянуть на проблему «искажений» и излишней субъективности текстов, часто становящуюся краеугольным камнем разногласий историков и филологов. Удерживая в фокусе внимания проблемы памяти (то, как люди рассказывают о прошлом, а не то, что было на самом деле), продуктивно обратиться к ключевой нарратологической категории — событию[2]. В последние два десятилетия активно изучается нарратив, выходящий за пределы художественности, но остающийся ведущей коммуникативной практикой[3]. В повествовательных фрагментах эго-документов Фонда событие и случай размечают центр и периферию авторской картины мира: в событиях герой принимает непосредственное участие, случаи происходят спонтанно, помимо воли пишущего. Объяснения, предлагаемые авторами, можно зафиксировать с помощью категории интриги, которая в данной терминологии представляет собой «объяснительное сопряжение событий, связывающее начало истории с ее концом»[4]. Таким образом, ключевые категории нарратологии позволяют на структурном и композиционном уровне обнаружить различие в картинах мира авторов Фонда и в их коммуникативных компетенциях.

Как проявляет себя категоризация по событиям и случаям в текстах Фонда (особенно тех, где содержатся не только победные реляции, но и повествуется о сложных моментах трудовой биографии)? Например, комсомольские и партийные работники редко включали в текст упоминание об авариях, однако в воспоминаниях работников коммунальных служб рассказы об устранении аварий частотны. Такое устройство нарративов исходит не из того, что первая группа авторов лжива, а вторая честна, но вследствие того, что для первых

[1] См.: *Юрчак А.* «Это было навсегда, пока не кончилось». Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2014.

[2] См.: *Тюпа В.И.* Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова). Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001.

[3] См.: Поэтика и прагматика нарративных практик: коллективная монография / [отв. ред. В.И. Тюпа; редкол. Е.Ю. Козьмина, О.В. Федунина]. Екатеринбург: ИНТМЕДИА, 2019.

[4] *Тюпа В.И.* Нарратив и другие регистры говорения // Narratorium. 2011. № 1–2: Электронный ресурс. URL: http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2027584 (дата обращения: 09.09.2021).

аварии и срывы находятся на периферии повествования, они случайны и не играют значимой роли, тогда как для вторых аварии событийны и входят в сферу рабочей повседневности, то есть обладают двойной мотивацией для включения в текст[1]. Анализ интриги позволяет оценить, насколько объяснительные схемы авторов Фонда обусловлены эпохой, уровнем образования и характером пишущего[2]. Здесь требуется дополнительное кропотливое исследование, однако очевидно, что конкретный текстовый документ Фонда — это каждый раз еще и индивидуальный проект.

Многообещающими, но на настоящий момент еще менее проработанными для анализа эго-документов выглядят родовые литературоведческие категории: эпос, трагедия, комедия, а также их частный спутник — гротеск. Все они связаны с нарративной установкой большинства авторов Фонда: воспоминания уралмашевцев ориентированы не только и даже не столько на делопроизводственную автобиографию, но и на подведение итогов жизни в эпическом стиле, ведь речь идет о «заводе заводов», «первенце индустриализации». Герои этого «локального эпоса» — личные знакомые повествователя и сам автор. Однако эпичность, обусловленная ситуацией создания текста (официальный запрос, адресат, время), вступает в противоречие с «риторикой скромности», принятой у советских людей. Тогда задачу жанрового выбора авторы решали по-разному: кто-то привычно и нераздельно соединялся в тексте с *Мы*, кто-то (обычно это авторы с высоким профессиональным и социальным статусом) писал о себе, другие предпочитали рассказывать о коллегах, иногда вообще оставляя свой трудовой путь за пределами текста[3].

В процессе работы над документами Фонда выявились явные переклички жанрообразующих стратегий авторов воспоминаний со способами организации исторического сюжета в концепции метаистории Х. Уайта. Уайт писал, что

[1] Ср., напр.: *Гаёв С.К.* О строительстве водопровода и канализации на Уралмашиностроe в 1929–1934 гг. // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 54; *Жуков С.* Первенец. Записки комсомольца-строителя // Там же. Д. 86.

[2] См., напр., письмо Алексея Матвеевича Дереглазова о строительстве бараков и «чуде» при копке котлована: *Дереглазов М.А.* Письмо В.Н. Анфимову, 7 февраля 1977 г. // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 76. См. также воспоминания Александра Харитоновича Карлина о происшествиях в цеху как диверсиях: *Карлин А.Х.* Письмо Совету музея // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 99.

[3] См., напр., дело Екатерины Владимировны Авдеевой, где содержатся ее воспоминания о подруге-уралмашевке А. Васильевой, погибшей в годы Великой Отечественной войны, а также стихотворение А.Г. Редикульцевой, посвященной военному подвигу самой Е. В. Авдеевой (*Авдеева Е.В.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 1).

«стиль ... историографа может быть охарактеризован в терминах языкового протокола, который он использует для префигурации исторического поля еще до создания на его основе разнообразных “объяснительных” стратегий, используемых им для оформления “истории” из “хроники” событий, содержащихся в историческом документе. Эти языковые протоколы ... могут быть описаны в терминах четырех основных модусов поэтического дискурса»[1].

Эти модусы Уайт описывал через тропы Метафоры, Метонимии, Синекдохи и Иронии — так «историки могут имплицитно или эксплицитно оправдывать переход к разным объяснительным стратегиям на уровне доказательства, построения сюжета и идеологического подтекста»[2]. На основании этого Уайт выводит «четыре архетипические сюжетные структуры, посредством которых историки могут изображать исторические процессы в их повествованиях как истории [stories] особого вида: Роман, Трагедия, Комедия и Сатира»[3].

Исследователи автобиографий отмечали, что такой тип повествования о жизни «вводит обобщенный, интегральный образ *Я*… и выводит сознание, мышление на особый временной горизонт — в макровремя человеческой жизни. Здесь возникает зыбкий, может быть, неожиданный или даже пугающий смысл таких слов, как жизнь, судьба, счастье…»[4] Разворот неформализованного автобиографического повествования, каковых большинство среди воспоминаний Фонда, в сторону жанровой модели эпоса, лирической песни, приключенческого романа, трагедии в ее древнейшем варианте борьбы героя с судьбой и др. позволяет задействовать разные эмоциональные регистры и смоделировать место рассказчика в описываемых событиях. Но эти же принципы организации повествования в рамках одной из родовых категорий литературы распространяются в эго-документах и на способы вписывания себя в «большую историю». Переклички с концепцией Х. Уайта, обнаруженные нами после анализа большого эмпирического материала, подкрепляют возможность вести дальнейшее исследование воспоминаний Фонда и в этой парадигме, имея в виду, что каждая из сюжетных структур имеет в позднесоветском корпусе текстов свои особенности, как,

[1] *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 492.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] *Голофаст В.Б.* Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. №1. С. 71–88.

собственно, и в толковании Уайта, где романная структура близка сказке, сатира — ее прародительнице сатуре и др.

Эмоциональная палитра воспоминаний заводчан выглядит крайне скупой, что само по себе может стать предметом размышления, так как в целом эпос как раз склонен к изображению чувств и даже их гипертрофирует (но делопроизводственная автобиография, второй источник модели описания, — конечно, нет). Чувства и эмоции положительного спектра присутствуют, но исчисляются единицами: в основном, это гордость, радость от свершений и работы на заводе; удивление при первом знакомстве с цехами УЗТМ и оборудованием. Чувства негативного спектра — страх, горе, разочарование, обида и др. — получают легитимизацию только как общенародное горе во время Великой Отечественной войны, страх мирного населения при бомбежках, усталость от сверхурочной работы и т. д. Личное горе и трагедия практически не имели доступа в тексты Фонда.

Связано такое распределение чувств не только с оптимизмом советского дискурса в целом, но и с тем, что большинство авторов Фонда писали свои воспоминания, находясь на пенсии, их трудовая биография дошла до финальной точки. В таких случаях ресурсы автобиографической памяти поддерживают образ состоявшейся, успешной и достойной жизни, тем более что все авторы дожили до пенсии, избежав в большинстве своем репрессий, тяжелых травм и др. Исключения есть, но они всегда оговариваются в текстах. Таким образом, создание образа благополучной жизни — задача, разделяемая как на официальном, так и на личном уровне. Грусть и печаль авторов вызывает их уход на пенсию, отъединение от коллектива, от общих свершений и «общей» жизни.

Требует внимания и категория комического, способы ее выражения в эго-документах Фонда, и особенно — близкое соседство с гротеском. Через гротеск, проявляющий себя в некоторых воспоминаниях, частично может быть осмыслена и проблематика ностальгии[1], почти неизбежно возникающая при разговоре о советском прошлом: при описании строительства или своего начала работы на производстве авторы прибегают к образам и сравнениям, которые помогли бы молодому поколению в 1960–1980-х гг. представить, каким образом

[1] При этом мы разделяем точку зрения, заключающуюся в том, что ностальгия – есть прежде всего определенное послание о недостатке чего-либо в настоящем, нежели проявление памяти и свидетельство об ушедшей эпохе как таковой (см.: *Шелер М.* Ресентимент в структуре моралей = Das ressentiment im Aufbau der morale. СПб.: Наука, Университетская книга, 1999; *Davis F.* Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgiю. N.Y.: Free Press, 1979; и др.)

строились промышленные гиганты Урала. Свойство памяти таково, что эти сравнения нужны и самим авторам, поскольку они одновременно мысленно пребывают в давнем прошлом («как это было», «что было и чего не было») и осознают уникальность и неконвертируемость своего опыта («да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...»; «когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим»). К таким примерам-образам из прошлого, близко подходящим к гротесковой поэтике, относятся, например, барак, развалившийся весной, потому что фундамент был сделан «из прутьев, снега и льда», щели в полу нового многоэтажного дома такой ширины, что сквозь них «с верхнего этажа можно было видеть что делается на первом этаже»[1], начавшийся пожар в здании суда во время открытого процесса над «поджигателями кузнечно-прессового цеха», когда «на суде прозвучали слова судьи, чтобы каждый товарищ выходил без паники и захватил с собой стул. И когда вышли из здания, перешли через дорогу, в дворец культуры имени Сталина, дворец был временным деревянным. Суд продолжался, и виновные понесли наказание»[2] и др.

Таким образом, осмысление воспоминаний Фонда (текстов с установкой на документальность изложения) через стратегии основных литературных родов углубляет наше понимание соотношения вербализуемого и скрытого[3] — того, что присутствует в тексте подспудно, в качестве авторских установок и «оговорок».

И наконец, last but not least — это проблема терминологии в именовании типа авторского сознания в документах Фонда. Тот факт, что они были созданы непрофессиональными литераторами и большинство авторов заполняло анкету по запросу, не претендуя даже на «воспоминания», не только на «мемуары», заставляет внимательно отнестись к тому, каким термином возможно именовать носителей подобного типа сознания «homo scribens» и какова степень их субъектности.

Термины «простые люди» и «наивный автор»[4] при всей интуитивной понятности и даже известной правоте, на наш взгляд, устанавливают отношения этического неравноправия между исследователем и авторами текста. Тем более, что тексты не анонимны, и вряд ли верно определять заметки начальников цехов и конструкторских бюро и др. как результат действий «простого человека» (чем инженер проще исследователя, работающего с этими документами?). При этом внимательное чтение эго-документов Фонда показывает, что тексты (вероятно) малообразованных авторов бывают устроены сложнее, нежели формальные отчеты специалистов.

На наш взгляд, необходимым шагом работы в этом направлении является определение некоторых формальных критериев для отнесения текста к наивной словесности, учитывая, что ведущая установка всех документов Фонда — не художественная, а документальная. При таком подходе мы сможем выделить черты наивной словесности, присущие некоторому количеству текстов Фонда, которые и придают колорит всему собранию, а также держат исследовательскую интригу, углубляют представление о том, каким образом происходил сдвиг советской риторики и ее апроприация различными слоями населения.

Анализируя эго-документы профессионально успешных уралмашевцев, написавших тексты, более или менее близкие «наивной словесности», мы не только не можем отказать этим текстам в оригинальности, но и констатируем, что именно они оказались в большей мере способны к сопротивлению официальному дискурсу, вероятно, осуществляя это помимо авторской воли и желания, силами самого языка. Одним из интереснейших в этом отношении поздних документов Фонда являются «воспоминания прошедшего и настоящего работы на Уралмаше» (1988 г.) Николая Павловича Боярских, первостроителя и изобретателя. Рукопись Н.П. Боярских представляет собой интереснейший образец наивной словесности, где автор описывает этапы собственной биографии как ступени познания жизни, где начальный импульс был задан «академией деревенской жизни», а последней, четвертой стала «природная академия», где он «изучал пчелу и муравья и как действует хваленый прогресс»[1]. Выстраивая, по сути, альтернативную историографию и далеко раздвигая хронологические и тематические рамки уралмашевского периода, Боярских, вероятно, задумывал этот текст в качестве сопроводительного к описанию своего изобретения, основанного на использовании «энергии испуга»[2].

---

[1] *Дереглазов А.М.* Указ. соч.

[2] *Соловьев С.А*. Воспоминания // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 218.

[3] Выделяя в текстах скрытое и рутинное, мы опираемся на категории качественного анализа автобиографических повествований, разработанные В.Б. Голофастом (см.: *Голофаст В.Б.* Размышления о культуре // Телескоп. 2009. №2. С. 20–31).

[4] Каждый из терминов («простые люди», «обычные люди», «наивные авторы» и др.) имеет свою традицию употребления и степени лояльности со стороны академического сообщества. Однако дискуссия по поводу степени субъектности «голосов из хора», начатая почти тридцать лет назад, далеко не завершена (см.: *Козлова Н.Н.* Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М.: Ин-т философии РАН, 1996).

[1] *Боярских Н.П.* Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 44.

[2] Там же. Л. 10.

К сожалению, иные документы этого автора не сохранились. Ясно, что такие тексты не могли быть многочисленны в Фонде, но сама их сохранность делает честь сотрудникам Музея истории завода, так как теперь предоставляет возможность изучения альтернативных способов построения нарратива о работе на Уралмаше.

Разнообразие описанных нами выше возможных инструментов работы с текстами Фонда не в последнюю очередь связано с разнородностью самих источников. Отсутствие профессиональных литераторов в Фонде для нас в первую очередь говорит о том, что поэтика текстов, насколько бы редуцированной она ни казалась, имеет сложный генезис: с одной стороны, она определена дискурсивно — эпохой, газетными и кинематографическими клише, строками песен и лозунгами, с другой — ей свойственна произвольность, степень которой нуждается в уточнении в каждом конкретном случае.

Итак, исследование воспоминаний работников Уралмашзавода продолжается, и вопросов остается не меньше, чем сформулированных на сегодняшний день ответов. Среди важнейших проблем остаются:

— вопросы самоидентификации авторов эго-документов Фонда: что значит для них «быть уралмашевцем», и насколько востребована в этой связи негативная идентичность («не хныкать», «не ныть», «не жаловаться», повторяющиеся в текстах);

— модусы соотношения личной истории с историей «большой»: какого рода массовая литературная, кинематографическая и музыкальная продукция в наибольшей мере влияла на образ прошлого для уралмашевцев?[1] Отметим, что большинство из авторов воспоминаний Фонда, фактически оказавшись в ситуации героини рассказа Б. Васильева, все-таки находят компромиссный вариант и вписывают именно личную историю в историю страны. Другое дело, что адаптация происходит по лекалам трудовой биографии заводчанина, то есть описывается не столько прожитая жизнь в определенную эпоху, сколько трудовая биография работника конкретного предприятия, — но именно таков был запрос, на который ориентировались авторы. История завода во многих случаях заслоняет и даже

[1] Очевидно, такая работа прежде всего должна включать скрупулезный сбор и анализ текстов, на которые ссылаются авторы воспоминаний Фонда (напр., нередко упоминаются очерки М. Шагинян). Часть текстов массовой культуры влияет в качестве прецедентных моделей, без упоминаний авторов, и выделить такие тексты крайне важно. Кроме того, в воспоминания некоторых авторов Фонда включены стихи их собственного сочинения (см. напр., *Авдеева Е.В.* Указ. соч.; *Анфимов В.Н.* Соцгород Уральского завода тяжелого машиностроения. 1929–1975 гг. Т. 1 // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 11; и др.)

заменяет собой историю страны, однако в силу статуса и масштаба УЗТМ она тоже выглядит «большой» и мыслится авторами как почти вечная;

— разработка категорий «наивного авторства» и «наивной словесности» применительно к документам Фонда представляют новый подход к делопроизводственным позднесоветским текстам и позволяют углубить наше представление о сложности советского субъекта в разных типах текстах.

Итоговые замечания

Мы рассмотрели два существенных элемента гипертекста об истории Уралмаша: художественную прозу 1930-х гг. и Фонд воспоминаний работников завода 1960–1980-х гг. Расширение рамки исследования до гипертекстуальных связей словесности о заводе позволяет ввести в круг сопоставлений художественные, публицистические и документальные по установкам тексты, применять к нем сходные парадигмы анализа и обнаруживать переклички и взаимовлияния.

При сопоставлении художественной прозы о заводе Уралмаш и материалов Фонда воспоминаний о том же периоде очевидно, что «голос рабочего» в романе и «голоса рабочих», обретенные ими в автобиографических и мемуарных текстах, — это разные текстовые реальности. В то же время все элементы гипертекста как внутри, так и между собой связаны определенными конвенциями, не все из которых пока прояснены.

Так, художественные и большинство нехудожественных текстов Фонда описывают события строительства Уралмаша «с чистого листа». Для авторов-профессионалов и работников завода Уралмаш — это целый мир со своей историей возникновения и развития, конкурентными внешними связями и намеченной тенденцией к герметизации: в романах это обусловлено созданием художественного мира произведения, в автобиографиях — чаще всего описанием рабочей повседневности ветеранов, личное становление и профессиональный рост большинства из которых произошли на Уралмашзаводе. Можно сказать, что формирование канона описания завода и соцгорода как замкнутого целого произошло как раз в художественной прозе, однако в тексты уралмашевцев попало уже из массовой литературной и публицистической продукции. Получив «право памяти», рабочие, отправляющие воспоминания в музей, пользуются этим правом весьма осмотрительно, находясь в зависимости от (само)цензуры и степени своей писательской компетенции, когда газетные лозунги, строки стихов и песен кажутся им лучшими

выразителями их чувств и памяти. В воспоминаниях Н.С. Рожиной, например, видно, как с ее согласия правом памяти о прошлом завладевает фигура Серго Орджоникидзе, памятник которому был установлен у центральной проходной завода в 1955 г.[1]

Художественные тексты моделируют совершенно особую реальность: сохраняя документальные подробности первых лет строительства, они создают систему персонажей как «систему сил», устремленную к нужному автору полюсу победы индустриализации, описывают рождение нового человека труда, нового отношения к орудиям производства и самому заводу. Портреты людей 1930-х гг. в таких текстах выразительны, узнаваемы, хотя и носят в известной мере собирательный и типизирующий характер: так, биография Зины Деминой перекликается с автобиографиями уралмашевской чемпионки Татьяны Алексеевны Карелиной, а также с воспоминаниями Марии Семеновны Аникеевой, одного из авторов документов Фонда[2]. Эго-документы Фонда самим фактом написания воспоминаний «присоединяют» их автора к истории завода, которая мыслится пишущим как несравнимо более ценная, важная и долговечная, нежели отдельная человеческая жизнь. Именно поэтому тексты Фонда пестрят фамилиями коллег, сменщиков, членов бригады, мастеров и учеников, не давая им зачастую никакой характеристики: само упоминание в тексте, направляемом в Музей истории завода, равнозначно для ветеранов внесению в «книгу памяти» и не нуждается в дополнительной информации. При этом «идеологическая разметка» персонажей присутствует и в художественной прозе, и в воспоминаниях Фонда. В романах идеология определяет положительных и отрицательных героев, дополнительной важной характеристикой которых становится возраст, а точнее — молодость. В нарративах эго-документов партийная принадлежность является важной, но не исчерпывающей характеристикой человека, обрастая дополнительными маркерами: «коммунист с 1918 года», «коммунист без партбилета» и др.

Гипертекст о заводе — это текст об индустриальности. Художественные тексты о заводах, как мы показали, в большей степени связаны с развитием литературной традиции изображения производства, жанровых структур романа воспитания, соцреалистического канона и др., то есть с внутренними литературными факторами, нежели с перипетиями заводской истории. Мы отмечали, как этнографизм, характерный для романов о заводах рубежа XIX — первых двух десятилетий XX в., сходит на нет (у Л. Овалова), заменяясь в отдельных случаях автоэтнографией отдельных заводских профессий (у В. Федосеева), в основном, в связи с изменением читательской аудитории. Подробное описание производственных операций (например, труда автогенщиков, сварщиков, клепальщиков, фрезеровщиков и др.) в произведениях 1930-х гг. носит характер методический и пропагандистский, нередко покидая сферу производственного и оказываясь симптомом смены различных укладов (ср. состязание клепальщиков и сварщиков в романах «Обратный удар» В. Федосеева и «Юность в Железнодольске» Н. Воронова). Литераторы 1930-х гг. по-разному, но всегда довольно патетически описывали взаимоотношения «нового рабочего» со станками или другими орудиями производства. В воспоминаниях же заводчан профессиональная лексика настолько привычна и устойчива, что именно она в наибольшей мере ответственна за эффект «герметичности» заводского мира: описанный языком «своих для своих» он открыт далеко не всем читателям. И в то же время именно в стойкости этого профессионального дискурса мы обнаруживаем ту наполненность эмоциональной памяти, которой ждем от иных, кажущихся более подходящими для выражения чувств, ситуаций[1].

И здесь мы подходим к системе лакун текстов о заводе, которая представляет собой тоже безусловно конвенциональное поле, однако это поле своеобразной «антиматерии» — невидимой, но очень влиятельной. Как раз в этом отношении художественная литература ведет себя предсказуемее текстов так называемых «простых людей». Художественные миры подчинены определенной логике и, будучи сконструированы талантливыми авторами, выглядят убедительно и по-своему реалистично. Там, где конвенции не изменились, тексты остались вписанными в историю советской литературы, как роман Л. Овалова. Однако детали быта первостроителей, запечатленные в неопубликованном тексте Федосеева, больше не повторяются нигде: писать о безнадзорных детях, самостоятельно организующих свой досуг, плохих жилищных условиях жизни в заводском поселке и др. позднее было уже не принято. Тексты эго-документов, анализируемые как корпус, образуют текстовую «ткань» гораздо более плотного

[1] *Рожина Н.С.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 195.

[2] См.: *Аникеева М.С.* Указ. соч.; *Карелина Т.А.* Моя жизнь. Екатеринбург: Б/и, 2000.

[1] См., напр., у Григория Демьяновича Кобелева: «Я переделал ф[р]езы на (сделал) частый зуб забивает стружкой и фрезы ломались я сточил один зуб. Зуб стал реже и фреза идет спокойно зуб не забивает, поэтому свободно можно работать на 2х и даже на 3х станках (Конечно на меня кое кто из ребят сердились)» (*Кобелев Г.Д.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д.103. Л.1).

переплетения: авторы вспоминают и забывают, ошибаются, смущаются, проговариваются, увлекаясь, дописывают, отчитываются и др. — и каждый раз мы получаем иной фокус и иную оптику, потому что для каждого из ветеранов события и случаи были размечены по-своему, и в результате у значительного количества профессиональных и социальных явлений появился шанс быть отраженным в документах Фонда и войти в гипертекст об истории завода.

Наконец, ожидаемо различна и авторская позиция. Автор художественного произведения занимает позицию вненаходимости по отношению к тексту. Создатели воспоминаний и автобиографий пишут о себе и не только о себе, поэтому в текстах так или иначе присутствует образ *Я*. Нам важно, что установка на документальность (насколько бы, в свою очередь, условна она ни понималась) все время расширяет рамки повествования, и личные биографии заводчан нередко уводят авторов за пределы уралмашевской истории. Однако включение в текст «доуралмашевского» прошлого или «послеуралмашевского» будущего авторов всегда мотивировано через причастность к «заводу заводов»: так, для старших авторов Фонда, например, участие в Гражданской войне имеет своим логическим продолжением работу на Уралмаше[1]. Официальный дискурс и сами заводчане, из разных побуждений и с разных сторон, неизменно привносят в процесс работы на заводе-гиганте элемент этического выбора, связывая разные исторические эпохи (Гражданская война — индустриализация — Отечественная война) не только событийно, но и нравственно[2].

Таким образом, XX в. развивает и усложняет образ завода не только семантически, но и эстетически, и этически, и происходит это за счет взаимодействия различных составляющих гипертекста, включающего в себя значительную долю эго-документов.

[1] См.: *Ясырев Ф.И.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 266.

[2] См., напр.: *Белик В.П.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 34; *Бакиров Б.У.* // ГАСО. Ф. Р-2910. Оп. 1. Д. 18.

Глава I.4. Письма и «рабочие записи» П.П. Бажова: меняет ли «вброс» эго-текстов легендированную биографию писателя?[1]

(М.А. Литовская)

В начале 2000-х ггг., когда готовилось первое издание «Бажовской энциклопедии»[2] и было задумано текстологически выверенное сопоставление всех прижизненных изданий сборника «Малахитовая шкатулка»[3], а также подготовка к переизданию сопровождающих эту книгу текстов П.П. Бажова, в осваиваемом материале обнаружились незамеченные ранее закономерности и лакуны.

Речь шла, в первую очередь, о степени полноты и документированности биографии писателя, при том, что, казалось бы, она была описана, широко известна и получала многократное подтверждение, начиная с конца 1940-х гг., во все новых и новых публикациях, предназначенных для различных сегментов читательской аудитории[4]. Всплеск интереса к хорошо известному автору в начале 2000-х гг., соблазн реинтерпретации его творчества в контексте меняющейся социокультурной ситуации позволил изменить акценты в описании жизненного пути П.П. Бажова и породил новые варианты его биографии, основанные, как и предыдущие, в первую очередь, на достигнутом им авторском статусе и результатах художественного творчества.

Во второй половине 2010-х гг. начинается, продолжаясь до сих пор, переоткрытие бажовского архива и происходит своего рода

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00221 «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX в. в историко-литературном контексте».

[2] См.: Бажовская эциклопедия / ред.-сост. В.В. Блажес, М.А. Литовская. Екатеринбург: ИД «Сократ»; Изд-во Уральского ун-та, 2007.

[3] См.: Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка: научное издание / Д.В. Жердев, М.А. Литовская, Е.А. Федотова. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2019.

[4] См.: *Боголюбов К.В.* Народный писатель: к 5-летию со дня смерти П.П. Бажова. Свердловск: Книжное изд-во, 1955; *Саранцев А.С.* Павел Петрович Бажов: жизнь и творчество. Челябинск: Книжное изд-во, 1957; *Скорино Л.И.* Павел Петрович Бажов. М.: Советский писатель, 1947; и мн. др.

«вброс» массива эго-документов, в первую очередь, писем, дневниковых и рабочих записей писателя. Какие возможности и ограничения таит в себе этот «вброс»? какое место занимают эти документы в творческом наследии П.П. Бажова? какие изменения он вносит в устоявшиеся представления о писателе? — вот круг вопросов, который мы планируем рассмотреть в этой работе.

«Мастер, мудрец, сказочник»: биография первая

Интерес к биографии П.П. Бажова (1879–1950 гг.) и широкое ее распространение были обусловлены тем, что писатель стал / был «назначен» классиком русской литературы XX в., а также genius loci Урала.

Статус классика П.П. Бажов получил еще при жизни, знаки социального почтения по отношению к нему исправно соблюдаются до сих пор. П.П. Бажов умер в московской больнице 3 декабря 1950 г., был похоронен в Свердловске при небывалом для города стечении народа, а 25 января 1951 г. Совет Министров СССР принял постановление об увековечивании его памяти. В честь писателя называли улицы, открывали мемориальные доски на домах, где он жил, учился и работал, устанавливали памятники. С 1960 г. городская усадьба П.П. Бажова в Свердловске начала охраняться как памятник государственного значения, в 1969 г. в ней был открыт мемориальный дом-музей. В 1982 г. еще один дом-музей начал работу на родине Бажова в городе Сысерти. Несколько сказов писателя уже десятки лет как включены в учебные программы российской начальной и средней школы, а это значит, что некоторые тексты Бажова признаются «ядерными» для отечественной культуры, с ними должны быть знакомы все, получающие начальное и среднее образование в российских школах. Сказы переиздавались более 2 тыс. раз, литература о жизни и творчестве П.П. Бажова насчитывает более 3 тыс. позиций[1]. По произведениям писателя сняты фильмы, создано множество спектаклей, включая балет С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке» (1954 г.) Дни рождения писателя неизменно освещаются отечественными медиа различных уровней. В российской культуре произведено несчетное количество разного качества образов в искусстве, политике, коммерции и т. п., прямо или косвенно отсылающих к Бажову[2].

[1] См.: Павел Петрович Бажов: библиографический указатель (1913–2010) / сост. В.В. Горева, Н.В. Кузнецова. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2011.

[2] См., напр.: *Шабуров А.* Бажовский китч: советское тиражное искусство на сюжеты уральских сказов. Каталог выставки. Екатеринбург: ГЦСИ, 2019.

Кроме звания классика русской литературы, Бажов имеет негласный статус genius loci Урала, то есть считается автором, «чья жизнь (биография), работа и/или произведения связаны с определенным местом (домом, усадьбой, поселением, деревней, городом, ландшафтом, местностью) и могут служить существенной частью образа ... места»[1]. Уроженец Среднего Урала, всю жизнь там проживший, именно Бажов в 1930–1940-е гг. создал ставший широко известным «канонический» образ региона, определивший его восприятие как «своими» — жителями этих мест, так и «чужими». Выбранная автором установка на жанр сказа, предполагающий как повествование о прошлом, в нашем случае, места, так и возможность включения фантастического (у Бажова — Тайной силы, персонифицированной в образах Хозяйки Медной горы, Огневушки-поскакушки, Серебряного копытца, горных мастеров и других известных персонажей), позволила литературоведам говорить о том, что сборник «Малахитовая шкатулка» — это своего рода авторский эпос горного Урала, удачно вписавшийся в историю развития отечественной словесности[2].

Начиная с публикации первых сказов, критики отмечали, что бажовские тексты в наглядно-образной форме подчеркнули значимость даже самых незаметных и тяжелых рабочих профессий индустриального края, прославляя того, кто на языке советской идеологии назывался «человеком труда». Это устроило советскую власть, которая поддержала нового автора тиражами изданий, Сталинской премией и соответствующими привилегиями.

Но genius loci из художников определяется социумом, когда общепринятым становится созданный автором образ места. Жителям Урала не пришлось учиться любить Бажова, так как он предложил им важное и нужное — эффектную историю региона с особым предназначением, выразительные положительные типажи населяющих Урал людей. Наконец, именно в 1930–1940-е гг. оказалась очевидной своевременность бажовских сказов: писатель, по сути, открыто поддержал уставших от внутренних классовых и внешних войн советских граждан, в чью жизнь постоянно и грубо врывалась «большая история», сформулировал понятные принципы жизни, применимые в разные времена, напомнил, наконец, что у человека в любых обстоятельствах есть два союзника — внутреннее достоинство и мастерство.

[1] *Замятин Д.* Гений места: Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Вып. 4. М.: Ин-т Наследия, 2007. С. 270.

[2] См.: *Блажес В.В., Литовская М.А.* От составителей // Бажовская энциклопедия. С. 5–8; *Никулина М.П.* Камень. Пещера. Гора. Вып. 15. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002; и др.

Выдуманная Бажовым региональная уральская мифология прочно внедрилась в массовое сознание как испокон веку существующая. У коллег-литераторов, критики, читателей было сформировано любовно-почтительное отношение к автору «Малахитовой шкатулки», еще при жизни писателя выраженное в формульных характеристиках — мастер, мудрец, сказочник[1].

Многолетнее выстраивание региональной идеологии и связанной с ней символики вокруг фигуры Бажова как заглавной привело к тому, что в массовом сознании произошла типичная редукция[2] образа автора сказов как личности, и биография писателя приобрела устойчивую фабулу, имеющую варианты как для взрослых (более развернутый[3]), так и для детей[4]. Основные вехи биографии (талантливый мальчик из рабочей семьи, поддержанный демократически настроенным педагогом, сумевший, в свою очередь, стать преподавателем, увлеченным местным фольклором, в Гражданскую войну — «красный» партизан, в 1920-е гг. — советский журналист и, наконец, автор уральских сказов) призваны были подчеркнуть происхождение Бажова, а также полуфольклорную природу знаменитой «Малахитовой шкатулки», созданной уральским старожилом. В рамках этого нарратива Бажов предстает человеком с богатым опытом, которого долгая жизнь готовила к главному — созданию книги о рабочих людях, удачно соединившей литературную реалистическую и фольклорную традиции.

Образу «дедушки Бажова» вполне соответствовал многократно задокументированный и растиражированный облик автора сказов, которому было 60 лет, когда его настигла слава. Иконография Бажова 1940-х гг. богата[5]. Седина, длинная борода, трубка, трость, старомодная манера одеваться в стиле заводских мастеров соответствовали стереотипному представлению о знатоке истории края, собирателе

[1] Впоследствии так будет назван сборник воспоминаний о П.П. Бажове (см.: Мастер, мудрец, сказочник: воспоминания о П. Бажове / сост. В.А. Стариков. М.: Советский писатель, 1978).

[2] См. об этом: *Загидуллина М.В*. Пушкинский миф в конце XX века. Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2001.

[3] См., напр.: *Батин М.А*. Павел Петрович Бажов, 1879–1950. Свердловск: Книжное изд-во, 1959; *Он же*. Павел Петрович Бажов: жизнь и творчество. М.: Гослитиздат, 1963; и др. книги этого автора.

[4] См.: *Пермяк Е.А*. Долговекий мастер: о жизни и творчестве Павла Бажова. М.: Детская литература, 1974 (2-е изд., перераб. и доп., 1978); *Хоринская Е.* Наш Бажов. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1968 (2-е изд., 1982; 1989); и др.

[5] См., напр.: *Тюфяков И. Н.* Павел Петрович Бажов: [фотоальбом. К столетию со дня рождения]. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1980.

народной мудрости, фольклорном рассказчике. Это представление в известной степени подчинило себе как популярные толкования творчества Бажова, так и его биографию, неоднократно воспроизведенную в учебниках и многочисленных «юбилейных» популярных статьях о писателе.

История жизни Бажова в советское время воссоздавалась усилиями нескольких поколений критиков и историков литературы, но в ней существовали «белые пятна», каковых в жизни едва ли не каждого советского человека с дореволюционным прошлым можно найти немало. Интерес к оставшимся в тени фактам резко вырос в последние годы существования СССР, когда Бажов, подобно большинству успешных советских авторов, оказался, с одной стороны, под подозрением как возможный приспособленец и человек беспринципный, с другой — стал объектом защиты как человек своего времени.

Защитники писателя принялись придавать его жизненной истории политическую неоднозначность, вводя ранее не введенные в оборот биографостроительства документы. Так, Н.В. Кузнецова, с начала 1950-х гг. собиравшая всевозможные материалы о писателе, нашла доказательства того, что П.П. Бажов начинал свою политическую деятельность как эсер, а также собрала воедино факты о репрессиях против него в 1930-е гг.[1] Находки бажововедов позволили также увидеть в Бажове историка с оригинальной программой исследований Урала[2]. Изменившаяся политическая ситуация в России подтолкнула к обсуждению не поднимавшихся ранее проблем: каким было и как повлияло на Бажова духовное образование? какой характер носило его участие в работе советских организаций? действительно ли его творчество безоговорочно вписывается в направление социалистического реализма? каков был реальный литературный контекст появления сказов?

Постепенно общими усилиями, сохраняя принципиальную солидарность с предшественниками, биографы-защитники создали внутренне непротиворечивое повествование о немолодом советском журналисте, который был отчасти жертвой исторической эпохи — первой половины XX в., отчасти — победителем драматических обстоятельств, сумел сохранить жизнь и достоинство благодаря, в том числе, эффективной стратегии автопрезентации занял в отечественной

[1] После ряда публикаций 1990-х гг. Н.В. Кузнецовой был подготовлен сборник: Неизвестный Бажов: малоизвестные материалы о жизни писателя / [сост. Н. В. Кузнецова]. Екатеринбург: Баско, 2003.

[2] См.: *Плотников И*. Павел Петрович Бажов как политик и историк. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004.

словесности уникальное положение человека, чьи художественные тексты были восприняты как приемлемые для советской власти в период самого жесткого идеологического надзора, относительно благополучно пережили смену общественного строя и доминирующих культурных парадигм, а идеи во многом предопределили развитие региональных исторических нарративов[1].

«Колдун уральский бородатый»: биография вторая

В 2010-е гг. начинается распад доселе солидарного мнения об уникальном авторе, «с которым Уралу повезло», во многом из-за тоже солидарного разочарования обывателей, журналистов, уральских чиновников, в эффективности сказочных бажовских образов для представления Уральского региона в новых условиях[2].

Вокруг классического наследия постоянно идут культурные войны с попытками перетянуть на свою сторону авторов-классиков как своеобразный символический капитал, и Бажов стал героем такой войны. «Академическое» бажововедение коллективными усилиями формирует концепцию творчества Бажова, согласно которой успех провинциального учителя и журналиста обусловлен тем, что он парадоксально включился в гомогенизированную к концу 1930-х гг. официальную советскую культуру и оказался, по сути, родоначальником нового взгляда на российского homo laboris. Внутренне свободный рабочий человек, по собственной инициативе и воле осваивающий тонкости профессии, мастер, закономерно проходящий все этапы личностной реализации, несмотря на все драматические и даже трагические социальные и личные обстоятельства, до этого героем отечественной литературы не был.

Эта концепция показалась слишком специальной и малоинтересной новым популяризаторам творчества Бажова. В медиа в соответствии с постсоветским стереотипом создать образ «настоящего» писателя как «жертвы века» и/или скрытого борца с режимом плодотворной показалась идея создавать образ Бажова как обладателя авантюрной биографии. Так, в статье журналиста А. Филиппова «Хождение по мукам Павла Бажова. Как писатель скрывался от белых, менял фамилию и дважды лишался партбилета»[1] — одной из множества подобных — развенчивается популярный бажовский образ «мудрого и доброго рассказчика и человека не от мира сего». Вместо него читателям предлагается рассказ о «бурной жизни» советского человека первой половины XX в. с рефреном «Беда шла за Бажовым по пятам». В интерпретации журналиста «ужас и безысходность» детства Бажова сменились «самым ярким и страшным впечатлением его жизни» — революцией и Гражданской войной. Арест родных, смерти детей, жизнь по «плохо подделанным документам», тиф, потом работа цензором и «ужасный, кровавый фарс 1930-х годов». Сотрудник Истпарта Кашеваров, книгу которого Бажов не пропустил в печать, заваливал начальство доносами на Бажова. Героев документальной книги, которую Бажов начал писать в 1937 г., посадили, и на него обрушились огромные неприятности. Исключения из партии, гибель сына: «Загнанный в угол, он писал то, что помогало ему выстоять». Литературный успех, а затем и «номенклатурный взлет» Бажова объясняются тем, что «“Малахитовую шкатулку” прочел заядлый книгочей Сталин, проглатывавший по 200 страниц в день, и она ему понравилась». Но жизнь Бажова не изменилась:

> «в отапливавшемся печами домике по-прежнему не было водопровода и канализации, он отказался от машины, ходил в стареньком пальто. В войну сбивался с ног, устраивая эвакуированных в Свердловск писателей, после войны тянул непосильную для старика ношу общественных обязанностей — и умер в Москве, на сессии Верховного Совета»[2].

Автор смешивает реальные и вымышленные факты, расставляет акценты так, чтобы Бажов превратился в персонажа своего рода приключенческого романа с положенными испытаниями инициацией, стоическим сопротивлением, успехом, медными трубами и, наконец, с чудесным помощником-покровителем.

---

[1] См. об этом: *Жердев Д.В., Литовская М.А*. Павел Бажов «Малахитовая шкатулка»: контексты // Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка: научное издание. С. 792–818. Этот нарратив в целом поддерживают авторы текстов в медиа, сориентированных на жанр научно-популярного очерка (см., напр.: *Лукьянова И*. Семь жизней Павла Бажова // Русский мир. 2018. № 2. С. 48–55; *Сутырин В*. Павел Бажов. Биографическое повествование. Екатеринбург: ИД «Сократ», 2012).

[2] Хотя, по словам заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко, «у Павла Бажова особое место не только в мировой литературе, но и в истории Урала. Ему удалось превратить промышленный Урал в сказочный и сделать это место частью жизни каждого, кто читал бажовские сказы», образ региона нуждается в обновлении (Исполнилось 140 лет со дня рождения Павла Бажова // Русский мир: Электронный ресурс. URL: https://russkiymir.ru/news/251826/ (дата обращения: 10.09.2021).

[1] См.: *Филиппов А*. Хождение по мукам Павла Бажова. Как писатель скрывался от белых, менял фамилию и дважды лишался партбилета // Российская газета. 2019. 27 янв.: Электронный ресурс. URL: https://rg.ru/2019/01/24/kak-bazhov-skryvalsia-ot-belyh-menial-familiiu-i-lishalsia-partbileta.html (дата обращения: 10.09.2021).

[2] Там же.

В результате произошедшей «редукции» образ «мастера-мудреца-сказочника» трансформируется в медиа-образ драматической жертвы «соединения ужасных, чудесных и таинственных обстоятельств». Генерализованная характеристика обстоятельств как будто легализует разгул воображения интерпретаторов, которые начинают смешивать проверенные и ничем не подтвержденные или даже заведомо ложные факты. При этом Бажов — автор формально и содержательно сложных оригинальных текстов, предназначенных для взрослого читателя, превращается в пересказывателя известных ранее, но по каким-то причинам забытых сказок об уральских самоцветах и горных чудесах.

Если биографические факты символически «возвращают» писателя в круг «взрослой» культуры, то связанное со сказами все чаще иронически переосмысливается как «детское», наивное, давно пережитое. Обсуждения творческой личности П. Бажова в социальных сетях свидетельствуют о том, что у значительной части широкой публики его образ нередко иронически снижается, отчасти, возможно, из-за недостаточно высокого статуса детской литературы, отчасти из-за усталости от того, что иногда определяют как «бажовщину», то есть от повсеместного использования образов писателя для презентации уральского региона или рабочего человека. Восприятие Бажова только как сказочника приводит к проявлению фамильярности в отношении него самого. С одной стороны, он «дедушка Бажов», то есть человек заведомо принимаемый и родной, с другой — объект добродушной иронии — борода, любитель валенок, носитель устаревших привычек и не до конца полноценного знания[1].

«Далевое глядельце»: источники биографии

Стройные, хотя во многом несогласные друг с другом в оценке жизни писателя биографические нарративы, опираются на очень ограниченный набор источников 1930–1940-х гг. Значительная их часть — воспоминания людей, знавших Бажова в период его позднего расцвета и обладавших теми возможностями высказывания, которые предоставляло время. Легенда о дедушке Бажове-мастере, мудреце, сказочнике основана на интерпретациях фактов, сложившихся в 1940-е гг.

Характерно, что среди источников биографии Бажова важнейшими оказались эго-тексты. Во-первых, это фрагменты из очерковых книг («Уральские были» и др.) с их явными автобиографическими фрагментами. Во-вторых, «адаптированные» эго-тексты составляют значительную часть первых литературоведческих и критических текстов о писателе.

На биографических сведениях, сообщенных самим Бажовым, основаны первая монография о нем Л.И. Скорино и первая книга о Бажове М.А. Батина. Литературовед, познакомившаяся с Бажовым во время эвакуации в Свердловск, активно переписывалась со своим, как он сам себя иронически определял, «объектом». В книгу «Павел Петрович Бажов»[1] вошли многие цитаты и пересказы цитат из его писем. Можно даже сказать, что, по сути, автор предоставила Бажову самому объяснить читателям многие особенности своей творческой биографии. М.А. Батин, ставший младшим собеседником Бажова в последние годы жизни писателя, также ориентируется на содержание этих бесед, как частных, так и официальных интервью, предназначенных для публикации.

У Бажова были причины следить за тем, как «барды» формируют его биографию. В частности, возможно, для того чтобы увести внимание интересующихся его жизнью от сомнительных с точки зрения 1940-х гг. событий своего прошлого. К ним можно отнести и полноценное духовное образование, и преподавательскую службу в епархиальном училище, и сотрудничество с немарксистскими, то есть буржуазными краеведами, а также с социалистами-революционерами, и деятельность времен Гражданской войны, о которой до сих пор известно явно недостаточно, и сочувственное отношение к людям, которые впоследствии были репрессированы, и т. д., и т. п. Поэтому писатель сам задает рамки своей биографии, избегая обсуждения «темных» мест. Эта позиция поддерживается семьей и первыми публикаторами: они подчеркнуто не выходят за рамки образа «Бажов — автор сказов».

Через два года после смерти Бажова в третий том собрания его сочинений были включены разножанровые тексты под общим названием «Отслоения дней». По утверждению составителей, «под этой рубрикой самим писателем были объединены дневниковые записи, воспоминания, тексты отдельных публичных выступлений»[2]. Раздел включает 20 писем писателя, выдержки из дневника, воспоминания, расположенные в хронологическом порядке. Содержание этих документов связано исключительно с литературной проблематикой[3].

---

[1] См. об этом подробнее: *Литовская М.А.* Образ Бажова в современных российских СМИ: биографический поворот // Известия Уральского федерального ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2(198). С. 138–150.

[1] *Скорино Л.И.* Указ. соч.

[2] *Бажов П.П.* Сочинения в трех томах. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 3: Повести, очерки, дневниковые записи, письма. С. 356.

[3] См.: Там же. С. 285–334.

В 1955 г. в сборник «Публицистика. Письма. Дневники» те же составители — В.А. Бажова и М.А. Батин — включили, кроме опубликованных ранее, еще 34 письма. «Отслоения дней» в этом издании имеют подзаголовок «дневниковые записи» и характеризуются в примечаниях следующим образом:

> «С 1943 года П.П. Бажов вел своеобразные дневниковые записи. Они были отражением впечатлений от различных событий, фактов, явлений общественной жизни, почему-либо привлекших внимание писателя. Велись записи нерегулярно: фиксировалось именно то, что как-то, чем-то поразило, вызвало раздумья, что особо “отслаивалось”, выделялось из общей суммы повседневных впечатлений, как наиболее значительное, заметное. Павел Петрович так и назвал эти записи — “Отслоения дней”»[1].

Разделы «Статьи, выступления, беседы», «Письма» с отдельно выделенными «Письмами к начинающим писателям», «Отслоения дней (Из дневниковых записей)» хронологически организованы внутри себя, но начинаются они с 1944 г., так как, по мнению составителей,

> «бажовские материалы [19]40-х гг. в общем более интересны с точки зрения литературоведческой. … Широк круг вопросов, затрагиваемых П.П. Бажовым в документах настоящего сборника. Вопросам литературы и искусства среди них должно быть отведено первое место. … При отборе материалов для сборника составители учитывали также необходимость включить в него не только “проблемные” документы, но иногда и сугубо бытовые, если в них выявляются те или иные черты личности писателя. Включены также — в небольшом количестве — те материалы, которые интересны по языку и стилю писателя. В частности, последнее соображение побудило нас включить в сборник несколько таких писем, содержание которых, с точки зрения общественной значимости, не является очень существенным. В то же время в ряде документов произведены изъятия, сокращения. Убраны излишние повторения и то, что не представляет интереса ни для широкой общественности, ни для специалиста-исследователя»[2].

Так, в широко известном бажововедам обширном письме Л.И. Скорино от 20 сентября 1944 г., содержащем ответ на вопросы исследовательницы о детских годах и круге чтения юного Бажова,

[1] *Бажов П.П.* Публицистика. Письма. Дневники. Свердловск: Книжное изд-во, 1955. С. 270.

[2] Там же. С. 3–4. Для различения полного и неполного текста составители используют два типа заголовков «Письмо» и «Из письма», но соблюдают их нестрого.

опущены характерные фрагменты, разрушающие чинный образ дедушки Бажова[1]. Это фамильярное обращение «Ваше достопочтенное бажовогрызие!», упоминание имени-отчества адресата — «Людмила Ивановна» и определение Скорино как «строгого исследователя»[2], смягчающие позицию автора письма. Кокетливы иронические замечания Бажова о самом себе как болтливом старике-мемуаристе («Известно, в детство впадают»[3]) и об адресате письма:

> «Хорошо, что у Вас при всей исследовательской строгости сохранилось прекрасное женское качество не отмечать на письме дату. Это большое облегчение для медлительных корреспондентов: все же не так стыдно, когда нельзя точно установить точного срока задержки ответа»[4];
>
> «Впрочем, вы ведь кандидат филологических наук, хотя и по очень сомнительной теме, а я лишь изучаемый объект, и не мне объяснять Вам, чему можно учиться у Чехова»[5].

Ирония также смягчает своеобразный торг: в ответ на подробный рассказ о себе, который потом войдет в переработанном виде в монографию литературоведа, Бажов просит Скорино «достать» и переслать ему собрание сочинений Чехова, замечая:

> «Стоимость издания и пересылки любым способом, конечно, мои. Остальное Ваше. Со своей стороны я тоже приму меры к добыванию, но ведь Москва!.. Золотые маковки, бездонные кармашки: все норовит себе забрать, ничего периферии. Не беда поэтому, если в Свердловск попадет один лишь экземпляр. Город все же стоящий, и Чехова тут любят не меньше, чем в других местах»[6].

Наконец, завершается письмо постскриптумом, содержащим критику опубликованной в журнале «Новый мир» статьи адресата бажовского письма, в которой Л.И. Скорино, по мнению автора письма, «неправильно» и несправедливо задела уральцев — коллег Бажова.

В полном варианте письма, отвергнутом составителями — женой и историком литературы, Бажов предстает человеком весьма

[1] Сокращенный вариант письма см.: *Бажов П.П.* Публицистика. Письма. Дневники. С. 138–146. Полный вариант, без изъятий см.: Павел Петрович Бажов. Письма. 1911–1950 / сост. Григорьев Г.А., Григорьева Л.С.; науч. ред. М.А. Литовская. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018. С. 187–200.

[2] Павел Петрович Бажов. Письма. С. 193.

[3] Там же. С. 189.

[4] Там же. С. 187.

[5] Там же. С. 194.

[6] Там же. С. 195.

язвительным, проницательным, использующим широкий спектр иронии, в том числе по отношению к централизованной государственной практике распределения книг, и в то же время осторожным, помнящим об «аргусовых глазах». Эти «оттенки» личности, конечно же, обогащают интересный и фактологически насыщенный рассказ Бажова о своем детстве, об учебе в духовном училище и духовной семинарии, которые он именует бурсой, — рассказ, который потом будет многократно перекладываться в научных и популярных книгах и статьях о писателе.

Но публикаторы письма поддерживают позицию Бажова, выраженную в этом же документе. Он иронизирует над нежеланием Л.И. Скорино обсуждать содержание его пропавших фольклорных записей («Знаю, что вам эти мои фольклорные похождения не совсем по душе, но наука есть наука. Она требует строгого подхода к фактам»[1]), но следом прямо говорит о своем собственном нежелании обсуждать некоторые факты своей биографии периода Гражданской войны. Отчуждая себя как персонажа не своей, чужой книги от себя-реального человека, именуя себя «чудаковатым объектом», он замечает, что из его «трех книжечек» о войне

> «можно кое-что почерпнуть об авторе и той среде, в какой ему приходилось работать. В высокой степени неважно, кем и когда он в то время был. На этот вопрос даже отвечать не буду. Это анкета. Если подробно — книга, даже не одна. Основное вам известно: политработник тех дней. Преимущественно редактор фронтовой и ревкомовской печати»[2].

Бажов — опытный газетчик и вполне отдает себе отчет в том, что биография формируется биографом с учетом наличия документально подтвержденных фактов и что замалчивание документа или факта героем биографии не возбраняется.

Составители книги нехудожественных произведений П.П. Бажова взяли на себя ответственность отобрать, сократить и определенным образом расположить бажовские тексты, скорее всего, не только потому, что такова была воля автора писем (нам о ней на сегодняшний день ничего не известно) или по причине того, что многие адресаты писем, лица, упоминавшиеся в них, были живы, но также из-за характерного для советского литературоведения первой половины 1950-х гг. стремления представить читателям Бажова как человека, интересного, в первую очередь, своим отношением к проблемам искусства, чья частная жизнь и связанные с ней сиюминутные переживания и рассуждения являются необязательным для стороннего взгляда фоном его творческой деятельности.

[1] Павел Петрович Бажов. Письма. С. 196.

[2] Там же.

Исследователь эпистолярия П.П. Бажова В.В. Блажес справедливо заметил: «Новизна сказов — в содержательном, сюжетном, историко-литературном отношении — была настолько значительна, что у редакторов, журналистов, писателей, критиков возникали самые разные вопросы, и Бажов многократно отвечал на них»[1]. Первые публикации писем и дневниковых записей выполнили функцию бажовского автокомментария к сказам: эго-тексты поясняли творческие установки писателя, давали читателям возможность оценить широту мышления, эрудицию автора «Малахитовой шкатулки». Кроме того, они позволили увидеть их автора не сказочником, а рефлексирующим литератором, Бажов предстал общественным деятелем, историком Урала, взыскательным критиком, даже теоретиком искусства — именно таким, каким (с позиции подхода к репутации писателя 1940-х гг. и любящей его семьи) должен остаться в памяти читателей писатель его ранга — классик литературы.

По сложившейся в советской издательской культуре традиции авторы — «старые» классики получали право на публикацию полного собрания сочинений, включающего, помимо художественных текстов с редакциями и набросками, откомментированные полный эпистолярий и дневниковые записи, в то время как недавно провозглашенные классики — на собрание художественных текстов с включением произвольного набора публицистических текстов, а также фрагментов эго-текстов общественно-значимого характера. Издатели близкой по структуре книги В. Катаева дали ей название «Почти дневник»[2]. Издание подобного типа предполагает создание цельного образа писателя на основании хронологически организованного, подобно дневнику, принципиально неполного собрания его эго-текстов, дополняющих в соответствии с официальной точкой

[1] *Блажес В.В.* Эпистолярное наследие П.П. Бажова // Бажовская энциклопедия. С. 491.

[2] См.: *Катаев В.* Почти дневник. М.: Советский писатель, 1962 (2 изд., доп., 1978). В аннотации к книге ее содержание определено следующим образом: «В книгу выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Валентина Катаева включены его публицистические произведения разных лет. Это значительно дополненное издание вышедшей в 1962 году книги “Почти дневник”. Оно состоит из трех разделов. Первый посвящен ленинской теме; второй содержит дневники, очерки и статьи, написанные начиная с 1920 года и до настоящего времени; третий раздел состоит из литературных портретов общественных и государственных деятелей и известных писателей» (Там же).

зрения сложившийся у читателей образ автора известных им художественных произведений. За десять лет до публикации катаевской книги составители книги «Публицистика. Письма. Дневники» шли по этому же пути.

«Старых гор подаренье»: неучтенный архив

Значительная часть бажовского архива, основу которого составили документы, переданные на хранение в Объединенный музей писателей Урала вдовой писателя Валентиной Александровной Бажовой, долгие годы находилась вне поля зрения исследователей. В фондах музея хранится более 400 личных писем Бажова и около тысячи служебных, связанных с последним периодом жизни писателя, когда он в качестве депутата Верховного Совета СССР делал депутатские запросы по жалобам и просьбам избирателей. Личные письма были опубликованы в 2018 г.[1], «депутатские» ждут своего часа.

Немногочисленные эго-тексты, опубликованные под заголовком «Отслоения дней», входят в неизданный массив рукописных и машинописных заметок, которые в перепечатанном виде включают 1 152 892 печатных знака[2]. Собственно, записи, которые можно охарактеризовать как дневниковые, то есть датированные, содержащие описание собственной жизни, рефлексию по поводу событий или впечатлений, с ней связанных, составляют меньшую часть текстов, остальные, скорее, можно охарактеризовать как рабочие, помогающие их автору — преподавателю, журналисту, редактору, писателю, общественному деятелю — решать конкретные актуальные проблемы, связанные с профессиональными занятиями.

Записи в блокнотах, тетрадях, записных книжках и на отдельных листах различного происхождения с загрязнениями, надрывами, заломами страниц, потертостями, сделанные то простым карандашом, то ручкой, то представляющие собой машинопись с авторской правкой, относятся к сорока последним годам жизни П.П. Бажова. Создание каждой их них связано обычно с конкретным поводом. Разнообразие обстоятельств появления записей определило их широкий жанровый состав. Это заметки для памяти, сделанные на крестьянских сходах, редакционных и литературных собраниях разного уровня, во время устных бесед с мастерами своего дела. Некоторые из них представляют собой наброски докладов, очерков, постановлений и т. п. Это материалы, которые Бажов собирал по собственной воле для будущих сказов или же по заданию Истпарта для издания «Бойцы первого призыва» (1934 г.) и вышедшей через два года книги «Формирование на ходу. К истории 254-го 29-й дивизии полка», статистические выписки, фрагменты разговоров, собранные в командировках редактора «Крестьянской газеты», заметки особоуполномоченного упродкома в Усть-Каменогорском уезде о процессе продразверстки, и т. п.

Часть архива — это конспекты чужих статей и очерков, выписки для собственных текстов. Так, самая ранняя по времени запись 1910 г. носит заголовок «К истории Пугачёвского бунта» и представляет собой конспект статьи «К истории Пугачевского бунта. О разорении мятежниками церквей и священнослужительских домов в Екатеринбургском и Камышловском уездах» из «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» за 1894 г., видимо, необходимой для исследования, которое Бажов выполнял по заданию Н.С. Смородинцева[1]. А один из блокнотов 1948 г. содержит выписки из очерка «Старая Пермь» Д. Н. Мамина-Сибиряка с краткими комментариями типа: «В “Вестнике Европы”, июль, 1889 г. помещен большой очерк “Старая Пермь” Д. Сибиряка. Стр[раницы] 44–104. Интересны отдельные характеристики и прогнозы, вроде следующего…»[2]

Объемный блок записей и писем 1934–1935 гг. касается Камского бумажно-целлюлозного комбината[3], куда Бажов был назначен редактором коллективного сборника очерков о строительстве этого промышленного объекта. Сборник из-за длительной задержки пуска комбината так и не был завершен, но бажовские письма-«отчеты» жене, отчаянные послания авторам сборника и его заказчикам из Гослестехиздата, «сценарии» постановочных фотографий для будущей книги[4], статистические материалы, наброски текста дают представление об организаторских способностях Бажова, о его умении найти свой тон для каждого адресата — и, наконец, об отчаянье государственного служащего от бюрократического абсурда, внутри которого он очутился: необходимости во что бы то ни стало вовремя сдать сборник об итогах строительства, окончание которого несколько

[1] См.: Павел Петрович Бажов. Письма. 1911–1950.

[2] При подсчете, проведенном Л.С. Григорьевой, не учитывались тексты «шапок» каждого № КП/НВФ.

[1] См.: Объединенный музей писателей Урала (ОМПУ). Ф. 2. Оп. 3. КП 19468.

[2] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 273. Л. 81. КП 18103_3.

[3] См.: Павел Петрович Бажов. Письма. С. 65–104.

[4] «Материал для фото и очерков. Наша родина г. Краснокамск. Группа ребят, родившихся уже в Краснокамске. Группа должна быть большой; передний план — одинаково одеты — крупно — и подобраны (в смысле упитанности и здоровья). Вечер в родильном (впечатления о роженицах). Чапаевцы. Пни перед катком. Организовать [два?] фотоснимка» (ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. Б/н. Л. Б/п).

раз откладывается на месяцы и годы. Но таких развернутых эго-текстов, которые в совокупности дневниковых и эпистолярных записей позволили бы составить связное представление о каком-то периоде — этапе — виде деятельности Бажова, больше нет.

Очень большое по объему место в рабочих блокнотах занимают записи чужих высказываний, видимо, представлявших для Бажова языковую ценность, то, что он называл «узелки на память». Яркие словечки, фразеологические обороты, формулировки из устной речи или писем селькоров, которые привлекли его внимание своей неожиданной образностью он, возможно, планировал использовать в будущем для журналистской и литературной работы.

Это могут быть, например, характеристики людей: «Смертин — сонливый милиционер. И фамилия у него, как говорится, по рабу и ангел. Хошь и не пьет, но дело не видит»[1]. В записях Бажова встречаются и попытки передать уральскую интонацию, он явно тренирует у себя речевой слух и еще в 1925–1926 гг. ищет письменный способ зафиксировать характерное диалектное нарушение: «Лежитё? Играитё?»[2]. В тетрадях, датированных 1930–1940-и гг., мы встречаем яркие образные народные высказывания, записанные в Полевском, выписки из словаря В.И. Даля, а также записи имен, некоторые из которых будут использованы в сказах: «Пужанко, прозвище ему было»[3]; «Ланушко Медведев»[4]; и т. п.

Но все же основное внимание Бажов уделяет не диалектным речениям, как можно было бы предположить, учитывая его будущее сказовое творчество, а советскому новоязу, в котором его привлекали не нарушение грамматических норм и демонстрация малограмотности, а новая экспрессивность, в частности, неожиданно возникающий комический эффект. Он нередко фиксирует яркие экспрессивные выражения в поясняющем контексте, например: «“По классовой линии пошла”. Москвинский кооператор-партиец про свою жену-комсомолку, дочь местного дьячка, которая отправилась на прогулку с поповскими дочерями»[5].

Выдержки из писем в редакцию «Крестьянской газеты», записи подсмотренных на улице сценок свидетельствуют об интересе Бажова к новой жизни, хотя он не позволяет себе давать прямые характеристики происходящего, обходясь скрытой иронией:

[1] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 271. Л.20. КП 25305.

[2] Там же. Л. 15. КП 25305.

[3] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 272. Л. 3. КП 25314.

[4] Там же. Л. 11. КП 25314.

[5] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 271. Л. 21. КП 25305.

> «В палисаднике 4 девочки 7–8 летнего возраста и ребенок в красной тележке, довольно нелепой формы, — видимо, приспособлен наспех какой-то ящик типа ларя.
> У входа в палисадник девочка настойчиво требует:
> — Ваш пропуск, гражданка.
> Когда одна из “гражданок” не предъявляет бумажки, охраняющая вход укоризненно:
> — Как вам не стыдно: пропуска не имеет, а лезет.
> “Гражданка” все-таки пробивается в дверцу. Тогда первая кричит девочке за тележкой:
> — Товарищ директор! вот тут пролезает гражданка без пропуска.
> “Товарищ директор” спешно выбегает к дверце и кричит:
> — Без пропуска нельзя.
> Когда и этот властный крик не останавливает, директор распоряжается:
> — Спустить собаку.
> Охраняющая вход уже у тележки с ребенком и тянет тележку за веревку. При первом скрипе колесок гражданка без пропуска бежит из палисадника»[1].

Коллекционирует и поясняет писатель также новые яркие выражения типа «социальная косметика»[2].

Характерной особенностью записей Бажова являются списки фамилий и прозвищ, диалектные и научные названия растений, явлений природы и т. п. — своего рода наметки тематических словариков, в том числе профессиональной лексики[3], увлеченность которыми заметна в автокомментариях к сказам, включенных в сборник «Малахитовая шкатулка»[4].

Бажов собирает, например, характеристики шпор: «малиновый звон (серебряные, ажурной работы); гусарский говорок (медные, грубой работы); дамский лепет, девчачья услада»[5]; определения росы: «роса жемчужная, бисерна, медвяная (болезнь растений), мучаная (тоже болезнь — с беловатым налетом). Каменная роса = папоротник. Asplenium Trichomanes»[6] или «сорочий» текст в языке[7].

[1] Там же. Л. 15. КП 23180.

[2] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 272. Л. 6. КП 25113. Запись не датирована, сделана в 1931–1933 гг.

[3] Напр.: «Урна, чаша с потоками (определение мраморских кустарей)» (ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 273. Л.14. КП 18103_6; и мн. др.)

[4] См.: У старого рудника; Объяснение отдельных слов, понятий и выражений, встречающееся в сказах; О речевых особенностях округа и сказителя // Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка: научное издание. С. 703–792.

[5] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 273. Л. 1. КП 18103_6.

[6] Там же. Л. 9. КП 18103_6.

[7] Там же. Л. 11. КП 18103_6.

В более поздние годы, когда Бажов уже является признанным автором сказов и знатоком истории Урала, он продолжает делать систематизирующие заметки как непосредственный материал для сказов:

> «Сундучное производство.
> Мороженье железа ([мцарированье?])
> На разгоряченный над углями лист (луженый) брызгают с веника или из лейки. Каждая капля производит кристаллические центры, образуя звездообразные рисунки.
> Затем идет “отчистка”. Листы намазывают крепкой водкой (азотной кислотой).
> Мороженое железо зеленого цвета — листы натирают лаком с ярью; желтый получается, когда мороженый лист натирают олифой и “поджаривают” в печи»[1].

Или (записано в столбик):

> «Чеканка / Чеканы или зубила: полускарник / двойной полускарник / полосатка / дольник / полосатка одинарная / двойная полосатка / трубочник / светлушка / волосовник / пятерик / репейки / просекные бродки / просекные зубилья / витейка / просекная витейка / жильник / конфорник / косорылок / Зубчики маленькие / [Толпичка?] / Тройной чекан / Двойной трубочник / Зубленые зубилья / Козелки / Кисточка / Крестик / Головочный / Крутой / Трубка / Толстая полосатка / Тоненькая полосатка / Кругом зубленый
> Мастер выкраивает на нужном месте “середыши” (пояса), “наугольники” или “полосы”. Расчерченый лист укладывается в углубление доски, наполненном смолой и варом с песком, которые предварительно подогреваются»[2].

Большая часть записей в блокнотах Бажова предназначена не для просмотра посторонними, а для собственного, если можно так выразиться, прагматического перечитывания. Они сгруппированы для удобства рабочего пользования единственным человеком — их автором и, судя по всему, являются набросками других состоявшихся или несостоявшихся текстов различных жанров, идет ли речь о заготовке типовых ответов на заметки селькоров[3], докладе о рабочем

[1] ОМПУ. Ф. 2. КП 19471.

[2] Там же.

[3] См., напр., в блокноте 1925–1926 гг.: «1) Стихи мы помещаем редко, и только такие, которые совсем хорошо написаны. Ваши нам показались не подходящими. 2) Таких жалоб на недостатки как в Вашей заметке … поступает много. 3) Заметка … нам кажется малоинтересной для чит[ателей] всей области. Такие случаи лучше всего описывать в местных стенгазетах… 13) Каждому пишущему, конечно, хотелось бы видеть свое письмо напеч[атанным], но всех все-таки не можем — не достает места» (ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 271. Л. 9. КП 25305).

фольклоре, случаях «для памяти» как аргумента в обсуждении работы, например, Обллита[1], наконец, точном остром словце[2].

Тексты-рассуждения личного характера в блокнотах обычно касаются темы возраста. Приведем только один краткий пример: «Скверная штука — слабеющая память. Еще хуже потеря речи. А все еще какая-то роль. Кажется ведь важной и нужной, а что сделаю? И сделаю ли? Хоть сколько-нибудь?!»[3] Эта же тема постоянно возникает в переписке П.П. Бажова, особенно в последние годы его жизни, когда падающее зрение и нарастающая слабость серьезно мешали ему работать.

Частота упоминания имен и событий в письмах и записях позволяет сделать вывод о приоритетах Бажова, а также о разнице между публичной, открытой и частной, закрытой для публики областями жизни писателя. Так, если в письмах Бажов то и дело решает насущные проблемы Свердловского отделения Союза советских писателей (ССП), альманаха «Уральский современник», которыми руководит, дает советы молодым авторам, обсуждает произведения более маститых коллег, то в записях для себя немного заметок о писательской организации или встречах с литераторами, мало сколько-нибудь развернутых оценок литературных текстов[4]. Судя по всему, этот вид деятельности вынесен Бажовым в публичную сферу: живые встречи, собрания, коллективные или приватные обсуждения, наконец, прямое обращение к адресату письма дают ему возможность выразить свою точку зрения, выдать свою эмоциональную реакцию на происходящее. Потребности наедине с собой или с адресатом-конфидентом заново перебирать события жизни свердловской писательской организации у ее руководителя, судя по всему, не возникает.

[1] «Что же делать, коли осоавиахим будет продолжать “завозку артистических сил на Урал”. Они, может, в противогазах, так им не слышно, чем такие “артистические силы” пахнут. А каково публике! Привезут вот еще четырех портных из Москвы или Ленинграда и объявят, что это четверо “знаменитых” исполняют дуэт из оперы “Пиковая дама” “Уж вечер...”. А между прочим делать-то все-таки что-то надо. Стыдный спектакль в значительной мере ложится и на Обллит. Не был опротестован» (ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 272. Л. 11. КП 25113).

[2] Так, Бажов пытается найти удачную остроумную формулировку для передачи впечатления от звукового фильма: «Немой заговорил, но лучше бы он продолжал молчание. Великий немой превратился в забавного гнусаря» (ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 272. Л. 11. КП 25113).

[3] ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 272. Л. 8. КП 25113.

[4] Краткие заметки П.П. Бажова для памяти см.: ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 207. Л. 1. КП 23165_10 [70?].

Зато многие записи касаются круга чтения П.П. Бажова, в основном, это имена авторов и названия произведений, а также выписки-цитаты из них. В монографиях о творчестве П.П. Бажова, когда речь идет о ценимых им авторах, упоминаются преимущественно русские классики XIX в. — А.С. Пушкин, Н.С. Лесков, А.П. Чехов. П.П. Бажова встраивают в ряд с классиками реалистического направления. И в письмах, и в записях для себя Бажов упоминает Д. Мамина-Сибиряка, Л. Толстого, сказки братьев Гримм, А. Пушкина и Н. Гоголя, Н. Лескова, Н. Кукольника и Е. Баратынского, П. Мельникова-Печерского, Г. Гейне и Горация, А. Франса и Марциала, У. Теккерея и авторов краеведческой литературы. Все эти имена и тексты вполне предсказуемы. Но также мы обнаруживаем выписки из «Записок Ковякина» Л. Леонова, упоминание Б. Пильняка и Андрея Белого, цитаты из О. Мандельштама, А. Толстого и К. Чапека, «Страха» А. Афиногенова, «Вокруг Парижа. Воображаемые прогулки» Л. Никулина даже с указанием страниц, видимо, для рабочего использования. Все эти записи характерны для 1920–1930-х гг. и свидетельствуют об интересе журналиста Бажова к литературе модернистского толка, сказовым формам, а также ироническому модусу письма.

В целом, записи архива П.П. Бажова представляют собой «базу данных писателя, устойчивый способ организации информации»[1], своего рода огромную записную книжку, распределенную по разделам. Ретроспективно возможно выделить эти разделы и даже восстановить в них некие развивающиеся сюжеты и связанные с ними жанрово-стилевые характеристики[2]. Впрочем, в бажовском случае сложно говорить о том, что из множества записей сложилась некая «книга» в том значении, которое используют, например, исследователи А.Т. Твардовского[3], тем более, о сознательной «отрицательной» конструктивности фрагментарных текстов в «Записках»

[1] *Ефимова С.Н.* Записная книжка писателя: стенограмма жизни. М.: Совпадение, 2012. С. 229.

[2] Подобная операция была проделана Т.А. Снигиревой по отношению к «Рабочим тетрадям» А. Твардовского, что позволило исследовательнице выявить группы жанров в рамках каждой из выделенных ею сюжетных линий (см.: *Снигирева Т.А.* Литературная рефлексия в «Новомирском дневнике» А. Твардовского // Известия Смоленского гос. ун-та. 2015. № 3(31). С. 53–62).

[3] См.: *Колобов В.* Дневник А.В. Жигулина и «Рабочие тетради» А.Т. Твардовского 1960-х годов: жанровые и тематические особенности // Вестник Северо-Восточного федерального ун-та им. М.К. Аммосова. 2017. № 2(58). С. 109–117; *Новикова О.А.* «Была тетрадь – и стала книга»: жанровое своеобразие автобиографической прозы А.Т. Твардовского // Известия Смоленского гос. ун-та. 2015. № 4(32). С. 69–80; и др.

Л.Я. Гинзбург[1]; скорее, можно предположить возможность «достройки» подобной книги исследователями в результате ее комментирования, хронологического выстраивания и встраивания в общий ряд автобиографических текстов писателя как своего рода *непроявленной автобиографии*. Потенциальные основания для этого дают «единство стиля и личность автора»[2]. Л.Я. Гинзбург в своем предисловии к «Старой записной книжке» П.А. Вяземского отмечала, что «Вяземский как бы уничтожает все возможные мотивировки сосуществования фрагментов», оставляя единственную — «мотивировку заглавием»[3]. В нашем случае мы можем говорить только о мотивировке именем, а сам массив текстов именовать письмами и рабочими записями.

Рабочие записи: возможности «мелкоскопа»

Чем же мы можем дополнить свое представление о Бажове на основании массива вновь открывшихся эго-документов? Изучение эпистолярия уже идет, анализ материала «блокнотов» находится на самом начальном этапе, но освоение непроявленной автобиографии уже дает основания для некоторых выводов.

Очевидно, что получая в свое распоряжение новые документы, исследователи могут как уточнить некоторые факты биографии Бажова, так и утвердиться в его принципиальном нежелании освещать какие-то периоды своей жизни, а какие-то подвергнуть авторской корректировке. Новые материалы дают возможность из первых рук узнать о приобретенных автором эго-текстов жизненных впечатлениях[4], наконец, расширить представления о мировоззренческих основах бажовского творчества.

[1] См.: *Савицкий С.А.* Частный человек. Л.Я. Гинзбург в конце 1920-х – начале 1930-х годов. СПб: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. С. 82.

[2] *Егоров О.Г.* Дневники русских писателей XIX века. М.: Флинта, Наука, 2002. С. 271.

[3] *Гинзбург Л.* Вяземский // Вяземский П.А. Старая записная книжка. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. С. 43.

[4] Так, например, в 1930–1932 г. во время пребывания П.П. Бажова в командировке в районе г. Ирбита он записывает рассказы местных жителей о раскулачивании: «Пономарев Матвей Александр., раскулачен, выслан. За вещами приезжал милиционер Якимов, взял без описи собач[ью] доху, зимнее пальто на меху, два осенних, две [нрзб.] черненых, два одеяла (одно шелковое), шаль пуховая, туфли коричневые, машину швейную, часы карманные, серебряные, часы стенные — двухнедельный завод, два стола, шесть стульев венских, две дюжины вилок и ножов, 10 пар шторок коленкоровых. [Вещи?] в районной милиции. Милиционер был с женщиной, Молотовские протестовали, но в районе признали правильным. После этого еще приезжал за стульями и столами. Швейную машину отобрали от дочери, которая уже вышла замуж за батрака» (ОМПУ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 271. Л. 32. КП 25311).

Исследование эпистолярия П.П. Бажова позволило Г.А. Григорьеву отметить, что

> «коренной для бажовского восприятия мира является установка на многослойную и многосоставную, но органичную и принципиальную цельность, в которой каждая составляющая сколь зависима от остальных, столь же и равноправна по отношению к ним. Это объясняет чрезвычайную пестроту и разнообразие тем, адресатов, коммуникативных ситуаций бажовского эпистолярия и дневниковых записей, сочетающуюся с последовательно выраженной и в стилистическом, и в идейном плане авторской индивидуальностью. Комплекс основополагающих мировоззренческих положений вполне отчетливо проявляется и в письмах к внукам, и в серьезной переписке с коллегами-литераторами, и в дружеских шутках на бытовые темы. Бажов в различных житейских ситуациях остается верен своим принципам. Именно в письмах это отразилось наиболее полно и ярко»[1].

Ситуация с записями для себя в архиве Бажова менее очевидна. При всей их объемности они, на первый взгляд, кажутся бессистемными, случайными и в функциональном отношении неопределенными. Они очевидно не являются спасением от одиночества: семья играет важнейшую роль в жизни Бажова, ему есть с кем поговорить об эмоциях и повседневных делах. Кроме того, он пытается поддерживать дружеские отношения с некоторыми коллегами: увлечь их своими замыслами, дать житейский совет, обсудить профессиональные проблемы. Записи не являются для Бажова «отдушиной» или формой самовыражения: они мало эмоциональны, почти не содержат развернутых интерпретаций событий или людей. «Узелки на память», цитаты, статистика, планы, постановления собраний, наброски очерков и т. п. являются, в первую очередь, рабочим инструментом. Они даже вряд ли предназначались для перечитывания через долгое время, хотя, конечно, фиксировали важные словесные находки и другую необходимую автору на момент записи информацию.

Рабочие записи П.П. Бажова не выполняют обычных «обязанностей» дневника, более того, они почти не прибавляют фактов о «темных» периодах жизни писателя. Тем не менее они позволяют по-новому взглянуть на биографию П.П. Бажова.

Во-первых, становится окончательно ясно, что Бажов не случайный компилятор придуманных кем-то другим устных рассказов, который до этого занимался преимущественно оргработой. Текстопорождение — его постоянное занятие. Бажов человек письменной культуры: на всех этапах своей жизни он дотошно и кропотливо включается в делопроизводство, которое, в свою очередь, задает создание очередных письменных текстов. Уже по сохранившимся фрагментам записей 1910-х гг. можно предположить, что выписки, конспекты, тезисы, рефераты, заметки и т. п. сопровождали Бажова на протяжении всей его разнообразной профессиональной деятельности.

Во-вторых, появилась возможность по-новому взглянуть на проблему автомифотворчества Бажова, которое, собственно, и создало интригу вокруг авторства «Малахитовой шкатулки». Бажов сконструировал персональный миф, прагматика которого заключалась в том, что он, как ни парадоксально, учитывая его первоначальный отказ от собственного авторства, стал важнейшим инструментом решения задачи укрепления писательского авторитета, способом войти в литературу в особенном качестве знатока и транслятора коллективной памяти целого региона. Специфика бажовского автомифотворчества определяется постоянным балансированием писателя между стратегиями презентации себя как того, кто слышит голос народа, и эксперта. Это особенно заметно при сравнении записей дневникового характера и переписки 1940-х гг., когда к Бажову пришла известность как к автору «Малахитовой шкатулки» с более ранними текстами. В своих рабочих записях 1920—1930-х гг. он выступает как слушатель, ограничивающийся записью чужого, производящий тексты преимущественно служебного характера, с опорой на готовые клише, избегая своих оценок. В письмах и записях 1940-х гг. он уже выступает как авторитет, который задает культурный горизонт, учит формулировать проблемы, видеть наличие альтернатив там, где, по его мнению, советский телеологический взгляд его адресатов их не видит, и т. п.

Динамика создания собственного образа, проявляющаяся у Бажова в переписке, начиная с конца 1930-х гг., определялась движением от образа обработчика фольклорных материалов до авторитетного и уверенного в себе эксперта в области уральской истории, чьей важнейшей задачей оказывается поиск единомышленников, формирование круга последователей и наследников своего дела. Некоторые проговорки в письмах и рабочих записях указывают, что он мыслит себя открывателем мира уральской мифологии и в известной степени его главой, переопределяя существовавшие до этого ключевые понятия. Возможно, становится доказательно говорить о том, что Бажов осознает себя человеком, который претендует на переустройство представлений о мире одного региона —

[1] *Григорьев Г.А.* Павел Петрович Бажов и его письма // Павел Петрович Бажов. Письма. С. 658.

горнозаводского Урала при помощи художественных текстов, хотя в то же время он озабочен читательским вниманием и — по-бытовому — коммерческим успехом. Но в глазах читателя он стал всезнающим стариком, который постиг суть труда, камней, гор и пещер.

В-третьих, после обнародования эго-документов Бажов оказывается в совершенно ином, чем прежде, культурном контексте. Стороннему наблюдателю становится не только очевидна широта его кругозора, в том числе в области живописи[1] или советской литературы 1920-х гг., что позволяет по-иному оценивать металитературность и интертекстуальность уральских сказов. Оказывается, все творческое поведение Бажова как участника войны нарративов можно рассматривать в парадигме модернистского жизнетворчества. Личные, не предназначенные для печати записи и письма Бажова характеризуются несколькими сквозными, хотя и пунктирными, сюжетами, среди которых центральный — создание новой истории Урала, темы, для которой Бажов щедро раздает своим корреспондентам. В сказах 1940-х гг., многие из которых литературоведы традиционно признают неудачными, Бажов намечает, иногда конспективно, перспективные направления возможных исторических исследований Урала как истории мастеров, заводов и ремесел, предлагает свой вариант описания их в разработанном им ранее «легендарном», мифологизированном ключе с опорой на коллективную память. Он обращает внимание своих корреспондентов на разнообразные источники сведений о регионе и возможности их трактовок. В то же время явно недооценен интерес Бажова к современности, к аккуратному смыслоопределению современного ему состояния общества с позиции «возрастного революционера».

В-четвертых, мы можем оценить степень творческого одиночества писателя в годы славы. Постоянно окруженный людьми, занимая особое положение на Урале, Бажов ищет собеседников-коллег, которые поддержали бы его интерес к уральской проблематике: даже отсутствие дара слова, по его мнению, можно компенсировать дотошным изучением фактографии, переходом в очеркисты и т. п. В частности, об отсутствии единомышленников свидетельствует специфическая безответность бажовских писем: мы не встречаем эпистолярных цепочек, в которых развивались бы высказанные Бажовым мысли об изучении истории Урала или чем-то подобном,

[1] В соответствии с ранними публикациями писем и дневниковых заметок П.П. Бажова, В. Ван Гог был единственным представителем искусства, выходящего за рамки русской обязательной классики, которого упоминал Бажов (см.: *Пермяк Е.* Указ. соч. С. 121).

что его явно занимало и для реализации чего он искал не столько даже единомышленников, сколько последователей. Можно, конечно, предположить, что где-то за пределами эпистолярия Бажов вел живые беседы с адресатами, но известная нам информация о здоровье писателя, его перемещениях и встречах позволяет поставить это утверждение под сомнение.

В-пятых, материалы писем и записок открывают обычного «бытового» человека своего времени и своей культуры. Он придерживается некоторых мировоззренческих постулатов и правил поведения, следы которых постоянно проявляются в анализируемых текстах. Интерес к народу и его духовному опыту, стремление к независимости суждений при соблюдении правил «идеологической безопасности», принципиальный демократизм и отсутствие высокомерия, самоуважение и т. п. При этом в письмах и записях предстает человек, которого интересуют огород и деньги, семьянин, нежно любящий домочадцев и в то же время критикан, язвительный проницательный собеседник. Наконец, человек скрытный, с трудным опытом, неготовый делиться с бумагой сокровенным.

Изменения в создании биографий — и биографии Бажова, в частности, обусловлены развитием методик анализа, предложением новых подходов к характеристике творческого поведения и т. п. Введение в широкий (в том числе медийный оборот) нового эго-материала позволяет отойти от интерпретаций современников Бажова, но также не увлечься вольными интерпретациями по модным образцам. Это введение происходит и, как можно предположить, будет происходить медленно, так как требует переформатирования устоявшейся легенды, встраивания новых фактов и интерпретаций в привычный образ. Немногочисленные статьи, уже использующие опубликованный эпистолярный материал, показывают потенциал ставших известными автопризнаний писателя. Новые исследователи начинают задавать новые вопросы, создаются все условия для выстраивания очередной биографии. Хотя, конечно, остается опасность смены «доисторических орудий производства» на более изощренные. Как писал Бажов в письме к издателю, в сказах «нашли больше, чем следует. Известно, образованные. Глаз с мелкоскопом! То увидят, о чем ты и не подумал. Их дело»[1].

[1] Павел Петрович Бажов. Письма. С. 270, 313.

Глава I.5. Репрезентации автобиографического *Я* в воспоминаниях новосибирских учителей о школе 1920-х гг.

(Н.Н. Родигина, М.Г. Давыденко)

Способы предъявления субъектности/субъективности в эго-документах советской эпохи в последние десятилетия являются предметом активной рефлексии историков, литературоведов, культурных антропологов, социологов[1]. Осмысление вариантов представления автобиографического *Я* в письменных свидетельствах о первых десятилетиях строительства «нового мира» и формовки «нового человека» происходит одновременно с публикацией разножанровых эго-текстов, выявлением их источниковой специфики и исследовательского потенциала, тематических приоритетов, канонов и влияния исторического (в том числе биографического) контекстов на их содержание. Мы привлекли воспоминания педагогов, собранные в рамках трех разных проектов: часть из них была собрана и опубликована историком В.Л. Соскиным и его коллегами в 1978 г.; создание другой группы мемуаров было инициировано Клубом ветеранов педагогического труда г. Новосибирска в 1970-х — 1991 гг. (в большинстве своем они не опубликованы и хранятся в Государственном архиве Новосибирской области); еще одну группу образуют воспоминания учителей, записанные в постсоветский период по инициативе сотрудников Музея развития народного образования г. Новосибирска.

Мы стремимся выяснить, как в сложносоставных эго-документах о школе 1920-х гг. как о «времени надежд и катастроф» (воспоминаниях, написанных «по заказу», в которых явно присутствуют элементы «официальных» автобиографий, представлено авторское автобиографическое *Я*, как оно проявляется в повествовании о реалиях раннесоветской школы; какие повторяющиеся темы, слова-маркеры используют мемуаристы, актуализируя свое прошлое.

Концептуальные замечания

Ближе всего к замыслу нашего доклада серия публикаций Н.Б. Граматчиковой и Л.В. Ениной, посвященных анализу эго-документов строителей Уралмаша, в том числе и мемуарных свидетельств, собранных в связи с подготовкой к юбилею завода и открытием заводского музея в 1967–1984 гг.[1] Как и в нашем случае, создание фонда воспоминаний совпало по времени с очередной волной работы с социальной памятью, включением в нее «человеческой» составляющей, а также с очередным «переписыванием набело» нарратива советской истории, санкционированного государством[2]. С «уралмашевским проектом» привлеченные нами коллекции учительских эго-документов объединяет и то,

[1] См.: *Зарецкий Ю.П.* Эго-документы советского времени: термины, историография, методология // Неприкосновенный запас. 2021. Т. 137. № 3. С. 184–199; *Козлова Н.Н.* Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005; *Паперно И.Б.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: НЛО, 2021; После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985): сб. статей / под ред. А. Пинского. СПб.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2018; *Хархордин О.В.* Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. Изд. 2-е. СПб.: Европейский ун-т, 2016; *Хелльбек Й.* «Советская субъективность» — клише? // Ab Imperio. 2002. № 3. P. 397–402; *Он же.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017; *Он же.* Личность и система в контексте сталинизма: попытка переоценки исследовательских подходов // Крайности истории и крайности историков: сб. статей к 60-летию проф. А. Ненарокова. М.: РНИСИНП, 1997. С. 195–207; *Эткинд А.* «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 41–69; *Halfin I.* (ed.) Language and Revolution. Making Modern Political Identities. L.: Frank Cass, 2002; *Idem.* From Darkness to Light. Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000; *Idem.* Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003; *Hellbeck J.* Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // Russian Review. 2001. № 60 (July). P. 340–359. См. также: *Волошина С.В., Литвинов А.В.* Анатомия делопроизводственной автобиографии в новейшей истории России: композиция и содержание текстов // Текст. Книга. Книгоиздание. 2016. № 1(10). С. 40–54; История в эго-документах: исследования и источники / редкол.: Н.В. Суржикова и др. Екатеринбург: АсПУр, 2014; *Михеев М.* Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей, 2007; Россия 1917 года в эго-документах: Воспоминания / авт.-сост. Н.В. Суржикова, М.И. Вебер и др.; науч. ред. Н.В. Суржикова. М.: Политическая энциклопедия, 2015; Россия 1917 года в эго-документах: Дневники / авт.-сост. Н.В. Суржикова, М.Б. Ларионова, Е.Ю. Лебеденко и др.; науч. ред. Н.В. Суржикова. М.: Политическая энциклопедия, 2017; Россия 1917 года в эго-документах: Письма / авт.-сост. Н.В. Суржикова (науч. ред.), М.И. Вебер, Я.А. Голубинов и др. М.: Научно-политическая книга, 2019; и др.

[1] См.: *Граматчикова Н.Б.* Как выглядит страх: динамика советских и постсоветских нарративов первостроителей Уралмаша и их детей // Новое литературное обозрение. 2020. № 2 (162). С. 117–139; *Граматчикова Н.Б., Енина Л.В.* Время и пространство воспоминаний заводчан в конструировании коллективной идентичности первостроителей Уралмаша // Научный диалог. 2020. № 7. С. 55–75; *Они же.* Книга о любви и верности: реконструкция образа отца-коммуниста в воспоминаниях дочери // Quaestio Rossica. 2015. № 4. С. 109–129.

[2] См.: *Граматчикова Н.Б., Енина Л.В.* Время и пространство воспоминаний заводчан в конструировании коллективной идентичности первостроителей Уралмаша. С. 56.

что инициировавшие их создание *Мы*-группы осознавали их дидактический потенциал, в том числе и в плане формирования коллективной идентичности, а также стремились к конструированию канона «правильного» описания первых лет становления советской школы в Сибири. Мы учитывали наблюдения авторов о хронотопе, базовых сюжетах, содержательных доминантах мемуаров уралмашевцев, значительная часть которых совпадает по времени создания с интересующими нас эго-документами.

О значении воспоминаний и интервью для формирования социальных идентичностей рабочих упоминал С. Коткин, рассказывая о проекте написания истории строительства Магнитогорского комбината. Для этого проекта брали многочисленные интервью и, как в случаях с рабочими Уралмаша и с «нашими» учителями, рабочих Магнитки просили письменно ответить на вопросы анкеты (большинство этих воспоминаний было записано в 1935–1936 гг.) Многие из анкет, как и в ранее упомянутых проектах, затем отпечатывались на печатной машинке. Это показывало, что рабочие могут «ошибаться» — ошибаться с точки зрения организаторов проекта, но не ошибаться по сути — и их рассказы нуждаются в грамматической и содержательной корректировке. Представляется важным наблюдение Коткина о том, что сам процесс фиксации своей биографии превращал их в объект внимания и восхищения[1].

Нам показались продуктивными идеи И. Халфина и Й. Хелльбека о дискурсивной природе эго-текстов сталинской эпохи (и о сталинской эпохе), характеристике их как составных частей коллективного автобиографического текста «нового человека», «советского субъекта», для которого дневники, автобиографии, воспоминания стали способом самосотворения и жизнетворчества в качестве субъектов истории, самореализации, самоусовершенствования и самоидентификации. Привлеченные нами воспоминания подтверждают мысль Й. Хелльбека о том, что именно «коллектив обещал дать человеку дополнительную энергию, исторический смысл и нравственные ценности»[2]. Возможно, именно желание вписать себя в референтное (в данном случае профессиональное) сообщество и соответствовать принятым в нем нормам

[1] См.: *Коткин С.* Говорить по-большевистски (из книги «Магнитная гора: Сталинизм как цивилизации») // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: антология / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Самарский ун-т, 2001. С. 272–273.

[2] *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. С. 15.

автобиографического письма (их каркас базировался на официальных анкетах, детерминировавших структуру учительских воспоминаний, канон формировался под влиянием публикаций личных источников в периодической печати, задавался выступлениями ветеранов перед начинающими педагогами и пр.) предопределяло частое использование идеологических штампов, жесткую привязку событий собственной биографии к истории страны, начинающейся с героической октябрьской революции.

О дискурсивной природе советских дневников и воспоминаний писала Н.Н. Козлова. Мы разделяем ее мнение о том, что

> «личные модели восприятия и памяти социально обусловлены, это социальные конструкции. Эти конструкции “принуждают” индивида рассматривать то или иное в определенном контексте. Входящие в модель понятия не произвольны, они отображают социальную значимость ситуаций»[1].

Трудно не согласиться и с выводами исследовательницы о том, что эго-документы не только отражают принятые в тот или иной период социальные сценарии и поведенческие модели, стратегии рационализации, каноны повествования, но и формируют их. Значительная часть востребованных нами эго-документов может быть отнесена к категории «голосов из хора», текстов так называемых «простых», «обыкновенных» советских людей, порой именно так себя идентифицировавших. Моделям их самоописания посвящены исследования Н.Н. Козловой и И.И. Сандомирской, а также И.Л. Савкиной[2]. Они акцентировали наше внимание на «разнообразии советского *Я*», многообразии индивидуальных стратегий и тактик выживания «в предполагаемых обстоятельствах», самоцензуры, уклонения, игнорирования, умолчания, репрезентации травмы, сопротивления в разной степени характерных и для известных нам учительских эго-документов. Тексты И.Л. Савкиной о дневниках литераторов 1920-х гг. предопределили установку на поиски не только сколько-нибудь общих вариантов репрезентации автобиографического *Я*, присущих профессиональному тому или иному сообществу (в нашем случае — провинциальных учителей),

[1] *Козлова Н.Н.* Указ. соч. С. 123.

[2] См.: *Козлова Н.Н., Сандомирская И.И.* Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество, 1996; *Савкина И.Л.* «Мои простые записки»: модели самоидентификации в дневнике Нины Лашиной // ШАГИ-STEPS. 2017. Т. 3. № 1. С. 136–157; и др.

но и индивидуальных версий пережитого или казусов, используя авторскую терминологию[1].

Привлеченные нами тексты о 1920-х гг. дают основания согласиться с утверждением С. Коткина о том, что ужесточение политического контроля вело к «индивидуализации» свидетельства чего он видит в воспоминаниях и трудовых биографиях строителей Магнитогорска, устных рассказах рабочих комбината о себе на «вечерах воспоминаний» середины 1930-х гг., письмах в местные периодические издания и пр.[2] На это обстоятельство обращает внимание и А.М. Эткинд:

> «Хотя марксистская власть поклонялась коллективизму и адресовала свою политику "коллективам", она не выработала способов обращаться с "коллективами" как с цельными сущностями. Партийные ячейки, отделы кадров, следователи НКВД и школьные учителя обращались к индивидам в их отдельности, а не к коллективам как коммунитарным целым. Не было других способов описать, оценить и изменить "коллектив", кроме описания, оценки и изменения либо устранения его членов, одного за другим. Стандартные, формальные практики были направлены на поиск различий между индивидами и заостряли эти различия. Решая свои задачи надзора и управления, советские институты выработали новый язык для описания и оценки советских людей в таких терминах, как "сознательность", "культурность", "коллективизм", "политическая зрелость" и т. д.»[3]

Помимо ранее заявленного корпусного анализа эго-документов новосибирских учителей, мы обращались к тому варианту работы с данной группой источников, который обоснован Г. Янке[4]. Она включает в себя следующие исследовательские процедуры: 1) выяснение образа автора (его социального статуса, места в иерархии общественных, политических и экономических отношений, образовательного уровня); 2) выявление истории появления и бытования эго-документа (мотивы мемуаротворчества, источники его создания, образ читателя, отношение к возможности обнародования, выбор стратегии, канона и формы автобиографического письма, реакция на него адресатов); 3) определение источникового потенциала текста (современное состояние изучения эго-текстов, вопросы, которые им адресуются, понятия и аналитические приемы, используемые для их анализа).

Начало широкого организованного и институционального оформленного сбора воспоминаний и автобиографий новосибирских учителей связано с деятельностью Клуба ветеранов педагогического труда при Доме учителя г. Новосибирска[1]. В 1970 г. его директор Н.П. Осадчая обратилась к ветеранам педагогического труда, ко всем работникам просвещения, читателям газеты «Вечерний Новосибирск» с призывом принять участие в создании стенда «Наши орденоносцы» и летописи народного образования города к XXIV съезду КПСС[2]. Показательны мотивы, обосновывавшие необходимость такой работы и создания самого Клуба ветеранов. В годовщину столетия со дня рождения В.И. Ленина решено было устроить торжественную встречу молодых учителей и педагогов-ветеранов, награжденных орденом Ленина. Организаторы мероприятия не могли найти сведений об учителях-орденоносцах, работавших в Новосибирске. Тогда они обратились к лично им знакомым ветеранам-педагогам и с их помощью нашли не только учителей — кавалеров ордена Ленина, но и награжденных другими орденами и медалями[3]. Помимо мемориальных задач, автором призыва подчеркивалось и воспитательное значение для молодых педагогов как проектируемой деятельности Клуба ветеранов, так и реконструкции истории образования в городе.

---

[1] См.: *Савкина И.Л.* «Для таких людей, как он, убеждения не нужны» (левое/правое, идеология и культура в дневниках Корнея Чуковского 1920-х гг. // Вестник Пермского ун-та. Сер.: История. 2013. Вып. 2(22). С. 77–86; *Она же.* «Постичь логику бедствий»: тактики и стратегии человеческого и профессионального выживания в годы революционного перелома (по дневникам литераторов) // Филологический класс. 2018. № 4 (54). С. 9–14.

[2] См.: *Коткин С.* Указ. соч. С. 250–328.

[3] *Эткинд А.М.* Указ соч.: Электронный ресурс. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2005/3/odno-vremya-ya-kolebalsya-ne-antihrist-li-ya-subektivnost-avtobiografiya-i-goryachaya-pamyat-revolyuczii.html (дата обращения: 7.07.2021).

[4] См., напр.: *Янке Г.* Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах (XV и XVI столетия) // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: Люди, тексты, практики / ред. Ю.П. Зарецкий, Е.К. Карпенко, З.В. Шушпанова. М.: «БИБЛИО-ГЛОБУС», 2017. С. 149–196.

[1] Хотя первый директор Музея истории развития народного образования г. Новосибирска В.А. Орлова упоминает в своем очерке по истории музея о том, что сбор документов по истории образования в городе был начат в 1962 г. и, возможно, среди собранных материалов были и учительские эго-документы (см.: *Орлова В.А.* Музей истории развития образования в городе Новосибирске и Новосибирской области. От идеи до воплощения (люди, события, факты). Новосибирск: Изд-во МИРОНО, 2013. С. 3). Однако до нашего времени они, судя по всему, не сохранились и нам неизвестны.

[2] См.: Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

[3] См.: Там же. Л. 2.

11 марта 1974 г. был принят устав Клуба. По Уставу его задачей являлось вовлечение ветеранов «в общественно-политическую и культурную жизнь города и посильное участие в коммунистическом строительстве» (пункт 2 Устава)[1]. Другими важными задачами признавалось: «принять меры к учету всех ветеранов труда» (пункт 3 Устава)[2]; создать школьную летопись (пункт 6); создать исторический музей педагогического труда, «где сосредоточить фотографии и биографии учителей города Новосибирска, оставивших о себе добрую память и заметный след в деле народного просвещения»[3]. В 1970–1980-е гг. Клуб насчитывал до 200 членов, в начале 1990-х гг. прекратил свое существование. В 1992 г. часть документов Клуба поступила на государственное хранение в ГАНО. Другая часть, собранная в рамках этого проекта, стала основой собрания Музея истории развития образования Новосибирска и Новосибирской области. Важной особенность проекта Клуба было то, что «героическое прошлое» представлялось через личные истории работников образования. Материал подбирался по персоналиям. Среди собранных документов — учетные биографические карточки ветеранов педагогического труда, анкеты, личные документы учителей-ветеранов (удостоверения, характеристики с работы, дипломы, наградные документы, почетные грамоты и т. д.), тексты учителей (автобиографии, воспоминания о коллегах, об истории школ, коммун, других учебных заведений), воспоминания о деятелях образования, написанные родственниками, знакомыми, научные статьи и методические разработки деятелей образования, переписка с учениками и коллегами, фотографии учителей и школьников и т. д.

Очевидно, что представление об истории у людей, создававших и собиравших все эти источники, должно было соответствовать официальному идеологическому нарративу о героическом советском прошлом. Мы имеем дело с официальной версией советского прошлого в том виде, как она сложился к 1970-м гг. Как же, по мнению авторов проекта, должна была выглядеть биография учителя, объективировавшая исторический путь советской школы? Лучше всего это демонстрируют биографические карточки, составлявшиеся на учителей на протяжении всей истории существования Клуба ветеранов. Таких карточек были собраны сотни, и они, что характерно, отличались друг от друга. Есть карточки в виде записей на тетрадном листе[1], есть в виде выписок на картонных карточках[2], есть выписки на машинописном бланке с напечатанными вопросами и ответами, записанными от руки[3]. Однако все они представляют из себя ответы на стандартный список вопросов, остававшийся неизменным все время существования Клуба ветеранов. Заполнялись карточки самими учителями, отвечавшими на поставленные вопросы, либо кем-то из волонтеров клуба. Заканчивалась карточка обычно указанием на дату составления и подписью. Часто можно найти запись: со слов такого-то или такой-то составил, к примеру, Н.Н. Лазарев (один из старейших педагогов города). Перечень вопросов не подвергался существенным изменениям и в значительной степени детерминировал содержание учительских воспоминаний (в том числе автобиографических): 1) фамилия, имя, отчество; 2) год, число, месяц рождения; 3) партийность; 4) образование (какое учебное заведение, где и когда закончил); 5) семейное положение (состав семьи); 6) общий стаж работы; 7) жилищные условия; 8) годы и место работы, занимаемая должность; 9) участвовали ли в Великой Отечественной войне? Годы, воинское звание; 10) имеете ли правительственные награды, почетные звания, значки и т. д.? какие? 11) место работы в настоящее время, должность; 12) размер получаемой пенсии; 13) в какой секции Клуба ветеранов хотели бы работать (учебной, культурно-массовой, оздоровительной, исторической); 14) предложения по работе Клуба; 15) почтовый адрес; 16) телефон служебный, домашний; 17) представьте фотографию (9/12); 18) дата; 19) подпись.

Если мы отбросим все, что касалось «современного» положения «обследуемого» (адрес, телефон, зарплата и т. д.), и оставим вопросы о прошлом, то увидим, что интересовало авторов анкеты. Очевидно, что за основу опросника были взяты те образцы автобиографий, которые бытовали в официальном делопроизводстве позднего социализма и уже были предметом источниковедческого анализа[4]. Однако в отличие от описанных коллегами и известных по собственной работе с такого рода источниками, востребованными при приеме на работу, вступлении в ряды КПСС, получении

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.

[2] Там же.

[3] Там же.

[1] См.: ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 10. Л. 25, 27, 38–42, 180; 187; и др.

[2] См.: ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–93.

[3] См.: ГАНО. Ф. Р-2154. Оп.1. Д. 10. Л. 1–22; 32–106; и др.

[4] См., напр.: *Волошина С.В., Литвинов А.В.* Указ. соч.; *Зарецкий Ю.П.* Моя жизнь для Государства: Массовая практика составления делопроизводственных автобиографий советскими людьми // Новое литературное обозрение. 2019. Т. 157. № 3. С. 107–127; и др.

правительственных наград, анкеты Клуба ветеранов не содержали вопросов о национальности, социальном происхождении, наличии/отсутствии судимости, пребывании на оккупированной территории, о родственниках, проживающих за границей, что можно объяснить как возможной широтой взглядов тех, кто инициировал сбор воспоминаний, так и знанием ими адресата анкет — ветеранов-педагогического труда, в том числе — факта репрессий в отношении первых советских педагогов города (к примеру, некоторые из них получили сроки по «делу просвещенцев» 1930-х гг. и др.)

Несмотря на то, что анализируемая анкета претендовала на то, чтобы задавать содержательный каркас производственной автобиографии учителей, она все же оставляла возможность для самостоятельного автобиографического творчества. На это уже обратил внимание Ю.П. Зарецкий:

> «Практику написания делопроизводственных автобиографий не следует, однако, представлять себе как механическое повторение ответов, которые люди уже дали в анкете. Ситуация была сложнее. Составление "делопроизводственного *Я*", фактически являвшееся "очной ставкой" с Государством, допускало некоторую свободу — в гораздо большей степени, конечно, при составлении рассказа о своей жизни, чем при внесении личных данных в анкету. В автобиографическом рассказе было больше возможности наилучшим образом представить себя: на чем-то сделать акцент, о чем-то упомянуть лишь вскользь, какие-то ответы на вопросы анкеты опустить, а какие-то, наоборот, дополнить»[1].

Пусть в нашем случае это контакт не столько с государством, сколько с представителями профессионального сообщества учителей, однако очевидно, что составители анкеты Клуба ветеранов использовали известные им делопроизводственные образцы.

Та часть коллекции эго-документов учителей, представленная воспоминаниями, делопроизводственными автобиографиями, письмами, которая хранится в ГАНО, по нашим подсчетам, насчитывает 48 текстов о первых годах советской школы. Собственно, они и были востребованы нами.

Параллельно проекту Клуба ветеранов автобиографические тексты представителей местной интеллигенции в 1970-е гг. собирал

[1] *Зарецкий Ю.П.* Моя жизнь для Государства: Электронный ресурс. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2019/3/moya-zhizn-dlya-gosudarstva-massovaya-praktika-sostavleniya-deloproizvodstvennyh-avtobiografij-sovetskimi-lyudmi.html (дата обращения: 15.07.2021).

и публиковал исследовательский коллектив сектора культурного строительства Института истории, филологии и философии СО АН СССР (ныне — Института истории СО РАН) под руководством доктора исторических наук В.Л. Соскина[1]. Учеными этого научного подразделения в рамках исследования социальной структуры советского общества была поставлена цель — раскрыть историю интеллигенции Сибири. В процессе изучения выяснилось, что имеющиеся архивные документы очень скупо представляют данную социальную группу. Авторы проекта в связи с этим отмечали:

> «Комплектование госархивов документальными материалами личного происхождения осуществляется недостаточно настойчиво и систематически, а личных фондов советских людей, не проявивших себя выдающимся участием в общественной жизни в архивах почти нет»[2].

По этой причине исследователи начали сбор личных воспоминаний работников умственного труда за период 1920–1930-х гг., обратившись к тем, кто в период 1917–1941 гг. либо учился, либо вел трудовую деятельность в качестве специалиста. Была составлена анкета, вопросы которой подразделялись на четыре тематические группы: 1) семья и школа, время, место рождения, социальное происхождение, особенности воспитания, подробности школьной жизни, учебные программы, учебники, общественная работа в школе и т. д.; 2) учеба на рабфаке — рассказ об учёбе в вузе, постановке преподавания, общественной жизни и т. д.; 3) трудовая деятельность; 4) друзья и коллеги — вопросы об идеологии и социальной психологии[3]. Анкета распространялась с 1969 г. При этом любопытно, что авторы указывали на то, что помощь в работе и поиске новых информаторов оказывали «институты усовершенствования учителей и врачей, при которых нередко имеются Советы ветеранов»[4]. В течение пяти лет работы авторами проекта было получено около 200 рукописей[5].

Отметим отличия этих двух проектов. Проект Института истории — научный. Он был нацелен на решение академических задач

[1] См.: Школа и учительство Сибири. 20-е — начало 30-х гг.: Материалы по истории культуры и интеллигенции советской Сибири / редкол.: В.Л. Соскин (отв. ред.) Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1978.

[2] *Соскин В.Л., Осташко Т.Н.* Из опыта собирания воспоминаний представителей советской интеллигенции Сибири // Археографический ежегодник за 1972 г. М.: Наука, 1974. С. 341.

[3] См.: Там же. С. 342.

[4] Там же.

[5] См.: Школа и учительство Сибири. 20-е — начало 30-х гг. С. 9.

и прежде всего на задачу воссоздания истории региональной интеллигенции. Его авторами и участниками учитывались достижения советского источниковедения. У него были широкие географические (вся Сибирь) и тематические (история интеллигенции) рамки. В связи с этим собирались воспоминания людей, работавших какое-то время в школе, но со временем поменявших свою профессию (А.С. Ваншток, Ф.Д. Останин) или имевших отношение к среднему образованию в качестве учеников (П.М. Масловский). Проект Клуба ветеранов был посвящен г. Новосибирску и области. Тематически, как и проект под руководством В.Л. Соскина, он был ориентирован на историю образования, но отбор биографий, через которые планировалось ее продемонстрировать, осуществлялся исключительно по профессиональному принципу. Собирались только биографии и эго-документы ветеранов-педагогов. Важно отметить, что собиратели Клуба не были профессиональными историками и, как правило, не ставили себе исследовательских задач. Главным было представить историю новосибирской школы на примерах биографий учителей и других работников образования. Есть примеры записи воспоминаний одного и того же человека в этих двух проектах (А.Е. Рожковой, Н.А. Тарасовой-Осиповской), причем это разные тексты, которые дают возможность понять лабораторию тех, кто инициировал и записывал тексты. Анкеты, письма активистов Клуба ветеранов позволяют составить представление о том, каким должен быть идеальный образ учителя, с чьим именем связано становление советской школы. Судя по всему, эти представления были понятны и разделялись теми, кто писал воспоминания. Не случайна в связи с этим не только близость структуры воспоминаний и наличие общих для них сюжетов, но и обилие повторяющихся слов-маркеров, усвоенных из советского «школьного» кинематографа 1950–1980-х гг., «школьной» литературы и периодической печати.

В начале 1990-х гг. работа по сбору учительских воспоминаний была продолжена Музеем истории развития народного образования под руководством его директора В.А. Орловой[1]. Объясняя отличия собрания Музея от коллекции, сохранившейся в ГАНО, она упоминает, что в архив попала лишь часть документов Клуба ветеранов, собранная одним из методистов В.И. Кудиновой и переданная в архив в 1992 г. В Музее же отложились материалы, которые собирали другие участники Клуба ветеранов педагогического труда: Э.Л. Цыганова, Е.Д. Кононченко, П.А. Варфоломеева и др.

[1] См. об этом подробнее: *Орлова В.А.* Указ. соч.

Они сохранили тексты старейших учителей города (Н.Н. Лазарева, К.А. Нечаевой, А.В. Веденяпина), не представленные в собрании Кудиновой. Нами было востребовано 16 эго-документов, хранящихся в Музее. Судя по биографическим справкам, представленным в большинстве дел рукописного фонда музея, его работников интересовали следующие вопросы: краткие биографические сведения; основные вехи трудовой биографии; награды; встречи с известными людьми. Отсутствие интереса к происхождению, партийности, национальности и другим деталям, связанным с советским делопроизводственным дискурсом, во многом объясняется тем, что музей был основан в 1992 г.

Наряду с неопубликованными воспоминаниями, мы включили в корпус асинхронных учительских эго-документов о 1920-х гг. тексты, в разное время опубликованные как отдельными изданиями, так и на страницах сборников документов, периодических изданий[1]. Для нас был важен контекст публикации, вступительное слово или комментарии публикатора (при наличии), а также отзывы читателей, в том числе — исследователей.

Мотивы мемуаротворчества

Если анкеты, рассылавшиеся учителям Клубом ветеранов и Музеем развития народного образования, не предусматривали фиксации причин создания производственных автобиографий, то в учительских воспоминаниях «о собственной жизни», написанных в том числе и по инициативе названных институций, эти мотивы упоминаются. Перечень их достаточно традиционен для русских мемуарных текстов второй половины XIX–XX вв.: самопознание и желание подвести итоги своей жизни; стремление описать жизнь той социокультурной группы, с которой автор себя отождествлял; потребность соотнести свою биографию с историей страны; намерение рассказать о своих чем-либо замечательных учителях и коллегах как о «значимых других»; дидактические соображения. Иногда эти мотивы переплетались и прямо формулировались, иногда имплицитно присутствовали в тексте. Приведем несколько примеров.

[1] См.: *Бейман Е.Г.* В поисках методов преподавания // Школа и учительство Сибири. 20-е — начало 30-х гг. С. 82–89; *Лазарев Н.Н.* Улица Ленина, дом 14 // Советская Сибирь. 1968. № 136. С. 3; *Осиповская Н.А.* Как мы строили школу // Школа и учительство Сибири. 20-е — начало 30-х гг. С. 60–63; Подвижник просвещения: к 125-летию А.В. Веденяпина. Новосибирск: Б/и, 2018; *Рожков А.Е.* Временем поручено // Школа и учительство Сибири. 20-е — начало 30-х гг. С. 105–120; *Торф С.А.* Мне судьба подарила счастливое время. Новосибирск: Издательский центр городского дома учителя, 2009.

Известный историк школьного дела в Сибири, в 1920–1930-е гг. занимавшийся практической деятельностью в области образования (правда, в г. Томске), а затем профессор Новосибирского государственного педагогического института Ф.Ф. Шамахов в своих воспоминаниях «Старый звонарь отзвонил» так описывал свою жизнь от рождения (20 октября 1900 г.) до начала 1990-х гг.:

> «Идея В.Г. Короленко о старом звонаре с наступлением моей собственной старости явилась для меня некоторой основой для данного мемуарного очерка, показывающего, как я сам подошел к старости (и почему она сложилась именно такой, а не иной, с такими именно взглядами и убеждениями, а не какими-либо другими). Поэтому в данной работе я стремился выделить из своей биографии те именно явления, которые в той или иной степени отразились на моем идеологическом и нравственном развитии в молодости и оставили определенный глубокий след в старости»[1].

А.Е. Чурышева, учительница из Венгеровского района Новосибирской области, писала в своих воспоминаниях (1967 г.):

> «Советский народ подводит итоги полувекового пути первого в мире социалистического государства. Какие грандиозные перемены произошли в нашей стране за это время. Как-то невольно вспоминаются все 54 года, прожитые мною в Венгеровском районе, из которых 46 лет отдано в школе. Вот я уже на пенсии. Какой стремительный полет времени! Кажется, что это было недавно. И так давно. Сколько преобразований, которые неузнаваемо изменили облик нашей страны, нашего района, нашего райцентра. Как приятно зайти теперь в школу. Дети нашей эпохи получают все необходимое для своей радостной, счастливой жизни»[2].

В мемуарах новосибирского учителя физики А.М. Степанищева с «говорящим» названием «Мои учителя» (ориентировочно 1974 г.) читаем:

> «Мне в моей жизни посчастливилось учиться только у хороших учителей, которые любили свою работу и своих учеников всей душой. И если некоторые учителя не очень-то обогатили меня знаниями, то все же учение у них привило мне уважение к науке и истинный гуманизм»[3].

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 44а. Л. 1.
[2] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 207. Л. 2.
[3] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 203. Л. 5.

Учительница А.А. Трофимова из Черепановского района, кавалер ордена Ленина, в автобиографии, написанной по просьбе Клуба ветеранов в 1978 г., констатировала:

> «Начало моей работы совпало с началом советской власти. На моих глазах шла битва за революцию, за лучшую жизнь. Многие люди моего поколения помнят, как села переходили из рук в руки, то красных, то белых. Как зверски расправлялись с теми, кто шел за Советами. Испытали голод, холод, разруху, зверство, кулачье и пр. Нам, учителям, в то время выпала трудная, но почетная задача — помочь крестьянам выбрать правильный путь в жизни… Годы, когда в стране шло огромное строительство, мы, учителя, отдавали все свои силы и время только школе, качественному обучению учащихся… Биография нашей страны — это и моя биография»[1].

В отдельных случаях авторами двигало желание восстановить историческую справедливость, преодолеть забвение отдельных сюжетов прошлого, рассказать современникам и потомкам о важных событиях и явлениях истории образования, своей роли в них. Так, организатор школы № 7 Новосибирска Н.А. Тарасова-Осиповская, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного знамени, писала в 1975 г. П.А. Варфоломеевой, активной участнице Клуба ветеранов:

> «Никаких правительственных наград ни мне, ни моим учителям не выделялось по 7 школе. Обидно было. И считаю это большой несправедливостью, как будто бы и моих заслуг по организации первой школы при советской власти перед Ново-Николаевском никаких не было. Мне очень бы хотелось, чтобы вы перечитали мои мемуары, весьма подробные, обстоятельные о жизни, о работе 7 школы имени Н.К. Крупской. Они находятся в Сибирском отделении наук СССР (в Академгородке) при Институте истории и философии у т[оварища] Соскина. Он доктор исторических наук, профессор. Я там принимала участие в составлении материала “Об особенностях быта интеллигенции 20-х — 30-х годов”»[2].

Исходя из цели сбора воспоминаний, представлений инициаторов создания мемуаров об идеальном авторе («лучшие учителя города и области», орденоносцы, ветераны педагогического труда»), а также времени создания большинства эго-документов (конец 1960-х — начало 1990-х гг.), может создаться впечатление, что *Мы* в анализируемых

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 228. Л. 4–6.
[2] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 44. Л. 51–52.

нами источниках полностью поглощает *Я* (что, конечно же, не является феноменом только советского мемуарного письма и присуще, к примеру, автобиографическим текстам образованных русских XIX — начала XX в.)[1]. Однако такое ощущение возникает лишь при первом, поверхностном приближении. При медленном, многократном чтении большинства учительских текстов авторское *Я* возникает не только в формулировках целей мемуарного письма, в отборе сюжетов, о которых оно повествует или умалчивает, в констатации социальных идентичностей и их иерархии, но и в выборе языка описания прожитого. Для кого-то клишированный язык советского официального дискурса был вполне органичным, присвоенным в процессе социализации (в том числе профессиональной) в качестве своего, пригодного для «говорения в публичном пространстве» и отнюдь не являющегося проявлением двоемыслия, свойственного, по мнению многих исследователей, советской эпохе. Для другой же части «наших» авторов характерна достаточно подробная рефлексия «своими словами» о собственных жизненных выборах, их тексты насыщены личными, в том числе и критичными, оценками своих поступков, людей и событий, они стремятся объяснить себе и читателям причины своих поступков и основания, по которым они «присваивают себе право на имя» в региональном профессиональном сообществе.

С точки зрения иерархии мотивов мемуаротворчества, выявления критериев значимости собственной жизни, показательны начало и финал воспоминаний К.И. Воронцовой (написаны в середине 1970-х гг.), заслуженного учителя, дважды кавалера ордена Ленина, награжденной медалью Ушинского, депутата Верховного Совета РСФСР (1947 г., 1950 г.), ее имя открывает список лучших учителей «Легенды образования» на сайте Новосибирского Дома учителя[2]:

> «В своих воспоминаниях мне хочется о многом рассказать, рассказать о себе, о своей работе, рассказать о наших замечательных воспитанниках, о коллективе преподавателей и о многом другом. Удастся ли вспомнить прошлое, с годами потускневшее, забытое — ведь память сохраняет одно, упускает другое. Напишу о том, что ясно осталось в памяти»[3].

[1] См. напр.: *Rodigina N., Saburova T.* Changing Identity Formations in Nineteenth-Century Russian Intellectuals' Autobiographies // Life Wring Matters in Europe. Vol. 217. Heidelberg: Universitatsverlag Winter, 2012. С. 119–132.

[2] Дом учителя: Электронный ресурс. URL: http://du.nios.ru/legend/voroncova-kseniya-ivanovna (дата обращения: 02.04.2021).

[3] *Воронцова К.И.* Мои воспоминания // Архив Музея истории развития образования г. Новосибирска и Новосибирской области (Архив МИРОНО). Л. 1.

Далее следует описание 1299 версты (в 45 километрах от станции Обь), будки путевого обходчика, где родилась мемуаристка и прошло ее раннее детство, в котором еще до поступления в Колыванское женское начальное училище она твердо решила стать учительницей. Завершаются воспоминания ностальгическим изображением школьного двора в последний день работы перед уходом на пенсию:

> «Вокруг меня стены большой школы, а не маленький деревянный домик, много классных комнат, кабинеты, а не одна темная комната, не щербатый пол. А рядом со мной большой коллектив товарищей, и я не одинока. И перед моим взором — школьная детвора, радостная и счастливая. И снова начнется учебный год. Молодое поколение нашей Родины сядет за парты. По-прежнему будет опрятно, уютно в классах и во всем школьном здании. Учитель и ученик, старший и младший завтра встретятся, и старший скажет: "Ну, дети, начнем!" И начнется новый, интересный, наполненный открытиями, радостями и волнующий для учителя и учеников путь — путь вперед к познанию. В эти дни особенно сильно чувствуется, что долгие годы прожиты не зря. Пройден нелегкий, но радостный путь, и, если меня спросят, что же сделала я, учительница начальных классов, для укрепления Советского государства, отвечу просто: "Я воспитала сотни умелых и честных советских людей. Мой учительских труд (43 года непрерывной работы) и есть подлинное служение народу и государству"»[1].

Самоцензура — важный фактор, влиявший на содержание текстов корпуса. Среди многочисленных причин, ее объясняющих, можно упомянуть о самой очевидной: отдельные мемуаристы не понаслышке были знакомы с деятельностью репрессивного аппарата. Так, автор одного из мемуарных текстов, уже упомянутый выше Ф.Ф. Шамахов, в 1937 г. был исключен из партии и арестован НКВД за потерю революционной бдительности и покровительство врагам народа[2]. В выписке из протокола закрытого собрания парторганизации Томского пединститута от 21 декабря 1937 г. встречаются следующие «говорящие» формулировки:

> «Комплектование педагогического состава института Шамахов проводил безо всякой проверки. По его прямой инициативе в институт был приглашен профессор истфака, бывший

[1] Там же. Л. 23.

[2] См.: ГАНО. Ф. П-4. Оп. 22. Д. 6630.

белогвардеец, бывший, эмигрант из Харбина Трифонов, который в скором времени был арестован органами НКВД»[1].

Таким образом, среди прочего Шамахов обвинялся и в плохом знакомстве с биографиями и автобиографиями сотрудников института. Несмотря на то, что через год Шамахов был освобожден и восстановлен в партии, это не могло не сказаться на содержании его автобиографических текстов.

Своего права на профессию была вынуждена добиваться и Н.А. Тарасова-Осиповская. В 1937 г. после того, как ее муж был арестован, она была лишена возможности работать педагогом. Устроиться ей удалось только заведующей общежитием при школе-интернате в приисковом поселке Тельбес в Кузбассе. В школу она смогла вернуться только в 1942 г.

Репрезентации автобиографического Я в описании дореволюционной школы

В значительной части привлеченных нами учительских эго-документов содержатся рассказы о дореволюционном прошлом (как правило, детстве и юности) мемуаристов. За редким исключением они лишены ностальгических коннотаций и подчинены трем ключевым задачам: 1) показать несправедливость «старого мира» и тяжелое, безрадостное детство автора, полное труда, лишений, с особым вниманием к отсутствию стартовых возможностей к получению образования; 2) сравнить дореволюционную и советскую школу (часто повествование выстраивается по принципу бинарных оппозиций: с дореволюционной школой ассоциируется все отжившее, мешающие развитию учеников, с советской — широкий диапазон возможностей, в том числе и для самоопределения, самосоздания, выбора профессии «по душе и по способностям» и пр.; 3) раскрыть социальный, культурный и экономический фон собственного личностного становления, когда ключевым становится мотив преодоления трудностей, сопротивления окружающей действительности, борьбы за возможность получения образования как способа достижения новой, лучшей жизни.

Типично начало мемуаров Е.Н. Шестаковой (1904 года рождения, автобиография датируется 1987 г.):

> «Я родилась в городе Барнауле Алтайского края. Отец — рабочий, мать — поденная работница, неграмотная. Нас, детей, было пятеро, я — старшая, училась в начальной школе отлично. Экзаменационная коллегия вынесла решение ходатайствовать, чтобы меня приняли в Высшее начальное училище бесплатно и выдали бы бесплатную форму. Это было в 1915 г. Училище готовило учителей начальных классов. С решением педсовета моя учительница пришла к родителям. Мама категорически против: “Она — моя правая рука, кто будет нянчить детей и смотреть за домом? Нет и нет”. Кое-как уговорили маму»[1].

В воспоминаниях Н.А. Тарасовой-Осиповской, опубликованных в 1967 г., читаем:

> «Родилась я в Астрахани в семье рабочего. Отец трудился плотником на Рязано-Уральской железной дороге. Отец зарабатывал мало и не мог содержать семью. Мать была вынуждена устроиться в прачечную. Мы, дети, часто голодали. Квартира, которую занимали, представляла комнату, где шла приемка белья. К ней была пристроена спаленка, там мы все и ютились. Детство свое мне нечем хорошим вспомнить. Совсем маленькой мне пришлось помогать матери. Иногда принесешь белье, а какая-нибудь купчиха вышвырнет его на лестницу: то не понравится, как выстирано, то плохо проглажено, то какие-то пятна найдет. И мы забираем белье и тащим обратно»[2].

В тех случаях, когда у автора отсутствовали собственные воспоминания о тяжелой дореволюционной жизни, ее подробности воспроизводились со слов родителей. Так, например, в мемуарах С.А. Торф, 1915 года рождения, содержатся эмоциональные описания беспросветных условий жизни и труда ее родителей, которые призваны были показать причины их участия в революционном движении[3]. Рабоче-крестьянское происхождение, участие родственников в революционном движении — одобряемые в описании раннесоветского периода и часто встречающиеся элементы асинхронных эго-документов.

В тех случаях, когда мемуаристы происходили из иной социальной среды, они либо вообще умалчивали о детстве и не заостряли внимания на родительской семье, либо подчеркивали ее заслуги перед народом и/или новой властью, а также свою раннюю самостоятельность и финансовую независимость от родителей. Сошлемся, к примеру, на автобиографию Л.М. Никулиной, 1892 года рождения. Упомянув о том, что ее папа был ветеринарным фельдшером, а мама

[1] ГАНО. Ф. П-4. Оп. 22. Д. 6630. Л. 9.

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.

[2] *Осиповская Н.А.* Это начиналось так… // Вечерний Новосибирск. 1967. 20 марта.

[3] См.: *Торф С.А.* Указ. соч. С. 5–8.

из семьи почтового чиновника, она подчеркивала, что отец параллельно с фельдшерской работой 25 лет работал в земской библиотеке, а она сама уже с 6 класса гимназии «не брала с отца ни копейки, давая уроки одноклассникам по русскому языку»[1].

Можно предположить, что рассказ о тяжелом детстве был призван не только проиллюстрировать те возможности, которые предлагала новая власть, но и показать, какую роль наблюдаемая в детском возрасте социальная несправедливость сыграла в жизнетворчестве советского учителя. В связи с этим Ф.Ф. Шамахов, в частности, отмечал:

> «Я лично считаю, что уже ранние детские годы моей жизни с пережитыми в эти годы трудностями довольно рано способствовали не по-детски глубокому восприятию переживаемого семьёй моих родителей классового расслоения общества. В детской моей душе, конечно, не могла не возникнуть мысль об общественной несправедливости такого расслоения... Особенно ярко выражена в этом отношении была невозможность удовлетворения моих потребностей в знаниях, яркой причиной которых явилось отсутствие нужной мне школы для всех»[2].

К.И. Воронцова приводила следующий пример:

> «Помню, как будучи ученицей третьего отделения, я написала сочинение и получила за него 5. На следующий день школу посетила попечительница мадам Жернакова. Она вошла в класс, поблескивая золотой цепью. “Не желаете ли познакомиться с работами моих учениц?” — спросила учительница. Жернакова взяла тетрадь. Эта тетрадь была моя. Сочинение ей очень понравилось, и она спросила: “Чья это тетрадь и кто родители этой девочки?” Узнав о том, что я дочь путевого обходчика, она почти крикнула: “Садись”»[3].

Важно упомянуть, что в качестве распространенных практик самовоспитания в детском и юношеском возрасте чаще всего назывался физический труд и чтение «правильной» литературы (в том числе под влиянием учителей). Так, Ф.Ф. Шамахов подчеркивал:

> «Моя жизнь день за днем вовлекала меня в трудовые процессы. Кроме переплетного дела, ставшего моей профессией, весной, летом и осенью значительная часть моего времени уходила на обработку большого огорода — основного источника нашей жизни. После уборки овощей… мы с отцом в некоторые годы превращались в лесорубов — заготавливали топливо… Помогал я и матери, которая считала своей обязанностью заготовку на зимний период грибов и всевозможных ягодных богатств лесов… Так шли годы и протекали мои дни, превратившие меня из слабосильного подростка в здорового и сильного парня»[1].

К.А. Нечаев (1899 года рождения), учитель, краевед, историк образования, в своих мемуарных заметках, написанных в марте 1967 г. как замечания к готовящейся к публикации статье своего коллеги Н.Н. Лазарева о Павловской учительской семинарии, так описывал влияние литературных текстов на свое становление:

> «Два слова о семинарской библиотеке. Хорошая была библиотека. Семинаристы много читали. Читали и спорили о прочитанном. Я увлекался Достоевским, Сенкевичем, Лесковым и педагогическими книгами… Мы выросли на произведениях А.П. Чехова, хотя его в программе по литературе не было. Леонид Лаврентьевич Степанов пропагандировал его прием письма, а отец Николай привил нам любовь к Чехову, к его произведениям… Я в семинарии познал “красоту жизни”, полюбил поэзию А. Блока, познал “Мир искусства”»[2].

Бросается в глаза противоречие между негативными в большинстве случаев оценками дореволюционной школы как части «старой» жизни и теплыми словами в отношении учителей, которые встречаются в значительной части мемуаров. В числе основных характеристик «хороших» учителей, которые стали ориентиром в профессии и повлияли на ее выбор, чаще всего упоминаются: любовь к детям, знание предмета, оппозиционные политические взгляды, в особенности сочувствие марксистским идеям. Показательны и типичны в этом смысле фрагменты мемуаров А.М. Степанищева:

> «Вообще Алексей Григорьевич [речь идет об А.Г. Лукине, учителе географии — *Н.Р., М.Д.*] любил детей и не прочь был иной раз с малышами попрыгать по-лягушачьи. Алексей Григорьевич был одним из немногих учителей с революционными взглядами. Старшеклассников он знакомил с марксизмом, создав вокруг себя кружок учащихся»[3].

И далее:

---

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 25а. Л. 1а.
[2] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 44а. Л. 17–18.
[3] *Воронцова К.И.* Указ. соч. Л. 1.

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 44а. Л. 5.
[2] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 248. Л. 2.
[3] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 203. Л. 7.

«Но зато я знаю, что в Новониколаевском реальном училище не насаждалось враждебного отношения к “инородцам”, антисемитизма, наушничества… Отношения между учителями и учащимися были доброжелательными. Не чувствовалось какого-либо гнета и не было старых традиций. “Новичков” не объезжали, учителям не давали прозвищ, угодничеством не занимались… Все учителя были просты в обращении, близки к учащимся и, видимо, дружны между собой, несмотря на возможные различия в политических взглядах»[1].

В воспоминаниях встречаются упоминания о том, что советская школа была вымечтана «старыми» педагогами и воплотила часть их идеалов, что ставит под сомнение разделяемый большинством мемуаристов стереотип о разрыве дореволюционной и советской школ, подчеркивает преемственность в развитии школы как социального института, обсуждаемую современными историками образования. Это заставляет предположить доминирование дискурсивной природы позднесоветских автобиографических текстов, в которых «старая» школа должна была лишь оттенять преимущества «новой», советской, над индивидуальным эмоционально-оценочным восприятием прошлого.

«Заря новой школы, заря новой жизни»: Я/Мы в описаниях советской школы 1920-х гг.

Не останавливаясь на источниковом потенциале эго-документов с точки зрения истории образования, а этот потенциал впечатляет своим богатством и разноплановостью (история отдельных институций, в том числе и конкретных школ, «отцы-основатели», исторические декорации, на фоне которых происходил выбор целей и методов обучения, учебных программ и т. д.), сконцентрируем свое внимание на том, как авторы «вспоминали» себя в 1920-е гг. в текстах, написанных в конце 1960-х — начале 1990-х гг. В значительной части проанализированных нами текстов первое десятилетие советской власти описывалось как героический период не только в жизни страны, но и в их собственных биографиях. Ключевыми событиями, определившими содержание этого десятилетия, для мемуаристов стали Гражданская война, борьба с колчаковцами, борьба с голодом, разрухой, эпидемиями, создание первых советских школ и учреждений, готовящих учительские кадры, появление первых учебников и программ, учительские съезды, встречи с известными людьми

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 203. Л. 10–11.

(Н.К. Крупской, А.В. Луначарским и др.), в меньшей степени нэп и коллективизация. Гораздо реже и, как правило, женщинами-мемуаристками говорилось о создании семей, разводах, рождении детей, смерти близких. К числу таких редких упоминаний можно отнести ремарку, сделанную в автобиографии Е.Н. Шестаковой: «В 1925 г. я вышла замуж, у меня родились две дочери. С мужем с большим трудом пришлось развестись: он стал пить и безобразничать. Я осталась с двумя детьми без материальной помощи»[1].

Бросается в глаза преобладание местоимения *Мы*, в том числе и при описании событий собственной жизни, что уже было предметом многократной рефлексии исследователей. Выяснение того, какая именно референтная группа или социальная идентификация стоит за этим *Мы*, в каждом случае контекстуально и далеко не всегда очевидно: *Мы* как учителя, *Мы* как комсомольцы, *Мы* как люди, живущие в Новониколаевске/Новосибирске, в Сибири, в СССР и пр.

Ф.Б. Триерс, 1902 года рождения, в 1920-х гг., работавшая в с. Довольное и в Новониколаевске/Новосибирске, так вспоминала в 1983 г. первые годы советской школы:

«Не было ни тетрадей, ни бумаги, ни карандашей. Писали на оберточной бумаге, на газетах, и хорошо, если у кого-либо из сельских жителей случайно находилась грифельная доска… Но нас не останавливало это. Крестьяне, увидев, что советская власть одной из первоочередных задач ставит ликвидацию неграмотности и получение образования каждым трудящимся — всемерно помогали школе. О нарушении дисциплины учащимися в школе не было и речи. А мы учили, как могли, работали в три смены… Жили трудно. О словах “материальная заинтересованность” учителя, как и другие трудящиеся, не имели понятия. У всех была одна цель: скорее ликвидировать разруху, чтобы люди имели хлеб и знания, сообща строили, как тогда говорили, “царство социализма”. Каждый сердцем принял ленинский завет “учиться, учиться и учиться”»[2].

Наряду с риторикой борьбы и преодоления трудностей, в текстах очевидны культ «новизны», молодости, упоение рождением новой школы, новых методов преподавания, новых отношений, нового государства. Большая часть мемуаристов (к примеру, А.В. Веденяпин, К.А. Нечаев, Ф.Ф. Шамахов) вспоминала об этом с разной степенью

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 37. Л. 3.

[2] *Триерс Ф.Б.* Институт усовершенствования — родной дом для учителей // Архив МИРОНО. Л. 2–3.

энтузиазма, и только К.И. Воронцова относилась ко многим педагогическим экспериментам раннесоветской школы критично.

Один из разделов тетради воспоминаний К.А. Нечаева назывался «На заре советской школы». В нем он в 1975 г. записал:

> «В великое время мы жили. Старый страшный мир умирал, а новый только-только нарождался. Начала создаваться новая школа. Мы были молоды и, может быть, не все ощущали эпоху. Мы еще учились в педтехникуме и встречались со старыми передовыми педагогами. Они старались, чтобы их лучшие мечты не умирали, а осуществились. Они старались в беседах с нами передать все лучшее, заветное нам»[1].

Между тем у К.И. Воронцовой читаем:

> «Помню годы Гражданской войны. Они были тяжелым испытанием для нашего народа. Шла борьба с вражескими белыми армиями и интервентами, пытавшимися захватить молодую советскую страну. Был голод, эпидемии, тиф, разруха. Страна наша была в кольце врагов. В эти годы советская власть не могла уделять должного внимания школьному строительству. Старый тип школы ломался, а новый еще не отлился в совершенную форму. Но главное было сделано — школа стала единой. Получили распространения методы, не проверенные на практике: так называемый исследовательский метод, метод проектов и др. Все это снижало эффективность учебной работы и плодило массовую неуспеваемость. Метод целых слов, принятый в школе для обучения грамоте, плодил отставание и безграмотность учащихся. Некоторые “теоретики” советской педагогики огульно отрицали прежний опыт школ. Они выступали за упразднение в школе классов, уроков, расписания. Но многие школы, учителя продолжали хранить традиции предметного преподавания и отдавали предпочтение испытанным методам, выработанным историческим опытом школы»[2].

Для подавляющего большинства мемуаристов первое советское десятилетие совпало с их молодостью, некоторые из них вспоминают о нем, как о наиболее ярком периоде жизни.

А.В. Веденяпин возглавил первую советскую школу в Новониколаевске, известную как «Первомайская». В 1922 г. он стал заведовать 18-й опорной школы, в 1931 г. участвовал в создании учебника русского языка для 3-х и 4-х классов. В 1935 г. был осужден на

[1] *Нечаев К.А.* Материалы для учительского музея // Архив МИРОНО. Тетрадь № 2. Л. 14.

[2] *Воронцова К.И.* Указ. соч. Л. 2.

5 лет по обвинению в участии в «контрреволюционной организации просвещенцев»[1], в 1989 г. реабилитирован. По отбытии наказания вернулся в Новосибирск. Он, в частности, вспоминал:

> «Все десятилетие, начиная с 1920 по 1930 год, прошло в поисках новых методов, системы организации школ. Идейным выразителем этих направлений был журнал “На путях к новой школе”. Про себя я скажу, что я практически пережил, испытал все течения педагогической мысли этих лет, идейно разделял их и всю свою энергию направлял на поиски активных методов работы, что осталось у меня до конца моей педагогической деятельности»[2].

Одним из способов репрезентации *Я* в эго-документах, порожденных феноменом «организованной» памяти, являются рассказы о значимых других, в том числе и тех, кого мемуаристы относят к числу чем-либо замечательных людей, оказавших влияние на становление их личности. Для Е.Н. Тесленко (1885 года рождения, заведующей детским домом в Колывани) и Н.А. Тарасовой-Осиповской — это Н.К. Крупская. Воспоминания Тесленко «Это никогда не забудется» 1974 г. в основном посвящены поездке в Москву и встрече с Крупской в 1927 г., поскольку для мемуаристки это событие стало без преувеличения одним из ключевых событий в жизни.

При этом довольно много места в мемуарах Тесленко было отведено ее «встрече» с Лениным — встрече, которая являлась своего рода прологом к общению с Крупской, воплощавшей на практике заветы мужа и единомышленника. Для иллюстрации этого дискурса о вожде приведем пример из названных мемуаров:

> «И вот я в Москве, на Красной площади. Тянется бесконечный поток людей в Мавзолей, к Ленину. Идут тихо, по 2 человека в ряд. Трудно передать то чувство, которое охватывает тебя при входе в Мавзолей. Ленин лежит как живой, как спит, и кажется, вот откроет глаза и встанет. Проходили как можно медленнее, не отрывая глаз от любимого Вождя. Мавзолей невелик. До самого выхода идешь с повернутой влево — к Ленину — головой. Какое-то необычное чувство торжественности и печали овладевает мной и при выходе возникает сознание гордости: “Я видела Ленина”»[3].

[1] См.: Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области. Вып. 4. Новосибирск, 2014. С. 5.

[2] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп 1. Д. 196. Л. 15.

[3] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 32. Л. 6.

Новые персонажи появляются в мемуарах, созданных в 1990-х гг. Так, в воспоминаниях Ф.Ф. Шамахова встречается развернутое описание встречи с Л.Д. Троцким, случившейся в то время, когда Шамахов был студентом Московского университета. Шамахов, к примеру, вспоминал:

> «И вдруг я услышал, как наступила всеобщая тишина. Сквозь почтительно расступившуюся на сцене массу комсомольцев медленно начала наплывать и, наконец, показалась всему миру известная фигура человека с львиной шевелюрой, с поблескивающими стеклами пенсне на носу. Буря аплодисментов… И вместо куда-то исчезнувшего Зиновьева на трибуне появился Троцкий. Меня, никогда не видевшего и не слышавшего Троцкого, прежде всего поразил его голос — говорил он тихо, без всякого напряжения, но голос его звучал каким-то металлическим оттенком и был слышан в самых отдаленных уголках переполненного молодежью зала»[1].

Героями учительских мемуарных повествований тем чаще, чем ближе к закату позднесоветской эпохи (или сразу после нее), становятся друзья, коллеги, однокурсники, то есть на автобиографическую сцену выходят так называемые «простые люди», значимые в первую очередь для самих мемуаристов, считавших важным рассказать о «своих» героях реальным и потенциальным читателям.

В «нашем» корпусе встречаются и рассказы о ситуациях и осмыслении себя в них, которые не всегда имеют прямое отношение к профессиональной учительской повседневности (как и с представлениями мемуаристов об ее идеальной модели), но с очевидностью репрезентируют авторское *Я*. В этом смысле показателен фрагмент мемуаров Е.Н. Тесленко:

> «И немного романтики. Как-то поздней осенью под вечер тов[оварищ] Дено попросил меня поехать с ним в Новосибирск по деловым вопросам. Отравились не прямиком в город (лошади были нужны утром), а сокращенным путем через Обь. Погода была пасмурная, сильный ветер. Река покрылась волнами, темнело. На берегу никого нет. Говорю Дено: “Я боюсь ехать в такую погоду на лодке, плавать не умею и страшно”. “А вы со мной не бойтесь”, — отвечает тов[оварищ] Дено. Мне тогда было около 40 лет. Решила подчиниться. Тов[оварищ] Дено нашел где-то старого рыбака с лодкой, сам взял руль, рыбак весла… Нашу лодку начало бросать по волнам: то вверх, то вниз. И вдруг тов[оварищ] Дено запел Интернационал на украинском языке. Мой муж, умерший в 1921 г. от тифа, также был украинец и дома иногда пел любимый гимн на родном языке. Воспоминания, охватившие меня, и прекрасное пение тов[оварища] Дено отвлекли от качания по волнам. Незаметно добрались до берега»[1].

Итак, собранный нами корпус учительских эго-документов о 1920-х гг. является примером «организованной» корпоративной памяти о первом десятилетии советской власти. Тексты, составившие данный корпус, были созданы в основном по инициативе педагогических (Клуб ветеранов г. Новосибирска, Музей развития народного образования) и академической (Институт истории, филологии и философии СО АН СССР) организаций.

На наш взгляд, многие интенции, присущие авторам дневников и автобиографий 1930-х гг., выявленные Й. Хелльбеком и И. Халфиным, были характерны и для учительских воспоминаний о первом десятилетии советской власти: стремление вписать себя в «большую» и «локальную» историю; описание событий становления советской школы в городе и регионе как личностного долга перед современниками и потомками; дидактический акцент на героическом преодолении трудностей, связанных с утверждением раннесоветского образовательного проекта; понимание коллектива как источника настоящей субъективности. Преобладание коллективных *Мы* в проанализированных нами текстах, репрезентирующих разные идентичности авторов эго-документов, на наш взгляд, не означало отсутствия или забвения автобиографического *Я*. Субъектная позиция предъявлялась в оценках реалий и персоналий дооктябрьской и раннесоветской школы, отнюдь не всегда демонстрировавших единомыслие, в акцентировании или умолчании тех или иных сюжетов 1920-х гг. (к примеру, отсутствие упоминаний о внутрипартийной борьбе, редкие упоминания о Февральской революции, новой экономической политике и участии учителей в коллективизации, положительные в основной массе отзывы об учителях дооктябрьской эпохи). Автобиографическое *Я* вне зависимости от желания инициаторов создания мемуаров, а иногда и помимо воли самих авторов, очевидно из структурирования мемуарного повествования (оно далеко не всегда определялось вопросами анкеты), рефлексии (или ее отсутствия) о мотивах мемуаротворчества, выборе сюжетов и героев рассказа о прошлом.

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 44а. Л. 22.

[1] ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 32. Л. 28–29.

РАЗДЕЛ II. КОНТЕКСТЫ

Глава II.1. «Корниловщина» как Гражданская война: восприятие политического кризиса и легитимация насилия в свидетельствах современников[1]

(Б.И. Колоницкий, К.В. Годунов)

Вопрос о начале Гражданской войны в России продолжает оставаться дискуссионным, он связан и с общим пониманием природы гражданской войны. Для изучения обстоятельств возникновения гражданской войны важно исследовать ее культурные предпосылки.

Изучение же культуры начала гражданской войны невозможно без исследования источников личного происхождения. Большое значение имеют наблюдения за распространением термина «гражданская война», при этом важно не только фиксировать случаи употребления этого термина, но и интерпретировать смыслы и понять мотивы использования этого понятия.

Использование термина «гражданская война» в 1917 г. становится особенно частым во время политических кризисов. Однако ситуация «корниловщины» (этот термин в 1917 г. использовали современники, в т.ч. и сторонники генерала) существенно отличалась от Апрельского и Июльского кризиса. Во время «дела Корнилова» современники не только писали об угрозе гражданской войны, они нередко воспринимали ситуацию как уже начавшуюся гражданскую войну. И после ареста Корнилова тема гражданской войны уже не уходит из общественного обсуждения.

Изучая дневники, письма, а также — в меньшей степени — воспоминания современников, мы рассматриваем, как эта тема воспринималась на уровне индивидуального сознания. Источники личного происхождения мы сопоставляем с материалами периодической печати. Это позволит нам составить представление о распространенности и усвоении языка гражданской войны. Особое внимание мы уделяем персонификации конфликта и легитимации политического насилия.

[1] Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00369 «Процессы легитимации насилия: культура конфликта в России и эскалация Гражданской войны».

Гражданская война в России продолжает вызывать споры историков, даже вопрос о ее хронологических рамках служит предметом дискуссий. В этом проявляется разное понимание сущности гражданской войны. Долгое время история гражданской войны продолжала оставаться большевикоцентричной: в центре внимания исследователей находились Коммунистическая партия, советское государство и Красная армия. Повышенный интерес современных историков к истории Белого движения не очень меняет в этом отношении ситуацию: гражданская война рассматривается преимущественно как борьба большевиков и их основных противников — «белых».

Вместе с тем в последнее время все больше ученых описывают гражданскую войну как сложный комплекс переплетающихся конфликтов разного уровня и масштаба. Некоторые исследователи говорят не о гражданской войне, а о гражданских войнах. Наиболее определенно эту точку зрения высказал британский исследователь Джонатан Смил, который попытался дать общую картину малых местных гражданских войн, этнических и религиозных конфликтов, национальных движений, использующих вооруженную борьбу, иных проявлений милитаризации социального и политического противостояния. Историю гражданских войн и иных конфликтов, развернувшихся на имперском и постимперском пространстве, автор начинает с восстания в Туркестане в 1916 г.[1]

Для понимания природы гражданских войн важно изучать их культурную историю и предысторию. Правда, некоторые современные «стасиологи», социологи и политологи, изучающие гражданские войны и сопоставимые с ними конфликты, довольно скептически относятся к значению культурных факторов в эскалации политического насилия, но показательно, что они сами говорят, например, о росте популярности людей, склонных к насилию во время гражданских войн, о культурных формах проявления насилия[2]. Понимание же популяризации насилия невозможно без изучения культуры, легитимирующей насилие, без исследования предварительного «проговаривания» насилия[3].

[1] См.: *Smele J.D.* The ‘Russian’ Civil Wars, 1916–1926: Ten Years that Shook the World. L.: Hurst, 2016.

[2] См.: *Каливас С.* Логика насилия в гражданской войне. М.: Изд-во «Пятый Рим», Фонд «Историческая память», 2019. С. 114.

[3] См.: *Суржикова Н.В.* Россия 1917 года в отечественных и зарубежных эгодокументах // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4. С. 25–34.

В настоящей работе мы постараемся рассмотреть вопрос о формировании и использовании языка гражданской войны, при этом естественно начать с изучения применения самого понятия «гражданская война».

Мы ограничиваем свое исследование и хронологически, и тематически, уделяя особое внимание так называемой «корниловщине», политическому кризису конца августа 1917 г. Тогда вполне реальной казалась опасность вооруженного противостояния крупных соединений российской армии, часть которых подчинялась приказаниям верховного главнокомандующего генерала Л.Г. Корнилова, бросившего вызов власти Временного правительства А.Ф. Керенского. В то же время большая часть вооруженных сил оказала поддержку правительству, Советам и комитетам, которые активно противостояли Корнилову, несмотря на существовавшие между ними противоречия. До масштабного боевого столкновения дело не дошло, но многие офицеры стали жертвами насилия, особенно в некоторых российских гарнизонах Финляндии, где происходили убийства офицеров, считавшихся «корниловцами»[1]. При этом и убийцы, и люди, одобрявшие их действия, считали подобное насилие вполне оправданным, легитимным: они полагали, что именно так следует поступать по отношению к врагам. Во время этого кризиса обогатился и язык конфликта, распространение получили слова «корниловцы» и «корниловщина», без которых невозможно представить историю гражданской войны: уже осенью 1917 г. одни употребляли эти слова для обозначения политического врага, с которым никакой компромисс невозможен, а другие использовали слова «корниловцы» и даже «корниловщина» для самоназвания. Подобная поляризующая дискурсивная ситуация создавала большие возможности для сил, лоббировавших силовое, вооруженное решение политических проблем, сторонники же гражданского мира, предлагавшие разнообразные компромиссы, оказывались в менее выгодном положении.

Некоторые исследователи даже полагают, что в результате «корниловщины» гражданская война стала неизбежной, хотя основные линии политического раскола могли быть различными. В частности, Питер Холквист считает, что во всех сегментах идеологического спектра к сентябрю 1917 г. имелись такие политические активисты, которые полагали, что альтернативы гражданской войне нет[2]. Вряд

[1] См.: *Дубровская Е.Ю.* Выборгский гарнизон в корниловские дни // Историк и революция: сб. статей к 70-летию со дня рождения Олега Николаевича Знаменского. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 176–183.

[2] См.: *Holquist P.* Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921. Cambridge (Mass.); L.: Harvard University Press, 2002. P. 89.

ли можно точно доказать тезис о неизбежности гражданской войны после «дела Корнилова» (хотя выводы нашего исследования не противоречат этому утверждению), но изучение языка гражданской войны во время этого кризиса безусловно представляет актуальную и сложную задачу.

В данной работе мы ограничиваем свою источниковую базу, уделяя преимущественное внимание синхронным источникам — дневникам и письмам современников. Это позволит нам сделать предварительные выводы относительно интериоризации языка легитимации политического насилия. Письма и дневники современников мы сравниваем с периодической печатью 1917 г., что позволяет выявить типичное и особенное в «проговаривании» гражданской войны.

Наконец, мы постараемся сопоставить письма и дневники с мемуарами, хотя воспоминания для этого исследования не являются самым важным и надежным источником: временные фильтры не способствуют точной фиксации политического использования языка конфликта. Еще менее надежны мемуары для понимания политических эмоций, сопровождающих описываемые события. Авторы воспоминаний порой задним числом рационализировали свои былые оценки, не упоминая те распространенные слухи, в которые они сами в свое время верили. И все же мы не можем игнорировать мемуары, хотя они и требуют особенно осторожного использования. Во-первых, в воспоминаниях порой содержится важная информация. Во-вторых, мемуары оказали — и оказывают — совершенно особое влияние на историографию российской революции. Основателями важнейших направлений исследования были активные участники событий, в текстах которых переплетались исследования и воспоминания (иногда в этих текстах присутствовали и публикации источников). Это присуще, например, книгам А.И. Деникина и А. Шляпникова. П.Н. Милюков, В.М. Чернов, Л.Д. Троцкий и А.Ф. Керенский в разное время выступали и в качестве историков революции, и в качестве мемуаристов: в их исследованиях есть фрагменты воспоминаний, а в мемуарах — блоки аналитики, основанной на использовании исторических источников. Показательно, что авторы воспоминаний иногда довольно подробно писали и о тех событиях, свидетелями которых они не могли быть. Мемуаристика продолжает оказывать некоторое воздействие и на современную историографию «корниловщины».

«Гражданская война»: использование понятия в феврале — августе 1917 г.

С самого начала революции современники не могли не думать о возможной перспективе гражданской войны. Уже в дни Февральской революции важнейшие участники политического процесса упоминали в своих дискуссиях об опасности гражданской войны, об этом они писали впоследствии в своих мемуарах и исследованиях[1].

Значение темы гражданской войны косвенно проявлялось и в публикациях разнообразных политических словарей, которые отвечали запросу быстро политизируемых масс, желавших понять разнообразные пропагандистские послания. Синонимами гражданской войны считались «междоусобица», «междоусобная война», «междоусобная война между частями населения одного государства»[2]. Иногда смысл словосочетания раскрывался так: «Вооруженная борьба народа с правительством или отдельных групп населения между собою»; «… война между гражданами одного и того же государства, принадлежащими к разным партиям»[3]. И все же термин вошел не во все словари, возможно, их составители не считали его актуальным (большая часть этих словарей появилась в первые месяцы революции, когда гражданское единство страны казалось обеспеченным).

После свержения монархии в России были распространены восторженные, эйфорические, «пасхальные» настроения. Однако, страх перед гражданской войной испытывали многие современники, и важнейшие участники политического процесса стремились использовать эту эмоцию. Так, сама идея сотрудничества между умеренными социалистами и так называемыми «буржуазными» силами обосновывалась необходимостью сохранения гражданского мира и предотвращения междоусобицы.

В то же время некоторые политики, прежде всего радикальные социалисты, говорили либо о неизбежной перспективе гражданской войны, либо даже о ее желательности. Впрочем, даже в рядах партии

[1] См., напр.: *Троцкий Л.Д.* История русской революции. Т. 1: Февральская революция. М.: Республика, 1997. С. 339, 343; *Чернов В.М.* Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного собрания. 1905–1920. М.: Центрполиграф, 2007. С. 90, 91, 92, 93, 194, 195, 260, 262, 303, 306; и др.

[2] Политический словарь / сост. В.Ч. Пирятин: Тип. Селецкого и Любинского, 1917. С. 10; Политический словарь / сост. Пр. Звенигородцев. М.: Народная мысль, 1917. Стб. 12; Народный толковый словарь общественно-политических слов. Пг.: Знание — сила, 1917. С. 8; Толкователь непонятных слов в газетах и книгах. Одесса: Типография Всероссийского земского союза КРФ, 1917. С. 8.

[3] Народный словарь. Пг.: Союз солдат-республиканцев, 1917. С. 10; Толковник политических слов и политических деятелей. Пг.: Освобожденная Россия, 1917. С. 19.

большевиков по этому вопросу не было полного единства. Некоторые руководители партии полагали, что новые условия, возникшие в ходе революции, заставляют отказаться от лозунга превращения империалистической войны в войну гражданскую. На заседании Бюро ЦК 7 марта один из участников дискуссии заявил: «Война империалистическая, но наше отношение иное, чем до 23–27 [февраля]. Если мы стояли за гражданскую войну, то теперь за сохранение завоеваний революции, сохранение Республики». Резолюция Бюро ЦК, принятая 9 марта, гласила:

> «Основной задачей революционной социал-демократии по-прежнему является борьба за превращение настоящей антинародной империалистической войны в гражданскую войну народов против своих угнетателей — господствующих классов». 22 марта такая позиция была вновь подтверждена, хотя и смягчена, словосочетание «гражданская война» заменялась термином «гражданская борьба»[1].

Провинциальные организации большевиков в Киеве, Самаре, Ростове-на-Дону и некоторых других городах публично поддерживали лозунг гражданской войны[2].

О гражданской войне неоднократно писал и В.И. Ленин, иногда рассматривая революцию как уже начавшуюся гражданскую войну: «Русская революция февраля — марта 1917 г. была началом превращения империалистской войны в войну гражданскую»[3].

Реже такие характеристики ситуации встречались у других социалистов, но они имелись. Отчасти это объясняется распространенным марксистским пониманием гражданской войны как высшей формы классовой борьбы. Более того, классовая борьба в принципе порой рассматривалась марксистами как некая форма гражданской войны[4]. Неудивительно, что председатель Исполнительного комитета Петроградского Совета меньшевик Н.С. Чхеидзе описывал

[1] Протоколы и резолюции Бюро ЦК РСДРП(б) (март 1917 г.) // Вопросы истории КПСС. 1962. № 3. С. 138, 142, 153.

[2] См.: Из резолюции общего собрания Киевской организации РСДРП(б) об отношении к войне, 6 апреля 1917 г. // Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине: (сб. документов и материалов) / сост.: И.В. Демкин, С.И. Розин, А.З. Мищенко. Киев: Госполитиздат УССР, 1955. С. 176–178; Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий. Т. 1.: 27 февраля — 6 мая 1917 года / сост.: В.В. Кутузов, Л.М. Гаврилов, Г.П. Макарова и др. М.: Изд-во АН СССР, 1957.С. 421, 504.

[3] *Ленин В.И.* Задачи пролетариата в нашей революции (проект платформы пролетарской партии) // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 31. М.: Политиздат, 1969. С. 161.

[4] См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4. С. 435.

ситуацию как начавшуюся гражданскую войну. «…Мы в настоящее время ведем гражданскую войну», — заявил он, в частности, 5 марта[1].

И все же именно большевики воспринимались как «партия гражданской войны», это находило отражение и в прессе, и в источниках личного происхождения. Военный врач писал в своем дневнике в конце апреля, под воздействием Апрельского кризиса: «Удручает меня буйствующая ленинская клика, вносящая разврат в революцию; в Петрограде, Кронштадте и некоторых других городах уже, кажется, начались гражданские войны»[2]. В то же время одесская студентка писала: «Ленина и его сторонников мы все ненавидим, так как они всюду сеют разлад и портят революцию, призывая к гражданской войне и свержению Временного правительства»[3].

Политические противники Ленина критиковали партию большевиков, представляя себя как защитников страны от опасности гражданской войны. Лидер конституционно-демократической партии и министр иностранных дел в первом составе Временного правительства П.Н. Милюков заявил 9 мая на съезде своей партии: «Положение осложнилось с приездом эмигрантов ленинского типа, приглашавших страну и армию под знамя анархо-коммунизма и гражданской войны»[4].

Об опасности гражданской войны сообщали Милюкову и его корреспонденты. Так, 26 апреля крестьянин В.К. Кабанюк писал П.Н. Милюкову:

> «Еще скажите этому г. Ленину, что я нахожу его более чем правым, но мое мнение: прекратить бы эти еще полезнейшие его пропаганды до более удобного случая… А в настоящее время этого не нужно, не нужно вбивать клин между народом и раскалывать на несколько частей. Не нужно нам междуусобицы, не нужно подливать масла в тот пламень, в котором мы сами горим…»[5].

[1] Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы, стенограммы и отчеты, резолюции, постановления общих собраний, собраний секций, заседаний Исполнительного комитета и фракций (27 февраля — 25 октября 1917 года) в пяти томах / под общ. ред. акад. П.В. Волобуева. Т. I: 27 февраля — 31 марта 1917 года. Изд. 2-е. СПб.: Библиотека «Звезды», 1993. С. 78, 148.

[2] *Кравков В.П.* Великая война без ретуши: записки корпусного врача. М.: Вече, 2014. С. 318.

[3] *Лакиер Е.И.* Отрывки из дневника — 1917–1918 // «Претерпевший до конца спасен будет»: Женские исповедальные тексты о революции и Гражданской войне в России / сост. О.Р. Демидова. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. С. 133–134.

[4] Съезды и конференции конституционно-демократической партии: В 3 т. Т. 3. Кн. 1: 1915–1917 гг. М.: РОССПЭН, 2000. С. 496–497.

[5] *Чхартишвили П.Ш.* Письма в поддержку П.Н. Милюкова накануне его отставки // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 191.

Крестьянин, находивший убедительными некоторые высказывания Ленина, опасался, что действия лидера большевиков могут привести к столкновениям внутри страны. В то же время один из сторонников лидера кадетов писал из Сызрани:

> «…При недоверии к Вам и свержении временного правительства наступит анархия и гражданская война; гибель родины неизбежна, когда еще не сломанный враг ждет этого момента, чтобы ринуться на нас и окончательно раздавить нашу родину»[1].

Но не одни только большевики считали сценарий гражданской войны наиболее вероятным, о нем размышляли и политики, воздерживавшиеся от соответствующих публичных заявлений: «С самого начала я подумал, что без гражданской войны и контрреволюции мы не обойдемся…»[2], — вспоминал о событиях весны 1917 г А.И. Гучков, военный и морской министр в первом составе Временного правительства. К суждениям участников событий, высказанным многие годы спустя, следует относиться осторожно, они порой склонны были преувеличивать свои провидческие способности. Впрочем, в данном случае свидетельству Гучкова стоит доверять: подобно многим политикам, он считал, что сама ситуация двоевластия неизбежно порождала острые кризисы, которые повлекут за собой и военное противостояние.

Это мнение высказывалось и в 1917 г. Так, современник, с оптимизмом встретивший свержение монархии, полагал, что двоевластие таит в себе реальную опасность гражданской войны, 16 марта он писал: «Я жду, наконец, того момента, когда вожди российского пролетариата встанут на путь трезвой политической борьбы, когда не будет в стране двух правительств и когда, следовательно, будет устранена возможность возникновения гражданской войны»[3].

Некоторые современники, не занимавшие видные политические посты, также писали в своих дневниках о перспективе гражданской войны, уделяя внимание отсутствию полной власти у правительства. Журналист и писатель Н.А. Черданцев 19 марта сообщал в личном письме: «На мой взгляд, предстоит в недалеком будущем гражданская война. Временным правительством

[1] Там же.

[2] Александр Иванович Гучков рассказывает...: Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М.: ТОО «Редакция журнала “Вопросы истории”», 1993. С. 68.

[3] *Серебренников И.И.* Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг. / ред.-сост. Г.С. Андреев, П.К. Конкин, П.А. Новиков; коммент. П.А. Новикова. Иркутск: Издатель Сапронов, 2008. С. 323.

недовольны рабочие и начнут новую революцию. Но часть войск будет уже за Временное правительство»[1]. Сама ситуация двоевластия, по мнению автора, порождала опасность гражданской войны. Но это, в понимании Черданцева, не единственная причина грядущего противостояния. В другом своем письме, написанном уже 21 апреля, в разгар Апрельского кризиса, он указал также и на опасность сепаратистских, федералистских и автономистских движений:

> «…Распад государственный, даже белорусы, буряты и тому подобные требуют автономии. Удастся ли вновь сплотить взбаламученное население хотя бы на федеральных началах — вопрос. Возможна еще гражданская война. Финляндия уже отлагается, пока на словах, однако»[2].

В то же время силовое противостояние могло быть вызвано и другими причинами, Черданцев далее продолжал писать о кризисе власти, порождавшем политическое насилие: «Далее, ты из газет уже знаешь, что резня начинается и на другой почве. Временное правительство слабо, во многом неискренне, и вот 21 апреля разыгралась уже прелюдия к гражданской войне»[3]. Автор видел и другие факторы, подталкивавшие страну к гражданской войне:

> «Лично я из всего, что наблюдаю, делаю такой вывод: предстоит невиданная гражданская резня, когда поднимутся крестьяне. Так и готовиться надо, так и жизнь расположит. Мне-то, конечно, лично все равно. Ну, а тому, у кого семья, иное дело»[4].

Письма Черданцева интересны тем, что, в отличие от многих своих современников, он видел несколько причин для гражданской войны, не объясняя предпосылки для ее возникновения каким-то одним фактором и не возлагая ответственность за ее возникновение на какую-то одну политическую силу. Его оценки близки суждениям современных историков, рассматривающих гражданскую войну как переплетение разнообразных конфликтов.

Апрельский кризис нередко описывался как гражданская война. Такого рода оценки встречались и в периодических изданиях,

[1] Николай Алексеевич Черданцев — Александру Алексеевичу Черданцеву, Петроград, 19 марта 1917 г. // Россия 1917 года в эго-документах: Письма / авт.-сост. Н.В. Суржикова (науч. ред.), М.И. Вебер, Я.А. Голубинов и др. М.: Научно-политическая книга, 2019. С. 131.

[2] Николай Алексеевич Черданцев — Александру Алексеевичу Черданцеву, Петроград, 23 апреля 1917 г. // Там же. С. 143.

[3] Там же. С. 143.

[4] Там же. С 145.

и в личных свидетельствах. Тревожные сообщения прессы находили свое отражение в некоторых дневниках: «Кажется, положено уже начало гражданской войне. Меня одолевает крайний пессимизм. На душе тревожно», — писал 23 апреля член Иркутской губернской продовольственной управы[1].

И после Апрельского кризиса в стране продолжали рассуждать о гражданской войне, такие разговоры участились в дни Июньского и, особенно, Июльского кризисов. «Создался новый “русско-русский” фронт…» — такую характеристику событиям 3–6 июля дал в своем дневнике историк Г.А. Князев[2]. «В Петрограде началась гражданская война. Стрельба. Вооруженные автомобили и пулеметы», — отметил в дневнике другой современник[3].

20 июня генерал А.Е. Снесарев, находившийся на фронте, сделал запись в своем дневнике, которая содержала печальный прогноз: «Класс встанет на класс, и если кончится мировая война — начнется гражданская»[4]. Любопытно, что кадровый военный использовал в своем личном дневнике «язык класса»; в этом проявлялась культурная гегемония социалистов, влиявшая на политический дискурс революционной эпохи[5].

Если одни современники по-своему видели перспективы превращения мировой войны в войну гражданскую, то другие уже ощущали гражданскую войну как неизбежность, предвидя трагические испытания для себя и для своих семей. Военный врач, отправлявшийся в тыл из действующей армии, 31 июля сделал такую запись в своем дневнике: «Еду теперь уже на третью кампанию — на гражданскую войну, чтобы умирать вместе со своей семьей»[6].

[1] *Серебренников И.И.* Указ. соч. С. 336–337.

[2] *Князев Г.А.* Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915–1922 гг. // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. СПб.: Свелен, 1991. Вып. 2. С. 159.

[3] *Згура В.В.* Дневниковые записи, 1914–1921 / [сост. Г.Д. Злочевский, А.В. Маштафаров]. М.: Минувшее, 2016. С. 138.

[4] *Снесарев А.Е.* Дневник: 1916–1917. М.: Кучково поле, 2014. С. 481.

[5] О культурной гегемонии социалистов см.: *Колоницкий Б.И.* Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание // Анатомия революции, 1917 год в России: массы, партии, власть) / редкол.: В.Ю. Черняев (отв. ред.) и др. СПб.: Глаголъ, 1994. С. 188–202; *Он же.* Культурная гегемония социалистов в Российской революции 1917 года // Неприкосновенный запас. 2017. № 6 (116). С. 72–87.

[6] *Кравков В.П.* Указ. соч. С. 352.

Государственное совещание и ожидания гражданской войны

Временное правительство пыталось преодолеть нарастающую поляризацию общества, созвав Государственное совещание, которое проходило в Москве 12–15 августа. Отзвуки тревожной эмоциональной атмосферы, в которой проходила подготовка этой политической акции, донесли и важные мемуарные тексты. Так, Л.Д. Троцкий спустя годы писал о нараставшем конфликте: «Отношения двух лагерей колебались между официально-дружественными заверениями и гражданской войной»[1]. Это суждение подтверждается и синхронными источниками.

Вопреки ожиданиям его организаторов, Московское совещание не только стало местом проявления острых политических противоречий, но и оказалось важным фактором обострения ситуации и поляризации общества. Это проявилось в распространении крайне тревожных ожиданий нового политического кризиса, который представлялся неизбежным. Разнообразные слухи, которые распространяли органы печати и люди, имевшие репутацию информированных, лишь способствовали распространению общей нервозности.

Дипломат князь Л.В. Урусов записал 22 августа в своем дневнике:

> «Все время назначают в известные сроки новое выступление большевиков, недорубленный лес растет. Говорят о 27 августа, в газетах пишут о 1–5 сентября. Чувствуется приближение грозы, воздух насыщен электричеством, и жизнь попросту невыносима, правительство должно действовать энергично и не в вопросах только уловления контрреволюционеров, а в первую голову в вопросе дисциплины в армии»[2].

Слухи о «Варфоломеевской ночи», «назначенной» на конец августа, ждут еще своих исследователей, но ясно, что они имели большое значение: ожидание «резни» оправдывало ставку на силовое разрешение политических проблем, легитимировало использование превентивного насилия.

При этом некоторые современники предполагали, что неизбежный грядущий кризис примет форму гражданской войны. Об этом практически одновременно и независимо друг от друга писали люди, находившиеся в разных частях страны.

[1] *Троцкий Л.Д.* История русской революции. Т. 2: Октябрьская революция. Ч. 1. М.: ТЕРРА, Республика, 1997. С. 144.

[2] [*Урусов Л.В.*] Дневники Л.В. Урусова. 1914–1917. Тамбов: Тамбовский полиграфический союз, 2017. С. 490.

Аристократка, близкая к семье свергнутого императора, вспоминала:

> «Сегодня началось московское совещание, очень страшно. Соглашение не получится, так как обнаруживаются два враждебных и непримиримых течения. Компромисс невозможен. Значит, предвидится гражданская война, а в конце, быть может, диктатура Корнилова. Как такой выход ни ужасен, он все же, по-моему, лучше, чем остальное. Чернов революционизировал всю Россию, Керенский революционизировал армию; дальше идти в этом направлении, я полагаю, невозможно»[1].

Как видим, перспектива краткосрочной, но «ужасной» гражданской войны выглядела даже некоторым возможным решением, необходимым для выхода страны из кризиса. При этом пребывание у власти лидера социалистов-революционеров В.М. Чернова и главы Временного правительства А.Ф. Керенского рассматривалось как крайне дестабилизирующий фактор. Предполагалось, что грядущий кризис не ограничится борьбой с большевиками: следовало бороться и с влиянием умеренных социалистов. Таковой была и позиция генерала Корнилова и его окружения.

Другие современники, также крайне пессимистично оценивавшие ситуацию, считали все же возможным и необходимым избежать гражданской войны, хотя и признавали ее опасность. 23 августа Н.В. Устрялов, приехавший в Москву, записал в дневнике:

> «Правительство — между двух огней. С одной стороны — “полномочные органы революционной демократии”, за которыми стоят “организованные рабочие” и дезорганизационные солдаты. С другой стороны — живые элементы армии, “буржуазия” и большинство интеллигенции. И, что особенно опасно, все глубже и резче обозначается пропасть между этими двумя сторонами. Несомненно, что политическое положение напряжено до последнего предела. Нужно избегнуть гражданской войны, иначе конец. Но как избегнуть? По-видимому, кадеты занимают ныне как раз позицию посредствующую, сверх этих “двух огней”. Идейно они, конечно, ближе ко второй линии. Но они чужды ее непримиримой агрессивности»[2].

[1] *Нарышкина Е.А.* Мои воспоминания. Под властью трех царей. М.: НЛО, 2014. С. 446. Воспоминания порой имеют форму дневника, и можно предположить, что при написании мемуаров Нарышкина использовала свой дневник.

[2] *Устрялов Н.В.* Былое — революция 1917 г. (1890-е — 1919 гг.): Воспоминания и дневниковые записи. М.: Анкил, 2000. С. 139.

В записи от 26 августа, сделанной уже в Калуге, Устрялов, не подозревая о том, что новый кризис, таивший опасность гражданской войны, уже фактически начался, сделал очередную пессимистичную запись: «Не видно просвета. Даже не мыслишь никакого реального выхода из создавшегося тупика. Всюду плохо. “Разогнать” эти злосчастные Советы — за них вступятся рабочие и солдатские толпы, и неминуема гражданская война»[1]. Устрялов, симпатизировавший генералу Корнилову, хорошо понимал, что попытка быстрой реализации программы верховного главнокомандующего может повлечь гражданскую войну.

Можно с уверенностью предположить, что ощущение неумолимо надвигающейся гражданской войны было присуще многим современникам. Показательны, например, публикации ежедневной петроградской газеты «Воля народа», которая была рупором «правых» социалистов-революционеров, убежденных «оборонцев», для которых даже центральные руководящие органы эсеров и меньшевиков были чрезмерно радикальными. Буквально накануне кризиса газета предупреждала, что коалиция сторонников военной диктатуры не отступит и перед гражданской войной, которая приведет к гибели родины[2]. Такой прогноз задавал определенную рамку для восприятия «дела Корнилова» как гражданской войны, при этом возможность компромисса со сторонниками диктатуры, которые в ближайшие дни будут наименованы «корниловцами», исключалась.

«Дело Корнилова» как гражданская война

26 августа, в тот день, когда в «Воле народа» появились упомянутые статьи, А.Ф. Керенский, заподозривший Л.Г. Корнилова в нарушении достигнутых ранее договоренностей, приказал верховному главнокомандующему сдать свою должность. Это распоряжение было получено в Могилеве, где находилась Ставка, утром 27 августа. Корнилов отказался его выполнять, чины Ставки и большинство командующих фронтами его поддержали. Отборные кавалерийские дивизии продолжали по железным дорогам уже начатое движение к Петрограду. Угроза боевого столкновения на территории столичной губернии представлялась вполне реальной. Некоторые обитатели столицы даже ожидали боев на улицах Петрограда и готовились к ним.

> «Зарядил револьвер, ложась спать. Одиночество, тоска, страдания, Россия... Жду, что утром будет бой на улицах, тревожно прислушиваюсь к малейшему шуму — не канонада ли. Ветер гудит; сегодня страшный западный ветер. Сколько дней или часов еще буду жить?» —

записал 28 августа в своем дневнике Н.Н. Пунин[1]. Ожидал боев и писатель Р. Ивнев, в тот же день отметивший: «Корнилов идет к Петербургу. Предстоят междоусобные столкновения. Боже, Боже Милосердный, сжалься, сжалься над Россией!»[2]

Не без воздействия прессы распространялись и слухи о том, что боевые столкновения уже начались. «По газетным версиям, у станции Антропшино начался уже междуусобный, настоящий бой», — зафиксировал в записи от 29 августа житель Москвы Н.П. Окунев[3]. О военных действиях рассуждали и в Петрограде. 28 августа литературовед Е.П. Казанович при этом, в частности, засвидетельствовала:

> «Сожитель мой по квартире, студент, принес известие, что сражение между войсками ген[ерала] Корнилова и войсками Вр[еменного] Правительства уже началась под Лугой и завтра, вероятно, Петербург услышит звуки пальбы. Слышал студент это от одного журналиста, члена Комитета журналистов, который якобы слышал от самого Некрасова, считающего дело Временного Правительства проигранным и дни республики сочтенными… На стороне Корнилова лучшие, наиболее организованные и стойкие части»[4].

Напряженное ожидание боев и слухи об их начале, оказавшиеся впоследствии ложными, способствовали восприятию «корниловских дней» как гражданской войны.

С 27 августа сначала А.Ф. Керенский, а затем и Л.Г. Корнилов распространяли по телеграфу свои обращения. 28 августа был решающим днем в этой информационной войне. Глава Временного правительства и выступивший против него генерал обменялись резкими обвинениями, которые исключали возможность какого-либо соглашения между противостоявшими силами, хотя либеральные политики и влиятельные иностранные дипломаты не прекращали усилий по достижению компромисса.

---

[1] *Устрялов Н.В.* Указ. соч. С. 141.

[2] См.: С Временным Правительством во имя спасения страны // Воля народа. 1917. 26 авг.

[1] *Пунин Н.Н.* Мир светел любовью. Дневники. Письма / сост. предисл. и коммент. Л.А. Зыкова. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. С. 111–112.

[2] *Ивнев Р.* Дневник. 1906–1980. М.: Эллис Лак, 2012. С. 238.

[3] *Окунев Н.П.* Дневник москвича, 1917–1924. Кн. 1. М.: Воениздат, 1997. С. 74.

[4] *Казанович Евлалия Павловна*. Записки. Тетрадь IV. Дневник // Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (ОР РНБ). Ф. 326. Оп. 251. Д. 20. Л. 2.

В своих юридических актах и политических заявлениях Временное правительство и его представители описывали ситуацию как «мятеж», «заговор», «вооруженное восстание». Так, в обращении «Всем, всем, всем» Временное правительство призывало противостоять «мятежной попытке» генерала Корнилова и собравшейся вокруг него «кучки авантюристов»[1].

Слова «мятеж», «заговор», «восстание», использовавшиеся для обоснования борьбы с Корниловым различными его противниками, получили широкое распространение. Появились они и в письмах, и дневниках современников.

Существовали и такие описания конфликта, которые не содержали оценок противоборствующих сторон. Они использовались представителями разных взглядов: слова «смута», «междоусобная борьба», «братоубийственная война» можно встретить в текстах политических противников, их использовали и «корниловцы», и противники генерала. Само по себе частое использование слова «война» самыми разными силами свидетельствовало об остроте противостояния.

Иногда виновник трагедии прямо не назывался, но нередко ответственность возлагалась на верховного главнокомандующего. Употреблялось и выражение «братоубийственная бойня». Так, с фронта генералу М.В. Алексееву писали:

> «Когда пришли первые известия о выступлении генерала Корнилова, солдаты спрашивали нас: к чему ген[ерал] Корнилов требовал порядок и издавал прекрасные приказы, а сам творит Бог знает что? Как мог он требовать напряжения всех сил для борьбы с немцами, а сам уводит войска с фронта для братоубийственной бойни?»[2]

В некоторых дневниках современников, придерживавшихся разных политических взглядов, конфликт упрощенно описывался как противостояние двух лидеров, двух «вождей»:

> «Войска Корнилова двинуты на Петроград, войска Керенского им навстречу»;
>
> «Так целый день и не знали: Корнилов или Керенский»;
>
> «У всех на устах одно: нам безразлично, Керенский или Корнилов, был бы порядок, было бы спокойствие и было бы продовольствие»[1].

Такая крайняя персонификация конфликта, находившая отражение в современной прессе и в публичных заявлениях политиков, повлияла и на мемуаристку, и на историографию, которая большое, порой чрезмерное значение придает личному противостоянию верховного главнокомандующего и главы Временного правительства.

В источниках личного происхождения современники использовали характеристики «братоубийственная бойня» (Г.Э. Буич), «авантюра» (П.И. Негретов), «междуусобная война» (С.А. Толстая), «корниловский заговор» (А.А. Блок)[2]. В газетных публикациях авторы писали о «внутренней войне», «смуте». Выражения «братоубийственная бойня» и «междуусобная война» можно было встретить в газетах разной политической ориентации. Современники в письмах и дневниках воспроизводили оценки близких им периодических изданий.

Показательно, что представители разных политических взглядов описывали кризис, используя словосочетание «гражданская война» и его синонимы («внутренняя война», «братоубийственная война», «междуусобная война»). А.Ф. Керенский и другие представители Временного правительства в своих публичных заявлениях употребляли слова «братоубийственная война», «гражданская война», обвиняя генерала Корнилова в возникновении конфликта[3].

Об опасности гражданской войны писали и периодические издания, и авторы писем и дневников. 28 августа Устрялов записал

---

[1] См.: Дело генерала Л.Г. Корнилова: Материалы Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л.Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 г. — июль 1918 г. В 2 т. / под ред. Г.Н. Севостьянова. М.: Материк, 2003. Т. 1. С. 39, 144–145.

[2] Георгий Эммануилович Буич — Михаилу Васильевичу Алексееву. Действующая армия, 4 сентября 1917 г. // Россия 1917 года в эго-документах: Письма. С. 107.

[1] «Когда умер Бог»: Мысли русского интеллигента о крупных событиях в Петрограде в начале XX века (Из дневника художника С.Г. Бережкова) // Люди и судьбы на рубеже веков: Воспоминания. Дневники. Письма (1895–1922). СПб.: Лики России, 2000. С. 260; *Князев Г.А.* Указ. соч. С. 168, 260; *Никольский Б.В.* Дневник, 1896–1918 / подгот. Д.Н. Шилов и Ю.А. Кузьмин. Т. 2: 1904–1918. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. С. 313.

[2] См.: Георгий Эммануилович Буич — Михаилу Васильевичу Алексееву. Действующая армия, 4 сентября 1917 г. // Россия 1917 года в эго-документах: Письма. С. 107; *Толстая С.А.* Дневники: в 2 т. / [сост., подгот. текста и коммент. Н.И. Азаровой и др.; ред. С.И. Машинский; вступ. статья С.А. Розановой]. Т. 2: 1901–1910: Ежедневники. М.: Художественная литература, 1978. С. 450; *Блок А.А.* Дневник / [подгот. текста, вступ. статья и примеч. А.Л. Гришунина]. М.: Советская Россия, 1989. С. 251; *Негретов П.И.* В.Г. Короленко: Летопись жизни и творчества, 1917–1921. М.: Книга, 1990. С. 30.

[3] См.: *Керенский А.Ф.* Приказ по войскам Петрограда // Воля народа. 1917. 29 авг.; Корниловские дни: Бюллетень Временного военного комитета при ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов с 28 августа по 4 сентября 1917 г. / сост. и ред. В.А. Колеровым, с предисл. Б.С. Синани. Пг.: Союз социалистов народной армии, [1917]. С. 22–23, 82, 88; Министр труда М. Скобелев. Ко всем рабочим России // Воля народа. 1917. 29 авг.

в своем дневнике: «Чем кончится гражданская война, если она начнется, если она, быть может, начинается?»[1] Молодая одесситка также писала в дневнике о реальной опасности эскалации конфликта: «Неужели все это кончится гражданской войной? Вот и бескровная революция!»[2] Как «гражданскую войну» описывал 31 августа в личном письме конфликт между Корниловым и Керенским и американец, сотрудник Христианского союза молодых людей[3].

Художница Т.Н. Гиппиус, получавшая сведения «из первых рук» от А.В. Карташева, министра исповеданий Временного правительства, в ночь на 28 августа сообщала своим близким:

> «Справа [—] темный честный Корнилов, которым воспользовалась черная сотня, а слева советы с большевиками — “правительственные войска”. Казаки — “за спасение от гражданской войны”… Милюков предлагает быть посредником, замараться о контрреволюцию, т[о] е[сть] попытаться спасти Россию от гражданской войны, начав с Корниловым переговоры… Послы союзных держав моментально, когда начнется гражд[анская] война — уезжают из Петрограда»[4].

Командующий войсками Московского военного округа А.И. Верховский записал в дневнике 29 августа:

> «Вся ночь прошла в поисках выхода, поисках решения, как примирить те две силы, союз которых был необходим для поддержания боеспособности армии. Но выхода этого не было. События зашли слишком далеко. Единственное, о чем можно было мечтать, единственная цель, которую можно было поставить в Москве, — это предотвратить гражданскую войну, предотвратить убийство офицеров, которое сейчас висит в воздухе»[5].

О желании предотвратить гражданскую войну впоследствии заявляли и некоторые явные корниловцы. Так, например, ближайшие соратники Корнилова генералы А.С. Лукомский (начальник штаба верховного главнокомандующего) и генерал-квартирмейстер И.П. Романовский в своих показаниях, которые они давали

[1] *Устрялов Н.В.* Указ. соч. С. 142.

[2] *Лакиер Е.И.* Указ. соч. С. 145.

[3] См.: Эдвард Хилл — домочадцам. Киев, 31 августа 1917 г. // Россия 1917 года в эго-документах: Письма. С. 328.

[4] Т.Н. Гиппиус — Д.С. Мережковскому и З.Н. Гиппиус и Д.В. Философову, 28 августа 1917 г., 3 часа ночи // ОР РНБ. Ф. 481. Оп. 1. Д. 217. Л. 22, 22 об., 23.

[5] *Верховский А.И.* Россия на Голгофе: (из походного дневника, 1914–1918 гг.): к 100-летию Первой мировой войны / [предисл., коммент. А.М. Савинова]. М.: ГПИБ России, 2014. С. 147.

следственной комиссии Временного правительства, утверждали, что во время «корниловщины» они делали все возможное для предотвращения гражданской войны. На каком-то этапе они, используя распространенный страх перед гражданской войной, призывали Керенского согласиться на требования Корнилова. Так, генерал Лукомский 27 августа писал Керенскому: «Теперь остановить начавшееся с Вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне…»[1]

В то же время некоторые современники отмечали нерешительность генералов, объясняя ее стремлением избежать гражданской войны. Педагог и общественный деятель С.П. Каблуков записал 29 августа в дневнике:

> «Как смотреть на попытку Корнилова? Почему генералы с фронта ее не поддержали? Почти с достоверностью можно полагать, что они всего более опасались прежде всего гражданской, междоусобной войны, особенно страшной именно теперь, когда герм[анские] войска наступают от Риги к Петрограду. Последнее обстоятельство дает врагам Корнилова большую силу. Даже Родзянко на церковном соборе сказал, что “заводить сейчас междоусобия и ссоры — преступление перед родиной”»[2].

Такого рода объяснения можно найти и в мемуарах.

К этим суждениям, однако, следует относиться весьма осторожно: в конце концов попытка Корнилова и корниловцев разрешить сложнейший политический кризис с помощью масштабной силовой акции изначально была сопряжена с риском гражданской войны. Но сторонники генерала, скорее всего, действительно думали об опасности масштабной гражданской войны в дни «корниловщины». Это настроение находило отражение и на страницах ведущих российских газет.

Еще более важно то обстоятельство, что издания, представлявшие все сегменты политического спектра, описывали опасный политический кризис как уже начавшуюся гражданскую войну. Подобные настроения выразил Г.В. Плеханов в статье, опубликованной 29 августа: «Кроме движения неприятеля к Петрограду, нам угрожает гражданская война. Да что я говорю: угрожает! Гражданская война уже началась»[3]. Эта констатация ситуации уже начавшейся гражданской

[1] Дело генерала Л.Г. Корнилова. С. 254.

[2] *Каблуков С.П.* Дневник 1917 г. (с 23 июля по 16 сентября) // ОР РНБ. Ф. 322. Д. 47. Л. 265–266.

[3] *Плеханов Г.* Что делать? // Единство. 1917. 29 авг.

войны была присуща и изданиям большевиков[1], и газетам умеренных социалистов[2], и либеральным периодическим изданиям[3], и изданиям консервативным[4].

Несмотря на острые политические разногласия, которые во многом совпали с главными линиями политического раскола 1918–1922 гг., в самом конце августа можно наблюдать и своеобразный общественно-политический консенсус: разные политические акторы использовали в политических целях страх перед гражданской войной, говорили и писали о гражданской войне, призывали к ее окончанию. Различными были только предлагаемые сценарии прекращения гражданской войны. Одни призывали к полному подавлению «мятежников», при этом к числу «внутренних врагов» относили порой не только «заговорщиков», но и большие политические партии (прежде всего конституционных демократов) и целые социальные группы: не одни только большевики объявляли всю «буржуазию» контрреволюционной. Другие требовали компромисса, нового соглашения с «буржуазией», конституционными демократами, а то и с явными сторонниками Корнилова. Неудивительно, что авторов различных сценариев прекращения идущей гражданской войны их политические оппоненты считали главными виновниками гражданской войны.

[1] См.: *Жураковский В.* Военное положение // Социал-демократ. 1917. 31 авг.; *К.Т.* Планы генералов // Социал-демократ. 1917. 29 авг.; [*Сокольников Г.*] Торг идет // Рабочий. 1917. 30 авг.; *Твердовский К.* Иезуитский штаб контрреволюции // Социал-демократ. 1917. 29 авг.; *Он же.* Долой соглашения с предателями! // Социал-демократ. 1917. 31 авг. Три дня, 29, 30 и 31 августа, газета московских большевиков «Социал-демократ» выходила под шапкой: «Буржуазно-военная клика объявила народу гражданскую войну».

[2] См.: *В.С.* Контрреволюция и союзническая пресса // Дело народа. 1917. 30 авг.; *Канторович В.* Нам нужна ясность // День. 1917. 2 сент.; *Ольгин В.* Соглашение необходимо // Единство. 1917. 29 авг.; Печать // Труд. 1917. 30 авг.; [*Потресов А.Н.*] Да не будет этого! // День. 1917 29 авг. (цит. по: *Потресов А.Н.* Рубикон. 1917–1918. Публицистика / ред.-сост. Р.М. Гайнуллина, А.П. Ненароков, И.С. Розенталь. М.: РОССПЭН, 2016. С. 166–167); *Он же.* Урок событий // День. 1917. 30 авг. См. также: Меньшевики в 1917 году. В 3 т. / под общ. ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. Т. 3: От корниловского мятежа до конца декабря. Ч. 1: От корниловского мятежа до Временного Демократического Совета Российской Республики (август — первая декада октября). М.: Прогресс-академия, 1996. С. 126, 143.

[3] См.: Петроград, 29 августа // Речь. 1917. 29 авг.; П.Н. Милюков и ген[ерал] М.В. Алексеев у А.Ф. Керенского // Там же.

[4] См.: *А-въ М.* Спасение родины // Московские ведомости. 1917. 30 авг.; Bellum civile // Там же. На последнюю статью ссылалась и петроградская пресса: Печать. Москва о Корнилове // Воля народа. 1917. 1 сент.

О начавшейся уже гражданской войне в то время писали не только авторы газет и составители листовок, такого рода оценки встречаются и в личных свидетельствах современников. Писательница, получившая с некоторым опозданием газеты с вестями о конфликте, записала в дневнике 29 августа: «Час от часу не легче! Официальная так сказать декларация о гражданской войне!»[1] Дневниковая запись другого современника, сделанная в «корниловские дни», гласила: «Россия вступает в полосу гражданской войны…»[2]

Опыт переживания гражданской войны ощущается и в дневнике историка, профессора Московского университета А.Н. Савина. 4 сентября он, в частности, записал:

> «Мы дошли до голода, холода, военного разгрома, трусливого бегства перед слабым неприятелем, гражданской войны, и трудно сказать, где кончатся стерегущие нас ужасы. Я теперь готов ко всему, и в личной, и в общественной, и в народной жизни. Я не удивлюсь решительно ничему»[3].

Для части жителей страны «корниловщина» стала предчувствием грандиозного вооруженного конфликта, а некоторые люди уже ощущали себя живущими в атмосфере гражданской войны. Такого рода оценки появлялись в текстах авторов, претендовавших на роль руководителей общественного мнения, а письма и дневниковые записи современников свидетельствуют о том, что эти суждения воспринимались ими как значимые и важные.

«Дело Корнилова» и легитимация насилия

Джонатан Смил, упоминавшийся уже автор важной работы по истории гражданской войне в России, отмечает:

> «…Весь период с февраля по октябрь 1917 года, в течение которого все значительные политические, военные и социальные силы все дальше отходили от компромисса, но еще не брались за оружие, лучше всего можно охарактеризовать как период необъявленной (phony) гражданской войны»[4].

[1] «Бешеный шквал сносит все, чем мы жили...»: Из дневника Рашель Мироновны Хин-Гольдовской // Россия 1917 года в эго-документах: Дневники / авт.-сост. Н.В. Суржикова, М.Б. Ларионова, Е.Ю. Лебеденко и др.; науч. ред. Н.В. Суржикова. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 320.

[2] *Серебренников И.И.* Указ. соч. С. 374.

[3] *Савин А.Н.* Университетские дела: дневник 1908–1917 / отв. ред. А.К. Гладков; публ., вступ. статья А.В. Шаровой. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. С. 453.

[4] *Smele J.D.* Op. cit. P. 10.

Эту точку зрения трудно подтвердить или опровергнуть. При этом весьма важным представляется, что после свержения монархии представители всех политических сил использовали страх перед гражданской войной, обвиняя своих противников в ее подготовке.

Распространение этой эмоции не предотвратило политические кризисы, не позволило избежать большой гражданской войны. Вместе с тем история употребления понятия, история распространения страха перед гражданской войной и культурных форм выражения этого страха позволяет лучше понять процессы эскалации политического насилия и его легитимацию. Словосочетание «гражданская война» использовалось разными политическими силами с различными целями, уже начиная с Февраля. Апрельский, Июньский и Июльский кризисы придавали этому термину новые смыслы. Вместе с тем в августе 1917 г. тема гражданской войны приобрела новое и особенное значение.

Уже накануне «корниловщины» и в периодических изданиях, и в письмах и дневниках современников звучит мысль о том, что грядущий неизбежный политический кризис может принять форму гражданской войны. В ходе этого кризиса люди разных взглядов думали о предотвращении гражданской войны, в то же время некоторые современники полагали, что гражданская война уже началась. Подобное отношение к корниловским дням было присуще и ведущим периодическим изданиям, что свидетельствует о распространенности и политическом значении данного вывода. Наличие же подобных оценок в письмах и дневниках современников свидетельствует о том, что тема начавшейся гражданской войны приобретала для их авторов особое эмоциональное и личностное значение. Личный опыт «корниловских дней», когда люди субъективно ощущали себя в ситуации гражданской войны, стал очень важным ресурсом для политической радикализации и конфронтации в последующие месяцы: деление на «корниловцев» и их противников основывалось на особом переживании, что ограничивало возможность достижения гражданского мира, даже гражданского перемирия. Возможности левых и правых сторонников силового решения политических проблем возрастали. Хотя не все они говорили открыто о гражданской войне, но шансы на ограничение гражданской войны, а тем более на ее предотвращение стремительно таяли. Распространение эмоционально нагруженной темы гражданской войны оправдывало масштабное применение политического насилия.

Несмотря на очевидное значение темы гражданской войны в «корниловские дни» — что подтверждается синхронными источниками личного происхождения — эта тема слабее звучит в мемуарах. Интересно в этом отношении сравнить различные подборки частных свидетельств, представленные в серии изданий «Россия 1917 года в эго-документах». В томах, содержащих письма и дневники, словосочетание «гражданская война» встречается нередко[1]. В томе же, содержащем воспоминания о революции, оно практически отсутствует[2]. Можно предположить, что травматический опыт «большой» гражданской войны подавил память о ситуации конца августа 1917 г. Мемуары же, как уже отмечались выше, оказали немалое воздействие на историографию, которая, уделяя немалое внимание «корниловщине», недооценила воздействие этих дней на общую культурную и социально-психологическую ситуацию. Легитимация политического насилия получила под влиянием «корниловских дней» качественно иные импульсы и приобрела новые важные культурные формы.

[1] См., напр.: Россия 1917 года в эго-документах: Письма. С. 85, 86, 131, 143, 328, 508, 557.

[2] См.: Россия 1917 года в эго-документах: Воспоминания / авт.-сост. Н.В. Суржикова, М.И. Вебер и др.; науч. ред. Н.В. Суржикова. М.: Политическая энциклопедия, 2015.

Глава II.2. «Большие проекты» (ИФЗ и др.) и маленькие истории: эффект мультискалярности

(Н.В. Веселкова)

В «Истории фабрик и заводов» и других «больших проектах», получивших распространение в первой половине XX в. (их называют архивными, историческими, издательскими) и в качестве второй волны в 1970–1980-е гг., «большая» история постигалась через биографизирование и исследовательские практики обычных людей. Под биографизированием имеются в виду разнообразные формы биографической рефлексии, которые находят выражение в дневниках, письмах, мемуарах и т. п. Совмещение разных шкал в мультискалярной оптике побуждает рассмотреть отечественные проекты в ряду сходных начинаний в разных частях света: здесь и взлет биографического метода Чикагской школы, и «Mass Observation» в Великобритании, и работа уполномоченных еврейских организаций по собиранию в 1919 — начале 1920-х гг. свидетельств о погромах в Восточной и Центральной Европе. Помимо иерархических, по типу центр — периферия, инструкция — копирование, развивались горизонтальные связи по типу ассамбляжей, а также комбинации того и другого.

«Большие проекты»

Возникший в нашей стране на пике перестройки, в 1988 г., «Народный архив»[1] его создатель Борис Илизаров считает уникальным, а вдохновляющей основой проекта признает только учение Н. Федорова, хотя и соотносит идею с зарубежной историей повседневности и сбором воспоминаний о войне в советские 1960-е гг., упоминает архив мормонов в США. Между тем с 1984 г. в Италии

[1] «Народный архив уникален, такого не было в СССР, не было в дореволюционной России, нет ни в одной из крупных архивных держав: ни в США, ни в Англии, ни во Франции — мы собираем документы обычных людей. Наш архив — первая ласточка, я уверен, что со временем их будет много» (цит. по: *Илизаров Б.* Слово воскрешает... или «Прецедент Лазаря»: 25 тезисов и развернутое дополнение к светской теории воскрешения: по материалам Народного архива. М.: Летний сад; СПб.: Б/и, 2007. С. 7).

работает Национальный архив дневников (Archivio Diaristico Nazionale — ADN). Своим появлением он обязан журналисту, писателю Саверио Тутино (1923–2011 гг.), убедившему мэра маленького тосканского городка Пьеве-Санто-Стефано отдать часть здания ратуши под хранение автобиографических документов[1]. На въезде появились таблички «Город дневников». С 1998 г. на материалах архива каждые полгода выходит журнал «Primapersona», тогда же С. Тутино и Д. Деметрио основали Свободный университет автобиографии. Сегодня продолжают проводиться конкурсы автобиографий, действует Маленький музей дневников[2].

Сходными оказываются не только время создания, но и специфика материалов. Если для Народного архива знаковыми уже в 1990-е гг. стали тексты Степана Подлубного и Евгении Киселевой[3], то в ADN выстрелила «Terra Matta» безвестного сицилийского рабочего Винченсо

[1] См.: *Лежён Ф.* От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 199–217; Archivio Diaristico Nazionale: Электронный ресурс. URL: http://archiviodiari.org/ (дата обращения: 02.09.2021); Attivalamemoria: Электронный ресурс. URL: https://www.attivalamemoria.it/ (дата обращения: 2.09.2021). О Саверио Тутино как основателе ADN см.: Il fondatore Saverio Tutino // Fondazione Archivo Diaristico Nazionale: Электронный ресурс. URL: http://archiviodiari.org/index.php/larchivio-dei-diari/il-fondatore.html (дата обращения: 02.09.2021).

[2] См.: Piccolo Museo del Diario: Электронный ресурс. URL: https://www.piccolomuseodeldiario.it/ (дата обращения: 02.09.2021).

[3] См.: *Илизаров Б.* Указ. соч.; *Козлова Н., Сандомирская И.* «Я так хочу назвать кино»: «Наивное письмо»: Опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис, 1996; *Козлова Н.Н.* Советские люди: сцены из истории. М.: Европа, 2005; *Паперно И.Б.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: НЛО, 2021; *Савкина И.Л.* Дневники и записки 1930–1940-х годов // Русская литература XX века: 1930-е — середина 1950-х годов. М.: Академия, 2014. Т. 1. С. 412–437; *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017; *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // Jahrbücher Für Geschichte Osteuropas. 1996. Vol. 44. №. 3. P. 344–373; *Idem.* (Hrsg.) Tagebuch aus Moskau 1931–1939. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996; *Holquist P.* State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // Stalinism: The Essential Readings / Hoffmann D. (ed.) Oxford: Blackwell, 2003. P. 128–156. Уже в середине 1990-х гг. у философа Натальи Козловой, одной из первооткрывателей богатств «Народного архива», выходили статьи в «Социологических исследованиях» (выбор журнала важен!), но конкретных героев еще не было либо они не произвели такого эффекта, как названные персонажи позднее (см. *Козлова Н.Н.* Крестьянский сын: опыт исследования биографии // Социологические исследования. 1994. №. 6. С. 112–123; *Она же.* Заложники слова? // Социологические исследования. 1995. №. 9. С. 128–136). Эти работы легли в основу исследований «советской субъективности», и Й. Хелльбек на первой же странице главы, посвященной С. Подлубнову, ссылается именно на статьи Н.Н. Козловой (см.: *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. С. 197).

Рабито (Vincenzo Rabito)[1], тогда как в музее дневников хитом стала простыня, на которой в 1930-е гг. 72-летняя Клелия Марчи, оплакивая кончину мужа, написала свою историю жизни. Думается, существование итальянского «собрата» (и многих других) ничуть не умаляет самобытности российского Народного архива, а быть в гуще мирового движения не менее почетно, чем быть уникальным.[2]

В 70–80-е гг. XX в. Мартин Лайонс в своей книге о «новой истории снизу» фиксирует бурный рост народных архивов именно с 1970-х гг.[3] Выглядит симптоматичным, что в конце 1970-х гг. французский историк Филипп Лежен, известный тогда своими трудами об «Исповеди» Ж. Руссо и концепцией «автобиографического пакта», занялся сбором и изучением личных записей обычных людей XIX в., а в конце 1980-х гг. обратился к работе с дневниками XX в. Не удовлетворенный перепиской с 47 корреспондентами, которые откликнулись на разосланные по школам и университетам вопросники, и сотней текстов, предоставленных ассоциацией, собирающей дневники подростков, в 1992 г. Лежен с друзьями основали «Ассоциацию в защиту автобиографии и автобиографического наследия», аккумулирующую тексты, «написанные никому не известными людьми»[4].

О размахе собирания эго-документов в Европе свидетельствуют аналитические обзоры Анны Иусо, где она выделяет три этапа в истории «архивов автобиографий», понимая под этим термином вслед за Леженом центры со статусом фонда или ассоциации по хранению автобиографических текстов, написанных непрофессиональными авторами[5]. Первый этап связан с артикуляцией политической истории

[1] См.: *Moss D.* Special Issue on Terra Matta // Journal of Modern Italian Studies. 2014. № 19(3). P. 223–240; *Ricci L., Santangelo E.* From Fontanazza to Terra matta // Ibid. P. 252–267; и др. статьи указанного спецвыпуска «Journal of Modern Italian Studies», посвященного феномену «Terra Matta».

[2] О судьбе Народного архива см.: *Алексеев В.В.* Центр документации «Народный архив» — незавершенный эксперимент по созданию документального хранилища нового типа // Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Изд-во “Этерна”», 2017. С. 168–174.

[3] См.: *Lyons M.* The Writing Culture of Ordinary People in Europe, c. 1860–1920. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 19–20.

[4] *Лежён Ф.* От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. № 3. С. 199–217.

[5] См.: *Iuso A.* Europa autobiographica // Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention). 2001. № 16. P. 221–231; *Idem.* The role and impact of the archivi della scrittura popolare // Journal of Modern Italian Studies. 2014. № 19(3). P. 249; см. также: Archives autobiographiques. Special issue of Cahiers de se´miotique textuelle / Lejeune Ph., ed. 1991. №. 20.

нации-государства. Центральным примером здесь может служить традиция конкурсов автобиографий в социалистической Польше, восходящая к знакомству Ф. Знанецкого с У. Томасом в 1913 г., их важнейшим результатом стало знаменитое исследование «Польский крестьянин в Европе и Америке». В качестве предшественника Иусо называет финские архивы начала века, вбиравшие как устные и письменные свидетельства, так и неавтобиографические материалы о жизни «обычных людей». Упущенным важнейшим звеном этого этапа мне представляется деятельность Института еврейских исследований (YIVO)[1], учрежденного в 1925 г. в Вильно, имевшего филиалы и широкую сеть добровольных собирателей-zamlers.

Второй этап, по А. Иусо, отличают негосударственные инициативы, например, возникшая в 1936 г. британская организация «Массовое наблюдение» (Т. Харрисон, Ч. Мадж, Х. Дженнингс). В Германии, Австрии, Италии «вторым поколением автобиографических архивов» с 1960–1970-х гг. становятся «архивы побежденных», среди которых в Италии выделяется Archivio della Scrittura Popolare, задуманный группой историков в конце 1970-х гг. и открытый в 1987 г. в составе Исторического музея Тренто[2].

Третий период знаменует уже отмеченный выше взрывной рост соответствующих институций на волне общего бума памяти 1980–1990-х гг. В Норвегии обращает на себя внимание конкурс автобиографий, проведенный в 1988–1989 гг. социальным антропологом Марианной Гуллестад и социологом Рейдаром Алмасом (Marianne Gullestad et Reidar Almâs), аналогичные начинания имели место также в Румынии и Испании[3]. Наиболее же ярким воплощением этого этапа являются уже известные нам ADN C. Тутино и Ассоциация в защиту автобиографии Ф. Лежена[4]. Каких-либо российских примеров в замечательных обзорах Анны Иусо, к сожалению, нет.

Преодолеть этот досадный разрыв помогает обращение к отечественной практике «больших проектов» и связанных с ними институций, которые во множестве разворачивались в нашей стране

[1] См.: *Милякова Л.Б.* Введение // Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг.: сб. документов. М.: РОССПЭН, 2006. С. III–XXVIII.

[2] См.: *Antonelli Q.* L’Archivio della scrittura popolare della Fondazione Museo storico del Trentino // Storia e Futuro. Rivista di Storia e Storiografia Contemporanea online. 2013. № 33: Электронный ресурс. URL: http://storiaefuturo.eu/larchivio-della-scrittura-popolare-della-fondazione-museo-storico-del-trentino/ (дата обращения: 02.09.2021).

[3] См.: *Iuso A.* Europa autobiographica.

[4] *Iuso A.* The role and impact of the archivi della scrittura popolare.

в первой половине XX в., как то: 1) Биографический институт Н. Рыбникова, 2) исторические комиссии и общества: истпарты, истпрофы, истмолы, Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Общество старых большевиков, 3) Комакадемия, 4) Центральное Бюро Краеведения, 5) История гражданской войны (ИГВ) и История фабрик и заводов (ИФЗ), «кабинеты мемуаров», 6) Комиссия по истории Великой Отечественной войны (И. Минца). Далее речь пойдет в большей степени об «Истории фабрик и заводов» (ИФЗ) и изданном под ее эгидой автобиографическом произведении Агриппины Кореваловой «Моя жизнь».

Мультискалярный анализ, во-первых, вписывает их в мировой контекст, во-вторых, направляет внимание на взаимодействие различных временных и пространственных масштабов[1] как в институциональных построениях, так и в отдельных текстах. Как далеко в глубины прошлого и перспективы будущего простирают свои амбиции их создатели? сколь широки пространственно и социоструктурно определяемые границы значимости текстов? как они могут меняться? Иными словами, «Моя жизнь» Кореваловой существенна для всего мира или только для его «передовой» части? для всех жителей страны или в основном для женского населения? ее автобиография значима для всей страны или только на местном уровне, и значима ли вообще? Обсуждение этих вопросов опирается на методологические ресурсы (нео)институционального анализа, концепций социального капитала, где меня в первую очередь интересует символический капитал с выходом на символическую политику (в направлении, развиваемом О. Малиновой) и, разумеется, методологический арсенал безбрежных исследований памяти.

Отечественные «большие проекты» первой половины XX в.

Из перечисленных выше проектов одни, например, Биографический институт Н. Рыбникова, остались на уровне замысла или, как истмолы и кабинеты записей при редакциях, существовали точечно и не получили последующего развития, другие, в частности, истпарты и ИФЗ, развернулись весьма широко и неплохо изучены. Часть из них работала параллельно, часть — последовательно, иногда, как в случае с ИГВ и Комиссией Минца, явно подчеркивая преемственность, в других случаях отношения не артикулировалась. Никак не обозначена — ни современниками, ни исследователями — и связь этих

[1] См. об этом: *Веселкова Н.В., Вандышев М.Н., Прямикова Е.В.* Молодые города: масштабы мест памяти // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 3. С. 36–65.

практик меморизации первой половины XX в. с преемственным им молодежным движением следопытов 1960–1980-х гг. (соответственно и с современным поисковым движением). На мой взгляд, любое из подобных начинаний важно рассматривать как часть общемировых и отечественных практик во всем их многообразии. Блестящий пример последних дают работы Сергея Журавлева, посвященные ИФЗ, и его глава в коллективной монографии по истории Комиссии И. Минца[1].

Особенность «Истории фабрик и заводов» и других начинаний в том, что «большая» история в них собиралась через исследовательскую активность обычных людей и разнообразные формы биографической рефлексии, среди которых важно различать неспровоцированные (дневники, письма, мемуары) и спровоцированные, в том числе:

— устные и письменные свидетельства пострадавших от еврейских погромов и их очевидцев, собиравшиеся по горячим следам в 1918–1922 гг. в западной части бывшей Российской империи еврейскими общественными организациями и местными общинами и частично вошедшие в фонды Института еврейских исследований (YIVO, Институт сотрудничал с сотнями добровольных собирателей фольклорного материала[2]);

— жизнеописания советской учащейся молодежи, полученные в середине 1920-х гг. психологом М.М. Рубинштейном посредством метода «автобиографических записей», когда, заполняя вопросник с открытыми вопросами, некоторые присылали стихи и целые трактаты[3];

— наблюдения и дневниковые зарисовки, составленные волонтерами и корреспондентами «Массового наблюдения» в Великобритании (с 1936 г. с перерывами по настоящее время);

[1] См.: Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: на материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941–1945 гг.: коллективная монография / [авт. текста и коммент.: А.Г. Гуськов и др.], отв. ред. С.В. Журавлев. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015; *Журавлев С.В.* Феномен «Истории фабрик и заводов»: горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х годов. М.: ИРИ РАН, 1997.

[2] См.: Книга погромов: погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг.; Guide to the Records of the YIVO Ethnographic Committee RG 1.2. [Processed by Eleanor Mlotek in 1980]: Электронный ресурс. URL: http://www.yivoarchives.org/index.php?p=collections/findingaid&id=34280&q=zamler (дата обращения: 02.11.2021); *Kuznitz C.* YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation. N.Y.: Cambridge University Press, 2014.

[3] См.: *Рубинштейн М.М., Игнатьев В.Е.* Психология, педагогика и гигиена юности. М.: Мир, 1926; *Рубинштейн М.М.* Юность: по дневникам и автобиографическим записям. М.: Высшие пед. курсы при Московском высшем техническом училище, 1928.

— свидетельства военнослужащих и, в меньшей степени, мирного населения, собиравшиеся Комиссией по истории Великой Отечественной войны первоначально по горячим следам, позднее по воспоминаниям;

— биографические интервью, которые методически оформились в немецкой социологической школе Фрица Щютце, Габриэлы Розенталь и Вольфрама Фишера-Розенталя в 1980-е гг.[1];

— профессиональные автобиографии, созданные российскими социологами в рамках проекта Б.З. Докторова в переписке с ним[2].

Когда за дело берутся ученые и энтузиасты-организаторы архивов автобиографий, граница между неспровоцированным и спровоцированным быстро истончается. В самом деле, жизнеописание Владека Вихневского, положенное в основу «Польского крестьянина», было вызвано к жизни У. Томасом и Ф. Знанецким. Сложнее обстоит дело с текстами, поступающими на многочисленные конкурсы, начиная с запущенных в Польше в 1920-е гг. названным выше Ф. Знанецким и, скажем, до конкурсов Пьеве, через которые пополняется ADN, а также конкурсов Биографического фонда Социологического института РАН[3].

Характерной чертой «больших проектов» является их ориентация на массовизацию и интернациональность. Игра полярностей по типу «большая» история / «маленькие люди»[4], быть может, самый очевидный, но, конечно, не самый простой вариант взаимодействия масштабов, его отрабатывают прославленные социологические теории конца XX в.: общество индивидов Н. Элиаса, индивидуализированное общество З. Баумана, структурация Э. Гидденса. В «больших

[1] См., напр.: *Рождественская Е.Ю.* Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.

[2] См.: *Докторов Б.З.* 15 лет и 205 судеб российских социологов: Фрагменты развития историко-социологического исследования // Центр социального прогнозирования и маркетинга. 2020: Электронный ресурс. URL: http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=307&fbclid=IwAR35dlInBN--QfLudu7jFz17wMObN-vRqjxODe64ZY5h7nkyM7qY1_zLFFxA (дата обращения: 02.09.2021).

[3] Созданный в 1989 г., практически одновременно с московским Народным архивом, Биографический фонд Социологического института РАН проводит тематические конкурсы автобиографий. Так, в 2020 г. принимались тексты, посвященные проблеме коронавируса (см.: Биографический фонд СИ РАН объявляет конкурс автобиографий // Санкт-Петербургская ассоциация социологов Электронный ресурс. URL: http://www.sociologists.spb.ru/news/1265-biografich-eskij-fond-si-ran-obyavlyaet-konkurs-avtobiografij (дата обращения: 02.09.2021).

[4] См., напр., *Лебеденко Е.Ю., Суржикова Н.В.* Дневник (не)обыкновенной женщины: диалоги со временем и поиски себя // Вестник Пермского ун-та. Сер.: История. 2021. № 1(52). С. 169.

проектах» проявляется как минимум два слоя этого взаимодействия: во-первых, «обычные люди» признаются акторами истории, свидетельства и документы которых следует собирать, хранить и изучать. Во-вторых, эти люди оказываются не только объектами исследования, но и его активными участниками, вовлеченными в деятельность по производству и сбору информации. Рассмотрим далее два аспекта масштабирования — массовизацию биографизирования и попытки интернационализации, распространения по миру.

Массовизация как демократизация биографизирования

Собираясь на пенсию, моя старшая родственница, замечательная рассказчица, вынашивала планы писать мемуары, но не от своего лица («кому я интересна?»), а в художественной форме. Сколько бы ни вдохновлялись специалисты прорывным влиянием «новой истории снизу», представления о неравной значимости людей остаются весьма живучими — далеко не каждому, согласно господствующему мнению, стоит пытаться осчастливить человечество своей автобиографикой.

«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, как показывает Ф. Лежен, знаменовала переход «от аристократического режима мемуаров к демократическому режиму автобиографии» (при том, что слова «автобиография» во времена Руссо еще не было, оно появится только около 1800 г. в Германии и Англии)[1]. Примерно такую же роль для советских интеллигентных кругов, по мысли И. Паперно, сыграли «Былое и думы» Герцена, снабдив людей умственного труда «лицензией на авторство», а затем и публикацию своих текстов[2]. Для нашей темы важно не столько влияние конкретных произведений, сколько общий сдвиг, конечно, очень постепенный, в сторону демократизации биографизирования.

В России первых десятилетий XX в. этот сдвиг поддерживался, с одной стороны, предшествующими волнами документализма в литературе[3], с другой — социально-политическими потрясениями и преобразованиями. Импульс массовизации и демократизации биографизирования ясно выразил психолог Николай Александрович Рыбников (1880–1961 гг.), еще в 1916 г. задумавший создание

[1] *Лежён Ф.* Руссо и автобиографическая революция // Новое литературное обозрение. 2019. № 3(157). С. 84, 77.

[2] См.: *Паперно И.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах; *Она же.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 4(68). С. 102–127.

[3] См.: *Яковлева Н.* «Человеческий документ» (Материал к истории понятия) // История и повествование: сб. статей. М.: НЛО, 2006.

Биографического института — учреждения, «которое бы собирало, хранило, изучало массовый биографический материал, обобщало накопленный человеческий опыт, было бы коллективной памятью человечества»[1].

В тоненькой брошюре-манифесте Биографического института 1918 г. он убеждает, что «биографии заслуживает каждый»[2]. Для «всестороннего изучения и систематизации русской биографической литературы» планировался альманах «Биограф». Идеи Рыбникова подхватил тогда историк Петр Иосифович Кругликов, полагавший, что «средний, массовый человек» и есть подлинный исторический деятель, а современной науке нужен метод “теоретической биографии”»[3]. Как позднее вспоминал сам Рыбников, его призывы на конференциях и в печати встречали «горячий и сочувственный отклик»; в Педологическом институте удалось создать биографическую секцию, которая заслушивала доклады и готовила тематические сборники. И хотя полномасштабно развернуть сбор и изучение «массового биографического материала» тогда не получилось, Николай Александрович верил, что институт «будет создан, ибо нужда в нем большая»[4]. Подход Рыбникова отличает прорывное для своего времени включение в орбиту исследований обычных людей, стремление поставить работу с биографиями на широкую научную основу как организационно, так и методологически и методически[5].

[1] *Рыбников Н.А.* Из рода в род. История семьи Рыбниковых (За двухсотлетний период ее существования): Ч. II. Пятое поколение. Автобиография Н.А. Рыбникова, 1943 // Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (НИОР РГБ). Ф. 367. К. 4. Ед. хр. 2. Л. 99. См. также: *Боцманова М.Э., Гусева Е.П.* Николай Александрович Рыбников (обзор архивных материалов) // Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 96–108.

[2] *Рыбников Н.А.* Биографический институт. М.: Б/и, 1918. С. 16.

[3] *Кругликов П.И.* В поисках живого человека. Очерк 1: Современная психология и ее сближение с науками о культуре и обществе. Казань: [Государственное изд-во], 1921.

[4] В 1942 г. в эвакуации в Свердловске скоропостижно скончалась сестра Николая Александровича, его сподвижница по делам Биографического института, филолог, фольклорист, педагог Мария Александровна Рыбникова. Переживание утраты, по всей видимости, подтолкнуло Рыбникова заняться оформлением истории семьи и автобиографии. Задуманное как издание Биографического института, произведение «Из рода в род. История семьи Рыбниковых (За двухсотлетний период ее существования)» составило в итоге несколько машинописных томов в твердом переплете с вклеенными и подписанными от руки фотографиями. Цитируемый том датирован 1943 г., хранится в Отделе рукописей РГБ в составе фонда Рыбниковых.

[5] См. подробнее: *Veselkova N.* Biographical method as a methodological tradition in Russia: a review of projects and publications // Социологическое обозрение. 2021. № 1. P. 166–192.

Российские 1920-е гг. годы отличаются сильной артикуляцией персонального и локального: наряду с всемирно-исторической значимостью событий подчеркивалась региональная и местная специфика. Ценность персональных историй в этот период находится в тесной связи с живо воспринимаемой значимостью локальной истории. С конца 1920-х — начала 1930-х гг. в логике великого перелома господствующим становится общенациональное измерение, а индивидуальное и локальное надолго уходят вглубь, выполняя, скорее, иллюстративные функции. Разработка в 1921 г. истпартовского «конспектов-минимумов» воспоминаний, в 1924 г. примерной анкеты М.Н. Покровского по истории событий 1905 г. (в 1931 г. дополненного сотрудниками Комакадемии варианта по 1917 г.), создание в 1932 г. единых инструкций по ИФЗ и ИГВ, являлись частью этого общего процесса, но в то же время, как я пыталась ранее показать[1], они были призваны вовлечь в процесс создания автобиографических текстов не имеющих навыка биографизирования и публичного говорения людей из низов, а с исследовательской точки зрения — обеспечить тематическую полноту и сравнимость больших массивов информации.

Настойчивость кампаний, сопровождавших продвижение деятельности истпартов и др. комиссий уже в 1920-е гг., превращала право на биографию чуть ли не в обязанность — во всяком случае для обладателей общественно-ценного опыта. Успешный тогда писатель и журналист Михаил Левидов в связи с этим, в частности, отмечал:

> «Если бы каждый из нескольких тысяч “старых партийцев” принес бы кирпичик — историю своей жизни за последнее двадцатилетие — какое мощное величавое здание можно было бы воздвигнуть из этих кирпичей! История литературы знает великих архитекторов, воздвигавших свои здания из кирпичей — “человеческих документов”. Таким был Бальзак — архитектор “Человеческой комедии”. Здание наших предполагаемых нескольких тысяч авторов могло бы именоваться “Человеческая борьба”»[2].

Подобные призывы помещала и региональная печать. Так, газета «Уральский рабочий» в 1922 г. опубликовала статью о том, как активизировать работу Истпарта по сбору воспоминаний: «Каждый член партии должен … в самый наикратчайший срок представить

[1] См.: *Веселкова Н.В.* Конструкции авторства/субъектности в опыте отечественных биографических проектов первой половины XX в. // Уральский исторический вестник. 2020. Вып. 4. С. 84–92.

[2] *Левидов М.Ю.* Простые истины (о читателе; о писателе). М., Л.: Автор, 1927. С. 126.

Истпарту, имеющийся у него материал и разного рода воспоминания»[1]. Нам эта статья интересна еще и тем, что привлекла внимание Агриппины Гавриловны Кореванновой (1869–1937 гг.), будущего автора автобиографической книги «Моя жизнь», которая вышла в московском издательстве «История фабрик и заводов» в 1936 г. Привлекла настолько, что женщина составила ответное письмо в Истпарт (хотя было ли оно отправлено, неизвестно), переписав его в свой дневник. Отметив, что ей «очень хочется» писать, и тут же посетовав на свою необразованность, Кореванова подчеркнула, что считает ее признаком своей «правильной» социальной принадлежности, а вовсе не виной:

> «Как будто мы и виноваты что неграмотны к настоящему времени. Нам в наше учебное время не только не давали в школе учится, но если который ребенок начнет домашним способом учится его били за ученье и он крадучи учится, что он мажет так изучить? Ничего. Иной мало помалу поймет читать и кое как писать с тем и остался навсегда. Настоящее время и хотел бы написать чего но его останавливает его неученость, и он знает что нужно и может у него что и есть но он скрепя сердце молчит. И вот тов. Истпартцы я выхожу из числа таких неудачников писцев»[2].

Она несколько раз пыталась отдать в печать свои «неграмотные “произведения”», но безуспешно, дневник «даже неудостоили … просмотреть»[3]. В том же году Агриппина Гавриловна развивает эту тему в письменном обращении за помощью к лектору районной школы политграмоты (в продублированном в дневнике тексте стоит отметка, что тот прочитал ее письмо). Уже понятно, что «дневник» в данном случае — это «гроссбух», соединяющий самые разнородные, часто недатированные записи, в том числе «Караван. Очерк 19 века» — ранний вариант одной из глав, которая потом войдет в «Мою жизнь»[4].

А.Г. Кореванова в ИФЗ: ассамбляж многослойного авторства

В том, что «корявая», действительно страшно безграмотная писанина отвергается, не было ничего удивительного. Подобные

[1] *Соколов В.* Партийная жизнь. О работе в Истпарте // Уральский рабочий. 1922. 29 нояб.

[2] *Кореванова А.Г.* Дневник. 1921–1926 г. // ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. Здесь и далее орфография и пунктуация документа.

[3] Там же.

[4] См.: Там же. Л. 18 об. — 24 об.

тексты (имея в виду и архивные документы, и опубликованные Козловой и Сандомирской тетради Е. Киселевой) очень трудно читать, нужна особая и сильная мотивация, чтобы сквозь них продираться. Сказочная история о том, как в 1921 г. Елена Новикова (с которой Кореванову ставили потом в один ряд) «накорявила» заметку в стенгазету, потом немного подучилась и получила всесоюзный успех — не только «монтаж», но и редкое исключение[1]. Успех «Terra Matta» феноменален еще и потому, что до участия в конкурсе Пьеве все попытки В. Рабито опубликовать свое жизнеописание встречали безоговорочный отказ.

В случае Кореванновой проблема заключалась не только в безграмотности, но и в том, что ее опыт не имел нужных социально-политических параметров: ни революционных, ни рабочих заслуг у автора не имелось. Концепции ИФЗ ни она сама, ни ее материалы не соответствовали: на екатеринбургских фабриках Кореванова работала недолго, описание Логиновской и Макаровской фабрик не входило в планы редакций ИФЗ, так что успех Кореванновой выглядел поистине фееричным.

Уральская редакция ИФЗ после столичных была, пожалуй, наиболее разветвленной и сильнейшей в стране, и ей было что публиковать. Для Урала ИФЗ становилась проектом (новой) региональной идентичности, ее проговаривания и позиционирования вовне. Формируемый в том числе посредством ИФЗ символический капитал должен был помочь вывести регион из тени, поддержать спорную идею Урало-Кузбасса как второй угольно-металлургической базы страны и продемонстрировать потенциал Урала в конкурентной борьбе за внимание центра и распределение ресурсов, финансовых и человеческих. Тем не менее из всей многочисленной продукции уральской ИФЗ на общесоюзный уровень, с итоговой обработкой в Главной редакции и изданием в Москве, вышли только три книги: в 1935 г. «Были горы Высокой» (и в том же году второе дополненное издание), в 1936 г. — «Моя жизнь» А. Кореванновой и под занавес, в 1937 г. — «Описание Уральских и Сибирских заводов. 1735» В. де Геннина.

«Путь к успеху» «Моей жизни» А. Кореванновой мы можем проследить по ее собственным записям, которые очень хорошо показывают: а) становление и внутреннюю жизнь местных литературных институций, включая распри, которые не были причиной, но

[1] См.: *Новикова-Вашенцева Е.* Как я стала писательницей: Рассказ старой работницы. М.: Изд-во и типография Профиздата, 1938; *Она же.* Маринкина жизнь: Повесть / предисл.: М. Горький: в 3-х кн. М., Л.: Земля и фабрика, 1930–1934.

повлияли на репрессии второй половины 1930-х гг., б) механику распределенного авторства. Кроме того, материалы А. Кореванновой[1] помогают, я бы сказала, побуждают в) рассматривать эго-документы не только как тексты, но и как материальные объекты и социальную практику[2].

Институции

«Моя любимая лелеяная мечта писать», — так начинается одно из поздних жизнеописаний А. Кореванновой «О себе» (не ранее 1935 г.), где она описывает в чем-то забавный момент, когда, отправившись искать в Свердловске Уральскую ассоциацию пролетарских писателей (УралАПП), нашла уже оргкомитет Союза писателей:

> «Случайно я увидела в конце 1931 г. есть писательская организация *УралАПП* [здесь и далее выделено А. Кореванновой — *Н.В.*] но где он я не знаю, так потянулось время и в один день решила, пойду искать где-нибудь да найду, и нашла уже не *УралАПП* а оргкомитет сов[етских] писателей»[3].

Рассказанный с позиций неграмотности, темноты — мол, это она так долго собиралась, прохлопала перемены, — этот сюжет указывает на драматическую внезапность изменения структуры писательских организаций, которое стало неожиданным даже для руководства Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП)[4].

Во главе оргкомитета Союза советских писателей (ССП), пишет далее Кореванова, стоял Н. Харитонов, ее «приняли любезно», «взяли на просмотр» рукописи, но пока безответно. Из середины 1930-х гг., когда опять уже все изменилось в худшую сторону, она видит, что уже тогда «бросалась в глаза какая-то хаотичность в работе, неумение, слышу от других, теряются рукописи», но списывалось это на издержки начального этапа[1]. По сути, через личное вхождение и переживание Кореванова выделяет 1932–1934 гг. как «золотой век» в институциональном развитии региональной писательской организации. В июне 1932 г., пишет Кореванова, состоялся первый пленум оргкомитета уральского отделения СПП, начались регулярные, «каждую пятидневку», литературные вечера:

> «Я полюбила эти вечера и стремилась на них»,
> «Бежала с радостью, я так их полюбила, я отдыхала на них духом, я забывала на них все, свои недостатки, все, все забывала»,
> «[Там] сходились все писатели города, поэты, драматурги, первое время были читки поэтов своих произведений и мы прорабатывали их … знакомились один с другим»[2].

С особым чувством описано уважительное и заботливое отношение руководителя, Николая Харитонова (в 1932 г. ему было 28 лет, А.Г. Кореванновой — 63 года):

> «Прием мне был от всех дружественный, товарищеский, тем более от Харитонова. Никогда не забуду, в один день я пришла в Оргкомитет по делу, а там было какое то совещание в перерыв садились закусывать за одним общим столом, увидели меня и сейчас же освободили место за срединой стола, и кто чего подкладывают мне, любезно разговаривают со мной, от такого то теплого тов[арищеского] внимания чуть не расплакалась, не знаю что и отвечать на вопросы и что говорить, потому что всю свою жизнь я не видела *такой* теплоты. После этого вдруг т. Харитонов у меня спрашивает как я живу, на какие средства, не нуждаюсь ли в материальной помощи? Я как вечно забитая ответила ни да, ни нет, но он понял что на 40 рублей жить тяжело, сказал обожди я тебе устрою. Мне говорят пиши расписку на сто рублей, я и тут хорошенько не поняла, а написала и думаю зачем это? Мне подали деньги сто рублей. Вот тебе на пропитание сиди и работой»[3].

На литературных вечерах 1932 г., по наблюдениям Кореванновой, произошло и зарождение зловещей «групповщины»: поначалу это были «сближения, по мнениям, по взглядам, группировались молодые

---

[1] Основная часть материалов А. Кореванновой находится в ГАСО (см.: ГАСО. Ф. Р-561), некоторое количество документов хранится в фондах Объединенного музея писателей Урала (ОМПУ). Кроме того, важными для моего исследования являются материалы фонда Уральской редакции ИФЗ (см.: ГАСО. Ф. Р-318).

[2] См., напр.: *Lyons M., Marquilhas R.* A World Inscribed — Introduction // Lyons M., Marquilhas R. (eds.) Approaches to the History of Written Culture. New Directions in Book History. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

[3] *Кореванова А.Г.* О себе // ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 83. Л. 107.

[4] О неожиданности постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» и серьезности этого события свидетельствует известный эпизод в мемуарах И. Эренбурга, когда В. Киршон сначала не поверил сообщению французской газеты о ликвидации РАПП, а затем они вместе с А. Афиногеновым спешно вернулись в Москву из Парижа. Эренбург, между прочим, тоже выступает с позиции своего рода темноты, когда говорит, что это сообщение ему показалось несущественным, вроде простой смены вывесок писательских организаций. Ему не интересны эти игры: «темнота» означает дистанцию, независимость, но в то же время и недостаток социальной компетентности в данной сфере (см.: *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь: Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 2000. С. 366–367).

[1] *Кореванова А.Г.* О себе. Л. 107.

[2] Там же. Л. 107, 109.

[3] Там же. Л. 109–110.

с молодыми, тем более которые работали в Оргкомитете», но вот «поэты возомнили о себе повели себя высоко», «стали выявляться недовольствия»[1]. При этом главным изъяном в организации работы уральских писателей А. Кореванова считала прежде всего нехватку литературной учебы и партруководства[2].

И хотя ей не показывали, «как писать и, что писать» («спрашиваю у Харитонова писать ли это и это? Он отвечал: пиши все что у тебя есть»), вдохновленная поддержкой, Агриппина Гавриловна с упоением писала про свою жизнь, припоминала рассказы старших и свои наблюдения про старую Ревду и «гвоздарку», в которой работал отец, и т. п. — «писала и сдавала все Харитонову, вся была надежда только на Харитонова»[3]. И ее действительно стали публиковать, всерьез, систематически: в 1933–1934 гг. свердловский литературный журнал «Штурм» поместил ее работы (будущие главы книги) в семи номерах. В июне 1934 г. на I конференции советских писателей Урала Кореванову отметили премией в 1500 рублей и делегировали на I Всесоюзный съезд ССП.

Очевидно, что решающую роль в восхождении А.Г. Коревановой на этом этапе сыграл Н.И. Харитонов — возглавляемой им региональной организации было важно продемонстрировать внушительный рост. Несмотря на всю «групповщину», Всесоюзный съезд по призыву В. Ермилова аплодировал не другу Харитонова Алексею Маленькому, талантливому очеркисту, к тому времени написавшему для ИФЗ историю Надеждинского завода, и даже не Алексею Бондину, действительно рабочему писателю, — они тоже были делегатами. Съезд аплодировал Коревановой[4]. Для нашей героини было найдено подходящее определение «пролетарской писательницы,

[1] О конфликтах и спорах среди уральских писателей см.: *Журавлева Н.С.* Конфликты среди свердловских писателей в 1930-е годы // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2015. Т. 2. № 2. С. 22–26; *Она же.* «Литературные забавы» уральских литераторов в 1930-е годы // Вопросы литературы. 2014. № 2. С. 136–144; *Она же.* С. Спор из-за авторских прав на пьесу «Малахитовая шкатулка» // Наука ЮУрГУ: Материалы 67-й науч. конф.: Секция социально-гуманитарных наук. Челябинск: Южно-Уральский гос. ун-т, 2015. С. 621–627.

[2] *Кореванова А.Г.* О себе. Л. 107–108.

[3] Там же. Л. 110.

[4] См.: Первый Всесоюзный Съезд советских писателей: стенографический отчет / под ред.: И.К. Луппола, М.М. Розенталя, С.М. Третьякова. М.: Советский писатель, 1934. С. 165. Ермилов приезжал на уральскую конференцию, вместе с Харитоновым и Горбатовым, они писали о А. Коревановой в «Правде»: *Ермилов В., Харитонов Н., Горбатов Б.* Новые писатели // Правда. 1933. 12 нояб.; *Они же.* Новые писатели // Штурм. 1934. № 1. С. 168–170.

красногвардейки и партизанки», которое вскоре, правда, скорректируют в пользу «работницы-крестьянки» с учетом пола и возраста по модели Е. Новиковой-Вашенцевой.

Авторство

Литературной обработкой публикаций А. Коревановой в «Штурме» занимался Н. Добычин (не вполне удачно), но если взглянуть на исходные тексты, стоявшая перед ним задача кажется почти неразрешимой (типичная для «наивного письма» хронологическая путаница — лишь одна из проблем). При переезде оргкомитета в только что отстроенный Дом печати ее рукопись, как считала Кореванова, затерялась:

> «Кое-как ее нашли и Харитонов сказал: я отдам ее на выправку Маленькому, ты ему будешь помогать. Я к Маленькому раз приду и другой, он все занят, наконец Маленький говорит: я ничего в ней не могу понять, все перепутано, и берет часть посмотреть, это когда было, в каком году? Я сказываю, он пишет года, работу выправки не знаю, но вижу он складывает не по моему, неправильно, видимо и без меня в ней рылся и все перепутал и сам понять не может, а я поняла, что он что-то незаинтересованно с ней обращается»[1].

Вообще после уральского съезда писателей, по мнению Коревановой, отношение к ней испортилось. Чуждая местной писательско-журналистской среде, она стала козырной картой в игре по продвижению региона, можно предположить, что ставку на нее сделали в расчете на М. Горького. И не прогадали — когда в отчаянии Агриппина Гавриловна совсем уже собралась забирать рукопись, ей «вдруг сообщают», что ее книгой заинтересовался сам Горький[2].

Теперь литературную обработку поручили Николаю (Миколе) Никоновичу (Никановичу) (1902–1944? гг.), белорусскому писателю, в 1933 г. оказавшемуся на Урале в трехгодичной ссылке по обвинению в национализме. По направлению Уральской редакции ИФЗ они вместе с Коревановой ездят в Ревду (заключительные страницы книги содержат написанное, по-видимому, им элегическое описание завода за окном комнаты, где проходит вечер воспоминаний).

Совместная работы над рукописью приобретает трагикомические черты, достойные пера Ильфа и Петрова или Зощенко, когда 65-летняя писательница и ее 32-летний редактор поселяются

[1] *Кореванова А.Г.* О себе. Л. 113.

[2] Там же. Л. 96, 109–110.

в одной комнате. Дело в том, что в 1934 г. на съезд писателей в Свердловск прибыло много людей, и Никоновичу пришлось освободить номер в гостинице, где он до того квартировал, а в жилищно-арендном кооперативном товариществе, где жила Кореванова, представилась возможность перебраться в хорошую, но слишком большую — 30 квадратных метров — комнату, и, чтобы не подселили кого попало, Харитонов посоветовал ей Никоновича. Поначалу женщина его опекала, снабжая необходимыми вещами вроде матраса и подушки, даже покупала одежду, он начал приводить домой приятелей-выпивох, потом появилась молодая жена с ребенком, но возмущало Кореванову не это, а денежные разногласия. Никонович требовал с нее якобы обещанную ему тысячу рублей, Кореванова же считала, что это он у нее в неоплатном долгу[1]. Так или иначе, итоговый машинописный вариант «Моей жизни», подготовленный Уральской ИФЗ, имеет надпись: «Литературная обработка М. Никановича»[2].

Ожидая заключения договора с Москвой, Кореванова настаивала на том, чтобы переписка велась с ней напрямую, поскольку «слыхала, что Харитонов заявляет, что хозяином моей книги является только он»[3]. В Москве поступившей рукописью сначала занимался И. Кубланов, далее основную редакторскую работу, включая серьезные сокращения, произвел А. Тихонов, который и значится редактором книги. На заключительном этапе работы над ней подключился М. Горький[4], книга вышла с его небольшим предисловием. Подобно другим изданиям ИФЗ, в книгу Корева новой предполагалось включить фотографии, но взяли только ее портрет, остальные вернули. Разделенное с чередой других «хозяев» авторство причиняло А. Корева новой страдания, но в то же время, как следует из ее дневниковых записей и писем, позволяло ей ощущать себя настоящим автором, писателем, в качестве которого она легко и естественно обращалась в Главную редакцию ИФЗ к Н. Шушканову и А. Тихонову, в ССП — к А. Щербакову, нарабатывая профессиональные связи уже за пределами региона.

[1] *Кореванова А.Г.* Заявление Правлению ЖАКТа № 19 // ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 83. Л. 56–61, 92–105 об.

[2] *Она же.* Моя жизнь // ГАСО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 22. Т. 1. Л. 1–219.

[3] А.Г. Кореванова — Н.И. Шушканову, 1934 г. // ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 94. Л. 137 об., ср.: Там же. Л. 136 об.

[4] М. Горький — А.Н. Тихонову, 10 сент1935 г. // Вопросы литературы. 1957. № 7. С. 121.

Как показывает Борис Дубин, надличная природа любого жанра («В идеале тут даже автор не нужен или второстепенен, достаточно серии, обложки, типового заглавия», для ИФЗ это в высшей степени характерно) в случае автобиографии особенно сильно сталкивается с *Я*, служащим в ней и предметом, и способом рассказа. Поэтому автобиография становится (для модернистского письма XX в. особенно) «самим воплощением «литературы как невозможности», практикой целенаправленного самоподрыва, бесконечным балансированием на грани собственного краха»[1].

Материальность и социальная практика

У Корева новой не было печатной машинки, и она бесконечно все переписывала, кое-где вставляя зарисовки: как выглядела гвоздарка, как падает свет в ее окно и т. п. Это ручная, даже рукодельная работа, важная своей материальностью и словно бы телесностью — исписанные листы будто вылеплены руками. Вероятно, ей еще и поэтому было невыносимо видеть исчерканными и перепутанными страницы своих рукописей. Другой аспект телесной связи — нарушения здоровья, возникавшие, если не утолить позыва к письму, — наша героиня считала весомым аргументом, позволявшим объяснить необходимость писательства и получения наставлений, как же это делать правильно, чтобы напечатали:

> «Приходит такой момент что вот надо писать и только если я не буду писать то никак не могу ночь уснуть в голове поднимается шум и заболит мозга ворочаются что то в ней затрещит того и жду что вот случится прилив крови[2] бывало близка

[1] *Дубин Б.* Как сделано литературное *Я*: [Вступление к публ.: *Лежён Ф.* В защиту автобиографии: Эссе разных лет] // Иностранная литература. 2000. Т. 4. С. 108.

[2] Контекст этого высказывания — пример внутренней борьбы с желанием писать: «В один из вечеров около 12 часов ночи, вдруг захотелось писать и спать не хочется, вот тут то и произошла борьба. Книга в которую вносилось какое нибудь событие дня лежала в сундучке под кроватью, и вот голова легла на подушку и глаза закрываются а рука полезла за книгой, и это взяло верх покуда не было изложено на бумаге что роилось в голове невозможно было преодолеть себя чтобы лечь в постель. В другой раз придет такая минута в голове идет льется слог за слогом тряхнеш головой стараешься отбросить думаеш для чего мне писать все равно на прасно, но нет в голове идет и идет возмеш усилие над собой не буду как нибудь пройдет, и что же эта борьба даром проходит, нет не пройдет никогда если не выложилось на бумагу чего роилось в голове пересилиш себя не списал что тогда поднимется в голове шум треск точно кто ее разламывает» (*Кореванова А.Г.* Ответ на статью Григоровича, 1925 г. // ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 13. Л. 4–5).

к помешательству. … если бросить писать, то сомной случится несчастье я сойду с ума. … в эти минуты мне очень тяжело если не писать»[1],
«О писании. Также кто бы показал как правильно писать в печать т[ак] к[ак] мне это необходимо даже для моего здоровья. Бывает не использую ту минуту писмом после этого сильно болит голова и тупеет»[2].

Кореванова ощущала себя «свидетелем истории»[3], представителем уходящего поколения, с которым безвозвратно исчезают бесценные крупицы былого. Если она не запишет, не передаст, то все они пропадут. Ее письмо, таким образом, было практикой выстраивания и обретения не только новой советской субъектности, но и субъектности свидетеля истории — практикой свидетельствования истории. С учетом изрядной толики морализаторства, ее писательство можно считать также практикой «блюстителя памяти» (по Элизабет Хелин[4]).

Поиск справедливости в распределении памяти касался не только людей. В 1936 г., когда Агриппина Гавриловна вполне утвердилась в роли писателя — «Моя жизнь» выходила в Москве, а она сама была включена в сети деловых коммуникаций с литературным эстеблишментом на самом верху, — она решила восстановить справедливость в отношении своей родины, Ревдинского завода. У нее скопилась целая папка вырезок из местных газет с публикациями по ИФЗ и краеведению, но Ревда в планах ИФЗ не фигурировала и в печати особенно не продвигалась. Кореванова обращается в Главную редакцию ИФЗ с инициативой создать книгу по истории Ревдинского завода, предлагая в письме к Николаю Шушканову себя на роль автора: «Вижу никто за ее [Ревду — *Н.В.*] не берется, да и некому, все заняты. Мне засела в голову мысль, а не взятся ли мне создать ету книгу с наибольшой помощью вашей редакции»[5].

[1] *Кореванова А.Г.* Письмо лектору районной школы политграмоты Когану // ГАСО. Р-561. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–3.

[2] *Она же.* Автобиография, 1924 г. // ГАСО. Р-561. Оп. 1. Д. 79. Л. 14 об.

[3] О понятии «свидетеля истории» (Zeitzeuge) см.: *De Jong St.* The Witness as Object. Video Testimony in Memorial Museums. N.Y.: Berghahn. 2018, 2020. Ch. 2.

[4] См.: *Jelin E.* State repression and the labors of memory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

[5] А.Г. Кореванова — Н.И. Шушканову, 1936 г. // ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 121. Л. 36.

Смелости ей придавал тот факт, что она «уроженка Ревды [и] потомок не спокойных людей-“бунтарией”»[1]. Так одной фразой Кореванова оправдывалась за беспокойство и в то же время обосновывала свою причастность к истории завода. Единственное сомнение выражено оговоркой: «Правда я себя считаю не настоящим историком, но повторяю общими силами у нас выйдет прекрасная книга»[2]. Ревда предстает незаслуженно обделенной в существующей политике памяти «сиротой» и кроме Коревановой исправить эту ситуацию некому: «Мне очень хочется видеть книгу покуда я жива, а то, Ревда останется как сирота, как пасынок, никто не обращает на нее внимания, а за нее стоит взяться, она не менее интересна других заводов на Урале, — ее прошлое»[3].

Масштабирование через интернациональность

ИФЗ и другие подобные проекты с самого начала были нацелены не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию, издания планировалось переводить на иностранные языки, чтобы они служили пособием по борьбе за построение лучшего общества. Рассчитывала на перевод «Моей жизни» и А. Кореванова: «Когда мы на 1 съезде разговаривали с Алексеем Максимовичем, он между прочим сказал мне, что твою книгу мы пустим и на разные языки»[4].

Надо сказать, что уже к I съезду ССП издававшаяся в Москве Немецкая центральная газета (орган немецкой секции Коминтерна) опубликовала на немецком языке большой материал о Коревановой[5]. Агриппина Гавриловна сохранила отпечатанный на трех страницах перевод газетного текста[6], но других публикаций о себе или своей книге на иностранных языках больше не дождалась. Фрагменты «Моей жизни» вышли в составе англоязычного сборника автобиографий русских женщин периода 1917–1940-х гг. под редакцией

[1] Там же. Имеется в виду восстание углежогов на Ревдинском заводе Демидовых в 1841 г. См. об этом: *Дробина И.* Три сотни душ убитыми и ранеными // Новая газета. 2021. 15 апр.: Электронный ресурс. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/04/15/tri-sotni-dush-ubitymi-i-ranenymi (дата обращения: (дата обращения: 02.09.2021); *Новиков С.Г.* Ревда: прошлое и настоящее. Екатеринбург: Квист, 2014.

[2] А.Г. Кореванова — Н.И. Шушканову, 1936 г. Л. 36–36 об.

[3] Там же. Л. 36 об.

[4] Там же. Л. 15.

[5] См.: Die 65 iahrisse Agrippina Gawrilowna Korewanowa // DZZ — Deutsche Zentral-Zeitung. 1934. № 195.

[6] См.: ГАСО. Ф. Р-561. Оп. 1. Д. 83. Л. 74–75; Д. 79. Л. 21.

Юрия Слезкина и Шейлы Фицпатрик только в 2000 г.[1]. Используя эти материалы в другой своей книге, Ш. Фицпатрик удивлялась сильным проявлениям классовой ненависти, нехарактерным, как она полагала, для автобиографий[2].

В итоге, пусть гораздо скромнее и позднее, чем представлялось А. Коревановой, «Моя жизнь» перешагнула границы страны. В СССР книга Коревановой использовалась как образец рабочей автобиографии, а в России — как пример формата биографизирования в рамках институциональных проектов. В 2020 г. студенты Уральского федерального университета нашли в «Моей жизни» актуальную для себя феминистсткую проблематику и выпустили «переработанное издание» под названием «Ее жизнь» [3].

В целом же случай Коревановой интересен не только как пример коллизии распределенного авторства. Питаемая и форматируемая такими проектами, как Истпарт, ИФЗ и др., социальная практика «свидетельствования истории» пронизана стремлением к справедливости в распределении ресурсов памяти. Рассмотренные вместе «большие проекты» в разных частях мира демонстрируют не только впечатляющее разнообразие, но и сходные черты. Отечественные начинания при всей их специфике предстают частью общего процесса демократизации биографизирования.

[1] См.: *Korevanova A.* «My Life» // In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the Second World War / ed. by Fitzpatrick Sh. and Slezkine Y. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000. P. 169–206.

[2] См.: *Фицпатрик Ш.* Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М.: РОССПЭН, 2011. С. 168.

[3] См.: Её жизнь: по мотивам романа А.Г. Коревановой «Моя жизнь» / сост. К.С. Баранова [и др.]; под общ. ред. О.В. Климовой. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2020.

Глава II.3. Урал заводов и рудников в эго-текстах Ларисы Рейснер[1]

(Ю.С. Подлубнова)

Описание путешествий на Урал — традиционный способ дискурсивного освоения этой территории[2]. «Историография Урала как колонизованной территории в основе своей опирается на отчеты о путешествиях — торговых, дипломатических, научных, деловых, литературных, — заметила Е.Г. Власова. — Травелоги являются важнейшей частью общего процесса формирования уральского дискурса русской культуры, отражая и направляя его развитие»[3].

При этом в жанровом отношении литература путешествий довольно разнообразна, она включает в себя большое количество жанровых форм и дискурсов и тяготеет к гибридности на разных уровнях текста[4]. Одним из общих параметров здесь становится автодокументализм, свойственный литературе путешествий. В центре травелогов и примыкающих к ним текстов находятся, как правило, обстоятельства жизни самого автора, дневниковые нарративы[5], которые создаются «одновременно пишущим и присутствующим в тексте субъектом»[6]. Литература путешествий может определяться как компендиум эго-документов и эго-текстов, которые, как показывает

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00221 «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX в. в историко-литературном контексте».

[2] См. об этом, напр.: *Анисимов К.В.* Восточный травелог русской литературы XIX в.: «воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. № 1(1). С. 5–21.

[3] *Власова Е.Г.* Маршруты путешествий и особенности формирования образа пространства в уральском травелоге конца XIX — начала XX века // Лабиринт. 2015. № 1. С. 58.

[4] См.: *Гуминский В.М.* Русская литература путешествий в мировом историко-культурном контексте. М.: ИМЛИ РАН, 2017; *Милюгина Е.Г., Строганов М.В.* Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2013.

[5] См.: *Михеев М.Ю.* Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей, 2007.

[6] *Бондарь И.А.* Эго-текст и эго-документ в литературном процессе // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2013. № 6. С. 108.

И.А. Бондарь, разводятся в науке довольно принципиально[1], однако мы в своей работе поставим знак равенства между автодокументальной литературой и эго-текстами.

Урал к 1920-м гг. был описан в литературе путешествий такими авторами, как Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.И. Немирович-Данченко, А.П. Чехов, Б.Л. Пастернак и др., отразившими ландшафтную, производственную, этнографическую специфику края. Однако советская эпоха вносила свои корректировки как в образ региона, так и в выбор описательных форм и конструкций в текстах приезжающих писателей. Новые поколения писателей и журналистов, побывавшие на Урале, теперь уже чаще всего по заданию редакций, интересовались главным образом восстановлением производственных мощностей после событий Гражданской войны, а к концу десятилетия и процессами индустриализации. Ведущим жанром эпохи стал производственный очерк, и он неизбежно оказал влияние на другие документальные жанры. «Новая модель очерка на производственную тему в большинстве своем повторяла композиционные черты очерка традиционного — этнографического», — заметила по этому поводу Е.Р. Абдуразакова. И далее: «Производственные очерки, как правило, были построены в жанре “путешествия” (по фабрике, заводу, стройке)»[2]. В этом плане в 1920-е гг. одной из знаковых поездок на Урал, результатом которой стал цикл производственных очерков, стало путешествие Ларисы Рейснер.

Лариса Рейснер: биография и библиография

Лариса Михайловна Рейснер (1(13).05.1895, Люблин, Царство Польское, Российская империя — 09.02.1926, Москва), поэтесса, писательница, журналистка, советский политик, родилась в семье юриста. Детство провела в Томске и Германии. С 1905 г. жила в Петербурге, где окончила гимназию и поступила в Психоневрологический институт. Ее литературный дебют — пьеса «Атлантида» (альманах «Шиповник», 1913 г.). До 1917 г. примыкала к акмеизму, была ученицей Николая Гумилева. Имея социал-демократические воззрения, приняла революцию. В 1918 г. вступила в РКП(б). Участница Гражданской войны, выполняла обязанности комиссара отряда разведки Волжской военной флотилии, комиссара Морского генерального штаба РСФСР, сотрудницы Политуправления Балтийского флота и т. п. В 1920-х гг.

[1] См.: *Бондарь И.А.* Указ. соч. С. 107–115.

[2] *Абдуразакова Е.Р.* Художественное своеобразие очерковой книги Бориса Пильняка «Таджикистан — седьмая советская» // Историческая поэтика жанра. 2006. № 1. С. 6.

занялась журналистикой, ездила в командировки по России и в разные страны. Умерла от брюшного тифа в возрасте 30 лет[1].

При том что дебют Л.М. Рейснер пришелся на эпоху Серебряного века, расцвет ее творчества случился именно после 1917 г., когда поэтесса и писательница, сделавшая во время Гражданской войны карьеру политика, осознанно пришла в пространство советской журналистики. Это стало своего рода продолжением ее политической деятельности. «Литературное имя Ларисы Рейснер спорило с ее организаторскими, революционными и боевыми заслугами», — справедливо писал Иннокентий Оксенов в биографическом очерке 1927 г.[2] Книги «Гамбург на баррикадах» (1924 г.), «Фронт» (1924 г.), «Афганистан» (1925 г.), «Уголь, железо и живые люди» (1925 г.) фактически программно обозначали внеше- и внутриполитические приоритеты советской власти. Л.М. Рейснер с ее значением политической фигуры и работой в центральных «Правде» и «Известиях» оказывалась рупором этой власти, фигурой, за высказываниями которой следили многие. «Лариса Рейснер всегда была … примером для всех нас, журналистов», — признавался публицист Михаил Кольцов[3], тогда как другой современник отмечал: «Она умела брать очень острые, очень волнующие темы … была незаменимой журналисткой в том смысле, что могла писать коротко, отчетливо и быстро»[4].

Журналистка и писательница

Журналистские задачи и опыт работы в жанре очерка определяли параметры письма Л.М. Рейснер. Можно проследить эволюцию ее очеркистики: от дневниковых дискурсов — очерк «В пути» (1921 г.), обозначивший устойчивый интерес писательницы к травелогу, — до сухих цифр статистических отчетов в очерках о Германии; от автобиографического и автодокументального письма в книге «Фронт», посвященной событиям Гражданской войны до позиции отстраненного

[1] См.: *Алексеева А.И.* Красно-белый роман: Лариса Рейснер в судьбе Николая Гумилева и Анны Ахматовой. М.: Алгоритм, 2008; *Казак В.* Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон: ORI, 1988. С. 639–640; *Майорова Е.* В огне революции: Мария Спиридонова, Лариса Рейснер. СПб.: Алетейя, 2019; *Пржиборовская Г.А.* Лариса Рейснер. М.: Молодая гвардия, 2008; *Соловей Э.С.* Лариса Рейснер: Очерк жизни и творчества. М.: Советский писатель, 1985; и др.

[2] *Оксенов И.* Лариса Рейснер. Л.: Прибой, 1927. С. 3.

[3] *Кольцов М.* Милый спутник // Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М.: Советский писатель, 1969. С. 114.

[4] *Смирнов Н.* Неотразимый образ. Заметки о Ларисе Рейснер // Новый мир. 1929. № 2. С. 177–178.

наблюдателя в массиве текстов 1925 г. «Это не женская манера писать»[1], — замечал В.Б. Шкловский в мемуарном эссе, посвященном писательнице, озвучивая расхожее представление о ней. Однако творчество Л.М. Рейснер сложно назвать гомогенным — так не похожи друг на друга «Автобиографический роман» и очерки о декабристах, статьи о литературе и массивные производственные полотна. Л.М. Рейснер могла написать:

> «Очень тяжело. И днем, и утром, и в самый сжатый час отъезда — неприятное, совершенно физиологическое чувство гнета. Стрелка внутреннего радио тревожно дрожит, даже во сне поворачивая свое слепое острие — куда? Может быть, к будущему или к глухо запертым дверям совести»[2].

И не менее экспрессивное, но более описательное:

> «Шахта — черная книга. В ней написано, как земля воюет с человеком и как человек-хозяин тут же, под землей, воюет со своими рабочими. Вода подмывает стены, долбит потолки, гноит строительный лес. А за спиной углекопа ходит предприниматель, заставляет его работать быстро и небрежно, ворует в свою пользу дерево креплений, тащит из забоев каждый лишний столбик, каждый кусок дерева выдергивает из ползучих стен, каждую лишнюю перекладину выхватывает из мокрых, грозно нависших потолков»[3].

При этом чем дальше, тем больше Л.М. Рейснер разделяла задачи писателя и журналиста и последовательно лишала очеркистику элементов автодокументального письма. Сущностно оставаясь эго-текстами (сохраняя «*Я*»-повествование, позицию включенного наблюдателя и некоторые другие элементы), очерки Л.М. Рейснер все меньше рассказывали о субъекте, все больше сосредоточиваясь на объекте описания, будь то город, завод или конкретный человек. В этом плане книги 1924–1925 гг. стали своего рода квинтэссенцией журнализма в творчестве Л.М. Рейснер.

На Урале

«Лариса Михайловна Рейснер оказалась на переднем крае, в ряду первых литераторов, которые обратились к изучению перемен в экономике, культуре, в быту, запечатлели трудности и победы

[1] *Шкловский В.* Пусть вразрез // Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. С. 163.

[2] *Рейснер Л.М.* В пути. Дневник // Красная новь. 1921. № 4. С. 34.

[3] *Она же.* Избранное. М.: Художественная литература, 1965. С. 472–473.

восстановительного периода»[1], — писала Э.С. Соловей, обращаясь к уральской поездке писательницы, состоявшейся в 1924 г. До этого Л.М. Рейснер посетила Рур и Донбасс — промышленные регионы, переживавшие, как и Урал, не самые легкие времена.

> «Пораненное тело тяжелой промышленности судорожно сжимается. Оно концентрирует свое производство, отбрасывает все лишнее, все невыгодное или маловыгодное. За последние месяцы в одном только Эссене и окрестностях выброшено на улицу около сорока тысяч человек», —

констатировала Л.М. Рейснер в очерке «Крупп и Эссен»[2]. «И видишь: это победой и миром полнится Советская страна», — радовалась она победам Горловки[3].

> «Через двадцать лет Медвежьи горы Кизела станут великой промышленной столицей: сейчас это — тайга, где вместо угля собирают малину и вместо руды рубят стройную строевую сосну. Пока во всем районе работают только Кизеловские копи», —

писала она в уральских очерках[4].

Если Донбасс при условии восстановления после разрухи Гражданской войны имел все шансы стать главным индустриальным центром страны, то и Урал с его производственными мощностями мог претендовать на роль еще одного производственного центра — не случайно уральские и донбасские очерки Л.М. Рейснер оказались объединены в одну книгу «Уголь, железо и живые люди» (1925 г.). Она, без сомнения, мыслила стратегически, как бы предощущая грядущую эпоху индустриализации.

Итак, Л.М. Рейснер едет по уральским городам, рудникам и заводам, знакомится с хозяйством, условиями быта и труда рабочих, ее уральские очерки публикуются в журналах «Красная новь», «30 дней» и др. печатных изданиях.

Поездка на уральские заводы и шахты, по мнению Г.А. Пржиборовской, была инспирирована самой же писательницей:

> «Что происходит в стране? Что думают люди? Какие пути ведут или не ведут к социализму? На все эти вопросы о судьбе революции ответ, по мнению Ларисы Рейснер, можно получить от тех, кому приходится тяжелее всех, кто восстанавливает

[1] *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 113.

[2] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 264.

[3] Там же. С. 375.

[4] Там же. С. 337.

промышленные предприятия России. В Москве не получилось оказаться среди рабочих, тогда — на Урал, на металлургические заводы, на шахты, рудники»[1].

Судя по удостоверениям, сохранившимся в личном архиве журналистки[2], региональные власти всецело поддерживали ее деятельность. Этого никак не могло произойти без циркуляров из центра. И, без сомнения, Л.М. Рейснер помогал член ЦК ВКП(б) К.Б. Радек, с которым у писательницы были длительные отношения и чья рука, по мнению Е.И. Майоровой, видится в окончательной редакции уральской книги 1925 г.[3]

Где же именно на Урале побывала Л.М. Рейснер в мае-июне 1924 г.? Книга «Уголь, железо и живые люди» отчасти восстанавливает ее уральские маршруты, отражая пребывание в Билимбае (на руднике), Ревде, Шайтанке, Лысьве, Кытлыме, Кизеле, Надеждинском заводе. Писательница видела многое: стала свидетельницей добычи угля и платины, работы забоев и копей, турбогенераторов, доменных печей, жестеотделочного, штамповального, листопрокатного и др. заводских цехов, ГРЭС и т. д. Однако какие локации и в какой последовательности она посетила, насколько ее перемещения отразились в очерках — о реальном маршруте Л.М. Рейснер по книге судить сложно. В блокнотах Л.М. Рейснер, сохранившихся в Отдела рукописей РГБ, были указаны и другие пункты уральских маршрутов: Алапаевск, Тавда, Челябинск, Златоуст, Сатка и т. д.[4] Но они также не попали в очерки, и точных сведений, были ли они действительно посещены Л.М. Рейснер, нет. В этом плане «Уголь, железо и живые люди» в своей уральской части — не классический травелог, но книга очерков, построенная по принципу травелога, предполагавшего перемещение из одной локации в другую, но не нацеленного на точное воспроизведение маршрутов. Она документировала не столько поездку Л.М. Рейснер, сколько производственные процессы, свидетелем которых стала писательница.

[1] *Пржиборовская Г.А.* Указ соч. С. 433.

[2] См.: *Рейснер Л.М.* Блокнот с записями маршрутов к поездке на Урал и материалы к работе «Уголь, железо и живые люди». Надеждинский завод. Ляля. [1924] // Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (НИОР РГБ). Ф. 245. К. 4. Ед. хр. 16.

[3] См.: *Майорова Е.И.* Указ. соч. С. 257.

[4] *Рейснер Л.М.* Блокнот с записями маршрутов к поездке на Урал и материалы к работе «Уголь, железо и живые люди».

Особенности очерков

В книгу 1925 г. попали не все созданные по результатам поездки тексты. К примеру, в ней нет очерка «Слова из мрамора», в котором сначала фигурировал Надеждинский завод, а затем Свердловский художественный техникум и вместе с ним вопрос о том, насколько сопоставимы профессии рабочего и художника[1]. В целом понятно, почему очерк не подошел для «Угля, железа и живых людей»: рассуждения о мастерстве и искусстве никоим образом не вписывались в концепцию хозяйственного инспектирования заводов и шахт. Однако в очерке была высказана, вероятно, магистральная мысль осматривавшей предприятия Л.М. Рейснер: в СССР идет героическая борьба за восстановление промышленности, ее накал напоминает о временах Гражданской войны. «И эта живая память о Великом восемнадцатом так дорога писательнице, что она уже сама ищет новые подтверждения связи времен»[2].

Посещая рудники и заводы, Л.М. Рейснер практически не приводила сведений о себе. В очерках лишь иногда встречались личные местоимения, указывавшие на эго-документальность повествования: «В одном из последних забоев, который мне пришлось повидать, снова спросили о восьмичасовом рабочем дне»[3]. Было в очерках и высказывание метатекстового характера: «Но еще три строки о жести, чтобы кончить беглый очерк этих цехов, составляющих мощь производства и почти одновременно заболевших острой лихорадкой недовольства, вызванного снижением зарплаты»[4]. Также в тексте содержались диалоги, в которых автор выступал как полноценный участник разговора:

«Потом Мокрецов спросил:
— Вы все это будете печатать?
— Буду.
— Хорошо, пусть все знают»[5].

Фактически Л.М. Рейснер выступала в очерках как включенный наблюдатель, фиксировавший увиденное и почти не выступавший в качестве героя. «Автор смотрит со стороны, хотя и с большой любовью и вниманием к описываемому», — отмечал в отзыве на книгу Валериан Полонский[6].

[1] *Она же.* Слова из мрамора // 30 дней. 1925. № 4. С. 15–20.

[2] *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 119.

[3] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 293.

[4] Там же. С. 312.

[5] Там же. С. 305.

[6] *Полонский В.* Лариса Рейснер. Уголь, железо и живые люди. Госиздат. М.–Лнгр. 1925 г. 108 стр. // Печать и революция. 1925. № 5–6. С. 344.

В амплуа наблюдателя писательница стремилась к предельной точности изображения, не отказываясь ни от изображения насущных проблем уральского хозяйства, ни от летописи достижений. Для нее было важно установить реальную степень восстановленности предприятий региона, определить возможности работы с большими мощностями, проговорить трудности, с которыми сталкивались рабочие:

> «Очень устарели машины Билимбаевского завода. Многое в его устройстве и оборудовании покажется смешным европейски образованному инженеру, но сейчас старик завод, несмотря на выслугу лет, еще раз призван на действительную службу и в годы тягчайшего для революции экономического кризиса помогает строить и производить. Его старое машинное сердце стучит медленно, но все еще ровно и крепко»[1].

Ее очерки пестрели разнообразной статистикой: она охотно раскрывала размеры зарплат работников разных профессий, приводила цифры из производственных отчетов и планов, объясняла устройство и принципы работы тех или иных устройств. Цифры свидетельствовали о положении дел не меньше, а то и больше увиденного:

> «Силовую станцию с 1400 киловатт усилили до 2900 и при более коротком рабочем дне сохранили максимальную производительность, установленную компанией в 1913–1914 годах. Что еще важнее, из прииска Кытлым стал производством»[2].

Между тем статистика и основанные на ней описания производства не отменяли внимания к живым людям, заявленным в названии книги, «их живым рассказам, жестокой правде их самоотверженного труда»[3]. Очерки и записные книжки Л.М. Рейснер наполнены портретами-биографиями рабочих и руководителей уральских предприятий. Ключевое место в них также отводилось Гражданской войне:

> «Бетонщики-штукатуры. Товарищ Шеврин брал Перекоп, а потом рыл канал на Кизелстрое. В армии ему больше не быть. Ревматизм расслабил и раздул его кавалерийские ноги. Товарищ Аняпов бился за Полоцк, потом строил перекрытие в зольнике, наводил полы, крепил фундамент ГРЭС. Теперь эти два солдата в холщовых передниках каменщиков, густо посыпанные минеральной мукой, готовят пол, на который через пару лет обопрутся новые 16 000 вольт»[4].

[1] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 295.
[2] Там же. С. 333.
[3] *Шоломова С.* «Портреты живые» Ларисы Рейснер // Урал. 1978. № 3. С. 153.
[4] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 343.

Участие в войне словно бы ставило на человеке знак качества, делало его больше, чем рабочим — героем, а героизм, в свою очередь, распространялся и на их нынешнюю трудовую деятельность.

По мнению Э.С. Соловей, большое количество персонажей, «живых людей» в уральских очерках Л.М. Рейснер связано с тем, что ей была известна литературная дискуссия 1920-х гг. «о живом человеке», и она, вероятно, разделяла точку зрения Александра Фадеева (а через него — и Российской ассоциации пролетарских писателей в целом) о том, что «всякие идеи в подлинном художественном произведении подаются не в виде голых схем, а подаются через их живых носителей»[1]. Однако стоит подчеркнуть, что Л.М. Рейснер написала большую часть очерков еще до организации РАПП, прямого отношения к которой не имела (очерки публиковались преимущественно в «Красной нови»), и тем более до того, как развернулась дискуссия «о живом человеке» (слова А. Фадеева приводятся Э.С. Соловей со ссылкой на журнал «На литературном посту» 1927 г.) «Живые люди» в текстах писательницы появлялись, скорее, вследствие антропоцентрической оптики, сформированной под влиянием реалистической литературы конца XIX — начала XX в. и физиологических очерков русских писателей. При этом Л.М. Рейснер не использовала метод психологического анализа, характерного для реалистической литературы. Рабочие, инженеры, забойщики, макальщицы и другие встречавшиеся на ее пути люди, имевшие свои биографии и судьбы, — это все-таки функции, часть производственного процесса, и только потом «живые люди». Не случайно в очерке, посвященном рудникам Билимбая, рудокопы обрели гномические черты (которые, впрочем, не являлись художественным открытием Л.М. Рейснер, уральские люди-гномы встречаются в очерках Д.Н. Мамина-Сибиряка и других писателей, описывавших жизнь уральских приисков): «Здесь рудокоп копошится под самым животом земли, навалившимся, почти раздавившим людей, их фонарики, стук их лопат и игрушечный отголосок взрывов»[2].

Автодокументализм очерков

Самозабвенно погружаясь в уральскую жизнь, Л.М. Рейснер тем не менее оставалась верна самой себе. Ее сознание милитаризировано: «Этот мирный фронт, особенно в решающий период восстановления, был столь же напряженным, требовал такой же

[1] *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 117.
[2] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 292.

самоотдачи…», как все тот же 1918 г.[1] Ее волновала не только текущая действительность, но и живая связь времен: история, отраженная в современности, и современность в отсветах истории.

> «Советская Ревда — на старом месте; контора и фабзавком — где, по Умнову, в белом доме-дворце жили грозные владыки Демидовы. Псарня и прачечная, устроенные под садом, обвалились, от дома жив только нижний этаж, верхний обгорел до круглых бровей над узкими окнами. Но вход в завод как раз между старой конторой и запасными воротами, у которых расстреляли тех двести шестьдесят человек», —

записала она, совместив память о Демидовых с памятью о недавних событиях братоубийственной войны[2].

Стараясь быть точной, отмечать малейшие детали окружающей жизни, Л.М. Рейснер неизбежно транслировала собственные мировоззренческие установки. Например, открывающий книгу очерк «Билимбай. (Рудник)» она начала с описания типического для Урала ландшафта — сосны и горы, — ландшафта, который был ценен не сам по себе, но как пространство, приближавшее встречу с приисками:

> «Стволы сосен, светлея вековым загаром, стоят над холмами, как рукояти огромных лопат, воткнутых искателем, и так забыты. За ними веселая синеглазая речка, как будто прошедшая мимо этих лесистых пригорков, даже не взглянув на них, отвернувшись к далеким приисковым деревням»[3].

Шахта, которую посетила Л.М. Рейснер, истово борется за выживание: подточенные водой породы могут снести сваи и подпорки и забрать жизни забойщиков. Условия труда здесь тяжелые. Но писательнице было важно подчеркнуть, что «каждый взмах кирки на этих дьявольских рудниках совершается в надежде на скорое наступление жизни более человеческой и справедливой»[4]. В этом начальном фрагменте очерка сводились воедино уральская горнозаводская специфика и физиологический и при том «революционизирующий» взгляд Л.М. Рейснер, замечавшей самые разнообразные аспекты «мирного фронта».

Еще одна особенность текстов Л.М. Рейснер (и не только уральских) — внимание к женской судьбе. К примеру, о работницах кирпичного отделения Ревдинского завода она писала:

[1] *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 120.
[2] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 300.
[3] Там же. С. 289.
[4] Там же. С. 293.

> «За первые двести шестьдесят пирогов повариха получает в день, в долгую восьмичасовую смену, 52 ½ копейки. Столько же за шестьдесят труб плюс надбавка за все лишнее. В скобках: в этом цехе работают исключительно вдовы и одинокие с тремя-четырьмя детьми на руках. Почти все — члены партии. Две пожилые работницы сорока пяти — сорока девяти лет записались еще во время войны. Старшая из сестер потеряла двух сыновей — добровольцев в Красной [Армии]»[1].

Женская судьба также определялась пережитой войной, перенесенными потерями и только потом особенностями трудовой деятельности. В некоторых фрагментах очерков проявлялась даже профеминистская оптика. Описывая труд макальщиц в эмалировочном цеху Лысьвы, писательница замечала: «К жалобам женщин, особенно этого цеха, относятся не очень серьезно. Между тем даже старая макальщица, на месте которой не каждый мужчина выдержит, получает по пятому-шестому разряду»[2]. Наделяя ценностью женскую судьбу, женский труд, Л.М. Рейснер работала со своеобразным автокоммуникативным «зеркалом», указывавшим на гендер писавшей[3], не обозначаемый прямо, но и, несмотря на принятые писавшей маскулинные роли политика, журналиста и так далее, все же не осознававшийся как нечто, что требует преодоления. Это тоже зафиксировало автодокументализм текстов Л.М. Рейснер.

«Развитие литературы факта должно идти не по линии сближения с высокой литературой, а по линии расхождения», — теоретизировал Виктор Шкловский[4]. Однако очерки Л.М. Рейснер не стали литературой факта, о которой грезили лефовцы. Индивидуальное начало в них определялось авторской стилистикой, особым сплавом лирического и эпического, явленным в языке и системе тропов.

> «В этой страстной, полемической и вдумчивой книге дан по-прежнему крепкий сплав журналистики и литературы. Оперативность, по-газетному острое и отнюдь не поверхностное чувство современности в сочетании с подлинною художественностью», —

замечала наиболее детально осмыслившая уральские тексты Л.М. Рейснер Э.С. Соловей[5].

[1] Там же. С. 301.
[2] Там же. С. 318.
[3] См. об этом: *Минец Д.В.* Гендерная концептосфера женского мемуарно-автобиографического дискурса: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Вологда, 2012.
[4] *Шкловский В.Б.* О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 250.
[5] *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 113.

«Экспрессионистский, насыщенный метафорами стиль ее книг, с помощью которого она стремилась схватить пафос времени, наталкивается на неприятие со стороны пролетарской критики, но именно этот стиль поднимает образ времени, запечатленный ею в богатстве ассоциаций, над уровнем обычной журналистики, способствуя художественности ее произведений», —

подчеркивал В. Казак[1]. Не удивительно, что очерки оказались наполнены экспрессивной образностью. Про Алексея Кашина, мастера домны на Билимбаевском заводе Л.М. Рейснер писала:

«…Ему стоит одним глазом сквозь свое синее стеклышко, засаленное, как и обшлага его тужурки, заглянуть в белый зев печи, где, как листики, как лепестки, трепещут и растворяются в белом молоке чугуна пудовые глыбы металла и угля, чтобы отличить качество сплава, чтобы узнать, не слишком ли много было брошено в этот железный крюшон березы и ели, этих легких, нестойких пород, которым далеко до белого жара, до чистого, неподражаемого пламени, заключенного в твердом, как железо, маслянистом и сочном, как кедровый орешек, безукоризненно стройном теле столетней сосны»[2].

Из ревдинских наблюдений писательницы:

«В первой мельнице, где два сумасшедших колеса дробят каменную муку из огромных обломков кварца, работают два напудренных, белых мельника, сгребая в кучу и просеивая через решето песок, который машина непрестанно отскабливает железным ногтем от грохочущей, скачущей, дымящейся ступы. Дышат им и задыхаются. Во второй дробилке машина четырьмя чугунными ногами, поставленными в ряд, топчет более мелкий щебень. Во рту и горле — шершаво и сухо, как промокательная бумага»[3].

Появилась здесь и нередкая для литературы модернизма тема обреченности человеческой жизни:

«По этим гниловатым, сырым и кривым деревяшкам рабочие, смена за сменой, идут в шахту и выходят из нее. Оторвавшиеся камешки с особенным, стукающимся при падении о стенки, совершенно неописуемым шумом срываются в черную трубу»[4].

Подобного рода описания прямо или косвенно отражали настроения Л.М. Рейснер, напоминая о дневниковом начале в очерках.

В заключение приведем слова Э.С. Соловей, которая, говоря об очерках Л.М. Рейснер, подчеркнула: «Что-то необычайно поэтичное

[1] *Казак В.* Указ. соч. С. 640.

[2] *Рейснер Л.М.* Избранное. С. 295.

[3] Там же. С. 301.

[4] Там же. С. 291.

и таинственное есть в описании таежных пожаров и старейших промышленных гнезд — что-то от уральских сказов, от “Малахитовой шкатулки”»[1]. Однако несмотря на то, что очерки Л.М. Рейснер были вполне «беллетристическими вещами»[2], они ни по отдельности, ни книгой в целом (вполне благосклонно принятой критикой[3]) не стали тем, чем стала для Урала «Малахитовая шкатулка» или даже авантюрно-приключенческие повести А.П. Гайдара 1920-х гг.: литературой, отчасти моделировавшей образ Урала, отчасти предлагавшей новый набор инструментов для описания региона (от авантюрно-приключенческого сюжета до формы сказа). И хотя очерки Л.М. Рейснер сначала широко публиковались в периодике, а затем не единожды перепечатывались в ней же, — их сложно назвать востребованными даже в среде литераторов (не случайно Вера Инбер в воспоминаниях о Л.М. Рейснер назвала уральскую книгу менее удачной, чем другие циклы очерков[4]). Став своего рода эталоном «газетной литературы», очерки, даже объединенные в книгу, не получили известности у широкого читателя. Возможно, напиши Л.М. Рейснер роман-трилогию о трех поколениях уральского пролетариата[5], как она задумывала изначально, картина была бы несколько иная: Урал мог стать топосом широко известного романа-эпопеи задолго до «Каменного пояса» Е.А. Федорова или «Логов» А.П. Бондина.

Как бы то ни было, книга очерков Л.М. Рейснер важна для понимания эволюции форм и способов описания региона. С одной стороны, она засвидетельствовала процесс превращения производственного очерка в один из ведущих жанров эпохи восстановления хозяйства и индустриализации, с другой — как всякая автодокументальная литература, зафиксировала уральскую современность с ее горнозаводскими ландшафтами, заводами и рудниками и, наконец, живыми людьми и одновременно продемонстрировала ее через призму авторского мировоззрения, в рамках которого не последнее место занимали милитарность и политическая оптика советского активиста.

[1] *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 125.

[2] См.: *Боронина Е.* Лариса Рейснер // Залп. 1931. № 2. С. 46.

[3] В. Полонский, в частности, отмечал по этому поводу: «Книжка заслуживает широкого распространения». (*Полонский В.* Указ. соч. С. 344).

[4] См.: *Инбер В.* Организованность — вот настоящее слово // Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. С. 190.

[5] См. подробнее: *Соловей Э.С.* Указ. соч. С. 125.

Глава II.4. Партийная автобиография: становление жанра в 1920–1930 гг.[1]

(О.Л. Лейбович)

Тайны рождения партийной автобиографии

Историки, работающие с личными делами номенклатурных партийных работников, находят среди документов листки бумаги под заголовком «автобиография». Это всегда рукописи, исполненные либо чернилами, либо химическим карандашом, разборчивым или совсем не читаемым почерком, с грамматическими ошибками или, напротив, грамотно, обычно без помарок и очень разные по объему: от тетрадной странички до нескольких исписанных на лицевой и оборотной стороне листов, скрепленных между собой.

По своему происхождению партийное делопроизводство 1920–1930-х гг. являлось прямым наследником и преемником бюрократического делопроизводства XIX столетия. Именно тогда «канцелярские универсалии» распространяются «на все многообразие социальных реалий», элиминируют авторскую индивидуальность. «Бумага стала невероятно узнаваемой — она превратилась в документ»[2]. Однако чиновники Российской империи автобиографии по начальству не представляли. Некоторое исключение составляли лишь лица, претендовавшие на звание магистра в университетах. Им полагалось предъявлять совету краткое жизнеописание. Канцелярии императорских университетов хранили сжатое в 3–4 строчки curriculum vitae соискателей на преподавательскую должность.

Только в ходатайствах по начальству или прошениях на высочайшее имя исследователь можно обнаружить сведения о заслугах и тяготах просителей.

Не удалось установить, по чьей инициативе в партийное делопроизводство был введен этот вид документов. Известны только причины,

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00221 «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX в. в историко-литературном контексте».

[2] *Орлова Г.* Изобретая документ: бумажная траектория российской канцелярии // Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? Сб. статей / под ред. И.М. Каспэ. М.: НЛО, 2013. С. 52.

побудившие высшее руководство РКП(б) искать новые способы получения информации об ответственных работниках, по ироничному замечанию В.И. Ленина, коммунистических и советских «кавалерах»[1]. В согласии с председателем Совнаркома кадетский писатель из приват-доцентов без обиняков аттестовал их «новым дворянством»[2].

Оно было весьма многочисленным. По переписи ответственных работников, проведенной в 1921 г., их численность достигла 4700 человек[3]. Что собой представляли эти люди, в большинстве своем совершенно незнакомые партийным вождям, не удалось выяснить по анкетам, состоявшим из 59 основных пунктов. В.И. Ленин, заполнив ее, отругал В.М. Молотова:

> «Написав анкету или листок последней переписи членов РКП, я пришел к твердому убеждению, что дело статистики в ЦК (а, вероятно, и все учетно-распределительное дело) поставлено никуда не годно. Либо статистикой у Вас заведует дурак, либо где-то в этих “отделах” (ежели так называются сии учреждения при ЦК) на важных постах сидят дураки и педанты, а присмотреть Вам, очевидно, некогда… Была перепись “ответственных работников”? Результат, очевидно, тоже нуль; хуже, вероятно, результат минус»[4].

Причины ленинского недовольства ясны: из анкет и переписных листов нельзя получить аутентичную информацию о новых партийных кадрах, в том числе, об их политическом прошлом, о характере большевистской идейности, об их деловых возможностях[5].

[1] См.: *Ленин В.И.* Политический Отчет Центрального Комитета РКП(б) IX съезду РКП(б), 27 марта 1922 г. // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 45. М.: Политиздат, 1975. С. 82–83.

[2] «“Российская коммунистическая партия” не является ни рабочей, ни вообще политической партией. Она представляет собой закрытую, привилегированную касту господ, властвующую над народом при помощи военной силы и живущую за его счет, то есть новое дворянство» (*Kulischer A.M.* Das Wesen des Sowjetstaates. Berlin: Verlag für Politik und Wirtschaft, 1921. S. 73).

[3] См.: *Ленин В.И.* Указ. соч. С. 95.

[4] *Ленин В.И.* Письмо В.М. Молотову о работе статистического и учетно-распределительного отделов ЦК РКП(б), 14 февраля 1922 г. // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. М.: Политиздат, 1974. С. 392, 393.

[5] Ленин испытывал, например, недоверие к бывшим товарищам по социал-демократической партии — меньшевикам и требовал их удаления из РКП(б): «Как частную задачу чистки партии, я бы указал еще на чистку ее от бывших меньшевиков. По-моему, из меньшевиков, вступивших в партию позже начала 1918 года, надо бы оставить в партии, примерно, не более одной сотой доли, да и то проверив каждого оставляемого трижды и четырежды» (*Ленин В.И.* О чистке партии // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 44. С. 123).

В.П. Ногин на XI съезде РКП(б) сформулировал необходимость более полных сведений об ответственных партийцах — сотрудниках аппарата ЦК: «Эти товарищи, — я даже не могу перечислить их фамилии, — в партии никому не известны… Все это хорошие партийные товарищи, но это — партийная бюрократия, партийные чиновники»[1].

Более того, партийные анкеты не позволяют выяснить индивидуальность даже старого большевика:

> «Известно также, что все мы переписали бесконечное количество анкет, в которых имеется бесконечное количество вопросов, но в то же время вы знаете, что во всех этих опросниках нет тех вопросов, которые давали бы вам возможность сравнить какого-нибудь товарища, работающего, предположим, 20 лет в партии, с другим товарищем, который тоже 20 лет работает в ней. У всех таких товарищей окажутся приблизительно одинаковые данные; характеристики, определяющей действительную физиономию отдельного товарища, в этих анкетах вы не найдете»[2].

Анкеты, стало быть, недостаточны, материалы переписи ненадежны. При такой оценке ситуации высшим партийным руководством кажется вполне естественным сделать следующий шаг в деле учета партийных кадров — обязать ответственных работников, а вслед за ними и всех членов партии написать автобиографию.

Унификация материалов партийного учета была произведена в 1929 г. Личные дела ответственных работников приобрели тогда «определенную форму с развернутой автобиографией, личным листком по учету кадров и дополнением к нему в случае продолжения пребывания работника в номенклатуре»[3].

По своему функциональному назначению картонные папки с завязками со штампом «секретно» на лицевой стороне служили одним из необходимых инструментов управленческих практик в их предметном воплощении[4].

[1] Протоколы XI съезда РКП(б). М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. С. 65.

[2] Там же. С. 68.

[3] *Капчинский О.И.* Гвардейцы Ленина. Центральный аппарат ВЧК: структура и кадры. 2-е изд., стереотип. М.: Крафт+, 2017. С. 39.

[4] Французский исследователь Ив. Коэн едва ли не первым обратил внимание на то, что историки советской эпохи долгое время пренебрегали «материальностью практик» властного администрирования, обращая внимание исключительно на «человеческие отношения», но исключая из изучения их предметную сторону: средства коммуникации, диктующие и формы взаимодействия, и «графические способы» передачи информации (см.: *Cohen Iv.* Administration, politique et techniques: Reflexions sur la materialite des practiques administratives dans la Russie stalinienne (1922–1940) // Cahiers du monde russe. 2003. Vol. 44. № 2–3. P. 275).

В системе партийного учета — в картотеке номенклатурных работников автобиография характеризовала «“делопроизводственное *Я*” советских граждан». Автобиография, вложенная в личное дело, по существу, представляла собой развернутое по шаблону переложение анкеты в виде сплошного текста. Поставленные в ней вопросы

> «структурировали автобиографический рассказ и в значительной мере определяли его содержание. После правды о себе в форме ответов на вопросы, заданные государством, человек должен было “проговорить” ее сам, “своим голосом” и от первого лица, тем самым превращая ее в свою правду. Понятно, что между обеими “правдами” не должно было быть разночтений»[1].

В автобиографиях номенклатурных работников, по словам Б. Штудера, можно обнаружить только его «партийное лицо».

Это казенная бумага в ряду таких же казенных бумаг может заинтересовать историка, изучающего функционирование партийно-государственных институтов в разные периоды советской истории; требования, предъявляемые «решающим все» кадровым работникам, и их адаптацию к этим требованиям.

Искать в них личностное начало представляется мало целесообразным. «Они отражают реальность, в которой жили авторы текстов… Даже возможные искажение в них оказываются свидетельством эпохи»[2]. В советском источниковедении служебные автобиографии не относились к так называемым источникам личного происхождения.

Б. Штудер, работавший с автобиографиями из личных дел работников Коминтерна — дел, окончательно сформированных в середине 1930-х гг. по заранее предписанной единой схеме, сделал вывод: «В партийных автобиографиях индивиды, как правило, не постигаются. Эти документы отнюдь не являются формой проявления индивидуальности как подчеркивания того, что специфично и уникально для личности, что отличает ее от других». Б. Штудер аргументировал свой тезис тем, что

> «между нами и автором стоит разделительная стена, сложенная из оборотов речи, неизменных формул и цитат из официальных

[1] *Зарецкий Ю.П.* Моя жизнь для Государства: Массовая практика составления делопроизводственных автобиографий советскими людьми // Новое литературное обозрение. 2019. Т. 157. № 3. С. 107–127.

[2] *Штополь Е.А., Фоминых С.Ф.* Автобиографии и анкеты кандидатов в члены ВКП(Б) как исторический источник: на материалах партийной организации ТГУ (конец 1920-х — начало 1930-х гг.) // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие». Ноябрь 2016 г.: сб. избранных статей / вып. ред. Ю.Ф. Эльзессер. Новосибирск: «Нацразвитие», 2016. С. 146.

идеологический материалов, деталей жизнеописаний, заданных на официальном уровне и превращавших в свое рода “шапку-невидимку” автора»[1].

Ищем литературную традицию

Отметим только то, что первоначально партийные автобиографии явно тяготели к иному литературному жанру, сложившемуся в эпоху Просвещения и неразрывно связанному с формированием человеческой субъектности[2].

Власти здесь решали несколько взаимосвязанных задач: заново переписать в большевистском духе уже сложившуюся в революционном и околореволюционном лагере традицию освободительного движения; придать личностное измерение Октябрьскому перевороту, наконец, собрать материалы об истории РКП(б), годами бывшей на нелегальном положении, как и другие социалистические партии. Конспиративность была и условием выживания революционных организаций, и модусом вивенди их работников.

[1] *Штудер Б., Унфрид Б.* Сталинские партийные кадры. Практика идентификации и дискурсы в Советском Союзе 1930-х гг. М.: РОССПЭН, 2011. С. 107.

[2] См.: *Misch G.* Geschichte der Autobiographie. Leipzig: Teubner Verlag, 1907; *Weintraub K.J.* The Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography. Chicago: University of Chicago, 1978. «Изучение ими автобиографических свидетельств основывалось при этом на трех исходных посылках. Первая — что история индивидуализма (вариант — субъективности, *Я*, индивидуальности, личности) и история автобиографии неразрывно, “естественным образом”, связаны, причем эта связь однонаправленна: трансформации индивида во времени имеют своим следствием трансформации порождаемых им автобиографических форм. Вторая — что это развитие имеет хотя и неравномерный, но безусловно прогрессивный характер: чем ближе к нашему времени, тем более обособленным становится индивид и тем более развитой и сложной становится его личность (соответственно, то же самое происходит и с автобиографическими текстами, в которых она находит отражение). Наконец, что индивид/личность/*Я*/субъект, несмотря на их историческую изменчивость, по своей сути являются онтологическими субстанциями: в том или ином виде они всегда присутствуют в человеческом обществе, являясь источником (само)сознания каждого отдельного человека» (*Зарецкий Ю.* История субъективности и история автобиографии: важные обновления // Неприкосновенный запас. 2012. № 3: Электронный ресурс. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2012/3/istoriya-subektivnosti-i-istoriya-avtobiografii-vazhnye-obnovleniya.html (дата обращения: 15.06.2021). Современные интерпретации автобиографического жанра см.: *Безрогов В.Г.* В тисках автобиографии: новые зарубежные справочные издания по истории рассказов о себе и своей жизни // Человек. 2004. № 4. С. 156–166; *Зарецкий Ю.П.* Свидетельства о себе «маленьких» людей: новые исследования голландских историков // Социальная история: Ежегодн. СПб.: Алетейя, 2008. С. 329–340; *Он же.* Свидетельства о себе «маленьких» людей: новые исследования французских историков // Cogito. Альманах истории идей. Вып. 5. Ростов н/Д: Изд-во DSM Group, 2011. С. 54–68.

> Разве, благодаря все тем же условиям, все тому же отсутствию свободы и неприкосновенности личности, много у нас найдется лиц, которые вели бы дневники и записки о тех событиях участниками или свидетелями которых сделала их судьба», — спрашивал редактор журнала «Былое» в 1906 г.[1].

Историю социалистических партий восстанавливали по документам жандармского делопроизводства. При этом случались казусы:

> «В 1957 г. был опубликован полицейский документ о заседании Петербургского комитета большевиков 25 февраля 1917 г. необыкновенно боевого содержания. Это было агентское донесение, в котором сообщалось, что на заседании предлагалось 27 февраля в случае, если правительство не примет мер к подавлению движения, приступить к строительству баррикад, прекращению подачи электричества, порче водопровода и телефонов»[2].

Один из ленинградских историков, спустя 10 лет побывавший у М.Г. Павловой, хозяйки конспиративной квартиры, «… познакомил ее с документом о заседании ПК 25 февраля 1917 г. и спросил о ее мнении».

> «“Голубчик, — ответила она, — это очень просто. На заседании ПК, как правило, присутствовал кто-нибудь из полицейских агентов. В это время, скорее всего, — Озол или Шурканов. Я думаю, что это был Шурканов, у него было 14 детей. Он имел обыкновение сам наговорить побольше всяких ужасов, там ведь не сказано, наверное, кто что предлагал, а потом просил у жандармского офицера повысить плату ввиду важности сообщенного”»[3].

Кроме того, в распоряжении историков партии были речи обвиняемых на политических процессах, занесенные в протоколы судебных заседаний и следственные материалы политической полиции. В них можно было обнаружить и документы автобиографического характера. Так, В.Н. Фигнер после ареста сочла возможным предложить жандармскому начальству не вывозить ее на допросы, а дать в камеру перо, чернила и бумагу:

> «Я сразу заявила, что не вижу нужды и не намерена скрывать что-либо из моей революционной деятельности за период до

[1] От редакции // Былое. Журнал, посвященный истории освободительного движения. 1906. № 1. С. V.

[2] *Ганелин Р.Ш.* Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х — 1970-х годах. СПб.: Нестор-История, 2004. С. 112–113.

[3] Там же.

1 марта 1881 года, так как мои показания будут касаться событий, которые уже раскрыты, и лиц, которые уже осуждены. Что же касается дальнейшего, то никаких показаний я дать не могу. Я предложила не вызывать меня из крепости, а давать бумагу и чернила в камеру, где я могу написать все, что найду возможным, сдавая листы по мере их написания смотрителю. Так составился документ, который был извлечен из судебных архивов, раскрытых революцией 1917 года, и напечатан в журнале “Былое”»[1].

Старые большевики рассказывают свои истории…

Чтобы освободиться от жандармских интерпретаций, оценок и описаний, а также размежеваться с бывшими товарищами по революционному лагерю, ЦК РКП(б) учредил Истпарт — Комиссию по истории Октябрьской революции и РКП(б) при Центральном комитете партии для сбора воспоминаний и документов, сохранившихся в частных руках[2]. Судя по названию, власти присвоили ей достаточно высокий статус. В результате работы Истпарта был собран и издан корпус автобиографий деятелей большевистской партии, опубликованных в отдельном томе энциклопедии «Гранат» в 1927 г.

«Большим недочетом при изучении английской и французской революции является отсутствие подобных автобиографий их деятелей», —

объясняли инициаторы проекта свой замысел.

«Необходимо, чтобы русская революция не была их лишена. В виду этого редакция сочла нужным по отношению к деятелям Октября и Союза ССР отступить от принятой в Словаре системы биобиблиографических указателей и дать, по возможности, свод автобиографий, хотя бы и очень сжатых»[3].

В реальности получилось иначе. Люди, как правило, исписывали десятки страниц, чтобы рассказать, как они избежали предуготовленной им участи сделаться заурядными обывателями, повторить путь своих родителей, коснеть в невежестве, в пошлости мещанской жизни или в «идиотизме» жизни крестьянской. Вот выдержки из

[1] *Фигнер В.Н.* Воспоминания: В 3 т. Т. 1. СПб.: Издательская инициатива because АКТ, 2019. С. 343. Имеется в виду публикация: Из автобиографии Веры Фигнер (первое показание в 1883 г.) // Былое. 1917. № 2–4.

[2] См.: *Трофимова А.М.* Общество старых большевиков: путь от ленинской гвардии к сталинской лекторской группе // Вестник Костромского гос. ун-та. 2018. № 1. С. 169.

[3] Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат / [репринтное изд.]. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 347.

автобиографии Семена Ивановича Аралова — в годы Гражданской войны члена Реввоенсовета республики:

«Родился в г. Москве 17(30) декабря 1880 г., в средней купеческой замоскворецкой семье. Прадед и дед с отцовской стороны вышли из крестьянской среды, Каширского уезда. Вскоре после моего рождения начался коммерческий упадок семьи. Небольшой кожевенный завод закрылся. В моей памяти сохранился эпизод распродажи живого инвентаря, лошадей, запечатлелось в памяти подвальное помещение, в котором жили и работали рабочие этого завода. Помещение полутемное. Мы же помещались в верхнем этаже. Эта разница сильно и резко запечатлелась в моем сознании. Со смертью деда был продан дом, и небольшие остатки средств были разделены между братьями и сестрами отца.

Далее братья отца поступили на работу, отец же стал заниматься комиссионерством. Мать умерла на второй год моего рождения. Отец не занимался младшим сыном. Отец часто разъезжал, мало бывал дома и остатки средств тратил на то, чтобы внешне не уступить образу жизни золотой молодежи.

Я помню, что еще с очень раннего возраста мне претила эта жизнь, я тянулся вниз к прислуге, к дворнику, к няне. С ними я чувствовал себя хорошо. Любил с ними разговаривать, слушать их рассказы и сетования на тяжелую жизнь. Как-то смутно помню чей-то рассказ из прислуживающих об убийстве Александра II, и этот рассказ глубоко запал, так что мне впоследствии казалось, что это событие произошло на моей памяти.

Из собственн[ого] дома отец с сыновьями перебрался на частную квартиру, сперва большую, потом меньшую, но все продолжал поддерживать “хороший тон”, давать большие вечера, созывать гостей, хотя и происходили по этому поводу разговоры о недостатке денег, дороговизне и пр. Отдали меня учиться по традиции в Моск[овское] коммерч[еское] училище. Но школа меня не удовлетворяла, мало с кем из товарищей сошелся. Состав преподавателей был неважен. Учился средне. Помню несколько случаев, оставивших глубокий след. Так, директор приучал нас к шпионству, к выдаванию товарищей. Он вызывал к себе в кабинет, сперва наводил страх, причем стучал ногами, руками, тряс за плечи, а потом ласково уговаривал выдать товарищей, совершивших тот или другой проступок. Создавалась ненависть к учителям, к школьной среде. Дома противна была мещанская обстановка. Создалась ненависть к отцу, его купеческим замашкам, к его презрению к “челяди”.

И явилось желание противопоставить себя им. Я старался особой ласковостью, предупредительностью и вниманием расположить к себе домашнюю прислугу, теперь уже немногочисленную, состоящую из двух человек. Они это отмечали и часто бывали на моей стороне, я их иногда подговаривал не слушаться и противоречить дядям и теткам. Из шестого класса за неуспешность, выразившуюся в получении за закон божий 0 или 1 (точно не помню), я ушел из коммерч[еского] училища и перешел в частное коммерч[еское] училище К. Мазинга, которое и окончил. Там большое влияние на меня оказал историк В.Н. Сторожов. Его уроки явились для меня откровением после уроков "Иловайскому".

В 1902 г. я поступил вольноопределяющимся в Перновский гренадерский полк, где впервые познакомился с революционными настроениями. Здесь окончательно оформились во мне революционные стремления, которые бродили с очень раннего возраста.

Среди вольноопределяющихся находился студент А.К. Топорков, социал-демократ. Под его влиянием я принялся за изучение Маркса. Припоминается мне теперь, с какими трудностями старались мы раздобыть то или другое сочинение Плеханова, Маркса. В одном из книжных магазинов нам обещали найти запрещенное "Развитие монистического взгляда на историю", за которую пришлось заплатить найденные с большим трудом 25 рубл[ей] "Коммунистический манифест" впервые принес мне Топорков на французском языке. К периоду отбывания воинской повинности относится моя первая техническая работа для партийной организации, как хранение нелегальной литературы, распределение ее по указываемым местам и первоначальные беседы в рабочих кружках. Обстановка казармы и муштра в учебной команде усиливала революционную ненависть к самодержавному строю.

Квартира моя была около Зоологического сада. В ней был склад оружия, литературы, и вместе с тем она служила явочным местом для партийных товарищей. В это же время я вступил в военную организацию московского комитета, которая организовывалась во главе с т. Ярославским, Землячкой и др. на неостывшем еще пепле баррикадных редутов. Всецело посвящаю себя работе в ней, исполняя различные поручения, участвуя в собраниях военной организации. Одновременно с этой работой я поступил в Московский Коммерч[еский] институт, где тогда велись занятия по вечерам, и в один из московских банков, вместе с тем подрабатывая репититорство-

ванием. Немного ранее этого времени я женился. Появились семейные заботы, не дававшие возможности быстро окончить Коммерческий институт; партийная работа отнимала у меня большую часть времени. В 1907 г. произошел провал собрания, съехавшихся из разных мест представителей военных организаций. Были арестованы видные руководители, и работа расстроилась. Пришлось оставить временно непосредственную работу партийной организации, но я продолжал учиться в Коммерч[еском] институте и поступил наставником в Рукавишниковский исправительный приют для малолетних преступников и одновременно вел занятия на Пречистенских вечерних курсах для рабочих, где руководил экскурсиями, кружками по изучению политической экономии и занимался партийной пропагандной работой. Так шло до 1914 г., когда с началом империалистическ[ой] войны был призван на военную службу в качестве прапорщика и зачислен в 7-ой гренадерский Самогитский полк. Вскоре был перечислен в Сухаревский полк 54 дивизии, с которым и отправился на фронт. На западном фронте был переброшен в 28 дивизию в Новоторжский полк в Восточной Пруссии, где сразу же принял участие в сражении. Во время войны пришлось участвовать более, чем 20 сражениях»[1].

Затем С. Аралов возвращается в большевистскую партию, получает высокие назначения: Реввоенсовет республики, Реввоенсовет 12 армии. После Гражданской войны переходит на службу в дипломатическое ведомства. Последний раздел автобиографии С.И. Аралова состоит из перечисления должностей.

Автор сообщает о себе: происхожу из буржуазной, но разорившейся семьи. С отцом у меня не было и нет ничего общего. Он принадлежал к «золотой молодежи», пил, кутил и дурно обращался с прислугой. В свою очередь, мальчик к прислуге относился по-доброму, более того, приобщал ее на семейном уровне к «классовой борьбе». Сам же стойко противостоял «религиозному дурману»: «ноль» или «единица» за закон божий, а с ним и школьной администрации, за что был подвергнут репрессии — исключен из коммерческого училища. На действительной военной службе проникся революционными настроениями. Стал читать К. Маркса. Более того, преисполнился партийной ненавистью уже не к полковому начальству, а ко всему самодержавному строю. В декабре 1905 г. вступил в военную организацию московского комитета РСДРП, но сделал

[1] Деятели СССР и революционного движения России. С. 351–353.

этот шаг уже после баррикадных боев на Пресне. В 1907 г. от партии отдалился: надо было получать высшее образование, искать должность, кормить семью. К тому же и организация провалилась, то есть рассыпалась. Пришла война, призвали в армию.

О своей офицерской службе он рассказывает с гордостью, не называя, правда, ни наград, ни последнего чина. Аралов закончил службу штабс-капитаном. Читателю же сообщает, что он был боевым офицером, участвовал в 20 сражениях.

В этом жизнеописании можно найти некоторые компоненты из унифицированных автобиографий 1930-х гг.: время и место рождения, происхождение, образование, время вступления в партию (но без указаний партийного стажа), участие в революционной деятельности и должности в советских аппаратах. Тем не менее от этих автобиографий приведенный текст отличается литературностью. Автор строит его по образцам «романа воспитания» или — в другой редакции «романа взросления». В нем герой

> «становится вместе с миром, отражает в себе историческое становление самого мира. Он уже не внутри эпохи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой. Этот переход совершается в нем и через него. Он принужден становиться новым, небывалым еще типом человека»[1].

Об этом, собственно, и идет речь в автобиографии С.И. Аралова. Она повествует о том, как сын замоскворецкого купчика становится советским государственным деятелем. Естественно, в таком жизнеописании необходимо присутствуют фрагменты, повествующие о переживаниях героя, его чувствах, впечатлениях и пр.

В еврейском варианте революционной автобиографии обнаруживаются сходные сюжеты:

> «Богуславский, Михаил Соломонович (автобиография), род[ился] 1 мая 1886 г. в пос. Крюкове, Полтавской губ., Кременчугск[ого] уезда. Отец — портной, ремесленник. В семье были еще двое детей от первой жены отца (умершей) и трое детей от второй жены (моей матери). В пять лет я был отдан на обучение в домашнюю еврейскую школу (“хедер”), в которой учился до 8 лет, до смерти матери. Оставшись с шестью малолетними детьми на руках, отец женился в третий раз на молодой женщине. Ежегодно пошли дети, которых содержать делалось все труднее и труднее. Нередко огромная семья по целым дням сидела без хлеба, в ожидании пока “заказчики” отдадут отцу его грошевый заработок. Голодная жизнь дополнялась “междуусобицей” — почти постоянными спорами, а нередко и драками между детьми от разных матерей, драками, во время которых мачехе приходилось “умиротворять” и тех и других. В доме был постоянный ад, и отчасти этим можно объяснить, что отец частенько попадал с получкой не домой, а к приятелям, а иногда попросту в кабак. Частые появления отца домой в пьяном виде, без денег вызывали ожесточение мачехи, которая страдала и от “чужих детей”, и от постоянных нехваток, и от частых выпивок мужа»[1].

Далее М. Богуславский рассказывает о том, как его травили сверстники за то, что был «портновским сыном», и как мальчика обучали:

> «Учеба в этой “талмуд-торе» была сплошным мучением: она находилась в Кременчуге т[о] е[сть] на расстоянии 6–7 верст от дома (Крюкова), и приходилось туда ходить, вставая еще до восхода солнца (занятия начинались в 8 час[ов]), причем за малейшее опоздание немилосердно били, приучая к “аккуратности”. Кроме того, страшно тяготило смутное детское сознание, что ты хуже остальных детей, которые (даже бывшие близкие товарищи) стали избегать совместных игр, прогулок, затей и т. п. Взяв из школы, отец начинает приучать меня к портновскому производству».

В конце концов, он стал типографским рабочим:

> «Спустя 5 лет, в начале 1904 г., я окончил срок обучения в типографии, получив звание подмастерья и жалованье 18 рубл[ей] в месяц. Через несколько месяцев опубликовывается “разъяснение» сената о том, что наборное дело является не ремеслом, а искусством, а потому евреи-наборщики не являются ремесленниками и, следовательно, лишаются права жительства вне черты еврейской оседлости. Это разъяснение заставляет меня вместе с другими еврейскими наборщиками покинуть в серед[ине] 1904 г. Киев и вернуться в Харьков»[2].

После этого М. Богуславский участвовал в забастовочном движении, вступил в РСДРП(б), а в годы Гражданской войны был комиссаром. Затем, в феврале 1924 г. он «был назначен зам[естителем] предс[едателя] главного Управл[ения] Государств[енного] Страхования», а 1 сентября 1924 г. — председателем Малого Совнаркома[3].

---

[1] *Бахтин М.* Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров, примеч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. С. 203.

[1] Деятели СССР и революционного движения России. С. 364–367.

[2] Там же.

[3] Там же.

Автобиография М.С. Богуславского написана по тому же литературному канону. Теперь не узнать, читал ли он трилогию М. Горького: «Детство — В людях — Мои университеты». Однако сюжетное сходство с нею очень легко обнаруживается: нищета, драки, запойное пьянство отца. Добавлен разве что еврейский колорит: черта оседлости, талмуд-тора, удушливый мирок религиозной общины. И выход из него благодаря рабочей профессии, знакомству с социалистической литературой, вступлению в социал-демократическую партию. И вот маленький изгой — «портновский сын» — становится большим советским работником. Даты и должности вплетены в повествование, но его основное содержание предъявлено в психологическом ключе. Складывается впечатление, что большевистский комиссар ищет с большим опозданием сочувствия, даже сострадания, так не доставшей ему в детские годы теплоты и заботы.

И еще одна примечательная черта. М.С. Богуславский упоминает месячное жалование — 18 рублей. Он не уточняет, было это много или мало в 1904 г., видимо, рассчитывая на то, что читатели сами в состоянии ответить на этот вопрос. Для М.С. Богуславского жалование в 18 рублей — символ выхода из нищенского состояния, показатель его профессиональной состоятельности.

Чекист пишет автобиографию. Н.М. Быстрых о своей юности

Тема денег, едва здесь затронутая, возникает в большем масштабе в не предназначенной для печати служебной автобиографии украинского «гепеура» высокого ранга — начальника пограничной части войск Украинского военного округа Николая Михайловича Быстрых. Он был уроженцем Мотовилихинского казенного завода (заводом называлось в те годы и фабрика, и поселок при ней — место жительства и начальства, и мастеровых), там же начинал службу начальником пулеметной команды в красногвардейском отряде[1]. Материалы о Н.М. Быстрых собирал пермский журналист М.Н. Колпаков. В его

[1] Быстрых Николай Михайлович (1893–1939) — кадровый сотрудник ВЧК — ОГПУ — НКВД, комиссар госбезопасности третьего ранга (1935 г.). Последняя должность — заместитель начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Арестован 23 октября 1938. Военной коллегией Верховного суда СССР 22 февраля 1939 г. приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Реабилитирован 22 сентября 1956 г. (см.: Быстрых Николай Михайлович // *Плеханов А.А., Плеханов А.М.* Всероссийская чрезвычайная комиссия СНК. (7(20) декабря 1917 — 6 февраля 1922). Краткий справочник. М.: СВГБ, 2011. С. 65; *Марченко А.Т.* Николай Быстрых // Пограничники. М.: Молодая гвардия, 1977).

фонде в Государственном архиве Пермского края сохранились копии документов из центральных архивов, в том числе и копия автобиографии Н.М. Быстрых от 10 ноября 1923 г. Она, состоящая из шести частей, четче структурирована, нежели предназначенные для печати тексты подобного содержания. Каждая часть выделена заголовком: 1) социальное положение; 2) интеллектуальное развитие и образование; 3) партийная принадлежность; 4) участие в общественной жизни до Февральской революции; 5) репрессии и судимость; 6) работа после Февральской революции. По своему объему эти части отличаются между собой. Самая крупная — первая часть. Она состоит из 299 слов; самая малая пятая — из 49 слов. Отличаются они и по способу изложения: свободное живое повествование в первых частях; сухое перечисление должностей — в последней, «о работе после Февральской революции». Текст о социальном происхождении заслуживает того, чтобы привести его целиком, опустив анкетные данные — время и место рождения:

> «Отец был токарь по металлу до 46-летнего возраста, после двух увечий был на пенсии, получал 10 рублей в месяц и при семье в 8 человек детей зарабатывал пением. Впоследствии перешел в псаломщики и дьяконом умер 52 лет. Условия жизни в семье были тяжелы, благодаря скверного экономического состояния, я в 14 лет начал жить самостоятельной жизнью и ушел из семьи и начал работать подручным мальчиком на заводе: в семье был нелюбимым, благодаря скверного моего поведения в школе, после чего я вынужден был уйти из семьи — благодаря физических притеснений отца. Материальная обеспеченность в первого месяца самостоятельной работы в 1907 году выражалась от 10 до 20 рублей, а с 1909 года от 30 до 50 рублей, а с 1911 по 1914 год от 80 до 120 рублей, когда я уже считался квалифицированным токарем и слесарем по металлу на этом же заводе. Живя в рабочей семье с детства и попав с 14 лет на фабрику, меня окружала исключительно рабочая среда и я воспитывал в себе, исключительно, рабочий дух. Я так полюбил свою профессию металлиста, что меня не тянуло ни на какую другую работу, кроме того, моими товарищами по станку были старые революционеры, от которых я получил политическое воспитание. В царскую армию попал на действительную службу в 1914 году, прослужив в 194 Троицко-Сергиевском полку, 107 запасном полку и в 3 Саратовском пулеметном полку, получил в этих частях специальное военное образование, окончив две учебные команды — пехотную и пулеметную, после чего был произведен в ст[аршие] унтер-офицеры. Условия

службы были чрезвычайно тяжелы, а отношение к военной службе вообще было отрицательное. Окружающая меня среда была исключительно кулацко-крестьянская, за редким исключением 3–5 товарищей из рабочих, с которыми я больше дружил, делясь старыми воспоминаниями. Отношение к другим было исключительно служебное. Рабочий день на военной службе был всегда 18 часов»[1].

Отец — рабочий, но отнюдь не передовой. «Перешел в псаломщики». Условия жизни в семье тяжелые из-за «скверного экономического состояния»[2].Сам он в семье был изгоем: отец «притеснял», по всей вероятности, просто бил смертным боем, наказывал за дурное поведение в школе. В 14 лет ушел в люди, но не «мальчиком» в лавку или в ремесленную мастерскую, а на завод. И вот здесь Н.М. Быстрых, занимавший в 1923 г., что называется — генеральскую должность, с явным удовольствием отмечает свои достижения, измеряя их повышением заработной платы в двухгодовом интервале: 10 — 20 рублей в первые два года; затем 30 — 50 рублей; в конце концов, 80 — 150 рублей[3].

В другой части автобиографии Н.М. Быстрых добавляет еще одну характеристику своих социальных достижений — образовательную:

«В 1901 году поступил в Мотовилихинское министерское двухклассное училище, учился 5 лет и его окончил. Работая уже на фабрике, окончил годичные графические курсы и на следующий год тоже годичные технические курсы. А уже на военной службе в 1915 году сдал экзамен экстерном за 4 класса гимназии, хотев из меня сделать офицера, но социальное положение помешало этому»[4].

Неуклюжий оборот «хотев из меня сделать» оставляет намеренно неясным субъекта этого желания. То ли это воинское начальство, то ли сам автор. Указание на «социальное положение» как на препятствие выдает сохранившуюся на годы горечь от несостоявшейся офицерской карьеры.

Николай Быстрых был человеком амбициозным и явно склонным преувеличивать свои достижения. Слесарь по металлу в казенном Мотовилихинском заводе вряд ли мог претендовать на сторублевую заработную плату[1]. Ссылка на пролетарское происхождение больше всего напоминает способ преодоления не изжитой до 1923 г. фрустрации[2].

О своем участии в революционном подполье Н.М. Быстрых сообщил скупо, не называя никаких имен:

«Первый раз в нелегальный период я вступил в Мотовилихинском заводе в профессиональный союз металлистов и состоял в нем тоже до 1914 года. Состоял членом кооператива “Самопомощь” и был членом об[щест]ва “Народный дом” в г. Перми, принимая активное участие. Участвовал во всех забастовках на заводе с 1911 по 1914 год, забастовки были экономического характера»[3].

Несколько раз Н.М. Быстрых попадал в участок, однажды провел в нем «на выседке» 10 дней, но к суду не привлекался, административных кар также избежал. В РСДРП(б) он вступил в августе 1917 г.

Здесь важно отметить, что Н.М. Быстрых, рассказывая о себе историю, явно полностью доверял своему руководству, иначе бы не упомянул об инвалиде-отце, певшем для заработка на клиросе, ограничился бы указанием на его заводскую профессию — токарь по металлу, а также вряд ли стал бы преувеличивать свои заработки. Отношение в РКП(б) к рабочей аристократии было заведомо

---

[1] Автобиография Быстрых Н.М., 10 ноября 1923 г. // Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-952. Оп. 1. Д. 31. Л. 40.

[2] В протоколе допроса Н.М. Быстрых раскроет один источников «скверного экономического состояния»: «У нас в семье были все пьющие, а брат Владимир — исключительный алкоголик» (Из протокола допроса Быстрых Н.М., без даты // ГАПК. Ф. Р-952. Оп. 1. Д. 31. Л. 7).

[3] Примерно столько же получали со всеми добавками в 1913 г. офицеры русской императорской армии в чине капитана в должности командира роты (см.: *Веремеев Ю.* Денежное содержание офицеров в России в 1913 году // Сапер: Анатомия армии: Электронный ресурс. URL: http://army.armor.kiev.ua/hist/voen-oklad-1913.php (дата обращения: 15.06.2021).

[4] Автобиография Быстрых Н.М. Л. 40–41.

[1] На Мотовилихинском заводе среднегодовая зарплата рабочих составляла 432 рубля. Максимальная зарплата не достигала и 60 рублей (см.: *Фельдман М.А.* К вопросу о материальном положении рабочих Урала к 1914 г. // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. трудов. Вып. 2. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 158–159).

[2] На самом деле, производство в офицеры, то есть откомандирование в школу прапорщиков молодых людей, имевших соответствующее образование, происходило в массовом порядке без учета сословного происхождения. Унтер-офицер из рабочих, в советское время генерал, вспоминал, как стал офицером военного времени: «Сегодня утром меня вызвал фельдфебель и объявил, что приказано отправить всех имеющих образование в школы прапорщиков. Офицерами будете, — поощрительно сказал фельдфебель, как будто от него зависело производство в офицеры» (*Герасимов М.Н.* Пробуждение. М.: Воениздат, 1965. С. 50).

[3] Автобиография Быстрых Н.М. Л. 43. О том, что в это время Н.М. Быстрых примыкал к меньшевикам, в автобиографии не указано (см.: *Шаповал Ю.И., Золотарев В.А.* «Гильотина Украины»: нарком Всеволод Балицкий и его судьба. М: Политическая энциклопедия, 2017. С. 76).

негативным из доктринальных соображений и коллективного социального опыта в эпоху войн и революций. И упоминание о том, что хотел стать офицером, да не взяли, для большевика было неуместным. Соблазн для фабричного рабочего был очень велик[1].

Н.М. Быстрых надеялся, что командование правильно оценит его откровенность хотя бы в восприятии ушедшей реальности. Какая-то толика наивности сохранилась в нем до конца дней. В своем последнем слове перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР Быстрых сказал, а секретарь записал: «Моя единственная беда заключается в том, что все мои начальники оказались врагами народа, хотя я в это и не верю»[2].

В 1923 г. он считал для себя возможным исповедаться перед ними, исповедаться, как умел, с преувеличениями, застарелыми обидами. В самом конце автобиографии счел необходимым показать себя исполнительным служакой из унтер-офицеров: «Работаю с желанием и считаю целесообразным свое использование»[3].

Автобиография Н.М. Быстрых 1923 г. обладает всеми чертами эго-документа, пусть и облеченного в форму казенной бумаги. Это рассказ о себе: доверительный, откровенный, хотя с некоторым лукавством и с умолчаниями, с вплетением в повествование слов из местного говора («выседка»), с меняющейся оптикой, позволяющей укрупнить одни биографические факты и уменьшить другие. В длинном перечне должностей он упоминает без всяких подробностей о работе начальником особого отдела 6-й армии Южного фронта. В конце 1920 — начале 1921 г. Н.М. Быстрых был одним организаторов красного террора в Крыму[4]. Об этом эпизоде своей службы в ВЧК он в автобиографии не пишет ничего, зато упоминает об исполнении различных поручений

[1] Ср. размышления Г.К. Жукова об иной, возможной траектории жизненного пути: «И кто его знает, как бы вышло, если бы я оказался не солдатом, а офицером, если бы кончил школу прапорщиков, отличился в боях, получил бы уже другие офицерские чины и к этому времени разразилась бы революция. Куда бы я пошел под влиянием тех или иных обстоятельств, где бы оказался? Может быть, доживал бы где-нибудь свой век в эмиграции? Конечно, потом, через год-другой, я был уже сознательным человеком, уже определил свой путь, уже знал, куда идти и за что воевать, но тогда, в самом начале, если бы моя судьба сложилась по-другому, если бы я оказался офицером, кто знает, как было бы. Сколько искалеченных судеб оказалось в то время у таких же людей из народа, как я» (*Симонов К.* К биографии Г.К. Жукова. Часть вторая: Записи бесед // Хронос: Электронный ресурс. URL: http://hrono.ru/libris/lib_s/simonov26.php (дата обращения: 15.06.2021).

[2] Протокол № 6 судебного заседания Военной коллегии Верховного суда, 22 февраля 1939 г. // ГАПК. Ф. Р-952. Оп. 1. Д. 31. Л. 10–11.

[3] Автобиография Быстрых Н.М. Л. 43.

[4] См.: 12 тысяч. Крымские расстрелы, 20 ноября 1920 — 18 апреля 1921 г. // Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга десятая / авт.-сост. Я. Тинченко. Киев: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2021. С. 112–114, 118.

«революционных военных советов армий, так, например, на Западном фронте был уполномоченным по приему и доставлению через фронт двух польских мирных делегатов»[1].

Метафора «автопортрет» не кажется в данном случае удачной. Жизнеописание Н.М. Быстрых напоминает скорее режиссерский сценарий фильма: один кадр сменяется другим; камера то приближается к актеру и показывает его крупным планом, то отъезжает на предельное расстояние. Монтаж подчинен режиссерской воле. А в самом конце появляются титры с перечислением должностей и мест службы главного действующего лица.

По-военному кратко и не очень

Необходимо отметить, что такой способ самопрезентации в официальных партийных документах был характерен для людей 1920–1930 гг. Это отчетливо видно из самоописаний военных деятелей того периода, опубликованных в «Военно-историческом журнале» на рубеже 1980–1990 гг. в рубрике «Эпоха в автобиографиях». Для анализа возьмем три автобиографии: И.П. Уборевича (1924 г.), А.И. Седякина (1935 г.) и Н.Н. Воронова (1938 г.)

Автобиография И.П. Уборевича отличается от современных ему документов такого же жанра, главным образом, лаконичностью, хотя все необходимые компоненты в ней присутствуют: социальное происхождение; образование, политическое созревание, военно-революционная активность:

> «Родители — литовцы-крестьяне, бывшие крепостные. Земли было около 3/4 десятины на душу. Все годы, с 1896 по 1909-й, провел в деревне, принимая посильное участие в хозяйстве — пастухом, а с десяти лет во всей работе — пашня, боротьба. Зимы учился в ближайшей сельской школе в местечке Дусяты. Говорят, что показал я большие способности, и учитель, занимаясь со мной отдельно, подготовил в 3-й класс экстерном в реальное училище в Двинск, куда и выдержал [экзамены]»[2].

[1] Автобиография Быстрых Н.М. Л. 43. Н.М. Быстрых вспоминает об эпизоде советско-польской войны, точнее, о ее дипломатической стороне. В августе 1920 г., когда разворачивалась битва за Варшаву, дипломатические миссии двух стран начали переговоры о перемирии в Минске. Н.М. Быстрых было поручено обеспечить переход польских уполномоченных через линию фронта, что в условиях непрекращающихся встречных боев было отнюдь не простой операцией (см.: *Мельтюхов М.И.* Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918–1939 гг. М.: Вече, 2001. С. 83–84).

[2] Иероним Петрович Уборевич, 20 декабря 1924 г. // Военно-исторический журнал. 1989. № 2. С. 81–83. (Эпоха в автобиографиях).

В первом же абзаце И.П. Уборевич фиксирует внимание на своей интеллектуальной одаренности. Здесь повествование от первого лица прерывается, слово передается третьим, не названным лицам: «говорят, что показал большие способности».

Далее он сообщает о начале революционной активности в детские годы:

> «Мальчиком в Дусятах в организации “сицилистов”, не зная точно целей и задач, распространял прокламации, переписывал их от руки для размножения. 1909–1914 гг. учился в реальном училище. Хотя жил в среде рабочих, но ни на какую политическую группировку не наткнулся. Участвовал только в так называемых “массовках”. Годы прошли совершенно политически бесцветно»[1].

Ирония здесь легко прочитывается и по отношению к себе — несмышленому, и по отношению к «сицилистам», привлекающим в организацию сущих младенцев, и к итогу своей ранней «революционности». У подростка-реалиста от нее ничего не остается.

> «На фронте [в] 1916 году — в 15-м тяж[елом] артдиве — младшим офицером. Обычная фронтовая жизнь, без проблеска политической мысли. К концу 1916 года стал сближаться с несколькими товарищами — членами РСДРП, точно оттенков большевизма, меньшевизма не знал. С 1917 года, с момента Февральской революции (застала нашу часть в Бессарабии), развернулась работа политических партий, и я мог себя окончательно определить в смысле своего политического»[2].

О боевой работе младший офицер 15 тяжелого артдивизиона не сообщает ничего: обычная фронтовая жизнь. Вновь подчеркивает: политикой не интересовался, чем отличались большевики от меньшевиков, не знал.

> «В августе 1917 года я очутился лектором на солдатских курсах 5-й армии (царской). На этих же курсах соорганизовалась Красная гвардия, во главе которой я стал в Октябрьские дни 1917 года, будучи до этого взводным. После этого я отдался работе в Красной гвардии. С наступлением немцев 1918 году 18 февраля весь отряд был разбит, я ранен и взят в плен. В тюрьме немецкой просидел 4 1/2 месяца и из Ракишек бежал в июле 1918 года в Сов[етскую] Россию. После прибытия в Сов[етскую] Россию с отрядом “железняков”-питерцев поехал на Архангельский фронт против [английского] десанта... Работал сначала комбатареи, потом отряда, потом бригады Сев[ерная] Двина и начдивом до 18 августа 1919 [года]. В октябре 1919 года получил армию 14-ю, провел операции до февраля 1920 года. В феврале принял на Кавказе IX армию и провел операции до взятия Краснодара, Новороссийска. Потом опять [получил] 14-ю армию [и воевал] против поляков. С августа 1920 года по 15 ноября [получил] 13-ю армию [и воевал] против Врангеля, потом 14-ю — против Петлюры. Потом летом 1921 года — против бандитов Тамбовщины. Усмирял в Белоруссии бандитизм как комвойск Белорусского района. С августа 1921 года [командовал] 5-й армией в Сибири против Унгерна, Бакича, [при] освобождении Монголии. [В] 1922 году как главком НРА вел операцию за освобождение ДВР от японцев. Потом командарм — 5 до 1924 года… За все это время, как видно, чисто военной работы партийной и политической работой занимался как работник Красной Армии.
> Участвовал в партконференциях и советских съездах. С 1922 г. до убытия с Дальнего Востока в 1924 г. состоял членом Дальбюро ЦК РКП(б). Этот период наиболее дал возможность заниматься партийной и советской работой. В смысле политобразования я в значительной мере практик, самоучка и не все еще успел преодолеть в теории социологических наук. Мой рабочий день в среднем около 10–12 часов. Здоровье слабое. Семья — двое детей, жена, заработок 165 рублей»[1].

Загруженность по службе (анкету составлял новоиспеченный командующий Украинским военным округом), семейная жизнь и слабое здоровье служат своего рода оправданием: хотел бы преодолеть «теорию социологических наук», но времени не остается.

Молодой человек, не доживший еще до тридцати лет, о своем слабом здоровье в автобиографии упоминает дважды, в том числе об «общем расстройстве», от которого лечился в том же 1924 г. несколько месяцев[2].

Структура автобиографии в достаточной мере выражает основные черты самоидентификации командующего округом. Он представляет себя профессиональным военным, лояльным советской власти и партии. Свою преданность ей Уборевич аргументирует военными победами. Перечисление успешных операций занимает самое большое место в автобиографии. Поверженных врагов

[1] Иероним Петрович Уборевич, 20 декабря 1924 г. С. 81–83.

[2] Там же.

[1] Там же.

[2] Там же. С. 83.

он помнит по имени: Врангель, Петлюра, Унгерн, Бакич, «бандиты Тамбовщины», белополяки…

Уборевич — хороший большевик, участвовал в партийных конференциях, состоял членом партийного бюро, но время вступления в РКП(б) указать забыл. О кратковременном начальстве над отрядом Красной гвардии бывший подпоручик вспомнил, а о партийном стаже нет. На первый взгляд, кажется, что перед нами автобиография «военспеца» из старых офицеров. Новой власти лоялен, но поскольку воспитан в старых правилах, то и учиться вашему марксизму не стану. Даже слово такое не употреблю, найду ему нейтральную замену: теория социологических наук. А служить буду честно, поскольку иначе не умею. Заискивать перед новыми властителями не буду. Но И.П. Уборевич — отнюдь не военспец на службе у большевиков: и по возрасту, и по прежней социальной среде, и по своему должностному положению он принадлежал к иному поколению красных командиров — субалтерн-офицеров Великой войны, ставших командармами войны Гражданской. И поневоле задаешься вопросом, чем на деле являлась нарочитая небрежность по отношению к партийной догматике? Демонстрацией своей независимости по отношению к политическим инстанциям или своего рода инсценировкой? Молодой командарм примеривал на себя чужой мундир старого служаки, израненного, но готового к новым сражениям, «преданного без лести» Престолу и Отечеству, а в новой обстановке РКП(б) и СССР? Или и тем и другим сразу? Однозначного ответа уже не получить. Но здесь важно увидеть в служебном документе не партийного лицо и не «делопроизводственное Я», а прямое высказывание о себе, способ самопрезентации собственной индивидуальности.

В автобиографии командарма 2 ранга Александра Игнатьевича Седякина формальные моменты выражены более четко. По своей структуре она следует пунктам анкеты и в соответствии с ними пронумерована. Пункт 1. — происхождение, пункт 15 — служба в настоящее время:

> «1. Сын рабочего. Кончил землемерное училище в 1914 г. В училище в Красноярске был руководителем нелегальной школьной кассы взаимопомощи и редактором нелегального соц[иал]-демократ[ического] журнала. Кончил курс училища осенью 1914 г.
> 2. Взят по призыву и назначен к обучению в Иркутское военное училище в ноябре 1914 г. Назначен командиром взвода в 151-й пех[отный] Пятигорский полк (под Двинском. Северный фронт) в октябре 1915 г.

> Командовал в этом полку взводом, ротой, батальоном, пулеметной командой — до Февральской революции. Считали меня образованным и храбрым офицером в полку и, между прочим, в шутку называли социал-демократом. Принимал участие в трех кровопролитнейших сражениях в районах Двинска и Риги. Пять раз висел на [колючей] проволоке. Дважды ранен»[1].

Бывший офицер А.И. Седякин в первых пунктах автобиографии акцентировал три момента: пролетарское происхождение, участие в социал-демократических кружках с юных лет, воинскую доблесть.

Далее под пунктом 3 он рассказал о своем активном участии в революционных событиях на фронте в 1917 г.:

> «В августе 1917 г. вступил в РСДРП (большевиков) и был избран на всеармейской] конференции большевиков и сочувствующих секретарем армейского комитета РСДРП(б) 5-й армии. Организовывал подготовку к восстанию в армии.
> В октябре избран зам[естителем] председателя армейского комитета 5-й армии».

Пункт 4 был посвящен Октябрьскому перевороту:

> «В августе, сентябре, октябре вместе с т[оварищами] Позерном и Склянским организовывал подготовку к восстанию в армии. В ночь с 24 на 25 октября по телеграмме из Петрограда был под моим председательством создан военно-револ[юционный] к[омите]т 5-й армии. Моей телеграммой по армии в полках, дивизиях, корпусах стали у власти наши большевистские комиссары, заранее подготовленные. Провел успешную работу с командармом — 5 Болдыревым. Посадил над ним комиссара армии большевика Собакина»[2].

Но в самом перевороте А.И. Седякин не участвовал:

> «29 октября пошла у меня кровь горлом; эвакуирован в Москву, потом в отпуск [в] Курган. Выздоравливая, редактировал нашу партийную газету. Избран от Северного фронта по списку с[оциал]-д[емократов]-большевиков членом Учредительного собрания. В январе был на III съезде Советов и вернулся в армию к 15 января. Избран председателем армейского исполнительного комитета 5-й армии. Формировал отряды Красной Армии и эвакуировал боеприпасы, деньги, имущество. Отвел в возможном порядке всю 5-ю армию с оружием»[3].

---

[1] Александр Игнатьевич Седякин, 28 апреля 1935 г. // Военно-исторический журнал. 1989. № 3. С. 78–81. (Эпоха в автобиографиях).

[2] Там же.

[3] Там же.

Свое участие в Гражданской войне А.И. Седякин описывает патетически, даже романтично:

> «10. Шли люди в тыл врагу, не боясь за свою судьбу, — верили мне, и я в них верил. Я только и делал, что собирал разбегавшиеся полки и дивизии и вел их в бой. Труднейшее было время. Но здесь я прошел школу — как надо абсолютно небоеспособные войска (толпы!) делать боеспособными.
> В районе Черная Долина впервые потерпел поражение в бою против корпуса Кутепова. Но силы были неравные, и сам я был недостаточно бдителен и предусмотрителен. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Здесь я прочувствовал и тайну оперативного маневра.
> 11. С августа по декабрь 1920 г. в моей боевой работе перерыв, за недисциплинированность и неудачи в боях с Кутеповым. Командую зап[асными] бригадами в Брянске и Иркутске с августа по декабрь 1920 г.
> 12. В феврале прибываю в Ленинград принимать 11-ю стр[елковую] дивизию. Идет волынка. Кронштадтцы подняли бунт. Комвойск ЛВО Авров 3 марта посылает меня в Ораниенбаум "присмотреть" за 189-й бригадой. "Присмотревшись", решаю сам командовать. И мало-помалу организовал Южную группу 7-й армии.
> Затем с помощью сначала т[оварища] Лепсе, а потом Климентия Ефремовича Ворошилова и делегатов X съезда ВКП(б) подавил бунт в 27-й дивизии и успешно штурмовал Кронштадт. Это был мой первый уже оперативный успех, корни которого в уроках поражения при Черной Долине. Награжден орденом Красного Знамени. В 1921 г. восстановил и укрепил крепость Кронштадт, будучи комендантом крепости. С августа 1921 г. по сентябрь 1923 г. состоял комендантом Петроградского укрепленного района и начальником Петроградского гарнизона. Член Петроградского Совета все эти годы. С ноября 1923 г. по март 1924 г. командовал 5-й Краснознаменной Дальневосточной армией и был членом Дальневосточного ревкома.
> Здесь в течение месяца без шума ликвидировал бандитизм и два белогвардейских восстания»[1].

А.И. Седякин нашел возможность еще раз отметить свои заслуги в Гражданской войне, взяв к себе в помощь анонимных ленинградских рабочих:

> «На всех крупных заводах Ленинграда старые рабочие меня хорошо знали по Кронштадту, по Ленинграду и Карелии как боевого командира, героя Гражданской войны и встретили меня очень тепло»[1].

В последних пунктах автобиографии А.И. Седякин подвел итоги своей работы в РККА после Гражданской войны:

> «Самое, как мне думается, тяжелое дело в работе центрального аппарата. Пережил немало неприятностей, работая почти в одиночку над новыми труднейшими вопросами тактики и методики боевой подготовки. Дрался за строгую дисциплину, за рационализацию, за живое руководство, за самостоятельного, инициативного командира и штаб»[2].

Автобиография А.И. Седякина интересна своей несобранностью. По своему содержанию и способу изложения она распадается на две плохо между собой связанные части. Назовем их условно анкетной и импрессионистской. По форме она напоминает партийную анкету сотрудников аппарата Коминтерна образца 1935 года, только в ней больше пунктов[3]. А.М. Седякин скрупулезно по датам перечисляет свои военные должности на советской службе, награды и взыскания. Более того, он называет имена людей, которые могли подтвердить его показания. Прежде всего, с надлежащим почтением наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова. Он единственный, кому в автобиографии сохранено имя и отчество. Перед другими фамилиями стоит скромное обозначение — «т[оварищ]». В соответствии со сложившейся к тому времени делопроизводственной нормой А.И. Седякин Петроград в 1921 г. именует Ленинградом. Из короткого перечня организаторов большевистского переворота в армии он удаляет запретное имя — И.Т. Смилги, в 1917 г. члена ЦК РСДРП(б) и доверенного лица В.И. Ленина.

В соответствии со сложившейся традицией А.И. Седякин ничего не сообщает ни о досрочном производстве в чины, ни о наградах, полученных им в годы Великой войны. В послужном списке штабс-капитана Седякина указаны золотое георгиевское оружие, ордена Св. Анны 4-й степени, Св. Станислава 2-й степени[4].

---

[1] Александр Игнатьевич Седякин, 28 апреля 1935 г. С. 78–81.

[2] Там же.

[3] См.: *Штудер Б., Унфрид Б.* Указ. соч. С. 97.

[4] См.: Седякин Александр Игнатьевич (1931–1932) // Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого: Об Академии: Начальники Академии: Электронный ресурс. URL: http://varvsn.mil.ru/Ob_akademii/Nachalniki-akademii/item/1382/ (дата обращения: 15.06.2021).

Некоторые из названных им партийных и военных работников не могли в 1935 г. засвидетельствовать истинность автобиографических сведений: Авров[1] и Склянский[2] к тому времени ушли из жизни.

Следует заметить, что А.И. Седякин ничего не сообщает о своем отношении к генеральной линии партии, хотя в анкетах того времени содержится целый блок вопросов на эту тему.

Тем не менее новые официальные требования к служебным автобиографиям здесь соблюдены. Однако А.И. Седякин добавляет в документ военного делопроизводства отнюдь для него не обязательные, более того, избыточные эмоциональные моменты. В ней вполне адекватно передано ностальгическое чувство о тех временах, когда «люди верили мне, и я в них верил». Из контекста очевидно, что сейчас, в 1935 г., дела обстоят иначе. Или люди поменялись, или доверие к красному командиру пошатнулось. В автобиографии ощущается чувство обиды. Климентий Ефремович явно меня недооценивает. И тогда я зову на помощь «старых рабочих», чтобы они удостоверили: товарищ Седякин остается героем Гражданской войны. По всей вероятности, у кого-то из военного или партийного начальства появились какие-то сомнения на его счет: «С лета 1926 г. начинается полоса переброс ок… В 1931 г. нарком признал, что мне надо переменить работу, чему я был очень рад»[3]. Чтобы нейтрализовать упреки или обвинения не названных, но явно известных ему недоброжелателей, А.И. Седякин использует для апологии свою служебную автобиографию. Он дает самую высокую оценку своей работе в центральном аппарате Наркомата обороны, перечисляет заслуги и достижения на должности начальника Военно-технической академии. Казенным языком служебных характеристик А.И. Седякин пытается скрыть переполнявшие его эмоции: ностальгию по военному братству, накопившиеся обиды, неуверенность в своем действительном положении и надежду на будущее — надежду, связанную с большим человеком в руководстве страной — Климом Ворошиловым. И одновременно, вольно или невольно, он их демонстрирует. Скорее всего,

[1] Авров Дмитрий Николаевич (1890–1922) — офицер военного времени, штабс-капитан. В РККА с 1918 г. Во время Кронштадтского мятежа — командующий 7-й армией. См.: Авров Дмитрий Николаевич // Хронос: Электронный ресурс. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/avrov_dn.php (дата обращения: 15.06.2021).

[2] Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) — социал-демократ из студентов-медиков, большевик. В 1918–1924 гг. — заместитель председателя Реввоенсовета республики. См.: *Зимин Я. Г.* Склянский Эфраим Маркович // История государства: Электронный ресурс. URL: https://statehistory.ru/books/pod-red--D--P--Nenarokova_Revvoensovet--Respubliki/4 (дата обращения: 15.06.2021).

[3] Александр Игнатьевич Седякин, 28 апреля 1935 г. С. 80–81.

невольно. Военному человеку не пристало быть сентиментальным, мнительным и обидчивым. Тем не менее служебная автобиография А.И. Седякина свидетельствует именно о таком эмоциональном состоянии человека. Возможно, ситуативном, возможно, укорененном.

Для характеристики содержания служебной автобиографии А.И. Седякина представляется уместной метафора «кентавр». Ее анкетная часть не согласуется с частью эмоциональной. Первая сообщает начальству о надежном военном работнике, умеющем исполнять сложные поручения, о твердом командире с широким кругозором; а вторая — о человеке, переживающем психологический надлом, неуверенном в себе, нуждающемся в эмоциональной поддержке от своего патрона. Оба *Я*, в ней обнаруживаемые, вполне реальны; они свидетельствуют о разорванной, разъединенной идентичности. По мнению С. Бойм, «дискурсивные провалы и непоследовательность» в эго-документах (в дневниках) советских людей наиболее показательны для любого исследования субъективности[1].

В служебной характеристике Н.Н. Воронова дискурсивных провалов нет. Все формулировки находятся на своих местах:

> «Родился в гор[оде] Ленинграде 5 мая 1899 года в семье конторского служащего. Отец Воронов Николай Терентьевич до Октябрьской революции работал счетоводом в сберкассе, Тульском земельном банке и одно время артистом. Мать Валентина Андреевна занималась домашним хозяйством. Умерла в 1908 г. В данное время отец работает сельским учителем в Ленинградской области, станция Чолово, колхоз “Красный Бор”, он в 1937 г. получил звание народного учителя.
>
> За границей я и моя жена никаких родственников не имели и не имеем.
>
> С 1916 г. до Октябрьской революции работал писарем у частного присяжного поверенного на Бассейной ул. в гор[оде] Ленинграде, в то же время продолжал учиться на общеобразовательные курсах в городе Ленинграде. Мое общее образование: 4 класса реального училища, сдал экстерном в 1916 г. экзамены при Петроградском учебном округе за 6 классов гимназии и в 1917 г. сдал экзамены там же за 8 классов по всем предметам за исключением латинского языка. Военное образование: в 1918 г. 18 сентября окончил вторые Советские петроградские артиллерийские курсы (ныне первое Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище), в 1924 году

[1] См.: *Бойм С.* Как сделана «советская субъективность»? // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 288–289.

окончил годичный курс АККУКС, с 1927 г. учился и окончил Академию им[ени] Фрунзе в 1930 году по первому разряду.
Принимал участие в Февральской революции 1917 г., в Ленинграде с рабочими Выборгской стороны громили арсенал, уничтожали полицейские участки, их канцелярии и т. д.
Октябрьская революция застала меня больным в постели, в результате чего участия [в ней] не принимал. По выздоровлении пошел работать в госбанк на место саботирующих чиновников.
В члены ВКП(б) был принят 15 апреля 1919 г. на фронте под Псковом в парторганизации второй гаубичной батареи 10-й стрелковой дивизии. Партбилет № 0471724. В других партиях не состоял, никогда ни в каких антипартийных, контрреволюционных организациях не состоял. В антипартийной белорусско-толмачевской группировке не участвовал. За 19,5 года пребывания [в] рядах ВКП(б) имею одно партийное взыскание — выговор за притупление классовой бдительности (при наличии сигнала не сумел вскрыть врага народа Андриашева), до этого не имел даже каких-либо замечаний. За все время работы в рядах ВКП(б) всегда боролся за генеральную линию партии, неоднократно избирался в секретари низовых парторганизаций, члены партбюро, члены райкомов ВКП(б) городов Москвы и Ленинграда. Никогда не состоял ни в каких антисоветских, заговорщицких, шпионских, фашистских, националистических — контрреволюционных организациях. Всегда работал и работаю честно и добросовестно, был, есть и всегда буду верен делу Ленина — Сталина»[1].

Партийное *Я* предъявлено в соответствии с установленными правилами. Язык осовременен: Петербург назван Ленинградом; РКП(б) переименована в ВКП(б). Время и место приема в партию указано. Приверженность генеральной линии выделена дважды: ни в какой оппозиции не участвовал, ни в каких заговорщических организациях не состоял. «Делу партии Ленина — Сталина верен». Связей с заграницей не было и нет. Происхождение, правда, не рабочее: из служащих. И в штурме Зимнего не участвовал по уважительной причине — болел, зато хорошо и много учился. В тексте автобиографии нет никаких имен, кроме врага народа Андриашева[2].

[1] Николай Николаевич Воронов, 25 октября 1938 года // Военно-исторический журнал. 1988. № 6. С. 62–63. (Эпоха в автобиографиях).

[2] Андрияшев Леонид Прокопьевич (1891–1938). Расстрелян в августе 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. См.: Андрияшев Леонид Прокофьевич // Расстрелянное поколение. Или 37-й и другие годы. Биографический справочник: Электронный ресурс. URL: http://1937god.info/taxonomy/term/456 (дата обращения: 15.06.2021).

Автобиография Н.Н. Воронова представляет собой «механическое повторение ответов» на анкетные вопросы. Из нее ясно лишь то, что командир РККА четко усвоил партийный язык, его формулировки и обороты, оказался в состоянии изложить свой жизненный путь в установленных терминах. Если в ней и присутствует *Я*, то исключительно делопроизводственное. Следует согласиться с Ю.П. Зарецким, что автобиография такого вида представляла собой «оформление советской идентичности» по готовым прописям[1]. Вряд ли представляется возможным интерпретировать их в терминах эго-документов. Канцелярские обороты по природе своей безличны. То, что кажется исследователю личной стратегией, может оказаться принятой казенной нормой, например, болезнь как оправдание своего неучастия в важных событиях и пр.

Подведем итоги

Партийная автобиография является эго-документом в том случае, если она выполнена по привнесенным для нее извне правилам, то есть как «обязательство правдиво и достоверно рассказать о себе». Рассказать человеку или людям, способным оценить твой рассказ, разделить твои чувства и, возможно, ответить взаимностью, то есть искренностью на искренность. Ф. Лежен назвал такую ситуацию «автобиографическим пактом»[2]. Речь идет о конвенции, которую хотел бы заключить автор повествования о себе с читателем, то есть пойти навстречу его ожиданиям. Здесь возможны разные варианты. Автор из личного опыта твердо знает, чего от него ждет партийное или военное начальство, или сомневается, пытаясь угадать, что именно хотят прочитать в составленном им документе, или приписывает высокопоставленному читателю собственное представление об этом. Читателя с именем, фамилией и должностью могло заменить мифическое существо: советская власть, партия и т. п.

В любом случае, речь идет о переработке собственного прошлого, его преобразовании в организованную, связную и осмысленную историю личности. Причем смыслы эти заданы извне — из большевистского языка, революционной традиции, партийных директив. Их интериоризация в автобиографию не является механическим процессом. Человек, изобретающий свою историю, привносит в нее собственные образы времени, дополняет официальные языковые формы своими собственными словами, производит сложную процедуру соединения в одном

[1] См.: *Зарецкий Ю.П.* Моя жизнь для Государства.

[2] См.: *Лежён Ф.* От автобиографии к рассказу о себе, от университета к ассоциации любителей: история одного гуманитария // Неприкосновенный запас. 2012. № 3(83). С. 199–217.

тексте новых (официальных) и старых (воспитанных средой) ценностных ориентаций. В ранних партийных автобиографиях обнаруживаются «швы» — разделительные линии между разнородными культурными пластами, указывающими на неполноту, незавершенность их слияния в единое целое. Историк, работающий в парадигме субъектности, может извлечь из них ценнейший материал о становлении советского *Я* или *Мы* в их содержательной противоречивости.

Для любого повествования, разумеется, существуют готовые образцы. Для партийных автобиографий раннего периода они заимствуются из воспоминаний участников освободительного, революционного движения, насыщенных рефлексией по поводу избранного пути, а также описанием переживаний, впечатлений, надежд, то есть всего того, что охватывается понятием «эмоциональный режим»[1]. Обнаружив его следы, историк может применить аналитические процедуры, позволяющие реконструировать идентичность партийца, как правило, не сводимую к одной-единственной доминанте. Указанные процедуры тяготеют к «уликовой парадигме» К. Гинзбурга, то есть к извлечению из текста сообщений о «незначительных, второстепенных, рутинных, даже бессознательных действий» и соответствующей их интерпретации как улик, указывающих на скрытые формы человеческого поведения[2].

В партийных автобиографиях, выполненных по канцелярскому шаблону, не представляется возможным ни применить уликовый метод, ни реконструировать собственное *Я*, надежно обернутое в казенные формулировки. Здесь образцом служит анкета.

Ответственные работники осваивали партийный новояз в течение двух десятилетий. Два года «большого террора» освободили многих из них от иллюзий «автобиографического пакта». К тому времени и партийный язык обрел свою совершенную форму, просуществовавшую с некоторыми незначительными коррективами вплоть до 1990-х гг.

[1] См.: *Reddy W.* The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[2] См.: *Ginzburg C.* Spurensicherungen: über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis. Berlin: Wagenbach, 1983. S. 7–24; *Peltonen M.* The Method of Clues and History Theory // Historical Knowledge (ed. Susanna Fellman, Marjatta Rahikainen). Cambridge: Scholars, 2012. P. 45–76.

Глава II.5. «Мой многострадальный дневник»: как эго-документ становится архивным документом (случай пермской общественницы Валентины Соколовой)

(М.В. Ромашова)

Обращаясь за эго-документами или документами личного происхождения в российские архивы, исследователь, к тому же знакомый с общими принципами комплектования архивных фондов, не предполагает найти в них личные фонды «случайных» людей. Среди них будут профессионалы с разной степенью известности и успешности.

Такие фонды появляются чаще всего после их смерти, формируются будто под кальку и содержат одинаковый набор личных документов, сопровождающий человека на протяжении всего жизненного и профессионального пути. Обнаружить среди них дневники, воспоминания, письма, исходящие от самого человека или его окружения, кажется большой удачей.

Весомость этим документам, помимо редкости, придает устойчивое представление, о том, что на основе архивных изысканий можно написать достоверную историю. Хранящиеся в архиве эго-документы в глазах исследователя оказываются более проверенными, так как государственное архивохранилище, наделенное властью и правом отбирать, уже определило, что достойно для сохранения и значимо для исторического знания[1].

Архивы хранят историю «победителей». Но, когда среди «победителей» неожиданно обнаруживается «проигравший», исключение из правил, то возникает повод посмотреть на архивирование как на отбор, оценку, описание и определенное высказывание о миссии данного архива, о том, что является исторически значимым для тех, кто участвует в этом процессе.

[1] Развитие общественной архивистики в России и работа таких независимых архивных площадок, как архив международного общества «Мемориал», центр изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге и др. проектов меняют отношение и к тому, что хранится в государственных архивах.

Дорога к архиву

Взгляд на архивы как институты, которые участвуют в производстве ресурсов для будущей истории и исторического знания, подразумевает внимательное чтение «вдоль» и «поперек» волокон «архивной ткани»[1]. Архивы перестают быть неподвижными сооружениями-хранилищами, которые проецируют свою историческую монументальную неподвижность на хранящиеся в них документы и рассматриваются как часть оспариваемой истории наряду с тем, что они хранят[2]. В этом случае работа с архивными материалами Главного архивного управления при Совете министров СССР (1918–1991 гг.) в ГАРФе, с архивными фондами по истории деятельности самих архивов, чьи фонды изучаются, поможет определить общую рамку для понимания исследователем контекста, в котором отбирали и описывали эго-документы, но не поможет ответить на вопросы, как те или иные документы попадали в архив, кто участвовал в их отборе, что осталось за «бортом», а что отложилось в архивных фондах. В поиске ответов на эти вопросы могли бы помочь обязательные учетные документы архива. К примеру, в делах архивных фондов отражаются истории формирования фонда, сведения об источниках комплектования (фондообразователях), переписка. Однако подобная сопровождающая архивный учет внутренняя документация, к сожалению, недоступна исследователям[3]

[1] Этот прием ввела антрополог Энн Стоулер, которая в рамках постколониальных исследований рассмотрела создание и развитие колониальных архивов Юго-Восточной Азии и тех категорий, в которых архивная система скрывала, искажала и показывала те или иные документы (см.: *Stoler A.* Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010). Обзор подходов к изучению архивов, заданных философами-постструктуралистами Ж. Деррида, М. Фуко и затем поддержанных историками и антропологами, можно найти в сборниках и монографиях: *Блоуин Ф., Розенберг У.* Происхождение прошлого. «Подлинность» для историков и архивистов. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017; Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? Сб. статей / под ред. И.М. Каспэ. М.: НЛО, 2013; Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar / ed. by Francis X. Blouin, Jr. and William G. Rosenberg. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006.

[2] Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? С. 139.

[3] Раздел XXV. Выдача учетных документов // Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях: Электронный ресурс. URL: https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml (дата обращения: 10.09.2021).

или они вообще не знают о ее существовании. В итоге в распоряжении исследователя оказывается, помимо документов архивного фонда, только научно-справочный аппарат архива и прежде всего опись как основной элемент данной системы. Если посмотреть на архивную опись как исторический источник, чьи формы, предназначение, содержание и методы создания менялись на протяжении длительного времени в зависимости от общего исторического контекста, наличия и содержания требований нормативно-правовой документации, уровня развития исторических знаний и т. д., то самым трудно уловимым при ее исследовании станет «человеческий фактор» и определение того, кто был автором, каков был уровень его/ее профессионализма и знаний, как он/она осмысливали время, окружение, миссию архива при создании описей[1].

Тем не менее, выясняя, как и почему были собраны те или иные материалы, как они были описаны, какие социокультурные и социально-политические конвенции стоят за их возникновением и превращением в архивный документ, а затем и в исторический источник[2], мы сосредоточиваем внимание на дискуссии об участии архивиста и историка в производстве исторического знания[3]. Но какую роль в этих процессах играет даритель, который при жизни передает свой личный архив государственному хранилищу и лично вовлечен в обработку собственных материалов? Иначе говоря, как существующие архивные конвенции влияют на систематизацию материалов домашнего архива, на написание финальных эго-документов и интерпретацию уже существующих личных текстов при формировании «фонда вечного хранения», какие материалы автор сохраняет и кому их адресует, а что замалчивает посредством архивных практик?

В качестве кейса я рассматриваю личный фонд пермской общественницы, члена Пермского городского женского совета Валентины Григорьевны Соколовой, который хранится в Государственном архиве Пермского края[4]. Она готовила и передавала свои личные и семейные

[1] Более подробно см.: *Юмашева Ю.Ю.* Архивные описи как исторический источник // Исторический журнал: научные исследования. 2016. № 5. С. 525–534.

[2] Существует представление в профессиональной историко-архивной среде, что архивный документ становится источником только в тот момент, когда к нему обращается исследователь (см.: *Юмашева Ю.Ю.* Указ. соч. С. 525).

[3] Суть дискуссии см.: *Блоуин Ф., Розенберг У.* Указ. соч. С. 196–227.

[4] См.: Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-1610: Соколова Валентина Григорьевна — лектор общества «Знание», общественная деятельница. Оп. 1. Д. 1–1086, а также 4 литерные ед. хр.: 236а, 242а, 502а, 754а.

материалы в архив в течение 20 лет, вплоть до своей смерти в доме престарелых в 1990 г. Ее фонд состоит из 1090 дел, в которые вошли десятки дневников, воспоминания, автобиографии, переписка, материалы ее общественной и краеведческой деятельности, фотографии и другие свидетельства о ней, ее семье и окружении. Материалы, собранные в фонде, хронологически охватывают более 100 лет.

Интерес Валентины Соколовой и других граждан к архивам как к форме сохранения личной и семейной памяти, так и архивистов/историков к личным архивам «простых людей» мы с коллегой Алисой Клоц обозначили как «тихую архивную революцию» 1970-х гг. Ей не суждено было завершиться и радикально изменить политику комплектования государственных архивов в отношении личных фондов, но ее проявления — документы «простых людей» — отложились в музеях и библиотеках, а в перестроечные и постсоветские годы в общественных архивах и центрах документации, когда демонтаж советской системы спровоцировал новую волну интереса к автобиографическим практикам[1].

С одной стороны, Валентину Григорьевну сложно назвать «простым» человеком: представительница советской интеллигенции, поколения активистов (1907 года рождения), вовлеченная в реализацию советского проекта на протяжении всей своей жизни. Она была дочерью профессионального революционера-большевика, выпускницей Пермского университета, участницей некоторых крупных политических кампаний советской власти (ликвидации неграмотности, коллективизации и т. д.), штатным лектором общества «Знание», библиотекарем, в последние десятилетия своей жизни — секретарем Пермского городского женского совета. С другой — несмотря на активную общественную и профессиональную деятельность, Соколова была беспартийной. Ее четыре попытки вступить в партию (последняя, когда она уже была на пенсии) провалились, последний раз — в 65 лет. Этот, по ее мнению, трагический факт биографии и переводил ее в разряд «рядовых». Но общение с местными архивистами убедило ее, что она достойна иметь свой личный фонд в государственном архиве. Особенностью ее прижизненной работы над архивом стала детальная фиксация в личных дневниках связанных с этим этапов и действий, размышлений и переживаний. Сопоставляя ее дневниковые записи с архивной

[1] См.: *Клоц А.Р., Ромашова М.В.* «Так вы живая история?»: советский человек на фоне тихой архивной революции позднего социализма // Антропологический форум. 2021. № 50. С. 169–199.

описью[1] и делами фонда, архивными инструкциями и методическими рекомендациями по обработке личных архивов, хранящимися в фонде ГАПК № Р-3 по истории архива, я хотела бы проследить влияние архивных жанров и конвенций, принятых тогда критериев отбора, систематизации документов на процесс формирования фонда Соколовой, набор и структуру эго-документов, отложившихся в нем, и в то же время показать, как научно-справочный аппарат архива может быть прочитан как эго-документ, содержащий следы архивного воображения Валентины Григорьевны Соколовой и представлений о будущем читателе ее материалов.

Непростой архивный фонд «простого» советского человека

Валентина Григорьевна Соколова, собиравшая и хранившая личную и семейную коллекции документов, как никто другой, отвечала на растущий запрос части местных архивистов на живые эго-документы «простых» граждан. Архивистам она была интересна как человек,

> «не проявивший себя особенно выдающимся в какой-либо сфере деятельности, но наблюдательный, склонный к систематической переписке, записям впечатлений, собиранию различных памятных примет своего времени (писем, фотографий, листовок, газетных вырезок, афиш и т. п.)»[2]

На протяжении всей своей жизни Валентина Григорьевна сохраняла оригиналы/копии своих и чужих писем, дневники, семейные документы, после выхода на пенсию увлеклась поисками краеведческих материалов, а затем по заданию коллег из женсовета собрала, обработала и передала на хранение в Государственный архив Пермской области (ГАПО) материалы городского женсовета, слухи о скором расформировании которого стали распространяться во второй половине 1960-х гг.[3] Затем она более полутора лет работала над созданием личного фонда умершей председательницы городского женсовета в областном архиве. Поэтому основательная часть ее личного фонда состоит из материалов по истории женского движения в Перми, документов о родственниках Ленина в Прикамье, свидетельств о комсомольце-избаче 1920-х гг. Василии Ракитине и др. Но

[1] См.: ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1: Материалы к биографии Соколовой, статьи, заметки, лекции, выступления Соколовой; переписка, материалы, собранные Соколовой, материалы о ее родственниках, фотографии. Материалы служебной и общественной деятельности: Электронный ресурс. URL: http://www.archive.perm.ru/catalog/9077-812588/1123602-1123602/ (дата обращения: 10.09.2021).

[2] *Шмидт С.* Вечный долг наследников // Литературная газета. 1977. 1 июня.

[3] *Соколова В.Г.* Дневники. Т. 3 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 196. Л. 12–15.

по мере формирования семейного и собственного фонда Соколова переросла роль краеведа-любителя, собирателя редких документов. Валентина Григорьевна превратила систематизацию своего домашнего архива и передачу его в ГАПО в последнее значительное активистское дело своей жизни, в ходе которого ей удалось «пересобрать» личную историю: из беспартийной пенсионерки-общественницы она превратилась в субъект истории, достойный иметь «фонд вечного хранения». С середины 1970-х гг. она увлеченно занималась обработкой домашнего архива и агитировала других.

Подготовка материалов Соколовой к сдаче в архив шла под пристальным вниманием и с помощью местных архивистов[1] на основании официальных положений, инструкций, методических рекомендаций, регламентировавших комплектование фондов материалами личных архивов и их научно-техническую обработку[2]. Ключевой установкой большинства инструкций и рекомендаций при выявлении и отборе личных материалов была значимость фондообразователя. Такой подход к комплектованию основывался на факте общественного признания и официальных заслуг того, кто владел документами, а не на качестве и ценности самих документов. В то время как среди архивистов, активно обсуждавших в те годы вопросы архивной ценности личных и семейных архивов «простых» граждан, не было единого мнения, как и в каком объеме их сохранять[3], официальные документы и методические рекомендации по-прежнему предлагали архивистам выявлять материалы «видных представителей науки, техники, литературы и искусства, передовиков производства, народного образования, здравоохранения и спорта»: известных депутатов, председателей горсоветов и райсоветов, героев социалистического труда, лауреатов государственных премий, зачинателей новаторского движения и др.[1] Появление личного фонда беспартийной пенсионерки-общественницы, можно предположить, стало результатом осознанного отступления от принятых архивных конвенций и манифестом той части местного архивного сообщества, которую представлял научный сотрудник ГАПО Л.С. Кашихин, инициатор создания отдела личных фондов в пермском архиве. Они выступали за более демократический подход в политике комплектования фондов и методическое сопровождение домашних архивов краеведов-любителей и передачу их на государственное хранение. Местные архивисты подошли к Соколовой и ее домашнему архиву с позиции признания ценности и права на сохранение документов «рядовых» граждан вне зависимости от их наград и заслуг перед обществом[2]. Знаковым в этом отношении стала публикация Л.С. Кашихиным в 1975 г. методических рекомендаций по обработке личных архивов[3]. Эта небольшая методическая брошюра, составленная по заказу местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, представляла попытку адаптировать для краеведов-любителей с их домашними архивами профессиональные методические рекомендации по научно-технической обработке таких собраний. Для «наведения порядка» в домашних документах Кашихин предложил использовать достижения архивоведческой науки, то есть правила учета и систематизации, использовавшиеся в государственных архивах.

Архивное воображение «простого» человека

Что и как Валентина Григорьевна Соколова готовила к передаче в архив? Большинство инструкций и методических рекомендаций ориентировали архивистов на выявление личных материалов,

[1] Участие и роль архивистов в появлении фонда В.Г. Соколовой в ГАПО — отдельная большая тема исследования, лишь по касательной затронутая в этой статье и в статье: *Клоц А.Р., Ромашова М.В.* Указ. соч.

[2] К таким регламентам относились: «Положение о Государственном архивном фонде СССР» (1958 г.), «Инструкция по научно-технической обработке документальных материалов фондов личного происхождения» (1958), «Методические рекомендации по научно-технической обработке документальных материалов фондов личного происхождения» (М., 1971), «Методические рекомендации по обработке личных архивов. В помощь краеведам» (Пермь, 1975), «Методические рекомендации по выявлению и комплектованию госархивов фондами личного происхождения» (Пермь, 1979) и др. (см.: ГАПК. Ф. Р-3: Государственное краевое бюджетное учреждение «Государственный архив Пермского края» (г. Пермь). Оп. 7).

[3] Ярким примером такой дискуссии стала серия публикаций под общим названием «История и каждый из нас» в «Литературной газете» в 1976–1977 гг. Она была в том числе и реакцией на вышедший в 1976 г. закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». В соответствии с ним документальные памятники из личных архивов граждан вошли в список подлежащих государственному учету объектов, имевших значительную культурную ценность.

[1] Несмотря на то, что в новом «Положении о Государственном архивном фонде СССР», принятом в 1980 г., был снят ограничительный критерий заслуг фондообразователя, политика комплектования архивов материалами личного происхождения в целом не изменилась.

[2] В.Г. Соколова так описывает подход Кашихина: «Он считал подлежащим хранению данные о разных спорных вопросах с изложением точек зрения обоих сторон. “Потом разберутся, кто был прав”, — обосновывал он эту точку зрения» (*Соколова В.Г.* День за днем. Дневники. Т. 10 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 824. Л. 72).

[3] См.: *Кашихин Л.С.* Методические рекомендации по обработке личных архивов (в помощь краеведам). Пермь: Б/и, 1975.

которые подтверждали бы высокий статус и заслуги фондообразователя, особо не учитывая его документотворческую способность и активность. Но Соколова, пытаясь обосновать себе и другим появление своего личного фонда среди «победителей», выбрала другую стратегию. С одной стороны, она систематизировала собственные материалы строго в соответствии с архивными методическими рекомендациями по основным группам (биографические материалы, материалы служебной и общественной деятельности, творческие материалы, переписка, имущественно-хозяйственные материалы и т. д.), чтобы подтвердить значимость прожитой жизни и создать образ успешной общественницы и краеведа.

С другой стороны, Валентина Григорьевна, имея пространство для маневра, то есть право самостоятельного отбора документов, попыталась нагрузить зарезервированное для нее место в коллективной памяти максимально возможным количеством обработанных и переданных архиву документов. Она не просто наполнила фонд материалами разных жанров, форматов и исторической ценности. Вопреки логике стандартизации личных фондов, для своего фонда она отобрала те документы, которые были значимы и памятны прежде всего для нее лично или могли быть интересны будущим читателям в качестве исторических свидетельств. Так, вместе с традиционным набором удостоверений, членских билетов, почетных и благодарственных грамот, мандатов в раздел «материалы к биографии» отдельной единицей хранения оказалась включена квитанция о сдаче Соколовой теплых вещей для бойцов Красной армии в 1941 г. Судя по методическим рекомендациям, Соколова вполне могла избавиться от нее, так как архивисты предлагали при первичной разбивке документов

> «выделить к уничтожению материалы, не представляющие исторической, практической и художественной ценности, такие, например, как, ненужные дублетные материалы, черновики статей, записные книжки и отдельные листки с записями хозяйственных расходов, номеров телефонов, справки, удостоверения и бюллетени о состоянии здоровья, рецепты на лекарства, доверенности на получение корреспонденций, транспортные билеты, почтовые квитанции, театральные билеты, счета и квитанции об уплате за квартиру, кулинарные рецепты, меню, выкройки и т. д.»[1]

[1] *Кашихин Л.С.* Указ. соч. С. 5–6.

Выбранный В.Г. Соколовой подход к комплектованию своего фонда позволил превратить его в наглядный пример того, как благодаря «произволу» фондообразователя может быть перекроена привычная иерархия архивных документов, а вместе с ней — и исторических источников.

Разделы служебной, общественной и творческой деятельности составлены из большого количества итоговых текстов и черновиков лекций, докладов, рецензий и программ телепередач по научно-атеистической пропаганде, особенно борьбе с сектантством. Хронологически большая часть материалов относится к 1950–1960-м гг., когда наступил пик антирелигиозной пропагандистской деятельности Соколовой.

В отдельный раздел архивной описи были выделены дневники, воспоминания, записные книжки Соколовой, хотя в соответствии с рекомендациями материалы подобного рода должны были распределяться по разделам служебной, общественной и творческой деятельности. Исключение составили дневники атеиста, которые оказались в разделе материалов о ее деятельности в роли лектора-атеиста, возможно, по желанию Валентины Григорьевны.

Дневники вообще занимают особое место не только в описи фонда Соколовой, но и в ее архивных практиках. Они давали ей возможность детализировать события, «освежать» пережитые чувства и эмоции при написании воспоминаний или автобиографий, одновременно став еще и архивом архивных практик: намерений, планов и конкретных шагов по формированию «фонда вечного хранения».

Первый дневник (читательский) в фонде Соколовой датируется 1923 г. Начиная с 1925 г. и до последних дней своей жизни, она вела такие дневники достаточно регулярно. Готовя ранние дневники (скорее, дневниковые записи) к передаче, Валентина Григорьевна свела их воедино и написала к ним поясняющие комментарии. Поздние дневники, которые она вела на пенсии, будут частично переписаны, в них будут дублироваться те или иные записи, а одни и те же сюжеты кочевать из одного тома дневников в другой. В конечном итоге Соколова систематизировала дневниковые записи в 28 томов (тетрадей) по периодам жизни и по тематике: школьный и юношеские дневники, дневник атеиста и рабочий дневник библиотекаря, дневники «День за днем», «О книгах и о себе». В тексты дневников были включены фотографии, копии официальных документов, газетных вырезок, некрологи и более поздние комментарии. В ее записях были перерывы, особенно в наиболее драматичный для нее период жизни — с 1939 по 1945 г. В те годы она, боясь репрессий, переехала из Перми в Свердловск. Ее дневники содержат свидетельства

о буднях активиста, вовлеченного в «большие проекты» советской власти и болезненно переживавшего повороты и отступления в их реализации в виде репрессий, критики культа личности, а потом и отказа от него и последующей ресталинизации.

Валентина Соколова оставила в своих поздних дневниках, переданных на государственное хранение самыми последними, записи о том, как она отбирала, систематизировала, мотивировала своих коллег собирать автобиографические материалы и передавать их в архив. Важной составляющей этих призывов и архивных практик была апелляция к ее возрасту (свидетельству старой женщины) и людям ее поколения. Действительно, пожилые люди редко выступают субъектом в автобиографических текстах: за них говорят другие, например, внуки или правнуки[1]. Представленные же дневники, воспоминания, переписка содержали описание будней старого человека и одновременно являлись частью ретроспективного осмысления прожитой жизни. Она много времени уделяла написанию автобиографий, а также мемуаров на разные темы, особенно о периоде ее активистской молодости (1920-е гг.) и отношениях в семье. Помимо ее собственного опыта и материалов, на которые она могла опираться дома (дневники, письма, записные книжки, вырезки из газет), Соколова на страницах дневника вела диалог с современниками и их опубликованными воспоминаниями. Она пыталась вписать себя в сообщество мемуаристов и соотнести собственные рассказы о прожитой жизни с рассказами о жизни других[2]. Однако в автобиографическом осмыслении Соколовой не было предчувствия «конца истории», катастрофичности и трагичности ее опыта, скорее, присутствовало желание найти подходящие формулировки для обоснования значимости и ценности ее личного опыта как беспартийной активистки («большевика») для будущих читателей ее архивных материалов, а также нужные слова для тех, кто сейчас в данный конкретный момент пытался обесценить ее жизнь. Соколова, размышляя об архиве, много говорила о потомках, которые будут читать автобиографические материалы ее и ее подруг по горженсовету. В представлении Валентины Григорьевны ими должны были стать

[1] См.: *Savkina I.* My diary that grows old with me. Representations of Old Age and Ageing in Women's Diaries of Soviet Era // Aging in Slavic Literatures. Essays in Literary Gerontology / Dagmar Gramshammer-Hohl (ed.) Bielefeld: transcript Verlag, 2017. P. 105–129.

[2] На схожее стремление мемуаристов указывает Ирина Паперно в отношении мемуарного бума 1980–1990-х гг. (см.: *Паперно И.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: НЛО, 2021).

профессионалы-историки, имеющие доступ в архив и способные по достоинству оценить собранные ею материалы. Но Соколова все-таки писала свои воспоминания и автобиографии не для абстрактных потомков и историков, а для дочери Галины, которую можно назвать и главным заказчиком, «соавтором» воспоминаний и автобиографий и в то же время тем человеком, который нередко, по мнению Соколовой, несправедливо обесценивал идеалы ее молодости. Соколова регулярно переписывалась с дочерью и вела заочный диалог с ней на страницах дневника. Галина разделяла интерес матери к семейной истории и поддерживала ее в поисковой работе, но при этом могла весьма критично высказаться о прочитанном.

Дневники Соколовой лишены традиционных описаний материнства и связанных с ним забот, равно как и травмы перехода в статус бабушки[1]. Родная дочь Соколовой в дневниках — представительница другого, не всегда понимавшего ее поколения. В текстах Валентины Григорьевны все время проявлялось это межпоколенческое напряжение и желание оправдать свои действия в прошлом:

> «Вилор [речь о книге Д. Гранина "Клавдия Вилор" — *М.Р.*] — человек моего поколения. Гранин — Галиного… В чем-то Гранин перекликается с моей Галей. Гранина бы поставить в те исторические условия в которых проходила борьба стариков. Он понял бы, что цена лозунга оплачена кровью и жизнями, а главное вызваны эти "лозунги" жизненной необходимостью.
> Как бы он говорил с массой почти сплошь неграмотных рабочих и крестьян, без лозунгов?
> По современному, по бумажке?
> Поняли бы его, пошли бы за ним?
> Он не представляет жизнь без радио и телевидения и насмешничает "толкали речь!" ... на этап агитации насмешливо плюет, как на причуды стариков. Пожелаем ему, чтобы следующее за ним поколение отнеслось к нему с большим пониманием, чем смог это сделать он сам»[2].

Соколова искала в выходивших массовыми тиражами в 1960–1970-е гг. автобиографических текстах женщин-революционерок, активисток подходящие ее самоощущениям образы и стратегии описания жизни советской женщины: «Женщина должна жить своей жизнью, а не посвящать свою жизнь другому, пусть любимому:

[1] См.: *Savkina I.* Op. cit. P. 105–129.

[2] *Соколова В.Г.* О книгах и себе. Дневниковые записи. Т. 1 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 197. Л. 102.

эта идея уже рождена революцией и ей я была верна всю жизнь»[1]. Другой вариант — запись 1983 г.:

> «Огромная книга подаренная мне папой в 1963 г. и кн[ига] В. Морозовой “Женщины революции” вызвали воспоминания о родителях, их друзьях и соратниках, а детство Веры Морозовой так похоже на мое. Она тоже дочь революционеров-подпольщиков, большевиков»[2].

Или:

> «Рычкова Галина Петровна. Мгновения и годы. 1972 г. Пермь!!! Мы с ней жили и работали в одно время и в одних городах… Пермь, Свердловск. Знакомы были “шапочно” … но только после прочтения этой книги состоялась у меня с ней многочасовая беседа “по душам” запомнившаяся на всю жизнь. Я приехала в Св[ердлов]ск, нашла ее и мы говорили, говорили… Исключена из партии за то что дала в печать массовую фотографию и не разглядела на ней “Врага народа”! Описать, сохранить для потомков, все так как было … стремилась она. Врагам народа без ковычек надо было скрыть свои злодеяния и такие люди как Рычкова, Неверов мешали»[3].

От соотнесения своей истории с рассказами других Соколова перешла к поиску стратегии героизации собственной биографии и ее подруг по женсовету и убеждению в доступности архивов для обычных общественниц:

> «Кем бы вы были не будь Советской власти? Я бы родилась в Сибири, в семье каторжников и политических ссыльных … такая кара грозила моим родителям за печатание и распространение большевистских листовок… революция 1905 г. суд над ними отменила. А вы? И не дожидаясь ответа говорю: вот Ярославцева Мар. Ст. в монастырь бы ушла, нагляделась на тяжелую долю крестьянки и мечтала о монастыре… Била бы всю жизнь лоб перед иконами, да молитвы бормотала. А вместо этого стала делегаткой и на пенсию вышла партработником. Тоже обыкновенной свою судьбу считала, а на самом деле она необыкновенная. Необыкновенная … и как о ней память в архиве не оставить?»[4]

[1] *Соколова В.Г.* День за днем. Дневники. Т. 7 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 821. Л. 75.

[2] *Она же.* День за днем. Дневники. Т. 10 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 824. Л. 102.

[3] *Она же.* Дневники. Т. 3 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 196. Л. 104.

[4] Там же. Л. 33.

Но этому переходу предшествовал случай, который перевернул историческое сознание В.Г. Соколовой и запустил работу архивного воображения. В середине 1960-х гг., накануне 50-летнего юбилея Октября, из архива Главполитпросвета в Государственный архив Пермской области переслали переписку пермских комсомольцев 1920-х гг. На основе этого материала сотрудники должны были написать серию статей о сельском комсомоле и ликвидации неграмотности в деревне. Центральным персонажем этой местной революционной истории стал умерший в 1927 г. от воспаления легких избач, комсомолец Вася Ракитин[1]. Среди его документов сохранилась переписка с некой Валей Соколовой, работавшей избачем после его ухода в армию. Судьба девушки оставалась загадкой до тех пор, пока в старой знакомой общественнице, которую научные сотрудники архива уже несколько лет знали как краеведа-любителя, не признали ту самую комсомолку.

В 1971 г. Валентина Григорьевна написала дочери:

> «Недавно узнала, что мое имя уже 4-й год “фигурирует” в газетных и журнальных статьях, звучит в теле-передачах по истории комсомола Прикамья и скоро появится в таком солидном труде как сборник Пермского госуниверситета. Рада бы задрать нос, но к сожалению нет основания. Ни организатором, ни руководителем комсомола я не была. Рядовая комсомолка Ленинского призыва. Год вступления в РКСМ — 1924. Мое “имя рек” упоминается рядом с именем комсомольца-чекиста Васи Ракитина… Так я попала в “историю”. Это открытие меня так взволновало, что я не смогла больше работать в ГАПО. Не прочла ни статей [сотрудницы архива — *М.Р.*] Царт, ни своих писем 45-летней давности… Пешком шла я до сада Свердлова и долго опомнится не могла»[2].

Соколова подчеркивала свой статус «рядовой» участницы исторических событий, противопоставляя себя «руководителям» и «организаторам», чье место в истории не вызывало вопросов. Однако, несмотря на свой рядовой статус, Соколова вскоре представила архивистам собственные материалы:

[1] См.: *Матвеева Э.* Избач Василий Ракитин: Статья, опубликованная в газете «Звезда» от 18 декабря 1968 г. // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 503; *Царт М.Н.* Он жил по заветам Ленина: Статья, опубликованная в газете «Знамя Ильича» Ильинского РК КПСС с дарственной надписью М.Н. Царт В.Г. Соколовой от 25 мая 1971 г. // Там же. Д. 504.

[2] Письма В.Г. Соколовой к (Гольдбухт) Галине Ефимовне по личным семейным вопросам и с воспоминаниями о работе в Ильинской избе-читальне. Т. 1 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 929. Л. 8.

«Посылаю Вам выписку о Васе Ракитине из своего дневника. Страницы о приезде в Пермь Маяковского, Луначарского списать не успела. Болею я, руки трясуться после приступа… успеть бы послать то, что приготовила. Вы меня нашли как адресата Васи. Возможно Вас заинтересуют сведения о том, кто я и как жизнь прожила…»[1]

В тексте Соколова впервые обозначила свою ценность не только как свидетельницы жизни «великих» В. Маяковского, А. Луначарского, В. Ракитина, но и как самостоятельного исторического актора.

Интерес местных архивистов к отдельным событиям биографии Валентины Григорьевны предопределило то, как она структурировала документы, подчеркнув значимость каждого из них. Это со всей наглядностью продемонстрировали, к примеру, полтора десятка архивных дел, связанных с историей рано умершего комсомольца-избача Васи Ракитина. Соколова включила в фонд не только первоисточник — переписку с Ракитиным, но и все то, что свидетельствовало об этой истории как о факте ее биографии и превращении ее в субъекта истории: свою личную интерпретацию их отношений и историю жизни В. Ракитина в воспоминаниях, посвященный ему газетный некролог и статьи архивистов о нем, написанные спустя 40 лет, переписку с его родными, со знавшими его краеведами, с музейными сотрудниками и сотрудниками местного телевидения, заинтересованными в ней как в «живом свидетеле». Читатель мог проверить правдивость рассказанной ею истории, истинность событий с помощью всех этих материалов.

С одной стороны, В.Г. Соколова пыталась предугадать, что будет интересно архиву и будущим историкам, с другой — старалась сохранить все то, что казалось значимым ей и ее поколению. Даже если ее взгляд на события не будет совпадать с мнением других. Единственное, что ее волновало: чтобы люди, которых она упоминала в своих дневниковых записях, не могли получить доступ к ним раньше времени. В ее окружении знали, что она вела дневники и готовила к сдаче в архив свои материалы, и предполагали, что на страницах дневников могут присутствовать резкие оценки коллег, друзей, родственников. Желание других людей, даже самых близких, повлиять на то, что фиксировалось в дневниках, Соколова воспринимала как желание повлиять на формируемое ею будущее и агрессивные нападки на нее саму: «Критически исчеркала то что ей ненравилось, выдрала 1/3 листов, говорит, что уничтожила их. Мне казалось это экзекуцией над моей личностью…»[2]

[1] *Соклова В.Г.* Дневники. Т. 3 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 196. Л. 107.

[2] *Она же.* День за днем. Дневники. Т. 11 // ГАПК. Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 825. Л. 54.

Передача большей части материалов в архив и их доступность — важная часть завершения активистского пути В.Г. Соколовой и моральная подготовка к надвигающейся слепоте и смерти. Прижизненная востребованность ее материалов среди специалистов должна была стать подтверждением ее собственной значимости, значимости ее биографии, а сам архивный фонд в областном архиве — наградой за отсутствие официального признания и беспартийность, воспринимавшуюся как настоящая трагедия. В то же время личный архив, переданный госархиву, стал последним даром активистки государству и способствовал архивному активизму Соколовой, агитировавшей других также сдать свои личные документы на государственное хранение.

Перспективы

Личный фонд Валентины Соколовой в Государственном архиве Пермского края был востребован исследователями сразу с момента его появления, особенно в 1990-е и 2000-е г., когда шел радикальный пересмотр методологических, методических и источниковедческих основ российской исторической науки. Судя по листу использования, к материалам Соколовой часто обращались благодаря тематическому, хронологическому, жанровому разнообразию именно эго-документов. Любой исследователь мог найти в них что-нибудь по своей тематике: по истории комсомола, женского движения, общества «Знание», советской повседневности и т. д. Создается впечатление, что фонд Валентины Григорьевны Соколовой — это хранилище самых разнообразных и при этом разрозненных документальных следов прошлого, которые будут там лежать, пока не будут обнаружены и превращены историками в связное повествование о прошлом.

Историческая справка к архивной описи фонда Соколовой, которая была составлена при ее жизни и могла быть ею одобрена, рисует портрет наблюдательного очевидца, инициативного собирателя материалов по многим этапам истории советского государства и, кроме того, дочери знаменитого отца-революционера и соратницы героического комсомольца-чекиста. Соколова как будто все время рядом с героями, но сама она, кажется, остается невидимой для «большой истории». Однако так происходит ровно до того момента, пока мы не посмотрим на ее личный архивный фонд как на последний активистский проект субъекта истории и эго-документ одновременно.

Глава II.6. Эго-документы и (авто)биографии как расследование[1]

(Я.А. Голубинов)

Документы (речь идет как об узком бюрократическом, так и о более широком толковании этого термина[2]), которые создает человек в течение своей жизни, складываются в причудливую картину, восстановить которую и призван историк. Полнота этой картины условна, поскольку документы, без сомнения, не могут передать сложности разного рода практик, система которых, в сущности, и называется жизнью[3]. Статус документов при этом подчас трудноопределим (в силу разнообразия их целей, функций, способов циркулирования в обществе, обусловленных эпохой особенностей восприятия и т. п.), их жанровая принадлежность также вызывает споры[4]. Границы между различными типами документов размываются, что вызывает трудности в их атрибуции и толковании. Автор иногда преднамеренно вносит путаницу и «затемняет» текст, превращая историка, таким образом, в некое подобие детектива или следователя, вынужденного хвататься за малейшую зацепку в изучаемом документе[5]. Как подчеркнул Мишель Фуко, «документ не является для истории тем удобным инструментом, с помощью которого, и с полным на то правом, она стала бы памятью; история — это определенный способ, каким общество придает статус документам и обрабатывает всю ту документальную массу, от которой история себя не отделяет»[1].

Подходы и методы, которые используют профессиональные историки для изучения документов (и, в частности, эго-документов), известны. Однако история открывает себя не только профессионалам. Потому задачи данной главы видятся нам следующим образом: показать, во-первых, кто помимо профессиональных историков может воспользоваться документами (и прежде всего эго-документами) для проникновения вглубь прошлого, во-вторых, каким образом это можно сделать и, в-третьих, какие формы могут принять подобные проекты, особенно если они созданы людьми, не принадлежащими к миру науки.

Документы в работе непрофессиональных историков

Работой по приданию, как выразился М. Фуко, документам определенного статуса подлинного свидетельства о прошлом и, таким образом, прояснению последнего занимаются, и это вполне закономерно, не только профессиональные историки, но и многочисленный круг так называемых историков-любителей, в котором можно выделить сообщества краеведов[2] и исследователей семейной истории. К кругу историков-любителей можно также отнести, например, и тех, кто увлекается исторической реконструкцией, созданием и коллекционированием моделей военной техники и т. д. Члены этих групп вовлечены во множество сетей коммуникации, поддерживаемых специализированными журналами или интернет-форумами (тематическими группами в соцсетях). Краеведческой тематике и фамильной истории обыкновенно посвящена значительная часть текстов местных СМИ[3].

Действуя при сборе информации вполне в духе методологии позитивизма, такие историки-любители восполняют многочисленные

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00221 «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX в. в историко-литературном контексте».

[2] Понятие «документ» оказывается в сложных отношениях с понятием «исторический источник». В число исторических источников, разумеется, входят разного рода документы, но некоторые способы употребления этого слова свидетельствуют о возможности его самостоятельной эвристической значимости (ср. выражение «документ эпохи» для характеристики, например, живописных творений: Произведение искусства как документ эпохи. Время, язык, образ: [по материалам Междунар. научно-практ. конф.: сб. статей: в 2 ч.] / ред. Т.Г. Малинина. Ч. 1. М.: Буксмарт, 2014).

[3] См.: *Волков В.В., Хархордин О.В.* Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008. 297 с.

[4] См. об этом: Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? Сб. статей / под ред. И.М. Каспэ. М.: НЛО, 2013.

[5] См. об этом, напр., известное эссе: *Гинзбург К.* Приметы: уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история. сб. статей. М.: Новое изд-во, 2004. С. 189–241.

[1] *Фуко М.* Археология знания / вступ. ст. А.С. Колесникова. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004. С. 42.

[2] Д.С. Лихачев говорил о краеведении как о «комплексной науке», близкой к истории и географии, но также активно взаимодействующей с экологией и биологией, этнографией, экономикой и социологией (см.: *Лихачев Д.С.* Русская культура. М.: Искусство, 2000. С. 159–173).

[3] В качестве примера можно привести самарский интернет-журнал «Другой город», редакция которого много сделала для описания истории местных улиц, площадей и зданий. См.: Другой город: Интернет-журнал: Электронный ресурс. URL: drugoigorod.ru (дата обращения: 15.08.2021).

лакуны в знании о прошлом, распутывая отдельные микросюжеты, на которые историки-профессионалы либо не обращают внимания, либо не могут потратить время. Также многих историков-любителей, особенно краеведов, отличает активная социальная и гражданская позиция в деле сохранения исторических памятников и воспитания у молодежи особого отношения к артефактам прошлого[1]. Стоит отметить, что у части историков-любителей может наблюдаться и другой, конспирологический, взгляд на исследуемое ими прошлое, ставящий их в оппозицию к профессиональной исторической науке[2]. Подобное смятение и обращение к конспирологии при встрече с прошлым можно объяснить сложностью процессов, происходивших десятки и сотни лет назад, что сбивает с толку неподготовленного исследователя, заставляя искать наиболее понятные способы для их объяснения.

Однако, по-видимому, одним из главных отличий историка-профессионала от любителя становится легкость, с которой последний вовлекается в изучаемый им материал, достраивая исследуемый сюжет или даже изменяя объект изучения (например, в случае семейной истории, продолжая мемуарный текст или дневник родственника). Для непрофессионального исследователя, не аффилированного с институтами академической науки, не связанного этикой научного исследования и не помышляющего о методологии, двигающегося во многом по наитию, оказывается легким делом смешать историю своей жизни, историю своей малой родины и ее жителей в один текст, размывая границы между научным текстом, эго-документом[3] (чья субъективность видится теперь скорее ценностью, нежели недостатком[4]) и литературно-художественным произведением[5].

[1] См., напр.: Краеведение и гражданское общество / сост.: Б. Гладарев, О. Лейкинд. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2004.

[2] В частности, это выражается в существовании «фолк-хистори», построения которой бывают востребованы в том числе и политиками (см., напр.: *Шнирельман В.А.* Арийский миф в современном мире. М.: НЛО, 2015).

[3] Об особенностях подобного рода документов см.: *Суржикова Н.В.* Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость? (вместо предисловия) // История в эго-документах: Исследования и источники. Екатеринбург: Издательство «АсПУР», 2014. С. 6–13.

[4] См.: *Филатова Н.М.* Подходы к изучению эго-документов в современной исторической науке в свете «лингвистического поворота» // Документ и «документальное» в славянских культурах: между подлинным и мнимым: сб. науч. трудов / под ред. Н.М. Куренной. М.: И-т славяноведения РАН, 2018. С. 37.

[5] Так, вологодский крестьянин Иван Юров свой рассказ предварил словами о том, что это не только история его самого, но также история «прошлой жизни нашего глухого угла», которую он «старался изобразить возможно понятнее и правдивее» (*Юров И.Я.* История моей жизни. Рыбинск: Издательский дом «Рыбинскъ», 2017).

Вслед за Ульрихом Шмидом и его коллегами можно повторить, что в этом случае «кризис в отношениях между мыслителями академическими и “чужаками” резюмируется в споре о том, нужно ли писать заглавной или же строчной одну-единственную букву: “я”»[1].

Автобиография как особый коммеморативный проект

Один из наиболее показательных видов подобного рода смешения — это автобиография, о которой В. Дильтей говорил, что она —

> «высшая и наиболее поучительная форма, в которой нам представлено понимание жизни. Здесь жизненный путь явлен как нечто внешнее, чувственно данное, от чего понимание должно проникнуть к тому, что обусловило этот путь в определенной среде. Но при этом человек, понимающий этот жизненный путь, идентичен тому, кто этот путь проделал. Из этого вырастает особая интимность понимания … Здесь самость постигает свой жизненный путь так, что осознается человеческий субстрат, а также те исторические отношения, в которые она вплетена. Таким образом, автобиография способна, наконец, развернуться в историческое полотно; и его границы, но и его значение определены тем, что полотно это извлечено из переживания, чья глубина делает понятными самость и ее отношение к миру»[2].

Автобиография может появиться как текст, возникший в результате продолжительного проекта по собиранию и сохранению информации о себе и своем окружении, иногда совершенно непреднамеренного. Так, М.М. Пришвин очевидно не предполагал, что будет вести дневники почти на протяжении полувека (с 1905 по 1952 г.) и что они в конце концов выстроятся в особую систему саморепрезентирования и саморефлексии, переросшую, судя по всему, границы дневникового жанра[3]. Интересно, что в дневниках М.М. Пришвина органичным образом сопрягались как сюжеты из его жизни, так и жизни края, и увлечение писателя краеведением также нашло отражение в тексте[4].

[1] *Шмид У.* Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография / У. Шмид, Д. Томэ, В. Кауфманн. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. С. 9.

[2] Цит. по: *Шмид У.* Указ. соч. С. 11.

[3] Это в чем-то роднит дневники М. Пришвина с текстами 1930-х гг., исследованными Й. Хелльбеком, в которых на первый план вышла задача самоорганизации жизни и, главное, (само)сознания автора в соответствии с требованиями нового советского общества. Дневник в таких случаях представал как способ освоения новых категорий мышления (см.: *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017).

[4] См.: *Сова М.Н.* Дневники М.М. Пришвина в современных исследованиях // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: Филология. 2015. № 1. С. 361–366.

Заранее же обдуманные и специально осуществленные автобиографические проекты выливаются зачастую в форму сохранения автором проекта всех документов, которые могут служить свидетельством о его жизни. Иногда такая форма сохранения остатков прошлого превращается в коллекционирование и собирание антиквариата, а иногда заканчивается передачей получившегося собрания предметов и текстов в соответствующие хранилища — музеи и архивы. В последнем случае наблюдается некая пересборка сложившейся системы хранения документов, в которой архив, как институт власти, определяющий направления и интенсивность коммеморативного процесса, отказывается от своей привычной роли автора или, точнее, со-автора документа. Обычно архив принимает на себя эту роль благодаря работе над организацией документов, придавая им «некую пригодную для использования форму»[1].

Автобиография как архивный проект

Однако в результате «тихой архивной революции» 1970-х гг. в СССР изменилась и политика архивов по отношению к личным фондам, и деятельность самого общества, связанная с коммеморацией и архивизацией[2]. Теперь уже отдельный член социума принимал решения о судьбе тех или иных свидетельств своего прошлого. Случай жительницы Перми Валентины Соколовой тому яркое подтверждение.

В 1970-х гг. В. Соколова, прочтя о себе в нескольких журнальных публикациях (авторов она заинтересовала как участница комсомольского движения в Советской России на этапе его становления), была поражена неожиданным фактом значимости своей жизни для кого-то помимо себя самой и своих родственников. Рассуждения о ценности своего жизненного опыта вообще и отдельных обстоятельств жизни в частности превратились у В. Соколовой в идеи о необходимости, во-первых, тотального сохранения уцелевших в течение ее жизни документов и, во-вторых, о передаче этих документов в государственный архив для последующей работы с ними профессиональных историков. Однако В. Соколова сама при помощи, но не под прямым руководством профессиональных архивистов отобрала

[1] *Блоуин Ф., Розенберг У.* Происхождение прошлого. «Подлинность» для историков и архивистов. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017. С. 191.

[2] См.: *Клоц А., Ромашова М.* «Так вы живая история?»: советский человек на фоне тихой архивной революции позднего социализма // Антропологический форум. 2021. № 50. С. 169–199.

корпус текстов (в том числе и эго-документов), которые она считала наиболее репрезентативными и соответствующими представлениям (прежде всего ее личным) о жизни комсомолки и честной труженицы (таким образом она, например, восстанавливала с помощью приготовленных для архива бумаг справедливость, поскольку считала себя жертвой критики и доносов)[1].

Интересно, что «автобиографический проект» В. Соколовой предстает, с одной стороны, интересной практикой фиксации жизни рядового члена советского общества (созданный ею фонд потом будут аттестовывать как «неуникальный, без особо ценных материалов»[2]), а с другой — его можно вообразить этаким перформансом по переписыванию/переформатированию прошлого — «парафикцией», то есть ситуацией, в которой «реальные и/или воображаемые персонажи и истории переплетаются с миром, в котором мы живем»[3].

Чем-то подобным в своих произведениях занимался В.В. Набоков, известный литературными играми с реальностью. Практически в каждом своем тексте он, по мнению С. Бойм, стремился тайно, «под маской своих персонажей», возвратиться домой[4]. Может быть, и В. Соколовой, фактически заново пересмотревшей свою жизнь и отобравшей для архива наиболее важные для нее моменты, помимо прочего двигало также и такое чувство, как ностальгия.

Использование тех или иных эго-документов и вообще артефактов прошлого, вызванных к жизни какой-то определенной необходимостью, для создания особого художественного нарратива не ново[5]. Следует отметить, что в этом случае «художником» двигает, судя по всему, желание пересоздать свою версию реальности как можно детальнее, пусть и не допуская выдумки, но изменяя мир лишь за счет отбора материала из как можно более полного архива[6].

Естественно, и до ухищрений современного искусства люди в СССР и России переписывали свои биографии, подменяли и уничтожали документы, исправляли уже написанное, самоцензурируя свои дневники, письма и воспоминания. Делалось это иногда из-за

[1] См.: Там же. С. 185, 188, 189.

[2] Цит. по: Там же. С. 190.

[3] *Лэмберт-Битти К.* Выдумка: парафикция и правдоподобие. М.: V-A-C Press, Artguide Editions, 2019. С. 16.

[4] См.: *Бойм С.* Будущее ностальгии. М.: НЛО, 2019. С. 503–504.

[5] См.: *Лэмберт-Битти К.* Указ. соч. С. 17.

[6] См.: *Голубинов Я.* [Рец. на:] Н.Н. Козаков, Дневник. 1962, Глущенкоиздат, Москва, 2016 // AvtobiografiЯ. 2018. № 7. С. 271–276.

преследований со стороны государства и стремления избежать политических чисток. Так, генерал А.Я. Крузе то ли самостоятельно, то ли при помощи сочувствующих чиновников в каком-то из госучреждений сумел изменить в личном деле факты своей биографии и счастливо избежал наказания за службу в колчаковской армии в годы Гражданской войны[1]. В других случаях изменения в бумаги (как в эго-документы, так и в материалы делопроизводственного характера) вносились из-за стремления, как было упомянуто выше, трансформировать свое *Я*, в полной мере овладеть категориями нового советского языка, показать важность своей работы и претендовать на участие в событиях становления советской власти в России[2]. Иногда желание стать частью «большой» истории заставляло людей притязать (подкрепив свои притязания, конечно же, соответствующими свидетельствами) на соприкосновение, пусть и мимолетное, с людьми из устоявшегося на тот момент советского пантеона героев революции 1917 г. и Гражданской войны.

Для В. Соколовой таким героем (помимо В.В. Маяковского или А.В. Луначарского, которых она видела, когда они посещали Пермь) оказался ее отец, большевик Г.С. Соколов, участвовавший в подпольной работе, в эмиграции встречавшийся с Лениным и после 1918 г. работавший в самарском губсовнархозе и губисполкоме. Соколова трепетно перечитывала историю самарской (куйбышевской) парторганизации, считая упоминания отцовского имени в книге[3]. Г.С. Соколов и сам готовил воспоминания, которые, однако, прошли незамеченными. В 1967 г., через год после его смерти, куйбышевскую улицу Орскую переименовали в память о нем в улицу Соколова, но через 21 год горожане просили газету «Волжская коммуна» уточнить, в честь кого из трех отметившихся «в революционной летописи города» Соколовых[4] названа эта улица[5].

[1] См.: *Ганин А.В.* Колчаковский генерал с орденом Ленина: Реконструкция биографии А.Я. Крузе // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы IV Междунар. научно-практ. конф. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2021. С. 50–57.

[2] См.: *Хелльбек Й.* Указ. соч.

[3] См.: *Клотц А., Ромашова М.* Указ. соч. С. 186.

[4] Трое Соколовых (В.И., В.Н. и Г.С.) перечислены в именном указателе книги, которую читала В. Соколова: Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. Куйбышев: Куйбышевское книжное изд-во, 1967. С. 627–628.

[5] См.: *Артёмов А.* Улица Соколова и Северо-Восточная магистраль: ГУ МВД, силикатный завод, Софийский собор и синагога // Другой город: Интернет-журнал: Электронный ресурс. URL: https://drugoigorod.ru/sokolov_street/ (дата обращения: 16.10.2021).

Известно, что в 1977 г. Г.С. Соколову была установлена памятная доска, однако уже в 1988 г. куйбышевская журналистка с огорчением констатировала, что «знак этот не сохранился» и «повзрослело новое поколение куйбышевцев, которым имя Соколова абсолютно ничего не говорит»[1]. Именно с подобным забвением боролась, скорее всего, и В. Соколова. Если коммеморация не смогла сохранить в памяти горожан даже имя ее отца, более-менее видного партийно-государственного деятеля, то ее забвение в Перми должно было быть полным. Надо признать, что ее усилия по недопущению такой ситуации увенчались определенным успехом.

Таким образом, (авто)биографический проект неизбежно предстает как работа нескольких человек, в которой присутствует своеобразная полифония авторов, преследующих, как правило, цель по увековечению себя, своей семьи, своего края в качестве одной из деталей «большой» истории (будь то история страны, революции, Гражданской или Великой Отечественной войн). Именно на такой алгоритм ориентировалась, в частности, Мария Степанова, в ходе работы по восстановлению семейной памяти и вписывания семейной истории в большой исторический нарратив, используя как эго-документы своей семьи, так и издания, авторы которых сами занимались решением схожих задач (как, например, В.Г. Зебальд)[2].

Автобиография как продолжение биографического расследования

Толчком к «пересборке» семейной истории и автобиографии может быть и неожиданное удивление, встреча с чем-то таким, что выбивалось из привычных рассказов и заставляло пересмотреть как свою собственную жизнь, так и жизнь семьи. Так, события первой половины XX в. заставили многих на пространстве бывшей Российской империи обрубить прежние связи, забыть родственников, уничтожить компрометирующие документы или переписать их таким образом, чтобы отвести от себя и близких обвинения в ненадлежащем происхождении (или, наоборот, приписать себе подходящее для новых условий жизни) и скрыть, при наличии, родственников за границей. После такого масштабного вторжения в официальные биографии и семейную память граждане постсоветских государств

[1] Цит. по: Там же.

[2] См.: *Степанова М.* Памяти памяти: романс. М.: Новое изд-во, 2017. Интересно, что похожее жанровое определение можно увидеть в книге воспоминаний другого автора (см.: *Шикунов В.П.* Самарский роман’с / сост.: И.В. Некрасова, Р.П. Шикунова. Самара: Самарское книжное изд-во, 2007).

иногда через много лет с удивлением узнавали о своих предках самые неожиданные вещи[1].

Показателен случай потомков эсера А.М. Савенкова, агента «охранки», выехавшего в 1913 г. за границу и оттуда доносившего о живших в эмиграции российских революционерах[2]. Любопытно, что для его правнуков открытие этого факта биографии прадеда сначала стало шоком («сказать, что мы были потрясены, — ничего не сказать»), но затем, в ходе работы над распутыванием перипетий судьбы Савенкова и знакомства с историей деятельности зарубежной агентуры тайной полиции Российской империи, они переменили свое мнение («с позиций современной истории прадеда нашего можно считать едва ли не героем, деятельностью своей раскачивавшим революционную лодку…»)[3]

Как и многие другие люди, увлекшиеся распутыванием своей родословной, правнуки Савенкова, не будучи профессиональными историками, с удивлением открыли для себя мир научной историографии, а также постепенно наладили обширную сеть коммуникаций для сбора информации о предке. Малодоступность архивов и их отдаленность не позволили им лично собирать необходимые сведения, однако же помощь архивистов и профессиональных историков (в частности, Михаила Талалая[4]) и краеведов-любителей (типа журналиста Г.П. Горяченкова, тоже оказавшегося дальним родственником Савенкова) помогла восстановить общую канву жизненной истории бывшего российского эсера, не вернувшегося после 1917 г. в Россию из-за боязни быть осужденным за работу на тайную полицию и оставившего на родине супругу и ребенка. Тем не менее благодаря вскрывшимся обстоятельствам профессиональные исследователи еще раз обратили взгляд на жизнь россиян-эмигрантов в Италии и деятельность тамошней заграничной агентуры[1], а потомки Савенкова обрели фамильного героя. Его правнучка В. Пичугина совершила поездку в Кави, итальянский город, где жил и умер ее предок, и поучаствовала в восстановлении плиты на его могиле, тем самым совершив ритуал семейной коммеморации[2].

Без сомнения, случай Савенкова привлекает некой недосказанностью, непроясненностью мотивов этого человека, ставшего сначала тайным агентом полиции, а потом предпочевшего бросить свою семью. Подобным же образом и в других семейных памятях возникали лакуны, связанные с оборванными родственными отношениями, нежеланием идти на контакт, выстраивать, в конечно счете, общую семейную память. Так, в годы Первой мировой войны русские добровольцы во Французском Иностранном легионе, братья Герасимовы, стали действующими лицами семейной тайны, разрешить которую до конца, скорее всего, уже невозможно[3].

Как и в случае Савенкова, расследование тайны Герасимовых началось с удивления: в конце 1970-х гг., когда англичанка по имени Розмари Уикли узнала от умирающего отца обстоятельства своего появления на свет. Выяснив, что она была приемным ребенком в семье, Уикли потратила последующие годы на поиск своих биологических родителей. Добросовестно зафиксировав, как и многие другие исследователи семейных историй, все факты, которые могли пролить свет на ее происхождение, она в конечном итоге подготовила автобиографическую книгу «Крылатый лев»[4]. При этом для Уикли,

---

[1] В настоящее время объединение баз данных с помощью генеалогических сервисов типа MyHeritage или Ancestry, оцифровавших сотни миллионов записей биографического характера, постоянно приводит к открытиям, невозможным всего несколько лет назад. Прошлое семьи и рода раскрывается перед пользователями Интернета без каких-либо усилий с их стороны. См., напр., описание такого типичного случая: I Discovered My Grandfather's Account of His WWI Service Thanks to a MyHeritage Record Match // MyHeritage Blog. 2021: Электронный ресурс. URL: https://blog.myheritage.com/2021/10/i-discovered-my-grandfathers-account-of-his-wwi-service-thanks-to-a-myheritage-record-match/ (дата обращения: 29.10.2021).

[2] См. об этом, напр.: *Агафонов В.К.* Парижские тайны царской охранки. М.: Русь, 2004. С. 380; *Сватиков С.Г.* Русский политический сыск за границей: (по документам Парижского архива заграничной агентуры Департамента полиции). Ростов н/Д: Первое паевое рабочее товарищество печатного дела, 1918. С. 60.

[3] *Пичугина В.* Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии. М.: Алетейя, 2021: Электронный ресурс. URL: https://www.google.ru/books/edition/Тайны_прадеда_Русская/BNUUEAAAQBAJ (дата обращения: 23.10.2021).

[4] См.: *Талалай М.* Политэмигранты в Лигурии // Пичугина В. Указ. соч.

[1] *Толстой И.* Русские эсеры под итальянским колпаком // «Радио Свобода»: Герои И.В. Толстого: Электронный ресурс. URL: https://www.svoboda.org/a/30631786.html. (дата обращения: 16.10.2021).

[2] Савенков не был единственным политэмигрантом, разоблаченным в 1917 г. в качестве агента имперской тайной полиции и потому предпочевшим остаться за границей. Так, в Париже долго работал художник Александр Зиновьев (Золотаренко), также отправлявший в Петербург отчеты о разговорах среди русских революционеров и в конце концов оказавшийся на Западном фронте Первой мировой войны после того, как вступил в 1914 г. добровольцем во французскую армию. В его случае собирателями памяти о нем оказались профессиональные историки (см.: Alexandre Zinoview: un peintre russe sur le front français (1914–1918) / ed. C. Pichon-Bonin, A. Sumpf. Paris: Éditions Alternatives, Historial de la Grande Guerre, 2017).

[3] См.: *Голубинов Я.А.* Эго-документы как способ конструирования личной и семейной истории: случай Петра и Михаила Герасимовых // Genesis: исторические исследования. 2019. № 12. С. 1–9.

[4] См.: *Weekley R.* The Wingéd Lion: A Search for Identity. Рукопись этого источника была любезно предоставлена автору Ричардом Дэвисом, хранителем Русской коллекции Архива Университета Лидса.

как и в случаях В. Пичугиной и В. Соколовой, розыск и отбор сведений о прошлом представлялся не только сугубо научной, но прежде всего этической проблемой. Недаром на обложке книги, в которой Р. Уикли суммировала итоги почти двадцатилетней работы по сбору и анализу генеалогических сведений, она поместила слова Томаса Маколея о том, что «людей, не чувствующих гордость за достижения далеких предков, никогда не будут с гордостью вспоминать потомки»[1]. В погоне за «истиной», исследовательница, во-первых, надеялась восстановить социальную справедливость и занять подобающее положение в обществе, и, во-вторых, сохранить свое имя для потомков как собирательницы и блюстительницы семейной памяти.

Интересно, что Р. Уикли, как и многие исследователи семейных тайн из СССР и России, столкнулась с необходимостью найти и обработать большое количество информации из разных источников. В случае Р. Уикли дело осложнялось и полным незнанием русского языка, который был необходим, поскольку довольно быстро выяснилось, что ее настоящим отцом был русский эмигрант, офицер Французского Иностранного легиона, герой двух мировых войн Марк Волохов[2]. Его послужной список, который Р. Уикли с трудом удалось добыть из недр французских военных архивов, свидетельствовал о блестящей военной карьере, недюжинной храбрости и военном таланте ее отца (хотя больших чинов ему достичь так и не удалось)[3]. В процессе поиска своей фамильной идентичности (слова «A Search for Identity» стали подзаголовком упомянутой книги) Р. Уикли столкнулась с причудливым миром нескольких поколений русской эмиграции, который для нее, подобно миру агентов русской «охранки» для В. Пичугиной, стал откровением и возможностью соприкоснуться с абсолютно неизвестной реальностью. Погружение в эту реальность привело к попыткам обнаружить там новых родственников (многочисленных Волоховых, которые, правда, не могли сказать, кем именно приходился им Марк Волохов) и обретению друзей (например, Р. Уикли много общалась с князем Николаем Оболенским, знавшим ее отца и передавшим ей ряд его писем[4]). Именно эти письма открыли Р. Уикли новые грани личности ее Волохова, оказавшегося поклонником поэзии А. Твардовского

[1] *Weekley R.* Op. cit. P. 1.

[2] Ibid. P. 41.

[3] Ibid. P. 357–363.

[4] Ibid. P. 80–85.

и ценившего книги А. Солженицына. В одном из писем Волохов предостерегал своего друга от болезни «левизны», что в свете открывшихся потом сведений стало выглядеть несколько комично.

Однако несмотря на знакомства со всеми еще здравствовавшими в 1980-е гг. родственниками супруги и друзьями Марка Волохова (он умер в 1979 г., в один год с приемными родителями Р. Уикли), его дочь так и не смогла собрать непротиворечивую картину жизни своего отца до Первой мировой войны.

Сведения, которые он пожелал сообщить французским государственным службам при вступлении в армию в 1914 г. и получении гражданства в 1920-х гг., не давали возможности определить точно ни место его рождения (Лодзь по документам, но польские архивы отрицали это), ни место проживания его родственников в России (отец и мать значились проживавшими в Самаре, как и сестра Елена Колесникова, но о них не было ни информации, ни их контактов). Р. Уикли вполне справедливо расценила сложившуюся ситуацию как провал: биографический проект об ее отце, а значит и ее автобиографический проект (в котором она, например, уже заочно вписала себя в число потомков боярского рода Волоховых) так и не были доведены до конца[1].

Надо заметить, что лишь полтора десятка лет спустя после практически полной остановки поисков Р. Уикли, опять-таки при помощи архивистов и профессиональных историков, наконец нашла ответ на свой вопрос. Так, история Марка Волохова была коротко упомянута в одной из дневниковых записей русского эмигранта В.А. Костицына:

> «А Герасимов, брат поэта Герасимова, большевика, и сам большевик, жил до той войны по фальшивке и поставил фамилию “Марк Волохов”, не заметив пометки “прапорщик запаса”. В августе 1914-го он вступил волонтером во французскую армию и был принят, к своему большому испугу, в качестве sous-lieutenante Marc Volokhov. Окончил войну в чине полковника. На него были доносы, но русский военный атташе Ознобишин заявил французам, что для него слово русского офицера свято. Что с ним сталось дальше, не знаю»[2].

Таким образом, таинственный дворянин и предполагаемый потомок средневековых русских бояр Марк Волохов оказался

[1] Ibid. P. 274–275, 325.

[2] См.: *Костицын В.А.* «Мое утраченное счастье...»: Воспоминания, дневники. М.: НЛО, 2017: Электронный ресурс. URL: https://books.google.ru/books?id=O-Go3DwAAQBAJ (дата обращения: 23.10.2021). Запись от 24.02.1957.

политэмигрантом Петром Герасимовым, родившимся и выросшим в бедной семье путевого обходчика в Самарской губернии. Он и его брат Михаил после революции 1905–1907 гг. оказались во Франции, бежав от тюрьмы и преследований полиции в России. Оба брата состояли в партии большевиков, но их политические и социальные пути с началом Первой мировой войны сильно разошлись.

Удивительно, но М. Герасимов, видный пролетарский поэт и участник Гражданской войны, никогда, по-видимому, не упоминал о своем брате Петре в опубликованных текстах, лишь в одной из автобиографий для литературного сборника признав, что жил за границей вместе с ним[1]. Их сестра — Елена Колесникова (ее имя — единственное, что было верным в анкетных сведениях Марка Волохова, также нигде не упомянувшего о брате и исказившего имена родителей) — повторяла под конец жизни в официальных публикациях, восстанавливавших добрую память о ее братьях (М. Герасимов был репрессирован в конце 1930-х гг.), что Михаил «ушел из жизни в расцвете творческих сил», а Петр погиб в 1915 г. в окопах Первой мировой войны[2]. Таким образом, все трое так никогда и не раскрыли истинную судьбу своих близких. Знали ли они ее доподлинно и почему скрывали — загадка. Скорее всего, Марк Волохов не стал искать контакта с Герасимовыми по той же причине, по которой А.М. Савенков прервал общение с семьей в СССР: иметь родственников за границей было небезопасно для остававшихся в России, да и брат-большевик мог испортить карьеру французскому офицеру Волохову.

(Авто)биография как итог размытия границ и смешения исследовательских проектов

Итак, одним из способов использования документов разного происхождения могут выступать (авто)биографические проекты, которые зачастую предстают перед нами как сложные коллективные тексты. Их авторы оказываются в большинстве случаев непрофессиональными исследователями, решившими восстановить прерванную семейную коммеморацию. Часто они пользуются помощью профессиональных историков или архивистов, предпочитая, правда, самостоятельно описывать результат поиска с подробными изображениями перипетий добычи информации, и если у профессиональных историков посещение архивов и библиотек обычно отражается в сносках и ссылках, то историки-любители могут и любят детально рассказать о визите в хранилища информации и разговорах с работающими там специалистами. В связи с этим можно, очевидно, согласиться с В. Дубиной в том, что «отсутствие исторического образования менее всего смущает авторов биографического жанра», а «историки и их цеховые интересы больше не определяют бытование биографического жанра в публичном пространстве»[1]. Когда историки-любители расследуют некую семейную тайну или краеведческую загадку, то в своем проекте они неким образом продолжают ее, изменяя или дополняя имеющиеся у них первичные тексты (например, эго-документы предков), привнося туда свою субъективность и тем самым превращая их в уже собственные эго-документы.

Таким образом, расследование ведется на нескольких уровнях. Во-первых, его ведет любитель, изучающий свою семейную или локальную историю, во-вторых, оно происходит в ходе работы профессионала, объектом изучения для которого становится уже сам любитель и рожденные последним документы. Границы между документами, а следовательно, и между авто- и биографией, размываются, поскольку все превращается в один большой (авто)биографический проект, к которому на последнем этапе подключается профессиональный историк, более или менее удерживающий в отличие от любителя свое исследование в заранее определенных концептуальных и методологических рамках.

---

[1] См.: *Герасимов М.П.* Автобиографическое письмо // Книга для чтения по истории новейшей русской литературы: рабоче-крестьянское творчество за 30 лет: поэзия, критика, беллетристика, документы, манифесты литературных групп / ред. В. Львов-Рогачевский. Л.: Рабочее изд-во «Прибой», 1925. С. 344–345.

[2] См.: *Герасимова-Колесникова Е.П.* Братья Герасимовы // Волжская коммуна. 1977. 15 сент.

[1] *Дубина В.* Биография // Все в прошлом: Теория и практика публичной истории / под ред. А. Завадского, В. Дубиной. М.: Новое изд-во, 2021. С. 84.

РАЗДЕЛ III. ПОДТЕКСТЫ

Глава III.1. Реалист? Фланер? Изгой? *Я* и косвенный адресат в дневниках Георгия Эфрона

(И.Л. Савкина)

Дневники пишут самые разные люди — и великие писатели, и публичные персоны, и люди «незамечательные», обычные. Любой дневник можно изучать с разными целями и разными способами, в том числе филологическими, фиксируя свое исследовательское внимание, например, на том, как автор дневника создает свое *Я* в дневниковом нарративе, и как субъект письма (автор-герой-нарратор дневника) зависит от тех *Ты/Вы*, которым прямо или косвенно адресованы записи, ибо, как мне представляется, дневник, особенно дневник молодого человека/девушки — является жанром не эгоцентрически замкнутым и герметичным, а адресованным, но эта адресованность иного типа, чем в письме или мемуарном повествовании. Анализ вышеназванных аспектов поможет, на мой взгляд, найти ответ на один из ключевых вопросов: зачем мы читаем и исследуем дневники, и, в частности дневники обыкновенных людей, что мы в них можем найти, а чего, возможно, и искать не стоит.

Проблема адресованности в дневниковом тексте

Проблема адресованности дневника очень многообразна и связана с большим кругом вопросов: издательскими практиками, этическими ограничениями, отношениями дайариста с современниками, реальными и/или гипотетическими потомками, доверенными лицами, непредвиденными читателями и т. д.[1] Филипп Лежён — один из самых известных исследователей-дневниковедов, пишет, в частности, о том, что акт адресации в дневнике является способом саморефлексии и самопрограммирования: попыткой обратиться к себе будущему,

> «которого вы не знаете, кто будет кем-то другим, но которому вы, тем не менее, доверяете. Вы отдаете себя в руки незнакомца, которым станете. Нынешняя идентичность создающего этот дневниковый текст однажды станет частью непредсказуемой идентичности, которую она породит и которая будет судить о ней»[1].

В данном тексте я хотела бы сосредоточиться на несколько ином аспекте названной выше проблемы: на вопросе о *внутренней* адресованности дневника. В этом случае исследовательское внимание должно быть обращено не на реальных или гипотетических читателей подневных записей (среди которых может быть и сам дайарист), а на того адресата, который создается, конструируется внутри дневникового нарратива и который во многих случаях не назван и даже *осознанно* не подразумевается автором. Анна Зализняк в своей статье о жанре дневника, говоря о двойной адресованности последнего, использует лингвистический термин «косвенный адресат». По мнению исследовательницы, автор дневника сам является его адресатом, но при этом потенциально имеется и второй, *косвенный* адресат, участник коммуникативной ситуации, к которому говорящий не обращается, но чье присутствие влияет на выбор формы и отчасти на содержание высказывания, которое он делает[2].

Как же проявляет себя этот косвенный адресат в дневниковом повествовании и как мы его можем выявить и определить?

На мой взгляд, в дневниковых нарративах (и особенно в дневниках молодых людей) зачастую можно найти обращения к неким референтным группам, сообществам, коллективам или более широким объединениям, связанным принадлежностью, например, к общей культурной традиции. Это своего рода виртуальные *Мы*, экспертные группы, мнение которых или удостоверение в принадлежности к которым оказывается в данный момент времени для автора дневника значимо. Именно такие *Мы* или более персонифицированные *Ты*, члены таких «групп признания» в терминах Поля Рикера[3], могут быть названы косвенными адресатами дневникового письма.

Но если эти «сообщества», «референтные группы» не названы в тексте, то с помощью каких аналитических инструментов их удается обнаружить?

Ключ к ответу на этот вопрос, на мой взгляд, можно найти в теории внутренней диалогичности высказывания и концепции «чужого слова» Михаила Бахтина, который подчеркивает, что

---

[1] См., напр.: *Hassam A.* Reading Other People's Diaries // University of Toronto Quarterly. 1987. Vol. 56. № 3. P. 435–442.

[1] *Lejeune Ph.* On Diary / ed. by Jeremy D. Popkin & Julie Rak. Honolulu: University of Hawaii Press, 2009. P. 324.

[2] См.: *Зализняк А.* Дневник: к определению жанра // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. С. 162–180.

[3] См.: *Рикер П.* Путь признания. Три очерка. М.: РОССПЭН, 2010. С. 133.

«высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается. Роль других, для которых строится высказывание ... исключительно велика... Эти другие, для которых моя мысль впервые становится действительною мыслью (и лишь тем самым и для меня самого), не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения. Говорящий с самого начала ждет от них ответа, активного ответного понимания. Все высказывание строится как бы навстречу этому ответу»[1].

В случае дневникового высказывания, на мой взгляд, внутренний диалог с чужим словом осуществляется через его у/присвоение: автор дневника использует или имитирует значимый для него дискурс, тем самым ссылаясь на желаемую группу признания — тех, кто владеет этим избранным дискурсом, этим чужим словом и стилем. Обозначение значимых для автора дневника *Мы,* референтных или экспертных групп признания с помощью воссоздания чужого слова, а значит, и чужого/иного дискурса, голоса/стиля гипотетического собеседника, потенциального носителя разделенной идентичности является одним из способов «конструирования» собственного *Я* дайариста. Анализируя тех, к кому обращается автор в дневниковом нарративе, мы, таким образом, уясняем, кто для него важен, кого он считает в определенном смысле «своими». А это в свою очередь дает ключ к пониманию того, как настроена «оптика», через которую он видит и описывает себя, окружающих и события — что попадает в его кругозор, а что остается в зоне белого пятна видимости и оценки. Анализ *Ты* и *Я* в дневниковом нарративе помогает понять и ценностный фильтр — как (и почему именно так) автор дневника интерпретирует и оценивает увиденное и записанное.

Но надо заметить сразу и то, что дневник — это текст, который не имеет целостности и концептуальности: он отражает противоречивый и неоднозначный процесс проживания жизни, и пишущий никогда не равен себе, если понимать под «собой» какую-то законченную и готовую идентичность. Дневник, особенно дневник молодого человека, запечатлевает процесс поиска идентичности или, точнее сказать, сам и является способом, инструментом такого поиска. Поэтому и *Я,* и *Ты,* и *Мы*, к которым дайарист чувствует принадлежность, может быть много, и они могут вступать с друг другом в весьма конфликтные взаимоотношения.

[1] *Бахтин М.* Проблема речевых жанров // Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 275.

О Георгии Эфроне и его дневниках

Объектом нашего исследовательского интереса в этой работе будет дневник Георгия Эфрона. Этот текст, с одной стороны, — не литературный, не писательский дневник, потому что его автор не был (или не успел стать) профессиональным литератором. Но, с другой стороны, этот дневниковый текст трудно без оговорок занести в категорию «дневников незамечательных людей», потому что Георгий Сергеевич Эфрон — личность, известная исследователям русской истории и русской литературы. Он был сыном великой русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой и Сергея Яковлевича Эфрона — белогвардейского офицера, в эмиграции ставшего активным деятелем евразийства и Союза возвращения на Родину, участвовавшего в некоторых операциях, осуществлявшихся ОГПУ за границей. Активной сторонницей СССР и энтузиасткой в деле возвращения из эмиграции в Советский Союз была и старшая сестра Георгия Ариадна Сергеевна Эфрон, которая первой из семьи в марте 1937 г. вернулась в Москву. В октябре 1937 г. из Франции в СССР переправился Сергей Яковлевич, а в июле 1939 г. — Марина Цветаева с сыном, 15-летним Георгием или Муром, как его называли родные и знакомые. В августе 1939 г. НКВД арестовало Алю, а в октябре — Сергея Яковлевича. Неясно, до какой степени Марина Ивановна была посвящена в дела мужа; Георгий же, как следует из его дневников, знал немало, довольно точно представлял себе, чем занимался отец, и сам отчасти находился в последние годы жизни в Париже под влиянием коммунистических и просоветских идей.

Нужно назвать и еще один важный для понимания личности автора дневника аспект: Марина Цветаева ждала и желала рождения сына со всей той неистовой страстью, которая отличала ее и как человека, и как поэта. Она окружила Георгия, которого считала выдающимся и незаурядным человеком, безмерной, контролирующей, авторитарной, «совершенно зверской, звериной любовью», как выразился в интервью друг Мура Дмитрий Сеземан[1]. Как пишет автор книги о последних годах жизни семьи Эфронов-Цветаевой Мария Иосифовна Белкина:

«Марина Ивановна с детства изолировала его от сверстников, она хотела быть для него всем, заменить ему всех! Ему еще и трех месяцев не было, когда она писала: “…сегодня я поймала себя на

[1] *Сеземан Д.* Марина Цветаева, Георгий Эфрон и возвращение в СССР // Радио Свободы: Электронный ресурс. URL: https://www.svoboda.org/a/262693.html (дата обращения: 02.10.2021).

том, что я уже мечтаю об острове с ним, настоящем, чтобы ему *некого* (оцените малодушие!) было, кроме меня, любить…”»[1]

О Георгии Эфроне уже немало написано, прежде всего биографами Марины Цветаевой. Но мне хотелось бы проанализировать его дневники не в качестве источника по истории его знаменитых родителей, а в связи с теми прагматическими вопросами исследования дневникового текста, о которых говорилось выше.

Сохранившиеся дневники Георгия Эфрона (1925–1944 гг.), написанные частично по-русски, частично по-французски, охватывают период с марта 1940-го по август 1943-го г., то есть, начиная с приезда вместе с матерью из Парижа в СССР и до его возвращения в Москву после жизни в эвакуации в Ташкенте[2].

Почему Мур пишет дневник? Во-первых, все вокруг него (мать, отец, сестра) пишут какие-то тексты, в том числе дневники и письма. Это modus vivendi семьи. Во-вторых, Георгий воспринимал себя как будущего писателя (эти представления, вероятно, активно поддерживала в нем мать), и дневники — это «заготовки» для будущих романов. И наконец, он находился в том положении, которое подталкивает многих, особенно молодых, к ведению дневника: в состоянии тотального одиночества и кризиса идентичности.

По приезде в СССР семье приходится жить на даче НКВД в подмосковном поселке Большово в изоляции, а после ареста Ариадны и Сергея Яковлевича ситуация усложняется во всех отношениях — становится непонятным, где жить, как жить и на что жить[3]. Тема одиночества, отсутствия друзей и среды — одна из лейтмотивных в дневниках Мура. Можно было бы привести десятки цитат на эту тему — вот некоторые, характерные, из первых дневниковых тетрадей:

> «У меня нет “общего круга”, нет среды, нет постоянного общения с людьми. Может быть, я не располагаю иметь друзей, потому что я ненавижу шаблон, банальность и непохож на других» (9 марта 1940 г.)[4];

[1] *Белкина М.И.* Скрещенье судеб // Electronic library e-libra.ru: Электронный ресурс. URL: https://e-libra.ru/read/393924-skreschenie-sudeb.html (дата обращения: 02.10.2021)

[2] Дневники Георгия Эфрона изданы уже неоднократно. Я пользуюсь изданием: *Эфрон Г.* Дневники: В 2 т. / подг.: Е.Б. Коркиной и В.К. Лосской. М.: Вагриус, 2005.

[3] Дальнейшая история Георгия, описанная в дневниках, такова: до войны они с матерью живут в Москве, в начале августа 1941 г. эвакуируются в Татарстан, в Елабугу, где Марина Ивановна 31 августа кончает жизнь самоубийством. Георгий, пробыв недолго в интернате в Чистополе, добирается до Москвы, откуда в последних числах октября 1941 г. эвакуируется в Ташкент, где живет до сентября 1943 г. Дошедший до нас дневник заканчивается записью от 25 августа 1943 г.

4 *Эфрон Г.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 19.

> «Ну хоть девушку не иметь, а товарища, настоящего, “коренного”, закадычного. Куда там! — я один» (23 апреля 1940 г.)[1];
> «Обстоятельствами я приговорен (на срок, который не знаю) к одиночеству … Нужно уметь находить приятное и без друзей и товарищей, и в этом заключается моя теперешняя задача» (20 апреля 1940 г.)[2];
> «Не иметь не только близких друзей, “своих”, но и даже товарищей — это просто ужасно» (27 апреля 1940 г.)[3];
> «Полная и совершенная изоляция. Полное непонимание со стороны матери… Действительно бывают моменты, когда мне вся эта жизнь осточертела … Не то, что я не могу оставаться один, но это чувство изоляции, одним словом — комплекс неполноценности» (3 июля 1940 г.)[4]

Записей, описывающих отсутствие друзей, среды, полных отчаяния от изолированности и «выкинутости» из общества и сообщества, много и в дальнейших тетрадях. Но в приведенной последней цитате упоминается мать, Марина Ивановна Цветаева; в этой же записи чуть выше Мур пишет: «Мать валяется и читает “Дневник” Ж. Ренара. Ей абсолютно начхать, что я так хреново скучаю» (3 июля 1940 г.)[5] Если говорить не о реальных и сложных отношениях сына и матери, для понимания которых нужно сопоставить множество свидетельств разных сторон и в разных жанрах (письма, мемуары, стихи и романы и пр.), а только о том, как мать изображается на страницах анализируемых дневников Мура, то приходится констатировать, что она никогда не появляется там в роли друга или адресата, не становится *Ты* дневникового нарратива. «Ведь нам совершенно не о чем с ней говорить, а когда говорим, то начинаем спорить и взаимно говорить неприятности», — записывает Мур 22 марта 1941 г.[6] И то сообщество литераторов, к которому принадлежит Цветаева, не изображается как значимое для дайариста *Мы*. Круг знакомых матери — любопытен, но они не могут претендовать на роль «своих»:

[1] Там же. С. 43.

[2] Там же. С. 86.

[3] Там же. С. 97.

[4] Там же. С. 112. Эта первая запись в опубликованных дневниках, сделанная по-французски. В дальнейшем французских записей много, иногда русский и французский смешиваются в пределах одной записи. Одна из очевидных причин перехода на французский — желание говорить свободно и критически. Оценки и выражения во французских записях обычно более резкие, грубые и определенные, чем в русских. Все французские цитаты приводятся в переводе одной из публикаторов дневника, В.К. Лосской.

[5] *Эфрон Г.* Указ. соч. С. 112.

[6] Там же. С. 301.

«Я считаю я буду вращаться в такой среде, где я буду сам Георгий Сергеевич, а не “сын Марины Цветаевой” … Кроме того, мне надоели поэты, старики, переводчики и Крученыхи. Я буду общаться только в кругу мне равноправном — т[о] е[сть] в кругу молодежи … Кроме того я чувствую себя чужеродным телом среди всех этих маминых знакомых» (25 марта 1941 г.)[1]

Чаще всего мать в дневнике изображается как непонимающий и назойливый контролер и/или обслуга. «Все эти бесконечные решения мне надоели бесконечно — это ведет к тому, что мать не работает, комната грязная и питаемся в столовых…» — возмущается 5 августа 1941 г. шестнадцатилетний «ребенок»[2]. Георгий придумывает, как поменьше помогать и уклониться от неприятных забот. «Дело в том, что мать хочет заставить меня все время ей помогать. Я отнюдь не хочу, а хочу в Москве напоследок повеселиться. Попробую мою обычную тактику: так плохо помогать, что она вынуждена будет сама отправить меня к черту», — пишет он в разгар подготовки к эвакуации, а вернее, к паническому бегству из Москвы (23 июля 1941 г.)[3] За день до самоубийства Марины Ивановны в Елабуге Георгий записывает в дневник:

«Она [мать — *И.С.*] хочет, чтобы я работал тоже в совхозе; тогда, если платят 6 р[ублей] в день, вместе мы будем зарабатывать 360 рублей в месяц. Но я хочу схитрить. По правде сказать, грязная работа в совхозе — особенно под дождем, летом это еще ничего — мне не улыбается. В случае, если эта работа в совхозе наладится, я хочу убедить мать, что я смог бы ходить в школу. Пусть ей будет трудно, но я считаю, что это невозможно, нет, себе дороже. Предпочитаю учиться, чем копаться в земле с огурцами… Она трубит о своей любви ко мне, которая ее poussé [толкнула — *И.С.*] на это. Пусть докажет на деле, насколько понимает, что мне больше всего нужно» (30 августа 1941 г.)[4]

Но, конечно, отношение Мура к матери не только потребительское, в дневнике есть (редкие, правда) записи о том, что он жалеет мать, понимает масштаб ее таланта («Я очень жалею мать — она поэт, ей нужно переводить, жить нормальной жизнью, а она портит себе кровь … Главное, я беспокоюсь и горюю за нее» — 22 августа 1940 г.)[5], но мать, как я уже говорила, в дневнике не адресат и не друг, не часть разделенного и важного *Мы*.

[1] *Эфрон Г.* Указ. соч. С. 305.
[2] Там же. С. 482.
[3] Там же. С. 473.
[4] Там же. С. 539.
[5] Там же. С. 174.

Адресаты и группы признания в дневниках: советское

Но существуют ли, конструируются ли в дневнике такие *Ты* (адресаты) и *Мы* (группы признания), которые помогают определить и собственное *Я*, ответить на вопрос «кто я?», особенно актуальный для Георгия, который попадает в ловушку «беспочвенности и безвременности»? Он много раз пишет о себе как о человеке без почвы, «heimatlos» (26 мая 1941 г.)[1] — он родился в Чехии, жил во Франции, но везде чувствовал себя иностранцем. В результате сложных обстоятельств и не им принятых решений он оказался в СССР — человеком без прошлого (так как никому не может, не имеет права рассказать в подробностях свою биографию), с неопределенным будущим и сомнительным настоящим. «Действительно это довольно ненормальное явление 15-летний молодой человек Советской страны не имеет друзей», — записывает Мур 7 сентября 1940 г., в очередной раз говоря о своем одиночестве[2]. В этой цитате он определяет себя как молодого человека советской страны. Отец и сестра еще во Франции пытались внедрить в сознание сына и брата представление, что переезд в СССР решит все его экзистенциальные проблемы и прежде всего проблему одиночества, отчужденности, *ино*-странности. 17 мая 1941 г. Георгий констатирует в дневнике:

«Одиночество — очень скучная вещь… А ведь в Париже было точно так же… Помню, как слонялся один по кино и т. д. Но все надеялся, что в СССР будет много друзей — и папа и Аля entretenaient une telle croyance (поддерживали такую уверенность).

В довоенных тетрадях дневника мы видим немало довольно активных усилий обратиться к советским людям, советскому обществу как к референтной группе, значимому *Мы*.

Представление о советском и советских людях как *своих*, как уже отмечено выше, было задано отцом и сестрой и порождало надежды. «Реалистическое», как многократно пишет Мур, стремление стать или попытаться стать одним из *«нас»,* советских людей, усилилось после ареста сестры и отца под влиянием страха, о котором Мур почти никогда не пишет прямо. Сначала он надеется «на праведность НКВД» и уверяет себя и других, что отец и Ариадна — честные люди, искренне любящие СССР, и потому их скоро освободят (6 марта 1940 г.)[3], но, когда Аля получает восьмилетний срок

[1] Там же. С. 345.
[2] Там же. С. 230.
[3] Там же. С. 121.

и отправляется на Север, мысли Мура принимают иной оборот. «Я часто думаю о печальной судьбе Али. Неужели и меня ждет такая судьба. А ведь это скука — быть вдали от города на севере», — записывает он 16 марта 1941 г.[1] И несколько раньше подчеркивает: «Не нужно так резко отличаться от других» (12 января 1941 г.)[2]

Советское *Мы,* к которому он обращается в дневнике как значимой для себя группе признания, сконструировано по лекалам коммунистических идей, усвоенных во Франции, с опорой на язык советских газет и школьных учебников. Это и искренняя попытка «вписаться» в новую жизнь, и порождение скрываемого от самого себя страха оказаться изгоем, отщепенцем, врагом.

Ориентация на этого адресата видна в употреблении таких слов и выражений, как «арестован какой-то вредитель» (29 апреля 1940 г.), «так и надо империалистам» (23 мая 1940 г .), «процесс … закала и воспитания имеет бесспорно положительный характер» (8 июня 1940 г.), «Муля — бывший троцкист, исключенный из партии» (16 августа 1940 г.), «с точки зрения коммунистической морали» (2 октября 1940 г.), «книга … свидетельствует очень красноречиво о крайнем разложении капиталистического мира» (16 ноября 1940 г.), «находишься в постоянном контакте с массами» (20 января 1941 г.), «группа одноклассников-комсомольцев» (4 февраля 1941 г.), «стал гораздо интенсивнее жить жизнью школы» (4 февраля 1941 г.), «пафос революции» (о поэме «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого) (7 февраля 1941 г.), «коллектив — великая штука» (11 февраля 1941 г.) и т. п.[3]

> «Я был страшно взволнован: да, борьба продолжалась, много людей во Франции есть, которые вместе с коммунистами борются за спасение Франции! Голос спикера был голос революционной, настоящей Франции, продолжающей свои боевые революционные традиции», —

записывает Георгий после прослушивания французской радиостанции «Фронт мира» 15 июня 1940 г. (15 июня 1940 г.)[4]

> «Сегодня наши войска перешли границы Румынии и вступили в Бессарабию и Северную Буковину … Здорово! Коммунизм распространяется — и это главное … Мы хотим показать Германии, что мы не бездействуем», —

так комментирует он 28 апреля 1940 г. актуальные политические события, употребляя местоимения «мы» и «наши» по отношению к советской армии (28 июня 1940 г.)[1] У Георгия есть представление о «настоящем советском человеке», которого он хотел бы иметь другом и адресатом:

> «Мне бы хотелось друга культурного, просвещенного и в то же время вполне советского, который страстно интересуется как и СССР, так и мировой политикой, человека умного и веселого» (17 мая 1940 г.)[2]

Правда, реальные советские люди не очень подходят под этот идеальный образ, например,

> «люди, которые сдают дачи, — частные собственники, яростно обрабатывающие свой клочок земли; в них нет абсолютно ничего советского. Это самые что ни на есть низкопробные мещане: сплетники, “клопы обывательюсы” — по Маяковскому. Мещан я ненавижу пуще всего, потому что это самые тупые и вредоносные люди, с их мелкой хитринкой, эгоисты и ярые собственники» (21 мая 1940 г.)[3]

Несколько месяцев спустя как несоветских людей и мещан Мур заклеймит соседей по московской квартире, где они с матерью снимут комнату. Вернее, это не соседи, а семья хозяина квартиры, жена и дети, которые собираются выехать к командированному на Север главе семейства.

> «Свет божий, какие мещане наши соседи! Люди хорошие, не злые, но мещане. Нет размаха — вот в чем дело. Музыки не понимают, политикой не интересуются, литературы не знают, говорить не умеют (бормочут), смеются кисло и над глупостями, газет не читают. Интересуются семейными делами, сплетнями, пеленками. Родители обожают делать назидания детям, дети фыркают, каша варится. Узость, нет горизонта у этих людей. Я не знаю: по-моему, у истинно советских людей должен быть размах, увлечения, идеалы! Советские люди не варятся в собственном соку, они интересуются всем новым, они горячи… А эти… исключительно ограниченные … А ну их к черту! Лишь бы не мешали, а там — как знают. Куда им интересоваться международным положением! Их партия — шкуристы. Куксятся, варят кашицу жиденькую, шушукаются и кривляются. Да, это не коммунисты» (16 октября 1940 г.)[4]

---

[1] *Эфрон Г.* Указ. соч. С. 300.
[2] Там же. С. 271.
[3] Там же. С. 43, 61, 75, 169–170, 203, 236, 275, 282, 284, 285.
[4] Там же. С. 79.

[1] Там же. С. 98–99.
[2] Там же. С. 55.
[3] Там же. С. 59.
[4] Там же. С. 213.

Когда же женщина начнет сомневаться, стоит ли им с детьми покидать (их собственную) квартиру и отправляться в рискованное путешествие, Мур уже не будет рассуждать о культуре и коммунизме, а довольно грубо и «шкурно» напишет:

> «У-У сволочь, наседка, идиотка. Дурища! Видите ли, боится ехать, шлет телеграммы, охает, разводит руками. А девчонка орет, орет. Но я никак не могу поверить, что нам придется отсюда выкатываться» (22 октября 1940 г.)[1]

То есть советский человек как *Ты* — адресат и друг, советские люди как *Мы* — это, с одной стороны, действительно существенная и желаемая группа признания, но, с другой, — это создаваемый усилием воли конструкт, который важен и как способ самосозидания (закалки, приспособления к реальностям жизни), и как идеальная мерка, позволяющая манипулировать оценками в собственных целях, и, возможно, как своего рода удостоверение в лояльности, предъявляемое гипотетическому адресату такого типа, с которым беседуют в это время за стенами тюрьмы отец и сестра. Приведу несколько наиболее выразительных примеров. В цитатах, которые последуют ниже, все время упоминается Митька — Дмитрий Сеземан[2], к персоне которого и его роли в дневниковом нарративе я еще обращусь подробно ниже.

> «Нужно прежде всего быть реалистом, держать глаза и уши широко раскрытыми; нужно воспринимать, чувствовать; нужно смотреть и слушать; нужно действительно жить действительностью. Я так и делаю. А Митька все еще питается воспоминаниями — и это убого. …Я сумел оторваться и жить каждодневной советской действительностью. Я — реалист, и взгляд мой на жизнь учитывает все обстоятельства моей жизни» (28 октября 1940 г.)[3];

[1] *Эфрон Г.* Указ. соч. С. 217.

[2] Дмитрий Сеземан (1922–1988) — сын Н Н. Клепининой, которая, как и отчим Дмитрия Н.А. Клепинин, была вместе с С.Я. Эфроном участницей тайных операций ОГПУ во Франции. В 1939 г. они были переправлены вместе с Дмитрием и его старшим братом Алексеем в СССР, где жили вместе с семьей Эфрон-Цветаевой на даче в Большове. В 1939 г. отчима, мать и старшего брата арестовали. Родителей в 1941 г. расстреляли, Алексея выслали на 8 лет в северные лагеря. Дмитрий жил в Москве в семье бабушки по матери, во время войны эвакуировался с ними в Ашхабад, учился в Институте философии, литературы и искусства, в 1942 г. был арестован, после «актирования» из лагеря пошел на фронт, затем работал переводчиком, в 1976 г. во время поездки а Париж попросил политического убежища во Франции, где и жил до своей смерти.

[3] *Эфрон Г.* Указ. соч. С. 221.

> «Но никак нельзя жить прошлым. Я совершенно категорически утверждаю, что это совершенно явный признак упадка и непригодности к жизни. Дело в том, что у Митьки все события действительности проходят как бы на фоне парижских воспоминаний и ощущений. Это бедно! Нужно уметь находить богатства повсюду. Я утверждаю, что СССР — страна, исключительно богатая интересными возможностями и ощущениями. Эта страна богата во всех отношениях. Это отрицать нельзя. Эта страна исключительно большого размаха и возможностей, и нужно эти возможности полностью использовать, а не пренебрегать этими возможностями» (7 декабря 1940 г.)[1];
>
> «За последние дни я многое передумал. Я окончательно решил порвать с Митькой и идти по дороге школы, школьных знакомств. Я решил идти по пути нормального развития. К чорту ненормальные явления и Митьку с его пошлой романтикой. Довольно. Будем жить жизнью, а не хламом. Реализм побеждает. Я стою на позициях реализма. Митьку — к чорту. Он мне больше не нужен… В конце концов, это содружество с Митькой не может дать хороших результатов, а только плохие. К чорту разложенцев. Прочел прекрасную книгу “Рожденные бурей” (т[о] е[сть] “Как закалялась сталь”) Островского» (31 января 1941 г.)[2];
>
> «Самое опасное для меня — это s’enfermer dans une tour d’ivoire (запереться в башне из слоновой кости) и поддаться пессимизму, воспоминаниям и т. п. А школа меня занимает, и завлекает, и приближает к действительности, к тому реалистическому отношению к жизни, которого я добиваюсь. Я принимаю участие в советской жизни, я — член общества, а не паразит. Мой выход и мой путь — только в общении с людьми школы, а позже армии и института, а не в общении с разными Митьками» (11 февраля 1941 г.)[3]

Как видно из приведенных выше цитат, Мур делает усилия, чтобы вписаться в прямом и переносном смысле в советскую действительность, преодолеть стигматизацию и стать «нормальным», усвоить (или, скорее, освоить) новые модели поведения и языка. Он хочет приспособиться к советской жизни — искренне или в страхе повторить участь отца и сестры. Но в этих цитатах одновременно можно заметить, что процесс советской «прописки» идет с большим трудом,

[1] Там же. С. 247–248.

[2] Там же. С. 281.

[3] Там же. С. 285.

и довольно скоро сам автор дневника признает, что этот проект терпит неудачу. 16 февраля 1941 г. он пересказывает в дневнике свой школьный разговор с одноклассником Сербиновым:

> «Я ему говорил о том, что боюсь никогда не быть русским человеком, что всегда на мне будет лежать клеймо Запада, и что хотя я стараюсь наиболее полно приспособиться к советским условиям, все-таки все во мне видят “мусье” и “француза”, говорят, что во мне нет ни капли русского духа, что я на русского не похож и т. п. Я стараюсь наиболее полно быть советским человеком, но, очевидно, роль играет то, что я наружно совсем не похож на русского человека — скорее англичанин, немец или поляк — а во-вторых то, что я свободно говорю и пишу по-французски, и приехал сравнительно недавно из-за границы, и жил там долго, и никогда не был раньше в СССР. Меня в классе отнюдь не считают чужаком, но все-таки отмечают разницу между мной и другими. Но я люблю школу, несмотря на то, что ко мне относятся немножко как к какому-нибудь гибриду из зоопарка» (16 февраля 1941 г.)[1]

Несколькими месяцами позже он констатирует: «В школе я другой, чуждый себе человек» (20 мая 1941 г.)[2]

Адресаты и группы признания в дневниках: европейское/культурное

Гораздо более органичным и натуральным языком самоописания является не советский дискурс, а язык европейской культуры в записях, сделанных как на русском, так и на французском языке. Группа признания, к которой автор дневника апеллирует чаще всего, — это культурные люди, европейцы, интеллигенты. Есть и адресат, *Ты*, который непосредственно представляет эту группу и с которым Мур ведет беспрерывный и напряженный диалог в дневнике. Это неоднократно упомянутый в приведенных выше и во множестве других дневниковых записей Митька — Дмитрий Сеземан. Последний часто описывается в записях сорокового года иронически как не реалист, а неумный романтик, который не желает адаптироваться, живет воспоминаниями, критикует все советское, громко болтает по-французски в московском трамвае, предпочитает вкусные обеды и кофепития в ресторане «Артистик» закалке и самовоспитанию и пр., и пр. В довоенных записях фиксируются

[1] *Эфрон Г.* Указ. соч. С. 287.

[2] Там же. С. 341.

бесчисленные недостатки Митьки, и знакомство с ним многократно определяется как бесполезное и опасное:

> «Нельзя же считать другом настоящим приспособленческого Митьку, к тому же столь “упадочника” и, в сущности, порочного элемента, который ничем мне не может помочь, ничего разъяснить, в котором нет ни капли советского духа, с которым можно только вспоминать французские старые анекдоты, остроумничать, разглядывать прохожих и издеваться над самими собой? Нет, Митька не друг, а только пустоватый компаньон, который, к тому же, всегда рад из тебя вытянуть денежки» (17 мая 1940 г.)[1];
>
> «Самое неприятное то, что он выставляет себя “западным интеллигентом”, любящим Малларме и Верлена, человеком утонченным и культурным, которого не проведешь. На х… этого “западного человека”» (2 мая 1941 г., по-французски)[2].

Несмотря на многочисленные подобные оценки, Мур беспрерывно пишет о Сеземане в дневнике и встречается с ним тайком от матери. Причина этого очевидна: Дмитрий — единственный в его окружении молодой человек с тем же, что и у него, бэкграундом, с похожей культурной памятью, с близкой биографией; единственный, перед кем не надо выдавать себя за «нового человека», не надо взращивать в себе советского гомункула.

В принципе в дневниковом нарративе Митька превращается в *Ты-Я*, двойника дайариста: обсуждая Митьку, все его достоинства и недостатки, Георгий отчужденно говорит о себе как «деклассированном интеллигенте» (26 мая 1941 г.)[3] с ценностями и привычками, подозрительными для советского общества, — и в тех записях, когда он так яростно (слишком яростно, подчеркнуто) противопоставляет себя Дмитрию, как чаще всего видим в довоенных записях, и тогда, когда говорит об их похожести и общности — в записях после начала войны.

В довоенных записях дневника обе стороны идентичности дайариста — советский молодой человек и западный интеллигент, которые строятся в нарративном «диалоге» с разными *Ты* и апеллируют к разным *Мы* (группам признания), — противоречиво и конкурентно сосуществуют, что понимает и сам склонный к аналитической саморефлексии автор дневника:

[1] Там же. С. 55.

[2] Там же. С. 327.

[3] Там же. С. 345.

«У меня двойная жизнь, двойной облик: ученик 8-го “Б” Эфрон Георгий, получающий “пос” по истории, боящийся физкультуры (или что-то вроде этого), с портфелем и среди простых и веселых товарищей, единица среди единиц, часть массы, ничего не имеет общего с хорошо одетым и изящно обутым молодым человеком, сидящим с Митькой в “Национале” и говорящим по-французски о позиции компартии Франции, о предателе Низане, пускающим анекдоты и смотрящим на женщин, и с молодым “интеллигентным” человеком, с которым наравне говорят писатели, говорящим о вопросах мировой литературы… Да, у меня совершенно точно две совершенно разные жизни. Это очень любопытно. Возможно, что у Митьки то же самое» (11 сентября 1940 г.)[1]

Если в довоенной части дневника, как уже отмечалось, автор прилагает усилия, чтобы изгнать из себя «Митьку», то в военное время, в Москве и эвакуации — найти Сезeмана и соединиться с ним становится какой-то сверхзадачей и idée fixe:

«В сущности, по правде говоря, я ведь уезжаю, главным образом, в надежде встретиться с Митей. Я хочу, насколько это возможно, приблизить свою судьбу к его судьбе. Мы слишком связаны друг с другом, чтобы окончательно расстаться. И несмотря ни на что, я надеюсь, что мы встретимся. Мы с Митей совершенно необыкновенные, мы редкие экземпляры человеческой породы, странные и самобытные. Следовательно, мы должны быть вместе; там, где есть группа, есть сила; к тому же мы друзья детства. У нас было так много общего, интересов, вкусов, что мы не должны терять друг друга из виду» (28 октября 1941 г., по-французски)[2].

В дневниковых записях после гибели матери, в первую военную осень очевидно, что советское коллективное *Мы* перестает быть референтной группой, точкой отсчета и отчета. В записях средины октября 1941 г. русские, советские то *мы, наши,* то *они, красные, Red Armey, «наши»* (в кавычках). Показательно и то, что все чаще записи делаются по-французски. Георгий возвращается из Елабуги в Москву во время самых напряженных подмосковных боев, он думает о возможной сдаче города и приходе немцев, и в этой ситуации принадлежность к европейской культуре кажется ему спасительной. У него практически нет патриотической позиции советского человека, он страшится только разрушения Москвы и удивляется, почему его подруга Валя так боится прихода немцев, ведь ее отец-коммунист умер еще в 1932 г. и, значит, ей ничего не может угрожать. Возможно и вероятно, Эфрон проецирует на Москву парижскую ситуацию, о которой он записал в дневнике 6 июля 1940 г.: «Немцы на Елисейских полях! Не знаю, как это воспринимать: в сущности, ничего особенно трагического в этом факте нет»[1]. Вот несколько записей того времени:

«Естественно, главный вопрос, первостепенный — будут ли защищать Москву или красные войска ее оставят. Если ее будут защищать — это плохо. Тогда немцы будут ее бомбить беспощадно, с помощью авиации и дальнобойной артиллерии. Через некоторое время от нее ничего не останется. Если советские войска ее оставят — это хорошо, без разрухи, оккупация по-мягкому. Все московское население желает 2-го варианта» (16 октября 1941 г., по-французски)[2];

«Я почти потерял всякую надежду, что Москву защищать не будут, а это предотвратило бы большие несчастья для города. Вероятно, как я надеюсь, главное будет происходить вне города — ибо если немцы до города доберутся или смогут в город войти, все для красных будет кончено. Было бы сущим идиотизмом бороться за город, который все равно будет взят. Сегодня постараюсь найти хороший ресторан, чтобы поесть. Если какая-нибудь жратва еще осталась. Очень боюсь за Москву. Ведь “наши” способны наделать глупостей, престижа ради» (18 октября 1941 г., по-французски)[3].

Надо отметить, что к тому времени деконструируется не только *советское Мы*, но проблематичной оказывается и принадлежность к *русскому Мы*, а значимость *Европы, Запада* как группы принадлежности и признания резко возрастает. Во время пути в эвакуацию в Татарию понятия *Россия и русское* переоцениваются: Россия — это не Европа, а Азия, провинция, грязь и глушь — и потому дайарист не желает с ней идентифицироваться:

«Я уезжаю из столицы, из той столицы, того города, о котором в мире больше всего знают. Кто знает в Европе и Америке о Татарии? … Возможно, что уезжаю на очень тяжелую жизнь в какой-то глуши… Конечно, это очень мрачно для меня,

[1] Там же. С. 189.

[2] *Эфрон Г.* Дневники: В 2 т. / подг.: Е.Б. Коркиной и В.К. Лосской. М.: Вагриус, 2005. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 76.

[1] *Он же*. Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 116.

[2] *Он же.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 51.

[3] Там же. С. 54.

вропейца и культурного человека, уезжать в какую-то там Татарию … Уезжая в Татарию, я сильно отдаляюсь от жизненного, культурного центра, который собой представляет Москва. Боюсь я надолго застрять в этой Татарии. И что я там буду делать? Глупо как-то: Прага, Париж, Москва… Казань (в лучшем случае, потому что, наверное, жить будем не в Казани — переполненной, а в месте еще захолустней). Как-то абсурдно звучит: я — и вдруг в Татарию жить» (2 августа 1941 г.)[1];

«Мой выбор ясен — ни за что в глушь не уеду… Жертвовать моим будущим, образованием и культурой не намерен» (5 августа 1941 г.)[2];

«То, что я знаю и чувствую, это то, что я, к сожалению, удаляюсь все дальше от многих вещей, а именно — комфорта и т. д. и от моей главной цели — поехать в Европу, во Францию. Я удаляюсь от культуры. Мне чудом удалось защитить от грязи мои шикарные брюки, парижские башмаки я чищу каждый день, я хорошо причесан и поддерживаю свою репутацию элегантного мужчины» (20 августа 1941 г., по-французски)[3];

«Подумать только, в какой я сейчас глуши, как отдалился от Европы и культуры! В Елабуге грязно, люди — рожи. Вонь, скука, пьяные. Как я выберусь на поверхность?» (22 августа 1941 г.)[4];

«Что я делаю в Елабуге, с грязью и дождем — с моей любовью к французской литературе, к Франции, к мировой политике? Бред все-таки, что я — здесь» (26 августа 1941 г.)[5]

Не только отцовское «советское», но и «материнское “русское”»[6] начинает описываться как чуждое, как *Они*, а не *Мы,* и при этом *Они*, русские, Россия наделяются почти исключительно негативными чертами.: «Комфорт — не русский продукт» (11 августа 1941 г.); «Несколько наблюдений над русскими: они обожают сигареты, чай, соленые огурцы, собак и кошек, Волгу, балет, оперу, Золя, Бальзака и малые нации» (11 августа 1941 г., по-французски); «Когда смотришь на всех этих людей, можно сказать одно: все ненавидят организацию. Это просто какое-то сумасшествие, и оно специфически русское (не

[1] *Эфрон Г.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 479.

[2] Там же. С. 482.

[3] Там же. С. 520.

[4] Там же. С. 528.

[5] Там же. С. 537.

[6] См., напр., цикл 1932 г. «Стихи к сыну», заканчивающиеся строками: «Я, что в тебя — всю Русь Вкачала — как насосом! Бог видит — побожусь! — Не будешь ты отбросом Страны своей».

советское, а именно русское)» (13 августа 1941 г., по-французски); «Если он любит играть на баяне, восторгается крайностями футуристов [19]15–[19]18 гг. и обожает Есенина — это недостатки, которые следует приписывать не его личности, а русским вообще» (17 сентября 1941 г., по-французски); «Россия в конце концов абсурдная страна, а главное — очень грязная» (1 ноября 1941 г., по-французски); «И как все нудно и противно. Одни книги меня поддерживают. Вот уж говно, эта страна Советская! Хотя мне кажется, что не только от Советов все эти непорядки, вся эта грязь, весь этот страшный ужас. Все эти несчастья идут из глубокой русской сущности. Виновата Россия, виноват русский народ, со всеми его привычками! (9 ноября 1941 г., по-французски); «Да посмотрите на деревню. Как и до революции, народ глупый, грязный, малокультурный (абсолютно бескультурный, по правде говоря). Противная страна. А все-таки надо будет как-то в ней устроиться» (10 ноября 1941 г., по-французски)[1].

Не менее беспощадно характеризуются и «так называемые русские интеллигенты», литераторы, которых Мур наблюдает в Чистополе и Ташкенте. И советское, и русское в качестве *Мы*, частью которого описывалось в дневнике *Я* и которое было коллективным косвенным адресатом, при столкновении с реальностью деконструируется и не выдерживает конкуренции с тем (все более виртуальным) *Мы*, которое называется Европа-Франция-культура.

Фланер и наблюдатель. Будущее Я как главный адресат дневника

Но что значит быть «европейским интеллигентом» в предвоенном и военном СССР в трактовке автора дневника? Так как принадлежность к этому *Мы* тайная, подозрительная и виртуальная, то она выражается в выборе довольно комфортной роли наблюдателя, фланера, «постороннего». В предвоенных записях часто описывается, как он один или с Митей Сеземаном шатается по московским улицам, ездит бесцельно в трамваях, ходит по универмагам и книжным лавкам, рассматривает встречных, в театральных антрактах любит «глазеть на проходящих и оценивать каждого по достоинству» (4 ноября 1940 г.)[2] В школе он наблюдает за флиртами и мелкими интригами одноклассников, замечая: «Интересная штука! Люблю закулисные дела. Психология матерого журналиста» (23 января 1941 г.)[3]

[1] *Эфрон Г.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 482, 491, 495, 513; Т. 2: 1941–1943 годы. С. 83, 104, 109.

[2] Там же. С. 227.

[3] Там же.

В записи от 13 августа 1940 г. читаем: «Противно, что придется быть участником этого апокалипсического переезда. Хорошо бы было быть “безучастным зрителем”! — Да нет, не удастся, пожалуй!»[1] Точно так же (с позиции «зрителя») он описывает мировые политические события, анализу которых в дневниках уделено много места: «Германия заняла Данию и Норвегию. Здорово! Всегда замечательно, когда развиваются события» (10 апреля 1940 г.)[2] 31 октября 1941 г., во время долгой дороги на поезде в эвакуацию в Ташкент, Мур записывает по-французски свое кредо: «Я пустился в авантюру; пока жив и “свеж”, я рассматриваю события, в которые замешан, с объективным — скажу даже “историческим интересом почти равнодушного свидетеля”»[3].

Роль постороннего наблюдателя для Мура — наиболее желаемая, потому что вступить в реальный контакт с людьми и стать частью какой-то общности или группы для него сложная, а может, и неразрешимая задача. Исключительный эгоцентризм и представление о собственной уникальности и избранности, внушенное во многом матерью, мешают ему вступать в реальный и даже воображаемый диалог с людьми. Но без *Ты* и *Мы* трудно определить и свое *Я*, потому лейтмотивом дневника становится неукорененность, неуверенность в собственном существовании: нигде нет опоры, «все время все было временное и не налаженное окончательно»[4]. Эту ненадежность всего, в том числе собственного *Я,* Эфрон многократно пытается объяснить внешними причинами и виной других. Реальные люди (исключая, возможно, только родных и Сеземана) в дневнике в основном объект критического препарирования. Мур охотно использует людей и еще охотнее их же обвиняет; радуется, когда можно обмануть, поесть на дармовщину, попользоваться услугами других и увильнуть от ответных услуг[5].

[1] *Эфрон Г.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 166.

[2] Там же. С. 36.

[3] *Он же.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 82.

[4] *Он же.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 125.

[5] Например, он, Мур, не раз с гордостью пишет о том, как ему удалось поесть на дармовщинку или провести пожилых женщин, которые подкармливают и опекают его в Ташкенте в надежде на его помощь. Один из многих примеров: «Потом был у Л.Г. Вероятно, сегодня она уехала. Она … намеревалась использовать меня, чтобы помочь ей донести паек из магазина. Противный цинизм все-таки: знает о моем голодном состоянии и думает, что какой-то поганый суп достаточно искупит эту помощь: тащить мне разные вкусные вещи для чужих! Но, к счастью, этого сделать не пришлось, она переменила мненье и послала меня к своей знакомой с порученьем. На том и расстались. И она еще рассчитывала, что я ей позвоню, чтобы условиться помогать на вокзале! Чего я не сделал. …Живут в доме академиков, имеют массу знакомых и хотят меня использовать»! (31 мая 1943 г.; *Эфрон Г.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 244–245). Дайаристу в это время 18 лет.

Повзрослев и пройдя через лишения и испытания, он запишет 19 мая 1943 г. с присущей его дневнику откровенностью:

> «Вот я жалуюсь на свое одиночество; но, в сущности, я делаю это, исходя из чисто материалистических и практических соображений: люди в большинстве случаев (конечно, хорошо настроенные) помогают физическому существованию своих родственников, близких и друзей… В этом плане мне люди нужны: надо жрать, надо иметь связи, надо иметь знакомых, помогающих тебе и вводящих тебя туда-то и туда-то. Без людей, без их протекции не проживешь, — и это особенно в такие тяжелые (в материально-бытовом отношении) времена, как теперь. Но имей я деньги, необходимые для нормального существования, я уверен, что я бы пребывал в одиночестве. Кроме как на предмет довольно низменного их использования, мне люди не нужны: я их не люблю. Не люблю также их из-за того, что без них не проживешь, из-за того, что человек высший должен всегда быть связан с кучей низших, без которых, как говорится, — ни туда, ни сюда…Теперь все живут скопом, и мой идеал обеспеченного индивидуализма неосуществим сейчас. Конечно, люди играют еще роль чисто развлекательную — когда становится скучно с самим собой, то необходимо рассеяться, развлечься, и тогда начинаешь общаться с людьми — общаться до тех пор, пока несходство характеров и культур не приведут к отвращению, ссоре, разрыву… Но я полон любопытства к своей собственной судьбе, и мне объективно интересно, с точки зрения историка и романиста, как она будет в дальнейшем развертываться»[1].

В данной записи, на мой взгляд, прямо назван главный адресат дневникового нарратива — тот проективный образ, о котором писал Филипп Лежён: будущее *Я*, частью которого является сегодняшнее *Я* пишущего. Этот процесс самоадресации в дневнике тесно связан с вопросом самоидентификации, с проблемой становящейся идентичности автора текста.

Георгий, как уже отмечалось, постоянно аттестует себя как реалиста, утверждая, что «нужно в реальном находить и прелесть, и горечь, и удовольствие, и даже эстетическое удовлетворение. Я так и делаю, и оттого мне легко жить (22 июня 1940 г.)[2] Однако в противоречии с такими декларациями он живет очень нелегко и чаще всего — будущим: заполняет пустоту настоящего, занося

[1] Там же. С. 232.

[2] *Он же.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 91.

в дневник вопросы к будущему, которые обычно начинаются словом «интересно»: «Интересно — переедем ли мы в Голицино в другую комнату (2 мая 1940 г.); «Интересно, какая будет первая женщина, с которой я буду “крутить любовь”» (13 июля 1940 г.); «Интересно знать, как я буду учиться этот год…» (14 июля 1940 г.); «Интересно знать, где же будем жить этой зимой?» (17 июля 1940 г.); «В общем, интересно, что я буду завтра писать в моем дневнике по поводу сегодняшнего дня» (22 июля 1940 г.); «Интересно, как я проведу сегодняшний день» (8 сентября 1940 г.); «Но все-таки интересно, как будет в дальнейшем развиваться моя “маленькая жизнь”»?» (26 мая 1941 г.)[1]

Будущее *Я* как адресат не только подразумевается, но и получает в нарративе конкретное воплощение: происходит как бы виртуальная метаморфоза, превращение сегодняшнего несамостоятельного, одинокого, унижаемого подростка в великого, успешного человека, богача, знаменитость, писателя и историка, у которого все впереди и которому много чего предстоит: «Предстоит спорт, пляжи, любовь, море, голубое небо, интересная работа, интересные знакомства, увлечения, радости и развлечения…» (2 января 1941 г.)[2]

Подобного рода записей чрезвычайно много, вот некоторые, наиболее выразительные:

> «У меня могут быть самые большие неприятности — мне решительно все равно. Наоборот, это во мне поддерживает уверенность, что когда-нибудь я стану человеком, великим человеком, который сможет плевать на все трудности и платить за свою неприкасаемость» (18 апреля 1941 г., по-французски)[3]; «Когда-нибудь я стану настоящим богачом и смогу иметь все, что захочу: это будет возмездием за все “потери юности”. В конце концов, лучше все терять в 16 лет, чем в 30–40. У меня вся жизнь впереди, и я очень надеюсь добиться удачи (20 июля 1941 г., по-французски)[4]; «…Я обязан прятать когти перед идиотами … Что бы ни случилось, я не пропаду и сделаю все возможное, учитывая данное положение, чтобы добиться образа жизни, лучше всего соответствующего моему идеалу и моим средствам» (13 августа 1941 г., по-французски)[5]; «…Все переменится, и я узнаю ослепительный успех» (16 октября 1941 г., по-французски)[6];

[1] *Эфрон Г.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 47, 128, 129, 134, 140, 187, 346.
[2] Там же. С. 265.
[3] Там же. С. 389.
[4] Там же. С. 468.
[5] Там же. С. 496.
[6] *Он же.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 42.

> «Я, например, хочу быть, скажем, знаменитым писателем. Основное — сохранить себя» (13 ноября 1941 г.)[1]

Мы, группа признания, которая связана с этим *Я-Ты* адресатом, — это будущие читатели и почитатели, знатоки европейской культуры, утонченные красавицы, — тот круг избранных, который составляет 1 % человечества, потому что, как пишет Георгий 9 августа 1941 г.,

> «99 % людей мне представляются чудовищными существами, это какие-то наросты, раны. Они мне противны. Я всегда в них, в их мнениях, в их манере выражаться распознаю какой-нибудь недостаток или тик, которые мне представляются уродливыми и доминирующими в личности их обладателей. Я жажду гармонии» (по-французски)[2].

Сконструированный в дневниковом нарративе состоявшийся и востребованный проективный *Я-Ты* адресат дает дайаристу, с одной стороны, возможность осознавать себя существующим и неодиноким, легализует его очень невеселое и скудное («пустое», как сам он многократно пишет) существование, а с другой — оправдывает его потребительское и часто аморальное отношение к окружающим реальным людям, которые не входят в число «избранных», в ту референтную группу, от которой он ждет признания. Это также является его алиби для уклонения от тех гражданских обязанностей, исполнения которых от него требует социум, например, от необходимости идти на «трудфронт» для юношей его возраста:

> «Человек живет только один раз, и жизнь драгоценна… Кроме того я — не рабочий. Я могу быть полезным переводчиком или литературоведом — и, надеюсь, когда-нибудь этим стану. А для рабочего ремесла вполне годны полчища праздношатающихся беспризорных и ленивых узбеков. И вообще сейчас мода — “завод, завод”. Ну и что? Не всем же под одну мерку. И пока я смогу не идти на завод, я туда не пойду. Я на это имею полное внутреннее право, право человека, который жил в Париже и Брюсселе, который ездил летом в горы и к морю, человека, хорошо осведомленного политически, человека, который много пережил, много видел, право человека весьма культурного и даже утонченного» (29 июня 1941 г.)[3]

[1] Там же. С. 123.
[2] *Он же.* Дневники. Т. 1: 1940–1941 годы. С. 487.
[3] *Он же.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 276.

Еда и письмо. Значение и функция дневника

В военных и особенно в ташкентских записях образ будущего становится экстремально важным, потому что настоящее превращается в борьбу за существование, главным смыслом которой наряду с чтением и письмом, а может, и в первую очередь оказывается процесс добывания и поглощения еды. Тема еды, любви к мороженому, котлетам, деликатесам и пр. возникает очень часто и ранее. Из воспоминаний известно, что Марина Ивановна, потерявшая одного ребенка в голодные двадцатые годы, буквально закармливала сына. Питание, наслаждение едой становится одной из ценностей жизни и занимает все большее и большее место в дневнике Г. Эфрона. В ташкентский период Мур все время пишет о голоде, хотя описания обедов, которые он поглощает в гостях у Толстых[1], очень плохо согласуются с понятием «голода». Вот один из примеров этих многостраничных описаний того, что ему удалось съесть за день:

> «Вчера обедал у П[олины] Д[митриевны] Превосходный обед: зеленый суп, совсем в стиле знаменитой soupe a l'oseille (конечно, не хватало яиц и сметаны!), на второе — котлета и макароны, зеленый салат — тоже во французском вкусе. В общем, наелся здорово — и хлеба вволю. Как вкусно было! А было бы еще раз в сто вкуснее, если бы удалось съесть все эти красоты дома, сосредоточивая все внимание на еде и не отвлекаясь обязательной в гостях болтовней. Но все-таки и так было здорово насыщаться. Чай с сахаром, оладьи. Хорошо! А до этого, взявши его в магазине, съел 400 г белейшего любимого хлеба и поел в детстоловой. А вечером съел обед из Союза [писателей — *И.С.*]» (22 апреля 1943 г.)[2]

Внимание к процессу насыщения становится почти маниакальным. Возможно, Георгий страдал каким-то заболеванием, которое вызывало такую неистребимую потребность в поглощении пищи, но если рассматривать эту тему в дневниковом нарративе, то она связана с ненадежностью существования. Процесс еды как бы удостоверяет физическое существование в настоящем времени, становится синонимом жизни, потому и не хочется отвлекаться от этого существа жизни на посторонние разговоры с малозначимыми людьми. Но важно и то, что Георгий подробнейшим образом *записывает* все стадии поиска, добычи и поглощения еды в дневнике. Сам процесс

[1] Георгия приглашает и угощает теща привилегированного советского писателя Алексея Толстого Полина Дмитриевна Крестинская.

[2] *Эфрон Г.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 214.

дневникового письма становится удостоверением существования — не только физического, но и духовного.

Дневник — убежище, обещание будущего, встреча с самим собой будущим — это важно, но и просто механизм письма, выведение букв на бумаге — это не иллюзия жизни, а это и есть жизнь, о чем склонный к саморефлексии дайарист прямо пишет на страницах своих тетрадей, особенно в минуты самых больших опасностей для жизни и ненадежности настоящего и будущего:

> «Единственная отрада моя здесь — писать дневник. … Почему дневник? Дневник потому, что во мне ясна потребность отдавать перед самим собой отчет в существовании этого самого себя, явлениях разных и иногда несообразных» (18 июля 1941 г.)[1];
>
> «До чего приятно писать. Пока я пишу эти строчки, у меня впечатление, что я исполняю вроде ритуала, пишу свое духовное завещание, фиксирую мои последние моральные пожелания. Надо признаться — мое настоящее положение откровенно шаткое и неустойчивое. Мое благополучие, мой любимый покой, который позволяет мне в данный момент писать, и читать, и записывать, — все это держится на волоске, который может оборваться с минуты на минуту. Мое "я" в опасности» (14 октября 1941 г., по-французски)[2];
>
> «Писать, чувствовать, мыслить, пока еще есть время, о несравненное наслаждение! Еще, еще один час, еще один выигранный день…» (15 октября 1941 г., по-французски)[3];
>
> «Даже в потемках неизвестности и угроз остается моя надежда. Вопрос жратвы тоже стоит на повестке дня. Но я счастлив, пока я могу писать, и пока знаю, что могу жить» (16 октября 1941 г.)[4]

Дневник оказывается для Георгия Эфрона в этот период его короткой жизни единственным реальным пространством самореализации.

Некоторые выводы

Что дает анализ дневника Георгия Эфрона через призму проблемы адресованности? Как замечалось в самом начале этой работы, такой анализ позволяет понять — какого рода источником может быть этот эго-текст; что мы можем в нем найти, а чего — не можем. Конечно, каждый эго-текст как источник субъективен, но каждый —

[1] *Он же*. Дневники. Т. 1: 1940–1943 годы. С. 457.

[2] *Он же.* Дневники. Т. 2: 1941–1943 годы. С. 41.

[3] Там же. С. 45.

[4] Там же. С. 47.

субъективен по-своему, у каждого дайариста своя оптика обзора, которую, как мне представляется, можно понять, анализируя, кому адресуется автор прямо или косвенно, кем он хочет быть услышан и понят.

Например, дневник Мура — хороший источник сведений об антисоветских настроениях, панических слухах, критических суждениях в первые военные месяцы и в эвакуации, но люди и суждения патриотического типа совсем не попадают в кругозор Георгия, а если и попадают, то его не интересуют.

В рассказе о литературной среде и положении М.И. Цветаевой тоже много своих ограничений — Мур отмечает и подробно описывает обиды и горечи и часто не замечает, недооценивает, не фиксирует моменты помощи, поддержки, эмпатии, в частности, и потому, что литературная среда русских/советских интеллигентов воспринимается им как чуждая, не «своя».

Но главное, о чем или, точнее, о ком свидетельствует автор дневника, — это он сам, Георгий Эфрон как странное, причудливое, исключительное, но в то же время в чем-то «типичное» порождение своего времени и многообразных, противоречивых влияний, так или иначе с этим временем связанных.

И важно напомнить, конечно, что дневник Мура читает не тот, кому он был адресован, потому что тот будущий *Я*, к кому обращался дайарист, остался только дневниковым конструктом, так как сам Георгий Эфрон погиб на фронте в июле 1944 г., когда ему было 19 лет.

Глава III.2. О чем молчит дневник рабочего завода № 19 А.И. Дмитриева

(А.Н. Кабацков)

Дневник А.И. Дмитриева как документ эпохи

В Пермском государственном архиве социально-политической истории хранятся личные дневники рабочего завода № 19 имени И.В. Сталина Александра Ивановича Дмитриева (1918–2005)[1]. Они охватывают несколько советских десятилетий. Приступив к ведению дневника в июле 1941 г., автор продолжал его вести и в послевоенный период. Сразу оговоримся, что для настоящего исследования избраны записи 1941–1944 гг. Именно в годы войны Александр Иванович делал регулярные, зачастую очень подробные и скрупулезные заметки о собственной жизни. Он описывал события, касавшиеся работы, делился с дневником проблемами в отношениях с родителями и подругами, высказывал суждения и оценки по разным поводам, заносил в тетрадь случаи из обыденной жизни заводского поселка, иногда передавал на бумаге ходившие по г. Молотову (г. Пермь в 1940–1957 гг.) слухи. Таким образом за годы войны А.И. Дмитриев исписал убористым почерком несколько школьных тетрадей. Используя химический карандаш, явно позаимствованный с казенных столов, он заполнял линованные страницы собственными переживаниями и мечтаниями, воспоминаниями о счастливых днях и планами на недалекое будущее, резонерствовал на тему морали.

[1] Две подборки дневниковых записей А.И. Дмитриева доступны на электронных носителях. Они изданы Пермским государственным архивом социально-политической истории (ПермГАСПИ) на CD-дисках: Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Документальная публикация / под ред. О.Л. Лейбовича, А.С. Кимерлинг. Пермь: ПермГАСПИ, 2016. CD; Дневник рабочего [III. 1946 — XII. 1955]. Документальная публикация / под ред. О.Л. Лейбовича, А.С. Кимерлинг. Пермь: ПермГАСПИ, 2015. CD. Электронная версия дневников также доступна на сайте «Прожито»: Дневник А.И. Дмитриева. 1946–1955 // Прожито: Электронный ресурс. URL: http://prozhito.org/person/418 (дата обращения: 04.11.2021).

Обращает на себя внимание тот факт, что сначала на страницах дневника Александр Дмитриев «играл» в гимназиста ушедшей эпохи — разочарованного, скучающего, не знающего, чем заняться: «Сегодня мне пришла мысль о ведении дневника моей жизни. Жизнь настолько стала скучна, что даже ничем другим я не хочу заниматься…»[1] Впоследствии на смену этой роли пришли самые разные роли: местного Дон-Жуана, предприимчивого дельца, даже героя-подпольщика. Перед кем разыгрывался этот спектакль? Перед воображаемым читателем, перед самим собой? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, очевидно, что постепенно рабочий парень, уроженец города Молотова, чуть старше двадцати лет, стал воспринимать ведение дневника как серьезное дело, можно сказать, как долг. Он даже оправдывался перед воображаемым читателем за временные лакуны в дневнике: «Нет! Все-таки я буду продолжать писать дневник. Уж очень я привык к нему, и бросать это дело мне не хочется. Буду писать опять регулярно. Это решено твердо»[2]. Схожим образом он объяснялся и позже, в феврале 1946 г., когда жизненные неурядицы вынудили его в очередной раз пропустить несколько месяцев:

> «Очень большой перерыв в писании дневника был вызван большими неприятностями в жизни. В основном причиной этому был квартирный вопрос. Сейчас с квартирой я устроился окончательно и дневник опять буду вести регулярно. Тем более что за последнее время произошло много интересных событий. Точные даты я указать уже не смогу, но все, что я запомнил, будет указано ниже»[3].

В диалог с самим собой Александр Иванович втянулся достаточно быстро и, привыкнув, стал высоко ценить саму возможность высказывания на страницах дневника. Он доверял дневнику, записывая туда не только самое сокровенное и личное, но и сообщая такие сведения о себе, которые, попав не в те руки, могли бы послужить материалом для суровых приговоров.

По своему социальному положению Александр был потомственным рабочим, горожанином во втором поколении. В начале войны проживал в г. Молотове, в частном доме вместе с семьей отца. Среднюю школу он закончил до войны и далее поступил в Пермский авиационный техникум, но не закончил его и устроился на моторостроительный завод № 19 имени И.В. Сталина Наркомата

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 23.07.1941.

[2] Там же.

[3] Дневник рабочего [III.1946 — XII.1955]. Запись от 26.07.1941.

авиационной промышленности СССР. На заводе он продолжил свое профессиональное образование в Школе мастеров социалистического труда (ШМСТ)[1]. Летом 1942 г., защитив выпускной проект и получив диплом, Дмитриев эмоционально записал в дневник: «Вчера, наконец-то, я защитил диплом на звание “Мастера социалистического труда”. Теперь с учебой все покончено и больше я никуда поступать учиться не буду. Хватит, научился!»[2]

По социальному статусу Александра Ивановича Дмитриева можно отнести к советской рабочей аристократии. Работа моториста, а затем ответственного за испытания и сдачу-приему авиационных двигателей заказчику в системе ОТК (отдел технического контроля) хорошо оплачивались. Судя по заметкам в дневнике, его обычные ежемесячные доходы превышали 1200 рублей, доходя в отдельных случаях до 1500 рублей, что в два-три раза превосходило средний заработок по заводу. Такая заработная плата позволяла ему приобщаться к элементам престижного советского потребления — владеть патефоном, свободно покупать билеты в кино или театр на компанию, приобретать продукты и товары на городском рынке.

На советских предприятиях 1930–1940 гг. не хватало квалифицированных кадров. Руководство предприятия создавало сложные системы экономического поощрения рабочих, в том числе, практики, апробированные стахановским движением. Из дневника можно узнать, что заметную часть дохода А. Дмитриев получал в виде премий или так называемой аккордной оплаты. Он, как и его товарищи-мотористы, обладавшие соответствующей технической подготовкой, имел возможность превратить обретенную им квалификацию и профессиональное образование в дополнительный заработок. Индивидуальной особенностью Александра Дмитриева можно считать его умение просчитывать экономическую ситуацию: он переходил из цеха в цех,

[1] Школа мастеров социалистического труда (ШМСТ) — высшая ступень в подготовке профессиональных рабочих кадров в 1935–1940-х гг. В ШМСТ принимали рабочих-стахановцев, ударников труда, успешно сдавших общеобразовательные экзамены за 7 классов средней школы. Обучение в ШМСТ происходило без отрыва от производства в течение 2–3-х лет. Выпускники школы могли занять рабочие места мастеров, старших мастеров, заместителей начальника цеха (см. об этом, напр.: Прием в школу мастеров соцтруда // Боевые крылья Нижнего Новгорода. Горьковский авиационный завод № 21 (1932–1945 гг.) Исследования. Воспоминания. Документы. Нижний Новгород: Изд-во ИНГУ, 2017. С. 514). А. Дмитриев поступил в ШМСТ осенью 1941 г. на 3 курс. Приемная комиссия учла рекомендацию цехового руководства и справку о сданных экзаменах в техникуме.

[2] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 01.07.1942.

менял профессию, был то мотористом, то контролером, то ремонтником. Он всегда был там, где больше платили и лучше кормили.

Заметным влиянием на стиль, содержание и общую манеру вести дневник оказало образование Александра Ивановича Дмитриева. С точки зрения советской «культурности», он был образцовым горожанином: он собирал собственную библиотеку и активно пользовался заводской, следил за новинками кино и театральными премьерами, коллекционировал грампластинки. Особой его гордостью был патефон. Искреннее увлечение литературой и книгами позволило ему выйти за локальные границы мастеровой культуры; он пробовал писать стихи и прозу, много читал. В его дневниковых записях упоминаются десятки книг, иногда с краткими комментариями названия увиденных им кинофильмов и театральных постановок. Своей невесте он сделал предложение в фойе оперного театра. В тот день давали «Евгения Онегина». Публика могла увидеть, как Дмитриев картинно опустился на колено и предложил избраннице руку и сердце.

Писателем он не стал. Заводская многотиражка тем не менее охотно публиковала его тексты, в цехе он был ответственным за выпуск стенгазеты. В кругу друзей и поселковой молодежи он был душой кампании, заводилой и «рубаха-парнем», который мог развеселить девушек, создать общее настроение праздника.

По совокупности социальных признаков — статусу, образованию, социальной активности, воспроизводимым культурным практикам — Александр Иванович Дмитриев являлся типичным советским человеком. Он был представителем нового поколения советской молодежи, воспитанного на образцах кино и литературе 1930-х гг. и принявшего без рефлексии и сравнения новые ценности, материальные и символические, новый большевистский язык, а с ним и писаные и неписаные правила поведения на заводе, в городе, в семье. А. Дмитриев не мыслил себя за пределами социалистического общества. Полученное образование и освоенная профессия, дополненные личным опытом жизни в заводском поселке, стали опорой его личности, вполне советской, но отнюдь не одномерной. Сквозь новую культурность проглядывали черты мастерового старой формации, ценившего копейку, хитроватого, не гнушавшегося рюмки…

Дневник А.И. Дмитриева выглядит естественным развитием его социальных практик советского рабочего и горожанина. Советская идеологическая и образовательная система формировала и поддерживала в нем стремление к самовоспитанию, к постоянной самопроверке на сознательность и идейность. Дневник и выполнял функцию

своеобразного кондуита — инструмента политического самоконтроля[1]. Естественно, не для всех. Тем не менее даже беглый взгляд на фонд советских дневников, аккумулируемых в рамках проекта «Прожито», позволяет говорить о том, что это уже не удел «избранных». Дневник как формат социальной и творческой активности получил заметное распространение в среде советских граждан, перестав быть элитарной практикой.

А.И. Дмитриев называл собственные записи «дневником моей жизни…» От дневников, исследованных Й. Хелльбеком, эти записи отличает множественность смыслов. Дневник Дмитриева, как уже указывалось выше, богаче по своему содержанию и явно выходит за рамки идеологической матрицы. С точки зрения формы, он эклектичен, но эта эклектика отражает сложность социальных ситуаций, несводимость жизненных практик к партийно-государственным образцам, более того, невозможность их описания на большевистском языке.

В записях А. Дмитриева можно обнаружить авантюрные сюжеты, а рядом с ними — сентенции о жизни и судьбе. Описывая отношения с девушкой, он обращался к эталонам высокой культуры, позаимствованным из кинофильмов, спектаклей и книг, но спустя несколько строчек уже вел рассказ о самом простом и обыденном, используя язык поселкового общения. Уместно допустить, что вольное обращение со словом и языком и в целом постоянное нарушение рамок дневникового жанра было следствием освоения данной практики в качестве массового социального опыта. Не случайно И. Савкина, описывая свойства дневников 1930-х и 1940-х гг. как исторических источников, отмечает: «В этом смысле писательские дневники могут быть поставлены в один ряд с дневниками обыкновенных людей»[2].

Но что же в дневнике А.И. Дмитриева принадлежит лично ему, а что советской эпохе? Насколько он типичен для своего времени и класса, если прибегнуть к формулировке социалистического реализма? Предложим гипотезу. В авторской манере Дмитриева выражены характерные культурные противоречия, разрывы и швы в жизненных мирах городских рабочих первой советской формации. Имея в виду именно это, дневник А. Дмитриева можно оценить как ценный и достоверный исторический источник. Его ценность определяется

[1] См. об этом: *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017.

[2] *Савкина И.* Дневники и записки 1930-х –1940-х годов // Русская литература XX века: 1930-е — средина 1950-х годов. М: Академия, 2014. Т. 1. С. 413.

спецификой содержания, которое заметно шире, чем рассказ о личной жизни. Его особенности проистекают из личности автора, который представляет новое поколение индустриальных рабочих, прошедших по ступенькам школьной социализации в постреволюционную эпоху. Принадлежа к общему классу источников, определяемых современной историографией в качестве группы эго-документов, дневник Александра Дмитриева позволяет историку решить важные задачи. Речь идет, с одной стороны, о согласовании общего и индивидуального при описании масштабных событий, иначе говоря, об использовании антропологической оптики для реконструкции исторического процесса:

> «Эго-источники — это замечательное решение проблемы фокусной точки гуманитарных исследований, поскольку они экспонируют и мир отдельной личности (*Я*), и ее социально обусловленные "параметры" (*Мы*), позволяя тем самым изучать типы кристаллизации самых разных социальных "пород" — от уникальных до статистических»[1].

Для настоящего исследования приоритетным выступает особое свойство дневника А. Дмитриева, выражающееся в аккумулировании целой череды социальных планов, общественных тем, различии языков и дискурсов, которые он спонтанно или осознанно использовал при конструировании собственного *Я*.

Тема войны в дневнике А.И. Дмитриева

Война в дневнике А. И. Дмитриева рассматривается в качестве социальной катастрофы, то есть масштабного кризиса, который поломал прежний порядок жизни. Поколение молодежи, к которому принадлежал Дмитриев, было лишено опыта войны. Память о ней была социальным капиталом людей постарше, тех, кто помнил эпоху революций и гражданских войн. И. Нарский на примере Гражданской войны демонстрировал масштаб воздействия подобной катастрофы на социальный порядок, девальвацию мировоззренческих и ценностных установок людей, когда разрушения затрагивают основы коллективной жизни и жизненного мира всех сообществ и групп[2].

Для А.И. Дмитриева война заполнила все горизонты жизненного мира. Она присутствовала в, казалось бы, бытовых заметках

[1] *Суржикова Н.В.* Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость (вместо предисловия) // История в эго-документах: Исследования и источники. Екатеринбург: Изд-во «АсПУр», 2014. С. 11.

[2] См.: *Нарский И.В.* Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001.

о досуговых занятиях, дружеских вечеринках, даже в описаниях любовных приключений. По масштабам, по воздействию на человеческую жизнь война не помещается в дневник частного человека. Она создает контекст эго-документа, не до конца осмысленный и, стало быть, не проговоренный. Война формирует новую коллективную реальность, более значимую, нежели предшествующие ей исторические события, в том числе, индустриализацию.

Военная проблематика возникла на станицах дневника А. Дмитриева практически сразу, как только он стал вести записи:

> «Получил письмо от Маруси Щепетковой из г. Краснокамска. Это одна из моих московских знакомых девчат, их сюда перевели работать на время войны. Вместе с ней приехала Катя и еще две девушки. Катя — это сестра Нины, девушки, с которой я проводил свое свободное время в Москве. Где-то сейчас моя Нина? Не попал ли их дом в места бомбардировок г. Москвы немцами? Жива ли она? Постараюсь узнать о ней посредством писем. Скоро должен получить от нее ответ на письмо, которое я ей написал отсюда после моего приезда из г. Москвы»[1].

Война вносила сумятицу в жизненные планы, порождала беспокойство за знакомых и близких. Александр Дмитриев не скрывал своих переживаний по этому поводу на протяжении всех военных лет. Особенно остро он ощутил трагедию войны, когда в госпитале скончался один из его ближайших друзей: «Вчера мне сообщили, что от ран умер Ванька Бусырев. А все же эта война берет очень много жертв. Скоро ли она кончится?!»[2]

Сам Александр Дмитриев на фронт не попал, хотя еще в сентябре 1941 г. ему предложили пойти на фронт добровольцем в порядке комсомольской мобилизации. Однако заводское руководство аннулировало повестку, поскольку Дмитриеву полагалась бронь: «Получил повестку из РК ВЛКСМ о мобилизации в РККА. Явка немедленно. В армию не взяли, ввиду того что я работаю в ответственном цехе»[3].

Война между тем все больше занимала его мысли. Особенно болезненно А. Дмитриев ощутил перемены осенью 1941 и зимой 1942 г. Переход на карточную систему, перебои с продовольствием, отсутствие в продаже водки, коллективные тревоги и неуверенность в завтрашнем дне наложили отпечаток на содержание дневника. Так, весной 1942 г. в нем появились воспоминания о довоенной Москве.

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 24.07.1941.

[2] Там же. Запись от 01.02.1943.

[3] Там же. Запись от 21.09.1941.

В них поездка в столицу по служебным делам превратилась в путешествие в страну грез, где вдоволь еды, алкоголя и развлечений в культурной компании со столичными девушками[1].

Анализируя записи А.И. Дмитриева на тему войны и военного времени, можно выделить два типа реакций: эмоционально-рефлексивные оценки, суждения, высказывания и описательные заметки, передающие картины повседневной жизни в условиях войны. Показательными выглядят серии записей осенью 1941 г., когда переживания побуждали А. Дмитриева эмоционально воспринимать происходящее на фронте:

> «Немцы взяли г. Полтаву, а скоро, наверное, возьмут Одессу и Харьков. В город опять приехали много эвакуированных из г. Харькова. Население в городе растет с каждым днем. А большинство все приезжают евреи. Это уж давно так ведется, что они всегда бегут первыми»[2].

При этом А. Дмитриев едва ли был антисемитом. Скорее всего, здесь он не вполне контролировал собственные чувства и переживания, ища и с трудом находя подходящие образцы и нормативные рамки для оценки ситуации. Коллективные реакции горожан на эвакуацию, дефицит продуктов, мобилизацию и неутешительные вести с фронта привели к заметному всплеску ксенофобии в годы войны:

> «В тылу антисемитизм проявился, по преимуществу, в виде настроений, символических актов сегрегации и дискриминации, в воспроизводстве прежних отрицательных коннотаций слова “еврей”, в распространении мифологических представлений о “плохом поведении” евреев на фронте и т. п. “Еврей” в коллективном сознании стал синонимом чужака, угрожающего отнять прежде всего и без того скудные материальные ресурсы: еду, жилище, одежду»[3].

А.И. Дмитриев испытывал шок от несовпадения воображаемой войны и войны действительной. Будущую войну показывали в кино победоносной войной на чужой территории. В популярной советской песне 1938 г. из кинофильма «Если завтра война» с особым воодушевлением исполняли два последних куплета:

[1] См. об этом подробнее: *Кабацков А.Н.* Образы счастливой жизни в восприятии рабочего А.И. Дмитриева в годы Великой Отечественной войны (по материалам личных дневников) // Гуманитарные науки в Сибири. 2021. № 2. С. 97–104.

[2] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 0210.1941.

[3] *Лейбович О.Л.* Антисемитские настроения в советском тылу // СССР во второй мировой войне. Оккупация. Холокост. Сталинизм. М.: РОССПЭН, 2014. С. 283

> «Мы войны не хотим, но себя защитим —
> Оборону крепим мы недаром.
> И на вражьей земле мы врага разгромим
> Малой кровью, могучим ударом! …
> Подымайся народ, собирайся в поход,
> Барабаны сильней барабаньте!
> Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
> Нашу песню победную гряньте!»[1]

Общая атмосфера угнетала. Переживания катастрофы, краха и утраты будущего ощущались настолько сильно, что А. Дмитриев уже не сомневался, что вражеские армии вскоре дойдут до Урала:

> «Фашисты упорно наступают. Борьба идет жестокая, да это и понятно — сейчас решается вопрос у обеих сторон — “быть или не быть”. Будет что-нибудь одно: или Германия будет советской, или владения СССР уменьшатся от Карпат до Урала…»[2];
> «Да, нам сейчас приходится туго. Правительство выехало из Москвы в г. Куйбышев. Борьба на подступах к Москве идет жестокая. Если все же немец победит нас, то жить нам будет не сладко. Гитлер прямо говорит, что все русские будут рабами. Но я не из таких. Лучше смерть, чем рабство! Даже если получится так, что до последнего момента меня не возьмут в армию, то я уже и при оккупации буду стараться уничтожать немцев. И тогда в конце концов смерть будет неизбежна. Но не надо думать, что с падением Москвы окончится война. Она будет продолжаться до полного разгрома фашизма. Пусть пока он имеет временные победы, но все же в конечном результате мы победим. На душе невесело…»[3]

Эмоционально-рефлексивный фон в записях Александра изменялся на протяжении войны. В 1942–1943 гг. в них все чаще и чаще появляются слова надежды на скорый исход войны. Остается ограниченность запаса слов и образов, который можно применить к данной ситуации. Позитивные записи об освобожденных городах и территориях сводились автором либо к дословному цитированию официальной сводки, либо к ее пересказу:

> «На фронтах наши части все время движутся вперед. Войска союзников высадили в Италии десант, и она сразу же капитулировала. Сейчас Гитлер остался без своего главного союзника.

[1] *Лебедев-Кумач В.* Если завтра война // КИНО-ТЕАТР.РУ: Советское кино: Электронный ресурс. URL: https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/13784/song/ (дата обращения: 04.11.2021).

[2] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 03.10.1941.

[3] Там же. Запись от 25.10.1941.

В Италии идут бои между немцами и итальянцами совместно с войсками “союзников”. Недалек конец войны»[1].

Дневник А. Дмитриева демонстрирует, что грамотный советский рабочий на протяжении всей войны не смог найти в собственном языке нужных слов для понимания войны. Он пользовался языком официальной пропаганды. Он пытался найти собственные образы в литературной вставке о довоенной Москве.

Личное представление о войне Александр Иванович Дмитриев конструировал спонтанно. Важную роль в нормализации жизни в условиях военного времени играли зарисовки быта производственной и поселковой жизни нашего героя. Они позволяли интерпретировать военную тематику на языке обыденного здравого смысла:

> «Сейчас передо мной стоит еще одна задача — вылечить быстрее глаз, а потом буду стараться больше гулять, развлекаться, но в то же время не забывать и о комсомольской работе. На днях я как комсорг получил 50 грамм табака, это где-то наш комсорг ЦК расстарался. Положил его в ящик, и до удобного случая пусть он там и лежит»[2].

Помещенная в контекст рутинных бытовых зарисовок и проблем со здоровьем идейная составляющая статуса лидера комсомольской организации в цехе сведена к минимуму. Статус комсорга превращается в позицию, обеспечивающую доступ к конкретным благам, позволяющую быть включенным в сеть дополнительного снабжения.

Табак в условиях войны превратился в особенную ценность. А. Дмитриев не курил, но у него и не возникло даже мысли отказаться от пайка в чью-то пользу. Табак один из вариантов обменной валюты. И в таковом качестве он мог быть продан или обменивался на продуктовые талоны на городском рынке.

Дневник демонстрирует, как, составляя записи дома, Александр Дмитриев заполнял пространство смыслов жизненного мира. И ощущение сытости при этом неизменно оказывалось важнее идеологии:

> «Вчера поработал в цехе хорошо. Даже “стахановский обед” получил. А все же он многим отличается от такого обеда. Вчерашний обед в цехе у меня был такой:
> суп овсяный — 1 порц[ия]
> каша пшенная — 1 порц[ия]
> мороженое — 200 г
> молоко — 1 литр
> суп из вермишели — 1 порц[ия]
> котлета мясная с кашей — 1 шт[ука] } стахановск[ий] обед
> яйца куриные — 2 шт[туки]
> хлеб коммерческий — 100 г
> Недурно было бы так каждый день обедать!»[1]

Тяготы военного времени, переживаемые Александром, а не пропаганда, сделали «стахановский обед» символом успеха. Подробно перечисляя дефицитные продукты и блюда, автор дневника ясно указывал на изменения в структуре питания, которые вызвала война.

На первый взгляд, во многих обыденных дневниковых записях нет явных упоминаний войны. Она действительно далеко не всегда артикулируется, а мелкие бытовые зарисовки образуют эклектичное повествование о жизни в тылу. Единство смыслов формируется при этом через фиксацию простых жизненных ценностей: сытой еды и спирта, благодаря которому праздничная вечеринка прошла весело, танцев, когда удалось добиться благосклонности девушки, прочитанной книги или увиденного кинофильма, где герои привлекли особое внимание.

Топосы и умолчания в дневнике А.И. Дмитриева

Любой дневник выглядит недостаточно полным, если воспринимать его как летопись. Рассказывая о собственной жизни и размышляя на страницах дневника, А. Дмитриев производил естественный отбор фактов, событий, происшествий, мыслей и суждений, которые можно доверить бумаге. Записи дневника представляют собой не просто пересказ произошедшего, они являются пристрастно изложенной авторской версий событий. Позиция, которую А. Дмитриев занимал при создании дневника, далека от роли антрополога, бесстрастно описывающего наблюдаемые феномены социальной и культурной жизни.

Повествование в дневнике А. Дмитриева выстраивалось им вокруг собственного *Я*. Он отводил себе роль положительного героя, перетолковывал некоторые ситуации в свою пользу, дополнял их интерпретации соответствующими оценками и суждениями, показывая себя в наиболее выгодном ракурсе:

> «В цехе меня сейчас с должности комсорга сняли, но с хорошей оценкой работы. Сняли потому, что я очень мало бывал в цехе

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 15.09.1943.

[2] Там же. Запись от 01.07.1942.

[1] Там же. Запись от 13.06.1942.

> в свободное время, т[ак] к[ак] свободный проход в завод у меня на пропуске зачеркнули. Сейчас я только лишь заместитель»[1];
> «Как я и предчувствовал: отец деньги (окончательный за февраль) не взял. Ему опять, наверное, думается, что я отдаю не все деньги. А что я ему мог отдать, если действительно получил только 105 рублей: обед они мне все же оставляют, а деньги так и лежат на столе. Если он их все-таки не возьмет и скажет мне, чтоб я жил самостоятельно, мне все же придется вначале туговато. А ведь привык к тому, что дома у меня всегда горячий обед»[2].

При таком подходе к тексту в нем естественным образом возникают умолчания, пропуски. Вещи или ситуации, о которых автору неприятно или не хочется говорить, могут быть сознательно исключены из хроники жизни. Историк-биограф, как правило, может узнать о таких событиях благодаря дополнительным документам, внешним и косвенным свидетельствам.

Для нашего исследования приоритетным выступает иной подход к умолчаниям. Речь идет о двух вариантах «пропущенного» текста, которые следует рассматривать как невидимые, не артикулированные элементы повествования о социальном порядке и жизненном мире, в пределах которых происходит активность нашего героя:

— умолчания, которые указывают на топосы (общие места) в культуре, общеизвестные и очевидные смыслы; о них не нужно рассказывать, поскольку их и так все знают, понимают;

— запретные сюжеты, где умолчание автора является признанием существующих норм и правил, регуляторов поведения в конкретном коллективе и/или обществе в целом.

Топосы существуют в границах жизненного мира человека. Они формируются в процессе социальных взаимодействий как результат согласованного восприятия ситуации. Топосы — часть всеобщей или групповой культуры.

Институциональным ядром жизненного мира советского рабочего был завод. Работая на промышленном предприятии, А.И. Дмитриев сталкивался с необходимостью признать, освоить и принять особую иерархическую структуру и правила подчинения властным решениям, принимаемым начальством. Властно-иерархические отношения на предприятии дополняли социальное строение большого общества, где к концу 1930-х гг. на языке идеологии четко артикулировались три основные группы: рабочие, колхозники и трудовые интеллигенты.

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 10.07.1942.

[2] Там же. Запись от 25.03.1943.

Заводская иерархия обладала собственной автономией. Идеология номинально уравнивала в социальных статусах директора завода и рядового рабочего. Однако иерархия как основа управленческой модели промышленным предприятием создавала непреодолимый разрыв между ними. Общение с высоким заводским начальством происходило по инициативе руководства, обставляясь теми или иными регламентами и ритуалами:

> «Сегодня в первый раз присутствовал на заседании членов бюро ВЛКСМ. Заседание было с серьезными вопросами. Комсорг [завода — *А.К.*] информировал нас о последних событиях и о нашей работе в период Отечественной войны. Мне поручена агитация и вовлечение новых членов в ряды комсомола и, кроме этого, еще целый ряд работ»[1].

Нижестоящих работников «информировали», им «поручали» работу. В обязанности подчиненного вменялось выполнение поручений, в случае затруднений допускалось получение дополнительных инструкций: «На работе меня все время торопят с развертыванием работы по МОПР[2], но что я могу сделать, если народ плохо откликается на это мероприятие. Надо будет сходить в завком за инструкциями»[3].

Поручения по линии заводской комсомольской организации рассматривались как общественная нагрузка. В годы войны контроль за работой комсомольской организации ослаб, для всех участников производственной жизни безусловным приоритетом стал производственный план и обязанности по выпуску военной продукции. Александр Дмитриев достаточно быстро разобрался в специфике общественной нагрузки и спустя несколько месяцев после назначения на должность комсорга цеха, уже не видел в требованиях комсомольского начальства следов прежней властности: «Недавно был комсомольский актив, а я на него не явился. За это получил предупреждение, но я его постараюсь быстро с себя снять»[4]. И даже лишение, как он прежде считал, важной и статусной должности Дмитриев воспринимал без особых эмоций.

.

[1] Там же. Запись от 25.10.1941.

[2] МОПР — международная организация помощи борцам революции, существовавшая по решению IV конгресса Коминтерна с 1922 по 1947 г.

[3] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 28.10.1941.

[4] Там же. Запись от 10.07.1942.

По прошествии первого военного года стало понятно, что роль комсомольской организации на заводе изменилась. Общественная нагрузка превратилась в избыточное бремя. Материальных компенсаций за эту работу выдавали недостаточно.

Смещение комсомольской и, скорее всего, партийной иерархии на второй план подчеркивало возросшую роль основной производственной системы управления на предприятии. Обратим внимание на конфликтные ситуации, о которых Александр Дмитриев поделился информацией в дневнике. Как известно, конфликтные ситуации обладают особым потенциалом, позволяя исследователю увидеть границы социальности, пределы возможностей участников конфликта.

О конфликтах А. Дмитриев рассказывал с позиций подчиненного:

> «В цехе чуть было не поругался с мастером. Да и еще бы было не обидно: он закричал на меня, что мы не можем правильно отрегулировать РПД[1], а сам в то время спал за столом. Я все же не понимаю, как это людям спится на работе, а тем более он этим своим рабочим пример показывает»[2];
>
> «А сегодня на работе со мной получились опять неприятности. Мастер самовольно снял меня с бригадиров и перевел в мотористы. Но это еще неопределенно. На это у него никаких оснований не имеется. Я, пожалуй, насчет этого дела и к начальству загляну. Вообще-то сейчас мне представляется удобный момент перейти работать в ОТК. Попытаюсь это сделать»[3].

Мастер в цехе — начальник маленький. От него зависит распределение работ, но он не может накладывать дисциплинарных взысканий. Он закрывает наряды, то есть подтверждает, что выполнил полностью рабочий задание или нет. От этого напрямую зависит заработная плата. Мастер в цехе обладал весомыми полномочиями, но не был самостоятельной фигурой. Его решения всегда мог скорректировать начальник цеха.

Дистанция от рабочего коллектива до начальника цеха была велика. Цех завода в 1940-е гг. — это фактически отдельный мир, с собственным производственным циклом, снабжением, отчетностью и даже финансированием. Меняя место работы внутри завода, перемещаясь из цеха в цех, из подразделения в подразделение, А.И. Дмитриев переходил не только из одного рабочего коллектива

[1] РПД — роторно-поршневой двигатель. В годы войны — основная продукция завода № 19.

[2] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 28.10.1941.

[3] Там же. Запись от 09.09.1942.

в другой. Соглашаясь с должностными обязанностями на новом месте, он, кроме того, признавал и принимал управленческий стиль конкретного начальника. Можно сказать, что властные иерархические отношения рабочих и начальства выстраивались по правилам, повторявшим модель отношений патрона и его клиентелы. Власть в заводских цехах была персонифицирована[1], что в масштабах завода приводило к созданию «культа личности» директора, что в миниатюре повторяло структуру управления страной. При этом властные отношения и основанная на них иерархическая система не подлежали пересмотру, критике и сомнениям. Она — ядро советской заводской цивилизации. Мастера и рабочие могли рассчитывать лишь на делегирование полномочий в персонифицированной управленческой среде.

А. Дмитриев, как и остальные его товарищи по цеху, понимал природу власти и мастера, и начальника цеха, не говоря уже о директоре завода. Стоит ли удивляться, что, оказавшись в конфликтной ситуации с мастером, А. Дмитриев апеллировал к начальнику цеха. Кроме того, конфликт с мастером заставил А. Дмитриева осознать, что его положение в цехе является недостаточно прочным, в связи с чем он заранее обозначил в дневнике вариант ухода от конфликтной ситуации (перехода в ОТК). Смена места работы — это искусственное прерывание конфликта. Ведь вместе с должностными обязанностями происходила и смена патрона — начальника. Патрон был обязан защищать своих подчиненных — его клиентелу. Это была оборотная сторона власти, неотъемлемая обязанность советского руководителя, претендующего на относительную автономность в принятии и реализации управленческих решений.

Новое место работы предоставляло не только возможности профессиональной самореализации, другую систему оплаты и стимулирования труда, но и открывало новые горизонты социального роста. Подъем по ступенькам иерархии внутри рабочих — это обретение доверия со стороны начальства. А. Дмитриев с гордостью сообщал о подобных личных достижениях на страницах дневника: «На работе я уже совсем работаю самостоятельно. Даже в/преды [военпреды — *А.К.*] мне стали доверять гнать режимы»[2].

[1] В позднее советское время можно было наблюдать, как рабочие завода именовали цеха то по имени начальника, то по номеру. Уважительное отношение к начальнику конкретного цеха, когда его фамилия замещала номерное обозначение, сохранялось с 1930–1940-х гг.

[2] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 10.05.1943. «Гнать режимы» — производственный жаргон, используемый для описания стендовых испытаний роторно-поршневого двигателя, согласно технологической карте.

Обретенный статус влиял на развитие конфликтных ситуаций совсем по иному образцу: «В Новый год с мастером крепко поругался. Ему, правда, за это дело крепко попало от начальства, и сейчас у нас отношения, вроде как бы, друг к другу враждебные. Но в этой ссоре он виноват сам»[1].

Поддержка начальника, доверие, которое он отмечал ранее, ставили его выше мастера, несмотря на все формальные регламенты. А. Дмитриев через некоторое время закрепил приобретенный статус: «Всю эту неделю систематически опаздывал на работу на 30 мин[ут]. Или даже на 1 час. И ничего, все прошло незаметно»[2].

Механизмы функционирования управленческой системы на заводе, нюансы борьбы за престиж и статус не было необходимости пояснять воображаемому читателю дневника. Это один из топосов коллективного восприятия завода как места жизни, позиции рабочего на производстве, естественный порядок вещей. Отказываясь от детальных описаний таких ситуаций, А. Дмитриев невольно проявил еще один стереотип восприятия социального порядка: он распознал в читателе «своего», схожего с ним субъекта, обладающего таким же знанием.

В иной ситуации А.И. Дмитриев вполне мог провести символические границы между собственным культурным *Я* и «другими». Представители менее статусных групп грубо и уничижительно маркировались «деревенщиной» и «глупыми», фактически низводились до ранга социального ничтожества, не достойного общения:

> «В сквере познакомился с одной девушкой, ее зовут Люба. Выдал ей себя за приезжего, прикинулся “ничего не знающим”. Рассказывал ей про город Куйбышев, откуда я будто бы приехал, а сам даже ничего про него не знаю. В общем, наврал ей много. Она меня проводила до улицы Шадринской, т[ак] к[ак] я ей сказал, что живу около “Дома туриста”. А потом я ее проводил до дому. Вообще, она “крестьянка” и очень “тупая”. Пообещался с ней встретиться через день в саду, но это не очень хочется»[3].

А. Дмитриев осознавал себя рабочим, а значит носителем высшей культуры, и те, кто не соответствовал его ожиданиям, осуждались и символически перемещались на нижние ступеньки социальной иерархии. Жесткость эпитетов, к которым прибегал Александр

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 05.01.1944.
[2] Там же. Запись от 06.02.1944.
[3] Там же. Запись от 05.08.1941.

Дмитриев, указывала на закрытость социальных границ, на слабый уровень их проницаемости. Формы языка, которые он использовал для маркировки социальных различий, их категоричность, безапелляционность и властность при обращении с нижестоящим в незримой, но понятной всем окружающим социальной иерархии отражали специфику «большевистского» языка в целом.

«Говорить по-большевистски» для А. Дмитриева означало произвести при помощи слов социальное действие, повлиять на реальность или, наоборот, подтвердить ее неизменный статус. Слова, их смысл не менее важны, чем поступки. Они даже сильнее поступков:

> «По заводу издан приказ о бдительности и сохранении военной тайны. Да и действительно, частенько можно было слышать разговоры о работе цеха, завода, уч[аст]ка в трамвае, в столовой и просто так на улице. Я тоже иногда делился своей осведомленностью с близкими друзьями, но сейчас это брошу. В военное время язык должен быть на замке»[1].

Слова из репертуара «большевистского языка» были для А. Дмитриева сакральны, их смысл выше и значительнее реальности повседневной жизни. Как грамотный и образованный представитель первого поколения советской молодежи, как комсорг цеха, он знал и умел говорить на политическом языке. Но в его дневнике нет политических сюжетов. Прибегать к языку, который использовали на собраниях комсомольского актива, на котором заводское начальство формулировало цели и задачи производства, в частных записях было не совсем уместно. Советский язык следовало воспроизводить как социальный ритуал:

> «Слово — главный поступок. В пределах советской культуры жить означает вписывать новые строчки. Умереть — быть стертым из текста. Управлять — редактировать текст. Слово самоценно и самодостаточно. Это не знак вещи, события, или действия. Напротив, вещи, события, действия есть лишь несовершенные воплощения слов»[2].

За политическим словом проглядывала особая реальность. Политическая реальность сталинского государства — это надстройка над общественным, над низовой культурой, рожденной практикой повседневной жизни. О политическом не полагалось говорить, своевольничать. Допустимо пересказать, лучше всего придерживаясь тех же формулировок и слов:

[1] Там же. Запись от 07.10.1941.
[2] *Лейбович О.Л.* Магия слов в советской культуре // Русский язык в контексте современной культуры. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 1998. С. 91–92.

«Сегодня опять был на совещании у директора и парторга ЦК ВКП(б). Совещание прошло бурно. Все взяли на себя обязательство — закончить программу июня к 29/VI. Задача нелегкая, но выполнимая. Если это мы выполним, то завод займет 1-е место в соцсоревновании авиационных заводов. А это означает улучшение жизни и быта рабочих завода. Все-таки 1-я премия — 1 000 000 рублей. Надеюсь, что мы этого добьемся!»[1]

В дневнике А.И. Дмитриева нет политического содержания. Он избегал разговора об идеологии, партии, государстве и первых лицах страны. Он не критиковал власть не потому, что был всем доволен и счастлив. Он брюзжал на тему снабжения, отпускал нелицеприятные реплики по поводу работы различных служб. Но при этом он не выходил за границы разговора о частных ситуациях, то есть «не обобщал» недостатков, тем самым подчиняясь общим правилам советского говорения и писания. Там, где, казалось бы, можно было бы в малом — частном случае — увидеть нечто большее, там А.И. Дмитриев замолкал или изобретал свои «маленькие хитрости».

«Маленькие хитрости» или вербальные игры

Военная тема и завод тесно переплетаются в дневнике А. Дмитриева. Они — авансцена его социальной активности. Ощущавшийся в годы войны дефицит квалифицированных рабочих позволил Александру активно строить карьеру, завоевать доверие начальства, добиться улучшений в условиях труда и высокой зарплаты. Благодаря заводу, он получил доступ к дефицитным ресурсам. Система снабжения на заводе работала лучше, чем в городе. Рабочим регулярно отоваривали карточки, кормили обедами в заводской столовой, премировали промышленными товарами. Иначе говоря, работа на заводе в годы войны, в условиях всеобщего дефицита, открыла окно возможностей, которыми Александр Иванович Дмитриев не преминул воспользоваться. Так, свой очередной роман, завязавшийся в цехе с новой буфетчицей, он превратил в рационально отлаженную схему получения улучшенного питания: «Работала в буфете Д… А все же хорошо, когда она работает. Я и ем сколько хочу и, главное, все без всяких талончиков»[2].

Зимой 1941 г. и далее весной 1942 г. тема питания постоянно возникала на страницах дневника. Она вобрала в себя самые разные контексты — от большой политики до частных отношений с матерью:

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 17.06.1942.

[2] Там же. Запись от 26.05.1942.

«Тому, кто будет читать эти записки через несколько лет, может быть покажутся смешными записи о питании, но в настоящее время это основной вопрос жизни. Даже один из членов правительства сказал в своей речи: “Общественное питание — это подсобный цех на производстве” (М.И. Калинин).

Кроме этого в цехе еще имеются дополнительные обеды за хорошо выполненное спешное задание. Я сейчас в цехе обедаю ежедневно, но когда брал дома талоны, то чуть было не поругался с матерью. А у нее чуть не каждый месяц талончики эти пропадают»[1].

Получив доступ к дополнительному снабжению, Александр Дмитриев не ограничивался сменой роли «Дон-Жуана» на роль «альфонса». Он попробовал себя еще в одном новом качестве, о чем с удовольствием рассказал в дневнике:

«Сегодня с хлебом придется устроить некоторые комбинации. Подделал один талон на коммерческий хлеб, и хочу получить в цехе 400 грамм такого хлеба, т[о] е[сть] без карточки. В общем, вперед я забегу на немного и завтра же опять выровняюсь с хлебной нормой»[2].

Удачное применение навыков, полученных в техникуме и ШМСТ, позволило ему рисовать талоны на дополнительное питание химическим карандашом, судя по всему, тем самым, каким он делал записи в дневнике. Приобретя такой опыт однажды, он превратил его в практику: «Я опять далеко забирал хлеб вперед, но благодаря своей хитрости (получал последние дни по несколько коммерческих обедов) завтра опять буду брать хлеб нормально»[3].

Для описания подобных опытов и практик нет официального языка. Точнее, он существует, но это язык Уголовного кодекса. Если обратиться к нему, то в дневнике вместо констатации романа с буфетчицей следовало бы описывать преступный сговор, а нарисованный талон квалифицировать как улику, изобличающую в хищении социалистической собственности. В терминах же Александра Ивановича Дмитриева сговор и хищения социалистической собственности превращаются в эвфемизм: он называет такие практики «хитростью». С одной стороны, в этом можно увидеть обычную игру слов. С другой, следует принять во внимание, что за счет такой игры существенно менялся не только стиль и характер повествования, но и происходило переопределение социальных норм и, более

[1] Там же. Запись от 12.06.1942.

[2] Там же. Запись от 26.05.1942.

[3] Там же. Запись от 15.09.1943.

того, политической реальности. Ранее было продемонстрировано, что вес слов в советской культуре выше поступков. Социальный вес игры словами, который можно наблюдать, знакомясь с дневником А. Дмитриева за военный период, заметно больше, чем частные оговорки и случайное хвастовство. А. Дмитриев «изобретает» для себя роль трикстера, которая ему, без сомнения, была знакома из советской литературы[1].

Описывая специфические черты советского трикстера, его отличие от европейского плутовского героя, М. Липовецкий подчеркивает:

> «Советский трикстер, несмотря на близость к плуту, все-таки не плут: от плута он(а) отличается, во-первых, тем, что если даже у него (или у нее) и есть меркантильный интерес, то он явно меркнет перед артистизмом и театральностью выходок героя. Во-вторых, — и это, пожалуй, важнее — пикаро, как правило, зависит от хозяина, и его мобильность определяется сменой хозяев, тогда как трикстер — абсолютно независимый персонаж, склонный вдобавок к коварству и предательству (главным образом — для собственного развлечения)»[2].

Дневник помогает А. Дмитриеву легитимировать игру на грани фола, объясниться с самим собой и оправдаться перед самим собой и читателем. Он частным порядком пересматривает социальные нормы большого общества, девальвирует их идейный компонент, превращает хищничество в проказу, в случай:

> «Сейчас я нашел новый вид заработка. А... достает хлеб, а я его продаю на рынке по дорогой цене. От этого ей хорошо, и мне немного достается. Вначале я немного стеснялся ходить на рынок, а сейчас привык и даже торговаться при продаже стал… Коммерческие обеды закончил сегодня все. Они меня неплохо поддерживали всю неделю. Неважно, что добыты они были “нечестным путем”»[3].

Наблюдая за окружающими, А. Дмитриев проникался убеждением, что схожим образом поступаю все: «“Толкучий рынок” перевели к нам на площадь, и я сейчас частенько там отираюсь. Комбинирую с хлебом. Беру талончики, а продаю хлеб. Кое-что от этого мне остается. А иначе сейчас не проживешь»[4].

[1] Начитанный советский человек, которым был А. Дмитриев, вряд ли мог обойти вниманием книгу И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев», опубликованную в 1928 г.

[2] О трикстере см: *Липовецкий М.* Трикстер и закрытое общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 6(100). С. 224–245.

[3] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 28.02.1944.

[4] Там же. Запись от 04.05.1944.

Хитрить, извлекать всегда и везде личную выгоду для трикстера естественный процесс. Трикстер эгоистичен, что позволяет ему отказаться от коллективных конвенций, не признавать общественных норм, лгать и обманывать, избегая морального осуждения. Сложно сказать, насколько точно воспроизведены на страницах дневника детали и контекст тех махинаций, к которым прибегал А. Дмитриев. Но сходство с моделью поведения литературного прототипа в его действиях достаточно заметно:

> «В последнее воскресенье по цеху был объявлен рабочий день. Но я не работал. А получилось это так. Мы с Зиной ходили в клуб, ну а потом мне очень не захотелось пойти на работу (я уже всерьез опоздал бы), и мы с ней направились в сад… На работе на меня напустился старший по смене. Он крепко ругал меня за прогул. Но я сделал очень хитро. Сказал, что ездил в деревню на машине и опоздал. А сам сделал такое жалостливое и виноватое лицо, что он об этом прогуле никому не сказал. Только поругался. А я, благодаря своей хитрости, отвернулся от более крупных неприятностей»[1].

Очевидно, что новая роль, даже если ее пределы ограничены страницами личного дневника, захватила А. Дмитриева: «С работы сегодня ушел пораньше и не узнал — выходить завтра или нет. В общем, я останусь все равно невиновен. Хитрость — великое дело!»[2]

Вершиной игры становится приключенческий рассказ с собой в главной роли о вывозе магнето[3] с завода и обмене деталей авиационного мотора на зерно и муку у трактористов МТС при посредничестве знакомого председателя колхоза. Решиться на это А. Дмитриева заставило то, что, женившись в 1943 г. на Зине, девушке, которая его особенно увлекла, он лишился возможностей получать питание без талонов и использовать в заводской столовой поддельные талоны. При этом случаи, позволявшие добыть продукты, подворачивались все реже. Они описывались в дневнике в качестве примеров редкой удачи и одновременно расторопности:

> «Чтобы достать денег, я продал свою хлебную карточку и случайно встретился на рынке с одной знакомой девахой Зиной М… Она мне мою вторую карточку на 2 кг отоварила до конца

[1] Там же. Запись от 22.06.1943.

[2] Там же. Запись от 01.07.1944.

[3] Магнето — элемент роторно-поршневого двигателя, использующегося в системе зажигания. Кража магнето с завода особенно в условиях военного времени каралась либо длительным тюремным заключением, либо высшей мерой наказания, в лучшем случае, заменяемом «искуплением кровью» в штрафной роте.

декады в столовой мединститута, где она работает официанткой. Я ту буханку хлеба “продал” за 350 руб[лей] и купил себе новые хлебные карточки. В общем, в этот день я “заработал” около 170 руб[лей] за какие-нибудь 1,5 часа»[1].

Весной 1944 г., используя родственные связи, Дмитриев сумел наладить обмен товаров с городского рынка на продукты в деревне. Работа это была непростая:

«В Нытву приехали в 1.40 час[а] ночи. Сразу же пошли. Вначале шли вдвоем с какой-то теткой. Потом догнали большую партию других “мешочников”. В Таборы пришли в 8 час[ов] утра. Дальше пошли вдвоем с одним другом. Он тоже шел в Капидоны. Вначале шли все хорошо и почти в самом конце пути только спутались. Вышли совершенно в другую деревню. В общем, дали лишних 5–6 км. В 2 часа дня мы уже были в Капидонах. Картошку покупал за 450–500 руб[лей] за пуд. Горох выменял на бумагу. При этом еще кладовщика обманул. Они меняют кг бумаги за кг гороху или овса. А я за 700 гр[амм] бумаги выменял 2 кг гороху. Это, конечно, случайно, но это факт. В деревне там надо бумагу, соль, вино, спички и керосин. Вещи берут мало. А на деньги ничего не дают»[2].

История с магнето объединила в себе рассказ о предприимчивости героя, его готовности пренебречь условностями, способности преодолевать трудности, а также таланте «переговорщика», готового искать и находить общий язык с самыми разными людьми. Опуская подробности, дневниковые записи тем не менее позволяют проследить за основными перипетиями авантюры, реализованной в марте–мае 1944 г.:

«Ему [Мишке, другу детства, также работавшему на заводе — *А.К.*] меня надо было насчет магнето. Но было уже много времени, и я дал ему только одну штуку. Хочем их на муку сменять в М.Т.С. Не знаю, что выйдет ли? Вообще-то это рискованная штука. А за одно магнето нам пообещали полпуда муки. Ну, увидим, что дальше будет!»[3]

«Договорился там с трактористами, чтобы привести им магнето для тракторов. За это они пообещали муки. Здесь в заводе я их уже достал, но вот надо их еще из завода вывезти. Договорился с одним из шоферов, а он что-то все не едет. Вывез бы их скорей за завод, а дальше было бы уже мое дело»[1].

«Сегодня притащил домой магнето: одно — БСМ-9 и одно БСМ-14. Сейчас еще надо будет только колодки и свечи с угольниками. Это дело я обделал совершенно с другим человеком, т[о] е[сть] не с тем, с которым договорился раньше. На этой неделе надо будет катнуть в деревню. Зину придется взять с собой. Это на всякий случай. Если мне удастся эти магнето сменять, то муку всю одному будет не утащить. А, может быть, еще и картошки там еще “подгорит”. Если же магнето не пригодится, то домой придется ехать пустыми. Это, конечно, обидно, но ничего не поделаешь»[2].

«Ходил в Дуброву. Второе магнето не берут. Боятся, что его не удастся переделать... Тракторист уехал в М.Т.С. насчет переделки магнето еще утром и к ночи все еще не вернулся. Хорошо было бы, если ему его переделали. Тогда и второе магнето я также бы променял, но уже на муку»[3].

«Насчет магнето так и не выяснил — годится ли оно для трактора. Но мне все равно. Свое я получил. Хотя, правда, не мукой, но это безразлично. Котомка опять больше 1,5 пудов»[4].

«Одно магнето променял сразу же, а со вторым дело так и не вышло. Свечи так же не подошли (резьба свечных отверстий у тракторов на 22 мм). За магнето я взял 15 кг пшеницы и 5 кг гороху. Правда, за это я еще отдал гаечный ключ, отвертку и 5 метров высоковольтного провода. Кроме этого, еще в другом месте сменял 7 метров провода на 3 кг гороху»[5].

Поставленный в сложные жизненные обстоятельства Александр Дмитриев продемонстрировал удивительную изворотливость и находчивость. Он приспособился к реалиям военного времени, позаимствовав нужные поведенческие модели у литературных героев (например, Остапа Бендера) и в слободской культуре. Роль трикстера, по сути, стала для Дмитриева той самой ролью, которая лучше всего подходила для военной поры. Тем самым он подверг редакции не только отдельные элементы «большевистского языка», но практически переопределил на страницах дневника границы большого политического текста, очертив границы собственного жизненного мира, в пределах которого легитимировал символическое право

[1] Дневник рабочего [VII. 1941 — VII. 1944]. Запись от 19.04.1944.
[2] Там же. Запись от 24.02.1944.
[3] Там же. Запись от 12.03.1944.

[1] Там же. Запись от 21.05.1944.
[2] Там же. Запись от 23.05.1944.
[3] Там же. Запись от 29.05.1944.
[4] Там же. Запись от 30.05.1944.
[5] Там же. Запись от 01.06.1944.

(пере)оценивать свои поступки и поступки других людей, высказывать и отстаивать собственную позицию.

Подведем итоги. Анализ записей А. Дмитриева за 1941–1944 гг. позволяет указать на три группы умолчаний, содержавшихся в дневниковом повествовании:

— коллективные топосы заводской культуры, соответствующие естественному социальному порядку на советском промышленном предприятии; они указывают на общность норм, установок, ценностных суждений, формируемых в трудовом коллективе; для А.И. Дмитриева очевидно, что читатель, к которому он обращался, должен был понимать происходящее так же ясно, как и он сам.

— табуирование тем и сюжетов, запретных в усвоенной им советской культуре; он избегал обобщений, социальных типизаций, более того, описанная в тексте техника языковой игры препятствовала таким обобщениям и со стороны потенциального читателя;

— «маленькие хитрости», под которыми автор дневника понимал игру словами, позволяющими ему манипулировать смыслами; поступки, подвергаемые осуждению со стороны Уголовного кодекса или общественной морали, в рамках такой игры трансформировались в увлекательные приключения, безобидные вольности, забавные истории.

Очевидно, что без учета умолчаний, топосов и языковых игр дневник А.И. Дмитриева — как и любой другой дневник — теряет свою содержательную целостность. Он превращается в реестр частных случаев и несущественных событий из жизни одного человека, который при этом и сам оказывается малоинтересным и незначительным.

Глава III.3. «Внутренняя жизнь вовсе не бедна и не однообразна», или Почему личный дневник всегда сложнее, чем нам кажется[1, 2]

(Е.Ю. Лебеденко, Н.В. Суржикова)

Не будет преувеличением сказать, что в последние годы эго-документы — дневники, письма, воспоминания, автобиографии и пр. — были и остаются едва ли не самыми издаваемыми и изучаемыми источниками. Востребованные в рамках самых разнообразных штудий, они видоизменили иерархичное по своей природе традиционное источниковедение и, может быть, даже приоткрыли дверь для нового источниковедения, основанного на идее равновеликости и самоценности любых письменных свидетельств человеческой жизнедеятельности.

При этом, несмотря на богатый арсенал методов изучения эго-документов, все такие методы могут быть условно разделены на две части. Первая тяготеет к традициям проблемной историографии, в рамках которой степень погружения исследователя в тот или иной эго-документ или комплекс эго-документов ограничивается заданным предметом изучения. При таком подходе собственно эго-документы, а также содержащиеся в них сведения калибруются по тем или иным основаниям и чаще всего используются избирательно. Именно так на материалах эго-источников изучаются общественные настроения, потребительские практики, мемориальная культура, имагологические сюжеты, идентификационные коды, процессы субъективизации и т. д., и т. п., неизбежно приводя исследователя к типизации человеческих опытов[3].

[1] Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00221 «Эго-документы: межисточниковые диалоги о России первой половины XX в. в историко-литературном контексте».

[2] Текст представляет собой расширенный вариант публикаций: *Лебеденко Е.Ю., Суржикова Н.В.* Дневник (не)обыкновенной женщины: диалоги со временем и поиски себя // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 1(52). С. 168–180; *Они же.* «Нет, хорошо жить на свете все-таки!..»: счастье, любовь и время в дневнике советской провинциалки середины XX в. // Уральский исторический вестник. 2021. № 3 (72). С. 180–189

[3] См., напр.: *Клинова М.А., Трофимов А.В.* Образы Великой Отечественной войны в советском кинематографе второй половины 1940-х гг. и их отражение в эго-документах // Вестник Томского гос. ун-та. 2021. № 467. С. 200–208; *Савин А.И.* Сталинские герои в зеркале эго-документов 1930-х гг. // Уральский исторический вестник. 2020. № 4(69). С. 101–108; и др.

Вторая модель работы с эго-документами предполагает, в противовес первой, микроскопирование, в первую очередь индивидуального. Авторский стиль, авторская логика, авторский взгляд, авторское понимание, авторские поведенческие выборы — все авторское «экзотизируется» и подается как особенное прежде всего в рамках биографических штудий и персональной истории, что, в свою очередь, позволяет фундировать целостность, «комплектность» авторского *Я*[1].

Бесспорно, что обе описанные модели изучения эго-документов продуктивны и дают возможность решать различные исследовательские задачи. При этом никто не спорит и с тем, что в любом эго-документе засвидетельствованы одновременно и социальное, и индивидуальное. Их сегрегация всегда проблематична, поскольку и социальное, и индивидуальное разнообразны и множественны в своих проявлениях, и, всякий раз соотносясь по-своему, превращают каждый эго-источник в казуальный. Очевидно, что именно в связи с этим поиски (не)обыкновенного, (не)простого человека, активно идущие в рамках изучения самоописательных практик, остаются актуальной исследовательской задачей[2]. Пока эти поиски продемонстрировали только невозможность математически строго решить проблему «среднестатистического» индивида, а вместе с ней — проблему выработки стройной системы социальных типов и «пород». Кроме того, поиски зафиксировали, что «обыкновенность», «массовидность» человека не определяется через пару-тройку критериев, поскольку «исторический субъект может артикулировать себя вдоль нескольких дискурсивных осей, участвуя во множественности игр с идентичностями»[3]. Здесь можно было бы призвать на помощь П. Бурдьё, структуралистский конструктивизм которого, в свою очередь, объясняет эту множественность через известные соотношения габитуса, социального капитала и социального пространства[1]. Имея все это в виду и в то же время пренебрегая деталями, можно сказать, что эго-документы как источники, проливающие свет на многообразие микросоциальных практик, всегда указывают на то, что любому обществу релевантны бесконечно «малые» группы и подгруппы, границы которых к тому же разомкнуты и подвижны. В полной мере это относится и к советскому обществу середины XX в., стройность рядов которого носила исключительно фасадный характер.

Дневник советской провинциалки, на основе которого написан настоящий текст, не просто подкрепляет эту мысль весомыми аргументами, как и другие аналогичные источники[2]. Он фиксирует то, что любой «самообраз», созданный автором того или иного эго-документа, противоречив и сложен. Это всегда сеть означающих, сеть смыслов, распутать которую — а в этом и состоит наша задача — мы попробуем, оттолкнувшись от так называемого мотивного анализа, точнее сказать, действуя по аналогии с ним. Хорошо известный в литературоведении благодаря прежде всего А.Н. Веселовскому и Б.М. Гаспарову[3], такой анализ предполагает, что сюжет повествования в своей основе имеет комплекс мотивов, каждый из которых, «раз возникнув, повторяется потом множество раз». Собственно же мотивом при этом может выступать «любой феномен, любое смысловое “пятно” — событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и так далее», и единственное, «что определяет мотив — это его репродукция в тексте»[4]. Наше исследование, безусловно, не станет классическим примером использования мотивного анализа, будучи выполненным, скорее, не на его основе, а по его мотивам. Между тем нам кажется, что, имея в виду принцип лейтмотивного построения повествования, вполне приложимого и к личному дневнику, можно

[1] См., напр.: *Малышева С.Ю.* “Лучше, когда это решено для всех”: индивидуальное и социальное в осмыслении смерти в записках Л.Я. Гинзбург 1920–1940-х гг. // Уральский исторический вестник. 2020. № 4(69). С. 127–135; *Романова Е.Н., Степанова Л.Б.* Дневник А.Н. Никифорова: жизнеописание как коммуникативное пространство // Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 6. С. 30–38; *Семенова В.Г., Тобуроков Н.Н.* Дневник как отражение личности писателя (на материале дневников А. Софронова и С. Данилова) // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1–4(67). С. 133–137; и др.

[2] См. об этом, напр.: *Савкина И.Л.* «Я же — человек обыкновенный»: анализ двух женских дневников советского времени // Вестник Пермского ун-та. Сер.: Российская и зарубежная филология. 2015. № 4. С. 79–88.

[3] *Халфин И.* Синтаксис большевистского субъекта // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 407.

[1] См.: *Бурдьё П.* Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.

[2] О советских дневниках см.: *Паперно И.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. М.: НЛО, 2021; *Савкина И.Л.* Дневники и записки 1930–1940-х годов // Русская литература XX века: 1930-е — середина 1950-х годов. М.: Академия, 2014. Т. 1. С. 412–437.

[3] См.: *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика / ред., вступ. статья и примеч. В.М. Жирмунского. Л.: Художественная литература, 1940; *Гаспаров Б.М.* Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М.: Наука, 1993. См. также: *Силантьев И.В.* Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004; *Хализев В.Е.* Теория литературы. 3-е изд,. испр. и доп. М.: Высшая школа, 2002.

[4] *Гаспаров Б.М.* Указ. соч. С. 30. Цит. по: *Волкова Ек.В.* Концепции мотива в современном литературоведении // Преподаватель XXI век. 2008. № 1. С. 91.

не просто деконструировать его нерасчлененный, синкретичный текст, но и увидеть в его нерасчлененности и синкретичности некие константы, формально и содержательно важные для автора.

«Устала очень, но все-таки хочется записат[ь]»: «Сибирские тетради» и их автор

Автор изучаемого нами дневника, а точнее, фрагмента дневника, Татьяна Дорофеевна Ходолей-Рожкова (1904–1985 гг.), родилась в Киеве, в семье потомственного почетного гражданина, инженера-лесовода Дорофея Матвеевича Ходолей-Рожкова[1] (1881–1950 гг., двойная фамилия семьи позднее утратила первую часть). В Киеве же прошло ее детство, совпавшее с эпохой войн и революций[2]. Специальное образование Таня получила в Киевском железнодорожном техникуме (1922 г., не закончила по причине его закрытия), Киевском высшем техникуме внешних сношений (1926 г.) и Московском промышленно-экономическом институте (1932 г.) В Москве, куда семья Рожковых перебралась в 1927 г., Татьяна обучалась не только в институте, но и на Высших государственных литературных курсах вплоть до их ликвидации в 1929 г.

Что касается трудовой биографии Т.Д. Рожковой, то ее московский период был весьма разнообразен. За какие-то немногим более десяти лет она успела поработать в редакции детского журнала «Искорка» и Московском союзе потребительских обществ, тресте Нарпит и на Кусковском химзаводе, заводе «Борец» и во Всесоюзной плановой академии при Госплане СССР. В Москве же Т.Д. Рожкова вступила в свой единственный брак, быстро закончившийся разводом (1934 г.) Ни мужей, ни детей в ее жизни после этого не появилось.

Семьей для Т. Рожковой был любимый отец, вместе с которым в 1941 г. она оказалась в эвакуации в Тюмени. Здесь ее ждала работа в центральной городской библиотеке, редакции газеты «Красное знамя» (позже — «Тюменская правда»), областном музее. В 1947 г. в жизни Т. Рожковой наступил новый период, связанный с ее переходом на работу в Тюменский областной архивный отдел (см. вклейку 2, к главе III.3, фото 1). С тех пор архивное дело, а с ним история

[1] Подробнее об отце Т.Д. Рожковой см.: Рожков-Ходолей Дорофей Матвеевич, 1901–1911 // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 994. Оп. 4. Д. 2631.

[2] Фрагмент дневника Т.Д. Ходолей-Рожковой, посвященный 1917 г., см.: «…Слышно было, как пули скатывались по крышам…»: Из дневника Тани Ходолей-Рожковой // Россия 1917 года в эго-документах: Дневники / авт.-сост. Н.В. Суржикова, М.Б. Ларионова, Е.Ю. Лебеденко и др.; науч. ред. Н.В. Суржикова. М.: Политическая энциклопедия, 2017. С. 66–85.

Западной Сибири стали делом всей ее жизни, сначала она занималась им в Тюмени, а затем, с 1955 г., в Тобольске. Первой большой работой Т. Рожковой в качестве архивиста стала систематизация документальных материалов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах и подготовка соответствующих справочных материалов для издания «Архивы СССР»[1]. Затем во многом благодаря Т. Рожковой были приведены в порядок и описаны более 5,5 тыс. архивных дел, составивших уникальные фонды Тюменской воеводской канцелярии, Тюменской приказной избы и мн. др.

Документальные богатства областного архива пробудили интерес дайаристки к историческому краеведению. В результате ею был подготовлен и прочтен для коллег курс лекций под названием «История Западной Сибири с древнейших времен до XIX века». Для широкой аудитории по аналогичной тематике была организована серия радиопередач[2], а также написана серия заметок и очерков для областной газеты: «Тюменский край в дни Пугачевского восстания», «Из глубины веков (Суд и закон в Сибири XVII–XIX веков)», «Судьба рудознатца Ивана Зотеева» и др.[3]

Архивная работа, по признанию Т. Рожковой, была той творческой работой, к которой она всегда стремилась, пожертвовав более денежными и потому престижными вариантами трудоустройства[4]. Именно архив свел Т.Д. Рожкову с целым рядом интересных людей — членами-корреспондентами АН СССР С.В. Бахрушиным и В.И. Шунковым, докторами исторических наук М.Е. Будариным, П.И. Рощевским, Н.В. Устюговым и др. Под их влиянием Т. Рожкова даже начала работу над диссертацией, которую, однако, так и не

[1] См.: Обзор документов Ямало-Ненецкого окрархива, составленный научным сотрудником облгосархива Т.Д. Рожковой, 1948 г. // Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–7.

[2] См.: *Рожкова Т.Д.* Очерки по истории Западной Сибири (обзор литературы) // Государственный архив в г. Тобольске (ГА в г. Тобольске). Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 47. См. также: *Рожкова Т.Д.* Лекция «Отражение крестьянской войны 1773–1774 гг. в Тюменском крае (по материалам Тюменского облгосархива)» // Там же. Д. 21; *Она же.* Лекция «Освоение русским народом Зауралья» // Там же. Д. 25; *Она же.* Лекции «Выборы в органы местного самоуправления при царизме» и др. // Там же. Д. 28; и др.

[3] См. подробнее: Список научно-исследовательских, научно-методических и творческих работ Рожковой Т.Д., 9 апреля 1983 г. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 34. Л. 17–18, 21–22. См. также: Статьи Рожковой Т.Д. из истории нашего края // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 48; Статьи Рожковой Т.Д. историко-краеведческой тематики // Там же. Д. 50.

[4] Автобиография Т.Д. Рожковой, 2 февраля 1983 г. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.

завершила[1]. При этом было бы лукавством не заметить, что с этой работой Т.Д. Рожкова напрямую связывала надежду вернуться в Москву, куда еще в конце войны реэвакуировался ее отец. Но после его смерти в 1950 г. столица с каждым днем становилась все дальше и дальше, а принятое в 1955 г. решение перебраться в Тобольск стало определяющим для последних тридцати лет жизни дайаристки.

Т.Д. Рожкова умерла и похоронена в Тобольске, в архиве которого и хранится ее личный фонд. Его основу составляют именно дневники, представленные несколькими десятками тетрадей и блокнотов. Первое из шестнадцати дел с дневниками начинается записью от 3 февраля 1916 г. по старому стилю[2]. Последняя дневниковая запись сделана Т.Д. Рожковой 20 марта 1985 г., всего за пару недель до смерти[3]. Начатый, очевидно, по настоянию матери и постепенно приобретший черты дневника-хроники и дневника-исповеди[4], для Т. Рожковой дневник стал значимой частью ее жизни, отражая не столько актуальный для своего времени фактаж, сколько переживания и размышления автора, его «внутреннюю жизнь»:

> «[Когда перечитала дневник,] который начала снова после перерыва лет в 15, то к удивлени[ю] увидела, что он совсем не скучен и очень разнообразен, что запись одного дня совсем не похожа на запись другого или третьего дня и в каждой записи оказывается что-нибудь интересно[е] и характерное — оригинальная, новая мысль, интересные сопоставлен[и]я, словом внутрен[ня]я жизнь вовсе не бедна и не однообразна»[5].

Облекая эту жизнь в слова, Т. Рожкова, безусловно, не просто следовала однажды заведенной привычке, она покорялась потребности в преданном друге и благодарном слушателе: «Один ты у меня поверенны[й] и верны[й] дру[г] — мой дневник. Ты хранишь все мои мысли и чувства свято и выслушиваешь меня всегда — [о]хотно. Это копилка моего сердца, мои[х] тревог и дум…»[6] Стоит ли удивляться, что со временем и сам дневник стал для дайаристки поводом

[1] Диссертационное исследование Т.Д. Рожковой было связано с экономической историей края. Тема ее работы была сформулирована как «Роль Тюмени в системе складывающегося российского рынка в XVII–XVIII вв.» (см.: План диссертационной работы Т.Д. Рожковой // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 31. Л. 1).

[2] Дневник, 1916–1920 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 57. Л. 1.

[3] Дневник, 1982–1985 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 69. Л. 240.

[4] См. подробнее о дневниках: *Михеев М.* Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей, 2007.

[5] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 82 об. Запись от 13.12.1949.

[6] Там же. Л. 162 об. Запись от 05.08.1950.

для раздумий, которые позволили одновременно и фрагментировать, и обобщать написанное: «Перечитала свои забытые дневник[и] (Кавказский, Белоцерковский, Военного времени ([19]41–[19]42 гг.) Оказалось очень интересно … Читала с большим увлеченьем Книгу моей жизни…»[1] Никакого парадокса эта одновременность не означала, зафиксировав обычную для дневника функцию синтаксически организовывать жизненный опыт скриптора (фото 2).

Необходимо, однако, отметить, что строго последовательного описания жизни Т.Д. Рожковой ее дневник не дает, изобилуя массой временных разрывов. Именно эти разрывы, как нам представляется, позволяют декомпозировать текст ретроспективного источника и сосредоточиться на его отдельных частях. По сути, сама Т.Д. Рожкова дала нам право рассматривать в качестве одной из таких частей комплекс записей за июль 1947 — январь 1951 гг., «нареченных» автором «Сибирскими тетрадями»[2]. Созданные в Тюмени после пяти лет «молчания» дайаристки, эти тетради, по ее собственному признанию, знаменовали начало нового жизненного этапа: «Теперь настала вторая молодость…», «Итак начинается старая, но “новая полоса” жизни…», «…Открываю новую страницу своей жизни», «Я на перело[ме] двух эпох…»[3]. Новизна этого этапа была обусловлена окончательным профессиональным самоопределением, завершением старых и поиском новых романтических отношений, а также гибелью единственного по-настоящему близкого автору дневника человека (отца). Оглядываясь в прошлое, Т.Д. Рожкова при этом убеждала сама себя, что ей, наконец-то, удалось найти свое место в мире и обрести «душевное равновесие»: «Жизнь в “далек[ой] Сибир[и]” у меня содержательн[ее] и внутренне гармонич[нее] чем в “Культур[ной] Москв[е]”»[4]. Однако знакомство с дневником доказывает, что два мира, внутренний мир автора и мир вокруг него, то есть мир внешний, встречаясь на страницах дневника и тем самым объективируя *Я*-для-других и *Я*-для-себя, были далеки от баланса. Как же они все-таки уживались между собой? Где пролегала тонкая граница между публичным и приватным, социальным и индивидуальным? Что она значила для повествователя и как выстраивалась?

[1] Там же. Л. 169 об. Запись от 03.09.1950.

[2] Дневник, 1951 г. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 61. Л. 38 об. Запись от 17.05.1951.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 25 об. Запись от 16.09.1947.

[4] Там же. Л. 82 об. Запись от 13.12.1949.

«Так как я считаю себя таковой»: проблема самоопределения

Первое, что бросается в глаза при чтении дневника Т.Д. Рожковой, — это явное злоупотребление понятием «культурный» и его «производными»: «культурн[ый] интерес[ный] человек великолепно знает историю края», «политическ[ий] и культурн[ый] кругозор его мне гораздо ближе», «хотя там культурных сил больше», «вполне культурн[ый] и научно построенн[ый] доклад», «я то дура надеялась на новое "культурное руководство"», «на чудесном экране увидела хорошую спокойную, культурн[ую] жизнь», «у Лун[д]бер[гов] — где я всегда хорошо и просто себя чувствую — культурная хорошая обстановка», «была за акац[ией] у сосед[а] А.А. — очень уютно и культурн[о]», «светлый, праздничный и главное настоящий культурн[ы]й город»[1]. Объясняя эту особенность ретроспективного дневникового текста, можно было бы ограничиться ссылкой на посвященное формированию советской субъективности исследование Й. Хелльбека[2]. По его мнению, благодаря усвоению советскими людьми пропагандистских газетных клише «советскость» и «культурность» в дневниках 1930-х гг. практически синонимизировались, что особенно характерно для самоописательных нарративов оказавшихся в городе выходцев из деревни типа И. Подлубнова. Т.Д. Рожкова, какое-то время работавшая в сфере советской печати, безусловно, в совершенстве владела умением «говорить по-большевистски». Но ее пристрастие к риторике «культурности» вряд ли было обусловлено только этим. Это было бы слишком просто для дайаристки, в прошлом которой были некрестьянское и даже непролетарское происхождение, дом с прислугой, «старорежимная» гимназия, балетный класс, Брюсовские курсы и более десяти лет проживания в столичной Москве. Думается, что в случае с Т.Д. Рожковой пропагандистская риторика «культурности», (ре)транслировавшаяся из области «большой» государственной политики и политизированной эстетики в сферу повседневности[3], удачно совместилась с ее собственным «интеллигентско-курсистским» пониманием культуры, предполагавшим «изящество манер», вечера в театре или филармонии, ванночки для ног и свежий воротничок… Именно таким образом Т.Д. Рожковой удалось остаться прежней, но в то же время стать вполне себе советской, отразив эту метаморфозу в таком самоопределении, как «интеллигенция 1920-х годов»[1].

При этом, примеряя на себя разные советские Мы, Т.Д. Рожкова видела в себе именно интеллигенцию, хотя вполне могла остановиться на категории «служащие». Ответ на вопрос «почему?» очевиден: потому что именно интеллигенция воспринималась дайаристкой как главная движущая сила культуры и «культурности».

> «Мы солдаты великой арми[и] Совет[ской] интеллиге[н]ции — раскидываем свои палатки, где придется, где наша работа — там и дом… Мы интел[л]игенция — как зерна злаков на любой почве должны дать всходы … и принести плоды нашей культуры … разбудить спавшие богатства края, оживить культуру [и] мысль края, обобщить его историю, наметить перспективы его возможн[ого] роста и развития…», —

записала Т.Д. Рожкова в своем дневнике 29 ноября 1949 г.[2] Статус скромной служащей, не предполагая таких грандиозных целей, явно не привлекал дайаристку, которая не могла не видеть, как к середине XX в. новая советская интеллигенция, правда, в основном техническая или, как ее называли, научно-техническая превратила СССР в сверхдержаву[3]. Принадлежать к интеллигенции теперь значило куда больше, нежели просто «нести свет в народ» и оставаться по примеру дореволюционной интеллигенции и, в частности, по примеру отца Т.Д. Рожковой «бездомными тружениками-интеллигентами»[4]. Сама риторика, использовавшаяся Т.Д. Рожковой при характеристике миссии советской интеллигенции, не оставляет сомнений в том, что для дайаристки это был не только вопрос культурной миссии:

> «Мы "гвардия Советской культуры" — советская интелли[генци]я — должны помочь нашей родине в ее процветании. "Потенциальные возмож[ности] края — превратить в кинетическ[и] дей[с]твующ[ие]". Благородн[ая] прекрасная цель

---

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 5 об., 39, 72, 83 об., 99 об., 134, 164, 189. Записи от 15.07.1947, 11.01.1948, 26.11.1949, 17.12.1949, 10.02.1950, 17.06.1950, 15.08.1950, 14.12.1950.

[2] См.: *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М.: НЛО, 2017.

[3] См. об этом: *Бойм С.* Общие места: мифология повседневной жизни. М.: НЛО, 2002. С. 128–129; *Волков В.В.* Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2. С. 194–213; *Козлова Н.Н.* Соцреализм: производители и потребители // Общественные науки и современность. 1995. № 4. С. 143–153.

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 87 об. Запись от 25.12.1949.

[2] Там же. Л. 74 об.–75. Запись от 29.11.1949.

[3] См. подробнее: *Золотарев О.В.* Интеллигенция: советские годы // Интеллигенция и мир. 2012. № 4. С. 44–56. См. также: *Байрау Д.* Интеллигенция и власть: советский опыт // Отечественная история. 1994. № 2. С. 122–135.

[4] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 74. Запись от 29.11.1949.

поставле[на] перед лучш[ей] в мир[е] сов[етской] интелли[генц]ией. Родина предъявляет к нам высокие требов[ан]ия и оказывает нам высокое дов[е]рие, которое мы должны оправдать»[1].

Для автора дневника принадлежность к советской интеллигенции с ее особым историческим назначением была прежде всего знаком включенности в ряды передового, с точки зрения дайаристки, социального слоя, то есть знаком статуса. Иначе говоря, за ее рассуждениями о миссии советской интеллигенции стоял не только и не столько вопрос дела, сколько вопрос иерархии и превосходства.

Отношение Т.Д. Рожковой к представителям неинтеллигентных, по ее разумению, слоев, слоев «некультурных» также говорит о ее социальных представлениях как об иерархических:

«Поездка [в Салехард] дала много интересного — сколь[ко] людей, встреч, жизней, интере[сных] и трагич[еских] и[с]торий... Вот едут рядом две деву[шки] Ида и Лида, … одна зоотех[ник] — Хотела ее поучить, ей расск[азать], и вдруг эта деви[ц]а — сама мне рассказ[ывает] столь[ко] интере[сного] о своей работе, о поездках на оленях по чумам, даже о колхозной политике и работе геологи[ческих] экспе[диций] на Севере… Теперь [я] уж понево[ле] стала осторожней пригляды[ваться] к “просты[м] люд[ям]” и увидел[а], что [нрзб.] люди вовс[е] “не просты”… Вот хоть бы девушка едущая со мной в каюте — “барышня-крестьян[ка]” — как я ее мысл[енно] назыв[аю]. 17 летн[яя], еду[щая] из “глухой” дере[вн]и, хочет учит[ься]. Тиха[я], скром[ная] — но в ней вовс[е] нет грубости и дерев[енской] дик[о]сти — преждни[х] крестьянок. Скромн[ая], но знает себе цену. Для ме[ня] они [все] вроде подопытных кроли[ков]»[2].

Удивление, которое вызывали у дайаристки вдруг оказавшиеся вовсе не простыми советские люди, было не просто удивлением. Вертикальность социальных связей воспринималась ею как незыблемая данность, и интеллигентские порывы поучать «барышень-крестьянок» объективировали и фундировали эту вертикальность, вовсе не предполагая стирания или, как минимум, сокращения, социальной и культурной дистанций.

В полной мере это проявлялось и в отношении дайаристки к более статусному, нежели интеллигенция, социальному слою — слою номенклатурно-партийных работников. Получив отказ в переводе

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 78 об. Запись от 04.12.1949.

[2] Там же. Л. 20–20 об. Запись от 28.08.1947.

в Москву, в Государственное архивное управление, Т.Д. Рожкова сокрушалась: «Мое — не суйся слишком высоко! Вздумала самому [генералу] Стырову писать — ишь что выдумала! Все ж таки у нас еще не полный коммунизм и запросто с генералам[и] не разрешается говорить…»[1]. «Я (беспартийная интеллигенция) нигде не имею опоры и защиты — Чего ж тут еще церемониться! Можно не стесняясь лупить обухом по башке… Подумаешь беспартийный мелкота и туда же еще с настроеньями!» — снова расстроилась дайаристка, в очередной раз убедившись в том, что советская социальная реальность была далека от всеобщего равенства[2].

Ненавидя «примазавши[х]ся к партии … во имя своего мелкого, напыщенного самолюбия»[3], Т.Д. Рожкова противопоставляла им себя как настоящего большевика: «Говорят “нет таких крепостей, которых бы не брали бы большевик[и]”, а т[ак] к[ак] я счита[ю] себя таково[й] (независ[имо] от билета), то горжусь, что довер[ие] оправда[ла]…»[4] Такого плана рассуждения были, как известно, довольно распространенными в «интеллектуальном быту» советской эпохи, укрепляя Т.Д. Рожкову и других ее современников в самосознании настоящих советских интеллигентов. Вероятно, именно такие рассуждения давали автору дневника право воспринимать себя одновременно и как доминирующую, и как доминируемую. Выступая то в той, то в другой роли, она, сознательно или бессознательно, примиряла себя с непростой социальной реальностью и при этом оставалась сама собой[5].

«Сталин нас учит…»: образ эпохи

Поскольку Т.Д. Рожкова являлась безусловной носительницей позитивной советской идентичности, реалии общественно-политической жизни в СССР конца 1940-х — начала 1950-х гг. в ее дневнике отражались абсолютно просоветски и по-советски. Ощущение это усиливает тот факт, что дайаристка фокусировалась главным образом на атмосферно, риторически, символически и ритуально важных для сферы политического «вещах». Стенгазета, политинформация,

[1] Там же. Л. 50 об. Запись от 05.09.1949.

[2] Там же. Л. 80 об. Запись от 07.12.1949.

[3] Там же. Л. 87 об. Запись от 25.12.1949.

[4] Там же. Л. 8. Запись от 05.08.1947.

[5] Практически об этом же говорит И.В. Нарский, анализируя дневник Л. Шапориной (см.: *Смирнова Т.М., Нарский И.В., Соколов А.Б., Будницкий О.В., Яров С.В.* «Дневник» Любови Шапориной // Российская история. 2013. № 6. С. 173–197. С. 179).

демонстрация, политучеба, соцобязательства, субботник, годовой план, политпросветотдел — упоминания всей этой советской атрибутики рутинно-обыденно присутствовали практически на каждой странице «Сибирских тетрадей». Хроникальный же подход к документированию актуальных событий Т.Д. Рожковой был не близок. Это, впрочем, закономерно, учитывая, что из далекой Тюмени «большие» события были ограниченно различимы. Пожалуй, единственным из таких событий, отмеченных в дневнике, стала отмена карточной системы.

> «Переворот! Экономическая революция! Отмена карточной системы, денежная реформа и снижение цен. Все сегодня ходят именинниками и обнимаются чуть ли не как в день Победы. Все сияют и радуются возможности жить по-человечески и сбросить дерюгу войны… Все магазины даже продуктовые позакрывались, не выдержав натиска толпы, кто “на ремонт”, кто “на выходной”, а кто без всякого объяснения. Сегодня все магазины открыты уже с новыми ценами и торгуют на новые деньги. Нам выдали только сто руб[лей] на человека, т[ак] к[ак] неправильно была составлена ведомость. Я пошла поглядеть да потолкаться. Просто глазам не верится! Чулки стоившие 35 — теперь стоят 7 руб[лей], ситец вместо 35 руб[лей] — 7 руб[лей], серая ткань на осенне[е] пальто вместо 150 — 80 руб[лей], зимни[е] шубы вместо 2400–1900 стоят 1200–700 руб[лей]. Есть надежда купить пальто. Подошла к калошам и глазам не верю — вместо 200 руб[лей] — 34 руб[ля]. “Не вынесла (уж тут) душа поэта!” и я забыв все на свете (главное долги) купила пару галош для моих оленьих пимов», —

отметила дайаристка, с репортажной детальностью воспроизводя местные реалии реформы 1947 г. прежде всего потому, что она была событием, действительно значимым для каждого советского человека[1].

Такой же статус — статус значимого события — для Т.Д. Рожковой имели «встречи» со Сталиным, каждая из которых обязательно фиксировалась. «Встречи» эти были разными. Так, в декабре 1947 г. во время выборов в Тюменский областной Совет депутатов как заместитель председателя избирательной комиссии Т.Д. Рожкова, восседая под огромным портретом вождя, попала вместе с ним в кинохронику. В другой раз, не в силах пережить обиду, нанесенную начальством, дайаристка ищет поддержки, защиты у Сталина:

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 33–33 об. Запись от 16.12.1947.

> «Стали[н] нас учит, что кадры надо береч[ь] ... и забо[титьс]я о них, как садов[ник] забо[тится] и выра[щивает] цв[е]т[ы] в сво[ем] саду. Кадры — это сам[ое] дорого[е], что е[с]т[ь] у нас»[1].

В мае же 1950 г. она и вовсе воочию увидела Сталина на демонстрации в Москве:

> «Цель приезда к праздникам выполнена — на параде была и тов[арища] Сталина видела… около 12 ч[асов] двинули по Тверской — вниз на Красную площадь... Я очень беспокоилась будет ли тов[арищ] Сталин, которого мне велели обязател[ьно] повидать. И мне повезло — как раз когда наша колонна поравнялась с Мавзолеем, тов[арищ] Сталин подн[и]мался быстрыми шагами по правой лестн[и]це на трибуну. Все люди, бывшие на площади встретили его появленье радостными аплодисментами»[2].

Однако личная «встреча» Т.Д. Рожковой со Сталиным не возымела такого эффекта, который обычно вызывала у современников — эффекта «завороженности»[3]. Возможно, это было связано с тем, что такой «встречей» со Сталиным могли похвастаться миллионы. Что действительно произвело огромное впечатление на дайаристку, так это доверенная ей «миссия» по подготовке поздравительной телеграммы вождю в честь его 70-летия:

> «Вечером было собрание в честь 70-летия тов[арища] Сталин[а] — везде сегодня торжествен[ный] вечер… Решил[и] послать телегра[мм]у тов[арищу] Стали[н]у и какая честь! Меня и еще двух товар[и]щ[е]й выдвинули составить текст. Тов[арищ] Стали[н] — конечно, не смож[ет] и прочесть ее — а все же приятно»[4].

Приятно в этой ситуации было не просто хотя бы символически приблизиться к Сталину — приятно было оказаться к нему ближе, нежели другие, а значит, оказаться статуснее этих других. Rendez-vous со Сталиным запечатлели, что для дайаристки он был не столько живым человеком, сколько олицетворением высшей власти, «большой» истории и просто всего самого лучшего. Витринное оформление

[1] Там же. Л. 87 об. Запись от 25.12.1949.

[2] Там же. Л. 119, 120. Запись от 05.05.1950.

[3] См. подробнее: *Паперно И.* Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 4(68). С. 102–126.

[4] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 85–85 об. Запись от 20.12.1949.

эпохи — именно такой модели нарративизации публичного придерживалась Т.Д. Рожкова — без Сталина было не просто дефицитным; без него оно вообще было невозможным.

Ярким свидетельством не просто усвоения этой модели, но и готовности ее воспроизводить стало стихотворение «Советской женщине», написанное дайаристкой в марте 1950 г. и прочитанное на торжественном вечере в Тюменском архивном управлении:

«Стахановка, летчик, колхозница, врач,
Ученый, художник, артист и поэт,
Сестра и подруга и нежная мать,
Тебе в этот день наш горячий привет…
Далеко, далеко над древним Кремлем
Там, где алые звезды рубином горят,
О тебе всегда помнит учитель и брат,
Вождь народа, великий нарком»[1].

Появление в одной из десяти строф стихотворения легко узнаваемого образа руководителя советского государства не только подчеркивало, что И.В. Сталин «всегда и везде с народом»[2], оно также призвано было засвидетельствовать, что и народ — в данном случае в лице Т.Д. Рожковой, а с ней и всех советских женщин — всегда и везде с вождем (фото 3).

Тот факт, что дайаристка фиксировала посредством поверхностных, лишенных претензий на рефлексию дескрипций в первую очередь «декоративные», внешние признаки советской общественно-политической жизни, вовсе не означал, что она была «близорука» и не видела ничего другого. Судно с заключенными на Оби, колхоз «Перековка», «где успешно перековы[вались] бывшие кулаки», послевоенный разгул преступности, «последствия засухи 1946 г.», кампании по борьбе с «марризмом» и космополитизмом, — эти атрибуты эпохи редко, но все-таки обозначались в дневнике[3]. Больше того, Т.Д. Рожкова, как и ее современники, прекрасно знала, что в Стране Советов есть кого и чего бояться. «Был у нас в архиве сегодня девичий переполох! Меня вызывали с МГБ — все вспо-

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 104 об. Запись от 13.03.1950; Советской женщине, 6 марта 1950 г. // Там же. Д. 56. Л. 12.

[2] *Черемин Г.С.* Образ И.В. Сталина в советской художественной литературе: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Всесоюз. общество по распространению политических и науч. знаний. М.: [Правда], 1950.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 5, 17 об., 120, 170 об. — 171. Записи от 14.07.1947, 24.08.1947, 05.05.1950 и 08.09.1950.

лошились — но каков был переполох когда я задержалась там [на] целых 4 часа! Они уж работать не могли … просто не ждали уже меня видеть живой», — записала она в дневнике 24 февраля 1950 г. с плохо скрываемой радостью, что все обошлось[1].

При этом, как и в случае с благостными характеристиками советской действительности, проговариваясь о ее изнанке, автор дневника упорно избегала оценочных суждений. Такой, во многом «детский» взгляд на жизнь объясняет, почему фасадная и «зафасадная» составляющие советской реальности в тексте дневника Т.Д. Рожковой не вступают в конфликт, будучи рядоположенными и даже сплавленными. Но бесконфликтность и сплавленность, свойственные дневнику в той его части, которая касалась отношений автора к общественно-политической сфере, не должны обманывать. Они, если и свидетельствовали о Т.Д. Рожковой как о настоящем советском человеке, то лишь в том смысле, что, как и большинство представителей так называемых «исполнительских слоев» советского общества[2], она, принимая заданные риторические и поведенческие стандарты и тем самым обозначая свое фоновое присутствие в сфере публичного, была глубоко аполитична. Поэтому даже опыт досоветской социализации не мешал Т.Д. Рожковой скользить по поверхности эпохи, вписываясь в ее повороты и соответствуя ее знакам. Не случайно, демонстрируя свойственное своей натуре стремление быть на виду, проявлявшееся в участии в читках газет, организации лекций или сочинительстве стихов по случаю «красных дат календаря», она замечала в своем дневнике: «Внешне произошло не так много — но в душевном мире очень много»[3].

«Только дело, только работа»: труд и творчество

Одним из лейтмотивов дневника Т.Д. Рожковой, вне всякого сомнения, является работа/труд. Вряд ли требуется доказывать, что этот факт детерминировался свершившимся еще в 1920–1930-е гг. фактом политизации, героизации и романтизации труда, позиционировавшегося в рамках советского проекта как смысл и основа человеческого существования. Именно поэтому одним из известных жанров советской литературы стал жанр «производственного

[1] Там же. Л. 101. Запись от 24.02.1950.

[2] См.: *Радаев В.В., Шкаратан О.И.* Социальная стратификация. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 267, 272.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 23. Запись от 16.09.1947.

романа»[1], сюжетные доминанты, образы и смыслы которого перекочевали и в политически ангажированное советское кино. В дневнике Т.Д. Рожковой, живо интересовавшейся книжными новинками и новинками кинопроката, эталонные для своего времени нарративные и визуальные интерпретации трудовой тематики просто не могли не проявиться.

> «Стало хорошо и радостно работать, силы словно удво-ил[ись] — чувствовалось — что мы работаем как одна друж-н[а]я семья — во имя общего дела — взаимные уваже[ние] и чутко[с]ть были цементом, связыва[вшим] нас и создав[ав-шим] хорошую и здоровую товарище[скую] среду», —

записала дайаристка 25 декабря 1949 г., задокументировав тот факт, что рядом с трудом в ее — и не только в ее — представлениях шел прежде всего коллективизм[2]. Сопоставление трудового коллектива с семьей также прямо отсылало к актуальному идеалу как трудовых, так и любых других социальных взаимодействий — идеалу, который благодаря К. Кларк известен историкам как сталинский миф о «великой семье»[3]. Что касается собственно труда, то он трактовался дайаристкой равно так, как того требовал общий контекст коллективисткой милитарной культуры — как вечный бой, как бесконечная ожесточенная борьба с трудностями и препятствиями, преодоление которых было настоящим событием:

> «Сегодняшн[и]й день был утомит[елен], но хотя бой был тя-жел — победа остала[сь] за нам[и]»,
>
> «Победоносно закончена борьба за выполненье плана
> I квартала, который висел на волоске»,
>
> «Итак победа! Годовой планы выполнен моим отделом
> за 9 месяцев, сэкономлен целый квартал»[4].

29 декабря 1950 г., как бы суммируя характеристики образа труда, типичного для массовой культуры первых тридцати лет советской истории, дайаристка записала:

> «Вчера смотрела прекрасн[ы]й фильм “Далеко от Москвы” по одноименной повести Ажаева[1]. Какая яркость образов! Содержание [—] красота свободного, одухотворенного, социа-листического труда, красота душевного строя советских людей, строивших в труднейших зимних условиях Дальневосточног[о] Края — нефтепровод для Кончеланской нефти... Прекрасно обрисован Батманов — “генерал” всего строите[льства] и его командующий, обаяте[льный] образ Але[ксея] Ковшов[а], Беридзе, Топол[ева], Жени. Какая сила и красота в их героиче-ск[ом] труде!»[2]

Однако помимо субмотива коллективного труда-подвига в тексте дневника Т.Д. Рожковой присутствует и субмотив труда-творчества, причем творчества индивидуального. Авторские представления, дрейфуя в этом направлении, выражались в стремлении дайаристки реализовать себя прежде всего на научном поприще:

> «Работать я могла столько угодно и надрываться тоже — но прав в научном мире получить не могла — одни только обя-занности! … Я как верблюд с энтузиазмом возила воду на дру-гих — конечно в общем это шло на пользу науки, но ведь обид-но быть “вечным инкогнито” в Науке. Хочется получить, хоть скромное, но свое собственное имя в науке»[3].

Больше того, мотивы индивидуального творчества не просто обнажали социо-профессиональное кредо Т.Д. Рожковой. Они в конце концов сомкнулись с мотивами более «высокого порядка»: «Найден правильный жизнен[ны]й путь, которого я тщетно искала столько лет. Завоевана уверенность в своих силах и самое главное сознание полезности и ценност[и] своей работы… Наконец я твердо стою на земле … и наконец завоевал[а] и право на творче[ски]й труд»[4] (фото 4, 5).

Но были ли эта «находка» и это «завоевание» личными находкой и завоеванием дайаристки? Нам представляется, что за пафосом приведенных выше строк стояло нечто большее и прежде всего — уже

---

[1] См.: *Земскова Д.Д.* Советский производственный роман: эволюция и художественные особенности жанра: дисс. … канд. филол. наук. М., 2016.

[2] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 87 об. Запись от 25.12.1949.

[3] См.: *Кларк К.* Сталинский миф о «великой семье» // Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 72–96.

[4] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 63 об., 111, 174 об. Записи от 23.10.1949, 02.04.1950 и 03.10.1950.

[1] Роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» (1949 г.) был ажиотажно популярен в СССР и лег в основу одноименного фильма, снятого А. Столпером (1950 г.) И роман, и фильм были удостоены Сталинской премии, став вершиной развития советского «производственничества» (см. об этом, напр.: *Лахусен Т.* Как жизнь читает книгу: массовая культура и дискурс читателя в позднем соцреализме // Соцреалистический канон: сб. статей под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С 609–624).

[2] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 194 об. Запись от 29.12.1950.

[3] Там же. Л. 76 об. Запись от 02.12.1949.

[4] Там же. Л. 57. Запись от 02.10.1949.

надвигавшиеся изменения в производственной сфере, медленно, но верно вступавшей на путь технизации и интеллектуализации. Они, в свою очередь, означали все большую и большую специализацию труда, которая со временем превратит в новых героев советского мифа о труде инженеров и ученых. Рабочие-герои социалистических строек 1930-х гг. при этом станут героями прошлого, а широко распропагандированный коллективизм и неумолимо наступавший вместе с процессом «приватизации жизни» индивидуализм придут в противоречие.

Можно, таким образом, смело утверждать, что в своих дневниковых рассуждениях Т.Д. Рожкова, сама того не замечая, отразила характерный для советского общества рубежа 1940-х — начала 1950-х гг. дискурс труда. Но в дневнике Т.Д. Рожковой тема труда занимает слишком большое место, чтобы увидеть в этом только (ре)трансляцию каких-то социальных интуиций. Для Т.Д. Рожковой, много раз пытавшейся, но так и не сумевшей устроить свое личное женское счастье («ведь у меня нет никого на свете»[1]), возможность самореализации в труде/работе была чрезвычайно важна. Именно поэтому дайаристка так радовалась своим трудовым творческим успехам («Вчера помещена была в Областн[ой] газете моя статья на тему "Тюмен[ски]й край в дни Пугачевского восстания". Я очень рада — просто праздник на душе… Оказывается в школах даже читали мою статью вчера. Очень приятно! Не даром поработала»[2]) и так расстраивалась по поводу не только неуспехов, но и простого невнимания к ее работе («Никто не ценит, что ты любиш[ь] свое дело»[3]). И опять-таки поэтому после очередного разочарования в любви Т.Д. Рожкова записала в дневнике:

> «Судьба была жестока ко мне и безжал[ос]т[но] дав хорошее, ласковое детство, бедную, но красивую юность, трудную полную борьбы, труд[н]ост[ей], одиночества и разочаров[ани]й молодо[с]ть — и вот теперь тишина Сибирских снегов и безразличие к своим преж[ни]м мечтам о счастье… Только дело, толь[ко] работа и кино, книги…»[4]

Там, где «обычные» советские женщины рассказывали о семье, муже, детях и т. д., Т.Д. Рожкова вновь и вновь обращалась к мотиву труда/работы, который, на наш взгляд, можно считать пограничным для ее дневника мотивом — мотивом, где общественно обусловленное и индивидуально значимое переплетались друг с другом.

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 30. Запись от 06.12.1947.

[2] Там же. Л. 56. Запись от 28.09.1949.

[3] Там же. Л. 84 об. Запись от 20.12.1949.

[4] Там же. Л. 94. Запись от 15.01.1950.

«Мой мирок в большом холодном мире»: поиски уюта и покоя

Несмотря на то, что в характере Т.Д. Рожковой безусловно присутствовало уже отмеченное выше стремление быть на виду, в центре внимания, это не мешало ей любить уединение, покой и комфорт. Однако их обретению однозначно не способствовали послевоенные реалии и прежде всего «квартирный вопрос». Как известно, к 1950 г. размер жилищного фонда в СССР вырос до 513 млн кв. метров, что было на 90 % больше, чем в 1940 г., но на одного жителя при этом в среднем приходилось порядка 4,67 кв. метров жилой площади, что было на 8 % меньше предвоенного показателя[1]. В Тюмени, население которой в 1945–1953 гг. увеличилось с порядка 90 до почти 135 тыс. чел., ситуация была примерно такой же. По данным А.В. Мордвинцевой, только 4 % тюменцев проживали в условиях, когда на одного человека приходилось более 9 кв. метров жилой площади, 6% — 7–9 кв. метров, 29 % — 4–7 кв. метров и 61 % — менее 4 кв. метров. Всего хуже дело обстояло в общежитиях. Так, в общежитии № 3 Тюменской сетевязальной фабрики на одного проживавшего приходилось 1,9 кв. метра жилой площади, а в бараке № 4 ДОКа «Красный Октябрь» — 1,7 кв. метра[2]. Очевидно, что в таком положении обладание, даже временное, целой комнатой было настоящим счастьем. Вот и Т.Д. Рожкова, подводя личные итоги 1947 г., особенно подчеркивала обретение «нормальной человеческой квартиры». «Какое счастье! Просто не могу себе поверить. Не смотря на болезненное п[е]реутомленье — это меня радует и примиряет с жизн[ью]», — отмечала дайаристка, считавшая, что ее «жалкое тюменское существование» до того предопределялось именно отсутствием своего «уютного уголка»[3]. Найдя же такой уголок, оказавшийся одной из комнат городской усадьбы сестер Шестаковых, на протяжении последующих пяти лет Т. Рожкова неустанно подчеркивала его значимость как непременного условия «светлой, счастливой жизни»[4].

При этом важно отметить, что ранее снимаемая в частном же доме комната (правда, в заречной части Тюмени) не смогла вызвать

[1] См.: *Фильцер Д.* Советские рабочие и поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2011. С. 128.

[2] См.: *Мордвинцева А.В.* Послевоенная городская повседневность: Тюмень и тюменцы в 1945–1953 гг.: дисс. … канд. ист. наук. Тюмень, 2010. С. 129.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 7 об., 27 об. Записи от 02.08.1947 и 06.10.1947.

[4] Там же. Л. 38 об. Запись от 11.01.1948.

у дайаристки подобных чувств. Иначе как «малиной» или «воровской берлогой», где обитала «темная публика» во главе с «заречной ведьмой», она это место не называла[1]. И дело было не просто в «мрачных рожах» и «отборной площадной брани», типичных для этого места. Прежде всего здесь Т.Д. Рожкову не устраивали постоянные бесцеремонные вторжения хозяев и соседей на территорию ее приватного «домашнего» пространства. «Отняли лампу, матрас, заставили стол цветами, негде было готовить», «выкинули вещи из комнаты, пользуясь моим отъездом», «вещи раскиданы по всей усадьбе — не знаешь, где что искать», — к проявлениям «экономической блокады» привыкнуть было невозможно, поскольку проницаемость границ личного жизненного пространства, их незащищенность не позволяли «дому» выполнять его главную функцию — функцию «убежища»[2].

Возможно, этот печальный опыт стал причиной того, что и хозяйку своей новой квартиры Т.Д. Рожкова сначала не очень-то жаловала: «Уехала в Тобольск погостить Анна Васильевн[а]. Стало уютнее и проще дома, а то пока она есть, всегда чувствуешь какое-то “недремл[юще]е око” хозяйское — и вечно слышиш[ь] наставлен[ия], замеч[ания] и требованья. Чувствуеш[ь] себя вечно долж[-ни]ком»[3]. Со временем, однако, домовладелица и члены ее семьи стали для дайаристки близкими, «своими» людьми:

> «Первый день Пасхи… Спала сегод[ня] до 12 часов дня! Мои милые хозяйки сделал[и] все, что бы дать мне получше отдох[ну]ть — не открывали ставни пока я не встала, не включали радио и не давали Наташе шуметь у меня под дверью. Днем пекла блины. Добрейш[а]я М[ария] В[асильевна] пришла ко мне Христостов[а]т[ь]ся и принесла мне на тарелке пару пирожк[ов], крашеное яичк[о] и маленький куличек. Меня трону[л] не подарок, а теплая сердечн[а]я забота и дружеск[и]й привет с ее стороны»[4].

Внимание хозяев к постоялице не было при этом явлением праздничным, оно было явлением повседневным, особенно важным для дайаристки в не самые лучшие для нее дни:

> «Меня позвали пить вместе чай. Наточка и Марья Васильевна — видя мое тяжелое настроени[е] — старались быть со мной как можно ласковее. Наточка притащила сказки и взобравшись ко мне на колени вместе с кошкой Муськ[ой] стали слушать. А я их обняла и заплакала. Ведь это все, что у меня есть на свете. Все же ласка простых человече[ских] сердец меня утешила немного и согрела мое бедное сердце»[1].

Стоит ли удивляться, что Т.Д. Рожкова ощущала себя практически частью семьи Шестаковых, воспринимая домовладелицу и ее сестру как «тетушек», а их внучку Наташу — как «дочку»[2] (фото 6, 7). Используя при описании своей новой квартиры такие характеристики, как «патриархальный покой» и «редкая по гармоничности среда»[3], дайаристка, однако, имела в виду не только свои почти родственные отношения с Шестаковыми. По-настоящему личным, родным уголком в «избушке» Шестаковых для Т.Д. Рожковой стала ее комнатка, служившая ей укрытием от «шума и утомительной суеты», пространством свободы «от всех и всего»[4]. Подчеркивая важность этой свободы, дайаристка особенно радовалась тому, что ее маленький мирок наконец-то автономен, изолирован от внешнего мира: «Моя уютная комнатка для меня тоже, что шалаш Робинзона, скажем на каком-нибудь экзотичес[ком] острове, либо палат[ка] Папани[на] на льдин[е]»[5].

Однако одной автономности, изолированности для превращения комнаты в действительно личное пространство покоя и гармонии было мало. Личным его делали личные вещи, которые придавали скромному жилищу дайаристки такое качество, как уют. О том, насколько оно было важным для Т. Рожковой, свидетельствует тот факт, что само слово «уют» и его производные повторяются в дневнике десятки раз[6]. При этом на фоне произошедшей в послевоенный период реабилитации материальных благ, как и реабилитации уюта в целом[7], при характеристиках его составляющих дайаристка в первую очередь останавливалась на предметах, которые ассоциировались с уже упомянутой выше «культурностью» (дорожках, занавесках, цветах,

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 27, 52. Записи от 06.10.1947 и 08.09.1949.

[2] Там же. Л. 27. Запись от 06.10.1947.

[3] Там же. Л. 56 об. Запись от 29.09.1949.

[4] Там же. Л. 114 об. Запись от 09.04.1950.

[1] Там же. Л. 59. Запись от 07.10.1949.

[2] Там же. Л. 39. Запись от 01.01.1948.

[3] Там же. Л. 106 об. Запись от 18.03.1950.

[4] Там же. Л. 72 об., 182. Записи от 27.11.1949 и 07.11.1950.

[5] Там же. Л. 74 об. Запись от 29.11.1949.

[6] Там же. Л. 28, 31, 37–37 об., 43 об., 48 об., 54 об., 59, 62. Записи от 06.10.1947, 06.12.1947, 02.01.1948, 13.08.1949, 27.08.1949, 24.09.1949, 07.10.1949, 15.10.1949; и др.

[7] О послевоенной реабилитации уюта см.: *Бойм С.Ю.* Общие места: мифология повседневной жизни. С. 58–59; *Гурова О.Ю.* От бытового аскетизма к культу вещей: идеология потребления в советском обществе // Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2005. С. 13–14; и др.

этажерках и т. д.). Едва ли не главным ее материальным воплощением и, соответственно, воплощением уюта был абажур, многократно упоминавшийся в дневнике в самых разных контекстах: «чудесно, уютно в моей милой комнатке — под уютным светом золотистого абажура», «я купила себе новый апельсиновый абажу[р] с кленовым[и] лиловым[и] листо[ч]кам[и]», «на стол подает свет из под золотистого шелкового абажура», «не хватает абажура и дорожк[и] на полу»; «я ей кроме букета принесла абажур», «я … к удивлен[ию] хозяек моментальн[о] сооруд[ила] им абажур к ламп[е]» и т. д.[1] Абажур, наряду с занавесками, был не просто «бытовым символом эпохи». Оба эти признака нормативного быта были важны как инструменты дифференциации жизненного пространства, как доказательства самой возможности «обособленного частного пространства» в условиях, которые мало способствовали его созданию и воспроизводству[2].

Другим маркером культурности, зафиксированным в дневнике Т. Рожковой, стало наличие в интерьере ее жилища книг и журналов. Они, очевидно, должны были демонстрировать не только принадлежность хозяйки к нарождающемуся советскому «среднему классу», но и ее особый социопрофессиональный статус[3]. Логичным дополнением к книгам служили размещенные на стенах комнаты портреты «мыслителей и гениев человечества» (например, А.П. Чехова), репродукции картин И.И. Левитана, Е.Е. Лансере и М.С. Сарьяна, а также фотографии родителей Т. Рожковой, призванные фундировать своеобразную «элитарность» статуса дайаристки, ее отличие от окружавших ее «простых» и «немудрящих» людей[4]. «Мне никогда не скучно в моей милой комнате с моим[и] книга[ми]»[5] — констатировала Т. Рожкова в один из дней, говоря не просто о своей любви к «дому» и книгам, но подчеркивая именно «культурность» своего быта и занятий.

Однако помимо «культурных» символов обихода в комнатке Т.Д. Рожковой присутствовали вещи, функционально весьма сомнительные, но по-своему уютные: «Чтобы скрасить пустоту своей одинокой жизни, чем-то согреть ее и заполнить каким-то уютом … у меня везде рамочки, карточки, флакончики, картинки — все эти милые пустячки — украшают мой “робинзонов шалаш” — такой пустой без них»[1]. Такие вещи, не вписываясь в нормативный образ рационального советского быта, были прямой отсылкой к тем слоникам, фикусам и искусственным цветам, с которыми как с «домашним хламом» активно боролась советская пропаганда. Стремясь отвести от себя обвинения в «обуржуазивании» быта, Т. Рожкова пыталась объяснить свою привязанность к разнообразным безделицам, апеллируя то к детским воспоминаниям[2], то к метафоре «любимой науки» — политэкономии: «Почему меня так радуют милые вещички, образующие уют моей комнатки. Потому, что каждая вещь — это кристал[л], овеществов[ляющий] чей-то труд — это концентрат челове[ческой] воли и уменья»[3].

Окончательно легитимировать «милые вещички» и свои чувства к ним Т.Д. Рожковой позволили образы живых вещей, заимствованные из пьесы М. Метерлинка «Синяя птица». «Щипч[ики] новые — на розовом стеклянн[ом] блюдце», «пилоч[к]а для хлеба», «новая грелочк[а]», «полот[ен]ц[е] над умываль[ником]», «голубая мисочка для суп[а]», «пальто и платье и духи и все что мне так нужно» — все это превратилось в «домашние блаженства» и «маленькие радости», а миниатюрный «сверчок-будильничек» на книжной этажерке и вовсе обрел «душу», напрямую отсылая к «Душе Часов» в хижине дровосека из «Синей птицы»[4]. Одушевление, метафорическая витализация вещей сделали их «заботливыми друзьями», ежедневно встречающими свою владелицу молчаливым приветом, дававшими ей возможность и «забыться и отдо[х]н[у]т[ь] в их ласков[ом], теплом кругу»[5]. Создавая таким образом изолированный от бурь внешнего мира свой «уголок приватности», Т.Д. Рожкова не только следовала «жажде материального», пронизывавшей послевоенное советское общество[6]. Она интуитивно следовала ценностям зарождавшегося советского среднего класса с его «увлечением

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 48 об., 79, 143, 163 об., 180. Записи от 27.08.1949, 05.12.1949, 08.07.1950, 14.08.1950, 30.10.1950; и др.

[2] Об «эффекте абажура» см. подробнее: *Волков В.В.* Указ. соч. С. 10.

[3] О книгах как элементе интерьера и признаке «культурности» см.: *Козлова Н.Н.* Соцреализм: производители и потребители // Общественные науки и современность. 1995. № 4. С. 148.

[4] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 43 об. Запись от 13.08.1949.

[5] Там же. Л. 100 об. Запись от 19.02.1950.

[1] Там же. Л. 164. Запись от 15.08.1950.

[2] Там же. Л. 164, 181. Записи от 15.08.1950 и 04.11.1950.

[3] Там же. Л. 97 об. Запись от 26.01.1950.

[4] Там же. Л. 79, 97 об., 163, 164, 181, 182. Записи от 05.12.1949, 26.01.1950, 13.08.1950, 15.08.1950, 04.11.1950, 07.11.1950.

[5] Там же. Л. 97 об. Запись от 26.01.1950.

[6] См. об этом: *Dunham Vera S.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. N.Y.: Cambridge University Press, 1976. P. 42–43.

домашним уютом и обустраиванием личного уголка» с характерным для этого увлечения «позитивно окрашенным дискурсом вещей как предметов потребления»[1].

«Мне так хотелось его — хорошего, полного счастья»: «философия» счастья и любви

Обустроенной комнатки и наполнявших ее милых вещичек, однако, было мало для того, чтобы Т. Рожкова ощущала себя совершенно счастливой. Ее дневник не оставляет никаких сомнений в том, что счастье в ее понимании вообще могло быть разным. В этом убеждают постоянные обращения автора к самому слову «счастье»: «к счастью водолеченье стало понемногу помогать», «к счастью деньги дали», «к счаст[ью] идет дождь», «купила себе … рубиновый перстень … на счастье», «счастье, что я позвонила Ковенскому», «вот счастье-то, что шуба в порядке и что есть суконные ботики»[2]. Отчасти это можно объяснить общим состоянием послевоенного советского общества, счастливого общества победителей, вернувшихся после долгих лет потерь и страданий к мирной жизни. Но дело было, на наш взгляд, не только в этом, но и в том, что советская идеология еще в довоенный период «обязала» каждого советского человека быть счастливым, поскольку именно советскому человеку выпало счастье «проложить верный путь к светлой жизни всего человечества»[3]. Здесь уместно будет процитировать писателя, литературоведа и критика Б. Сарнова, который, говоря об осовеченном понимании счастья, в частности, констатировал:

> «Слово “счастье” стало обозначением некоего постоянного состояния общества. Разумеется, только нашего, советского, социалистического общества. И даже когда говорилось о счастье советского человека, имелся при этом в виду не конкретный какой-нибудь советский человек, а советский человек вообще, который счастлив (должен быть счастлив!) уже по одному тому, что он советский, что ему выпало счастье родиться и жить в советской стране… Народ … вполне недвусмысленно выразил свое отношение к этому советскому идеологическому штампу такой, например, частушкой: Наша родина прекрасна / И цветет как маков цвет. / Окромя явленья счастья / Никаких явлений нет! / Если же речь, случалось, заходила о личном счастье, то это, во-первых, особо подчеркивалось эпитетом, а во-вторых, обретало презрительный, а то и прямо осуждающий характер»[1].

Очевидная утопичность концепции «коллективного счастья», предопределенная неразрешимым «противоречием между посвящением себя коллективистским идеалам и естественным человеческим желанием обрести личное счастье»[2], обернулась тем, что официально декларируемая трактовка счастья и его понимание на уровне личных устремлений советских людей едва ли совпадали. Красноречиво свидетельствуя об этом, дневник Т.Д. Рожковой экспонирует сложную синтетическую модель счастья, в которой оказались сплавлены сразу несколько разных «счастий»: уже упомянутые счастье «интересной творческой работы» и счастье «спокойного уютного уголка», а также счастье взаимной «настоящей» любови. По мысли дайаристки, только их одновременное сочетание позволяло ощутить всю полноту жизни и удовлетворение от нее. Вместе с тем, очевидно, что считавшиеся Т.Д. Рожковой главными три обозначенных «счастья» не были для нее равнозначными. Какому из них в их иерархии отводилось второе место, а какому — третье, не совсем понятно. Но что не вызывает никаких сомнений, так это приоритет в числе разных «счастий» счастья любви. Рассуждений о нем в тексте так много, что на фоне других опубликованных и потому известных женских дневников первой половины XX в.[3] дневник Т. Рожковой выглядит особенным[4].

---

[1] О советском среднем классе и «вторичной» мещанской культуре послевоенного времени подробнее см.: *Бойм С.Ю.* Общие места: мифология повседневной жизни. С. 59, 96; *Гурова О.Ю.* Указ. соч. С. 13–14.

[2] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 30, 33, 48 об., 64 об., 68 об., 168 об. и др. Записи от 06.12.1947, 16.11.1949, 27.08.1949, 13.10.1949, 05.11.1949, 30.08.1950, и др.

[3] *Макаренко А.С.* О счастье. Заметка // Педагогические сочинения в восьми томах. Т. 7: Публицистика. Сценарии. М.: Педагогика, 1984. С. 35.

[1] *Сарнов Б.М.* Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: Материк, 2002. С. 114, 115.

[2] *Balina M., Dobrenko E.* Introduction // Petrified Utopia: Happiness Soviet Style / ed. M. Balina and E. Dobrenko. L.; N.Y.: Anthem Press, 2009. P. XVI.

[3] См., напр.: *Коонен А.Г.* «Моя стихия — большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950. М.: НЛО, 2021; *Лашина Н.С.* Дневник русской женщины: в 2 т. М.: КПЦ «Преображение», 2011; *Островская С.К.* Дневник. М.: НЛО, 2013; *Шапорина Л.В.* Дневник: в 2 т. М.: НЛО, 2011; и др.

[4] О специфике женских самосвидетельств см.: *Пушкарева Н.Л.* Публичное вторжение в частную жизнь (эвристическая ценность устных и письменных эго-документов для гендерной истории) // Запад-Восток. 2018. № 11. С. 161–180; *Рожанский М.* Дневник советской девушки // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2007. Т. 3. № 4. С. 55–70; *Савкина И.Л.* «Я же — человек обыкновенный»: анализ двух женских дневников советского времени; *Herzberg J.* Telling Life, Writing War. The Diary of Maria Bruss // AvtobiografiЯ. 2015. № 4. P. 271–278; и др.

При этом романтический дискурс[1], в рамках которого выдержаны бесконечные пассажи, посвященные теме счастья как любви, свидетельствуют, что под ней Т.Д. Рожкова понимала обретение любящими друг друга людьми полной «гармонии души и тела». Такая любовь непременно должна была быть «одухотворенно-красивой» и строиться прежде всего на эмоциональной связи любящих людей[2]. Образ идеального возлюбленного воплощался при этом в образе «родной души» и «близкого друга»[3], без которого автор дневника чувствовала себя обделенной жизнью: «Нет радости ласкового слова, нет радости чуткой любящей души, которая рядом с тоб[ой] всегда, нет радостей милых сердечных забот о тебе»[4]. За повторявшимся в этой фразе однозначным «нет» скрывалась, однако, не только неудовлетворенность. За ним также скрывался и тот факт, что никакой стратегии поиска сердечного друга у дайаристки не было. Она просто ждала его или, в лучшем случае, выпрашивала у судьбы в угоду сформировавшейся еще в 1930-е гг. в СССР «новой морали», «основным принципом которой на практике стало подчинение обстоятельствам»[5].

Обстоятельства же, как явствует из дневника Т. Рожковой, снова и снова убеждали ее в недостижимости ее любовного идеала, превратив «неразрешимую проблему душевного одиночества» в главную боль дайаристки[6]. Она фактически смирилась с тем, что образцового партнера-«рыцаря», способного на «глубо[ко]е красивое чувство», найти невозможно[7]. Основной причиной, заставившей автора дневника отказаться от «иллюзий», послужила ее убежденность

[1] См.: *Апресян Р.Г.* Идеал романтической любви в «постромантическую эпоху» // Этическая мысль. 2005. № 6. С. 201–218; *Гидденс Э.* Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современном обществе. СПб.: Питер, 2004; *Малахаева С.К.* «Романтическая любовь» как инновационная модель субъективности: историко-культурологический экскурс // Психология в экономике и управлении. 2015. Т. 7. № 1. С. 58–64; и др.

[2] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 25. Запись от 16.09.1947.

[3] Там же. Л. 68, 71 об., 72, 178 об. Записи от 15.11.1949; 23.11.1949; 28.11.1949; 17.10.1950.

[4] Там же. Л. 178 об. Запись от 17.10.1950.

[5] См.: *Чуйкина С.А.* «Быт неотделим от политики»: официальные и неофициальные нормы «половой» морали в советском обществе 1930–1980-х годов // В поисках сексуальности: сб. статей / под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 127.

[6] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 73. Запись 28.11.1949.

[7] Там же. Л. 156, 197. Записи от 24.07.1950 и 31.12.1950.

в широком распространении среди современников «примитивного» представления о любовном чувстве. «Все почти люди вокруг, даже и очень культурные и развитые, под близостью понимают только близость, не выходящую за пределы близости чисто физической», — отметила Т.Д. Рожкова в один из дней, будучи при этом убеждена в том, что «слияние тел» без «душевной» компоненты было всего лишь «физкульт[урой] без тени сердеч[но]сти»[1].

Между тем, позиционируя себя как истинную романтическую героиню[2], жившую в ожидании «опьяняющей радости любви» или же страдавшую по тому, «без кого тоскует душа»[3], Т.Д. Рожкова не отрицала значимости физической любви категорически. Больше того, она вполне могла с упоением рассказывать о «силе и красоте апофеоза страсти»[4]. Однако даже самая прекрасная страсть, снова подчеркивала дайаристка, никак не могла заменить «близости душ», превращая отношения партнеров, не связанных подлинным чувством, в «обычный обывательский “роман” курортного стиля». Обращаясь к собственному жизненному опыту, дайаристка не скрывала, что подобные «встречи» неизбежно приводили к разочарованию: «В жизни была по существу либо в лучшем случае красивая, но бесплодная игра высоких чувств, либо попросту чувства, оказывавши[е]ся самым примитивн[ы]м и грубым обманом впоследс[твии]»[5]. Единственное, что оправдывало «грубый суррогат» псевдочувств, по мысли Т.Д. Рожковой, это «желанье заглушить тоску» хотя бы на какое-то время[6].

Стоит ли удивляться, что, отстаивая свою позицию относительно любви в споре со случайными попутчиками на пароходе «Орджоникидзе», Т.Д. Рожкова была обвинена в «непроходимом идеализме»[7]. Но был ли это просто идеализм, замешанный на романтизме? Помимо романтизма, в ответах оппонентам дайаристка воспроизводила еще и риторику дискуссий «по половому вопросу» середины — второй половины 1920-х гг. (кроме, пожалуй, «фразеологии»

[1] Там же. Л. 71 об. Запись от 23.11.1949.

[2] См.: *Полонская А.В.* Романтическая героиня // Вестник Российского гос. гуманитарного ун-та. Сер.: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2010. № 11(54). С. 22–34.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 24 об., 73, 76. Записи от 16.09.1947; 28.11.1949; 01.12.1949.

[4] Там же. Л. 1 об. Запись от 03.07.1947.

[5] Там же. Л. 69. Запись 17.11.1949.

[6] Там же. Л. 73. Запись от 28.11.1949.

[7] Там же. Л. 22. Запись от 27.08.1947.

о тесном переплетении «личного и общественного», коллективного и интимного)[1]. То, что Т. Рожкова была прекрасно знакома с подобной риторикой, доказывают ее стихи конца 1920-х гг. и, в частности, вот это:

«Люди! Звери! Черемухи нет!!![2]
Без черемухи нет ведь горений,
Но душистый ее первоцвет
Половым заменили стремленьем.
Горько! Мерзко…
Не хочется жить,
Коли нет молодых уж горений…
Нет! Не верю!
Не век будет так!
Не умрет ведь мечта золотая
Оживет ведь еще красота
Молодою в душе первомая…»[3]

Примерно в том же духе, что характерно, были выдержаны и дневниковые записи, сделанные в 1929 г.:

> «Хороший снежный вечер. Говорили конечно об отношении мужчины и женщины об ненужности прикрас — но к счастью культурн[о без] обычной теперь “без черемухи” … он столкнул меня с неба на землю ответив на мой вопрос — могут ли быть между культурными людьми, если они мужчина и женщина просто хорошие, глубокие даже человеческие отношения, при наличии симпатии между этими людьми — нет вернее даже если они только не чувствуют антипатии друг к другу — он прямо выпалил — “не могут” — ясно! Значит… вступая в “хорошие, дружески[е] отношения” не только с одним, но со многими людьми — ты должна знать на перед, что они обязательно окончатся — “черемухой” или “без черемухи” — но ведь это абсурд — это вивисекция, смена перчаток…»[1]

Возвращаясь к «Сибирским тетрадям», следует отметить, что в них идейное влияние 1920-х гг. на «философию» любви Т. Рожковой продолжало проявляться прежде всего в безусловной корреляции этой «философии» с концепцией «крылатого Эроса» А.М. Коллонтай — концепцией, которая трактовала любовь как единство «душевно-духовных эмоций» и «влечения тел»[2]. Так, буквально напрямую к «крылатой» символике А.М. Коллонтай отсылала метафора «непослушного сердца», использованная дайаристкой для описания знакомства с потенциальным избранником: «Все-таки непослушное сердце вдруг встрепенулось и снова взмахнуло крылом, чтобы лететь на встречу — чему?»[3] И хотя для дайаристки, в отличие от «валькирии революции», любовь оставалась исключительно приватной, ожидания, «адресованные» Т.Д. Рожковой романтическому партнеру («ласковое слово», «чуткость», «душевное тепло», «сердечная забота» и пр.)[4], также явно перекликались с характерными для концепции Коллонтай представлениями об основах чувства «товарищества» («стойкая взаимная поддержка, чуткое участие и внимательная отзывчивость на запросы друг друга»)[5]. Еще одним отзвуком «теории Эроса» в дневнике Т. Рожковой был тезис о необходимом сходстве «политического и культурного кругозора» партнеров, об их принадлежности к «одной

---

[1] См. об этом, напр.: *Голод С.И.* Трансформация эротико-эмоциональных отношений молодежи на протяжении XX века // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. Т. 13. № 1. С. 69–89; *Новиков С.Г.* Воспитание половой морали советской молодежи: ретроспективный взгляд на дискуссии 1920-х годов // Историко-педагогический журнал. 2012. № 3. С. 161–171; *Пушкарев А.М.* «Новый быт»: идеологические интерпретации сексуального (по материалам русской художественной литературы и критики 1920-х годов) // Журнал исследований социальной политики. 2007. Т. 5. № 4. С. 459–482; и др.

[2] «Черемухи нет», «без черемухи» — аллюзия на рассказ П.С. Романова «Без черемухи (из писем женщины)». Рассказ повествует о первом сексуальном опыте студентки столичного университета. Ветка черемухи становится для главной героини метафорой любовного чувства, которым пренебрегают ее ровесники, сведя «любовь» исключительно к «физиологии»: «Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области “психологии”, а право на существование у нас имеет только одна физиология ... на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов» (*Романов П.С.* Без черемухи // Романов П.С. Без черемухи. Повесть и рассказы. М., 1990. С. 315). Опубликованный в 1926 г., рассказ приобрел скандальную известность и вызвал острую полемику по «половому вопросу» на страницах советской печати (подробнее см. об этом, напр.: *Пушкарев А.М.* Из «Тьмы» приватности на «Свет» публичности (сексуальная этика в дискурсе художественной литературы и критики 1920-х гг.) // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Сер.: История России. 2007. №1. С. 145–146).

[3] Вечер. Тихо. И мысли плывут…, октябрь 1927 г. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 52. Л. 18–18 об.

[1] Дневник, 1929 г. // ГА в г. Тобольске. Ф. 1847. Оп.1. Д. 59. Л. 20. Запись от 27.03.1929.

[2] См.: *Китаи С.* Эрос и революция: теория А. Коллонтай // Новый филологический вестник. 2009. № 2(9). С. 124–131.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 76. Запись от 01.12.1949.

[4] Там же. Л. 68 об., 175 об., 178 об. Записи от 16.11.1949; 07.11.1950; 17.10.1950.

[5] *Коллонтай А.М.* Дорогу крылатому Эросу! (письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 122.

породе», о любви как встрече с «близкой душой, хотя бы живущей теми же интересами, мыслями и чувствами»[1].

Очевидно, что «заветы» А. Коллонтай не только не противоречили глубоко укоренным в сознании Т.Д. Рожковой романтическим любовным грезам. Они сплавились с этими грезами, не оставив у Т. Рожковой никаких сомнений в проходимости или, как минимум, гибкости «формальных границ любви»[2]. Об этом свидетельствуют записи как о кратковременных, мимолетных связях дайаристки, так и о ее длительных отношениях с женатым мужчиной. При этом, описывая романтические «встречи» в командировках как ни к чему не обязывающие «праздники жизни», прерывавшие течение «серых одиноких будней»[3], дайаристка говорила о них как убежденная «эросистка». От затянувшегося на годы романа с «верным и любящим другом М.» Т. Рожкова, несмотря на его несвободу, наоборот, ожидала чего-то «настоящего, прочного, глубокого». Отводя М. символическую роль «любимого мужа», «опоры в жизни» и, в свою очередь, обещая ему быть «верной женой», она не просто номинировала их отношения как «семейные», но пыталась легитимировать эти отношения в своих собственных глазах, а также в глазах других людей, и тем самым хотя бы приблизиться к нормальной модели семьи. В качестве оправдания при этом использовался как тот факт, что союзы, подобные союзу незамужней дайаристки и женатого М., в послевоенном обществе были широко распространены («многие так живут и все хорошо»), так и то обстоятельство, что окружающие, в частности, квартирная хозяйка и ее сестра не только не осуждали свою постоялицу за, казалось бы, преступную связь, но и фактически «признали» ее нормативной: «Мои старушки называют в шутку его “зятем” даже. В конце концов я перестала даже стесняться — дело житейское»[4]. Разрешить проблему «безнравственности» их с М. романа также помогло его переосмысление в романтическом ключе[5]. Так, ради возможности быть с избранником дайаристка оказалась готова признать за его семьей ее официальный статус и уступить этой семье права на любые материальные

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 1 об., 39, 73. Записи от 03.07.1947; 11.01.1948; 28.11.1949.

[2] *Коллонтай А.М.* Указ. соч. С. 122.

[3] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 25, 156. Записи от 16.09.1947 и 24.07.1950.

[4] Там же. Л. 31 об., 38. Записи от 06.12.1947 и 02.01.1948.

[5] О преодолении границ и запретов в концепции романтической любви см.: *Малахаева С.К.* Указ. соч. С. 60, 61.

блага: «Пусть его семья себе живет как жила. Там его дом, хозяйство, корова — ну и пусть им будут деньги, а мне его сердце»[1].

Нельзя, однако, не заметить, что имморализм, в определенной степени свойственный и романтической любви, и «крылатой» концепции, так и не стал окончательной нормой для дайаристки. Об этом свидетельствуют те переживания, которые были связаны со страхом Т.Д. Рожковой перед угрозой огласки ее связи с М. Поэтому, рассматривая ее «философию» любви и счастья, следует помнить о безусловном влиянии на эту философию представлений, заложенных в родительской семье, отрефлексированного опыта уже пройденных отношений, а также доминантных общественных установок. Иначе говоря, «философия» любви и счастья Т.Д. Рожковой была изначально сложно структурирована. Она была бытийна и потому изменчива и изменчива, потому что бытийна, сообразуясь с самой жизнью, с ее конкретикой и течением. Именно поэтому впоследствии Т.Д. Рожкова относительно спокойно пережила постепенное угасание своей болезненной привязанности к М., буквально тут же выстроив на ее обломках новую модель счастья — счастья без любви или «одинокого счастья», основанного на «выстраданном годами лишений» «заслуженном эгоизме»[2].

«Ах, если б вернуть то время…»: между прошлым и будущим

Не будет преувеличением сказать, что наряду со счастьем одним из любимых «героев» Т.Д. Рожковой было время, размышления о котором стали стационарными для ее дневника. Примечательно при этом, что это были главным образом размышления о времени ушедшем, и касались они прежде всего «милого золотого детства»:

> «Вчера был Наточкин день рождень[я], … отпраздновал[и] день имяни[н] на славу. Но мне стало очень грустно. Невольно вспомни[ла] мои детские имяни[ны] дома — в тесном семейном кругу. Интересн[ые] подарки — бабушка, тетя Маня, молоды[е] папа и мама. Весь милый уют детства — детс[к]ие радости и сюрпризы. — Спасибо моим дорог[им] за счастливое детство!»[3]

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 31 об., 39. Записи от 06.12.1947 и 11.01.1948.

[2] Там же. Л. 71 об., 178 об. Записи от 23.11.1949; 17.10.1950.

[3] Там же. Л. 62. Запись от 15.10.1949.

Вспоминая о детстве как об утраченном рае, Т.Д. Рожкова, конечно, не была оригинальна[1]. Воспроизводя рамку и тональность, типичные для традиционного романтического нарратива, созданного еще литераторами XIX столетия, она вспоминала о детстве так же, как многие другие современники с опытом дореволюционной социализации[2]. Значительно интереснее то, что в романтическом же стиле, для которого характерно противопоставление мира идеального и мира реального и обозначенное в литературе как «двоемирие»[3], были выдержаны и авторские пассажи на тему «взрослой», хотя и молодой жизни 1930-х гг.:

> «И снова нахлынули дорогие сердцу образы и воспом[инани]я. Наши [у]ютные “вечера на хуторе” близ Чухлинки. С болтовней обо всем на свете. Мама греется у печки, папа ворчит за каки[е] то неполадки. Но вес[е]ло шипит картошка на сковор[о]де. “В приправу юмора немножко в противове[с] былой грозе”. Весь этот уют среди сердцу дорогих и близких лиц … незабываемая романтика юности! Какая-нибудь случайная строка, воспоминанье и вот снова нахлынул милый ушед[ш]ий, затонув[ши]й мир юности, детства когда с нами были те, кого уж больше нет»[4].

Но дело было, вероятно, не просто в романтизме. Идеализируя прошлое, Т.Д. Рожкова обнаруживает в своем дневнике следы рефлексирующей ностальгии, которую С. Бойм противопоставила ностальгии реставрирующей[5]. При этом рефлексирующая ностальгия Т.Д. Рожковой, как и «положено» рефлексирующей ностальгии вообще, не предполагала возвращения к прошлому. Дайаристка понимала, что это невозможно, дистанцируясь и от него, и от прошлой себя:

> «Смерть отняла у меня всех дороги[х] сердцу. Я живу сердцем в дорог[о]й “Стране воспоми[наний]”. Душа моя умерла вместе с ними»[6].

1 См.: *Coe R.N.* When the Grass Was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood. N.H. and L.: Yale University Press, 1984. P. 62–64, 75.

2 См.: *Сальникова А.А.* «Геена огненная»: детское восприятие раннего советского периода // Ab imperio. 2002. № 3. С. 337.

3 См., напр.: *Рудакова С.В.* К проблеме изучения романтизма // Вісник Дніпропетровського ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Сер. «Філологічні науки». 2013. № 2(6). С. 65–69.

4 Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 79 об. Запись от 06.12.1949.

5 См.: *Бойм С.* Будущее ностальгии. М.: НЛО, 2019.

6 Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 186. Запись от 26.11.1950.

Думается, что рассуждать о прагматических целях «визитов» Т.Д. Рожковой в «Страну воспоминаний» дальше вряд ли стоит, поскольку об их исцеляющем одинокие души значении («я снова побывала там, в “Стране воспоминаний”, и набралась новых душевных сил»[1]) хорошо известно[2]. Ностальгические мотивы дневника Т.Д. Рожковой актуализируют другой, как нам представляется, более важный вопрос — вопрос о том, где в ее сознании находилась «точка перехода», граница между счастливым и явно преображенным дайаристкой вчера и трудным, неуютным, даже бесприютным сегодня («Серенькое существова[ние], одиноче[ство], безденеж[ье], бесприютно[с]ть…»[3])? Текст дневника позволяет предположить, что разрыв между прошлым и настоящим в сознании Т.Д. Рожковой возник после ухода из жизни матери, после которого автор дневника «пересобирает» и упорядочивает свое прошлое. И то, что оказалось самым светлым и «нарядным» пятном этого прошлого, стало для дайаристки мотиватором в настоящем:

> «Сегодня годовщина маминой смерти. Исполнилось 12 лет уже как она умерла... И вот как в дни траура по героям — дают клятву во имя них — сделать еще больше успеха, в память их не падать духом, а добиться победы — так и я сегодня добилась “большой победы” … [Мои] лекци[и] не признали плохим[и] и эт[о] уже победа и [шаг?] вперед. Это ради мамы. Мама была бы рада за меня сегодн[я] и гордил[ась] бы мн[ой]…»[4]

Аналогичный подход к решению проблемы «связи времен» дневник Т.Д. Рожковой обнаруживает и после смерти отца, которая привела к оформлению новой границы между прошлым и настоящим в сознании дайаристки. Как и в случае с предыдущей «отсечкой»[5], Т.Д. Рожкова идеализировала новое безвозвратное прошлое, с одной стороны, и нашла в нем опору для настоящего — с другой:

> «Вдруг со дна отчаянья поднялся новый голос, словно кто-то мне вдруг подсказал: “Помни, что папа нытиков не любил

1 Там же. Л. 169 об. Запись от 03.09.1950.

2 См.: *Абрамов Р.Н.* Время и пространство ностальгии // Социологический журнал. 2012. № 4. С. 5–23; *Фенько А.Б.* Ностальгия // Человек. 1993. No 6. С. 38–53; *Sedikides C., Wildschut T., Baden D.* Nostalgia: Conceptual issues and exis-tential functions // Handbook of experimental existential psychology / ed. by J. Greenberg, S. Koole, T. Pyszczynski. N.Y.: The Guilford Press, 2004. P. 200–214; и др.

3 Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 7 об. Запись от 02.08.1947.

4 Там же. Л. 63 об. Запись от 23.10.1949.

5 Там же. Л. 31. Запись от 06.12.1947.

> и сам был всегда образцом мужеств[а], жизнен[ной] энерг[ии] и творческ[ой] иници[а]тивы”... Долой унынье — ради папы, который всегда был за твердость и целеустремл[енно]сть в жизни и давно был недоволен моей медлитель[ностью] — в достиженьи научных целей, к которы[м] у меня есть достаточно способностей. Во имя него я должна поднять и нести дальше упавшее знамя»[1].

Очевидно, таким образом, что те эмоции, которые приходили вместе с ностальгическими переживаниями, оказались для дайаристки эмоциями «периодизирующими». Положась на эти эмоции, Т.Д. Рожкова, однако, не просто разделила свое прошлое на три периода (детские годы; годы, проведенные рядом с родителями; годы, прошедшие между смертью матери и уходом отца). Она пошла значительно дальше, увязав с прошлым не только настоящее, но и свои мечты (которые, правда, были не столько ее мечтами, сколько отражением нормативной женственности):

> «Я сегодня в полудреме мечтала — как бы могла пойти наша жизнь по другой стрелке... Я представил[а] дачу в лесу под Москв[ой] — папа, я, Люда, Вася, мой ребенок. Лето, шумят сосны — покой, семья, радость и тепло. Папа возитс[я] с цвета[ми], мы счастливы с Васей — полная хоро[ш]ая жизн[ь]»[2]

Несбыточность, утопичность таких мечтаний, выраставших из картин давно утраченного призрачного прошлого, в данном случае вряд ли приведет нас к теории ретротопии З. Баумана[3] или банальному эскапизму. Ничего не построено, «ничего нет»[4] — вот тот результат, который породили бесконечные попытки укрыться в идеализированном прошлом. При этом то, что ничего не построено и не строится сейчас, что «ничего нет», объяснялось в дневнике довольно просто: «Судьба не посчиталась с этим, жестоко обманув меня», «все мои усил[и]я жиз[нь] (ил[и] злая Судьб[а]), одни[м] махом разбивал[и] уж не раз», «мы с пап[о]й разлучены злой судьбой», «опять судьба смеется» и т. д., и т. п.[5]

Идеализированное неповторимое прошлое, настоящее, в котором «ничего нет», и обращенное назад будущее — вот и все, что

[1] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 153 об. Запись от 19.07.1950.

[2] Там же. Л. 197 об. Запись от 31.12.1950.

[3] См.: *Бауман З.* Ретротопия. М.: ВЦИОМ, 2019.

[4] Дневник, 1947–1951 гг. // ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 154 об. Запись от 23.07.1950.

[5] Там же. Л. 6 об., 14 об., 58 об. Записи от 01.08.1947, 08.08.1947 и 07.10.1949.

было у дайаристки перед лицом «злой судьбы». Очевидно, что такой расклад означал отсутствие у автора дневника ясных представлений о своем месте в мире, и вряд ли стоит удивляться, что однажды она сама задокументировала это: «Я еще видела людей преж[ней] эпохи и выросла уже в новую эпоху — но в трудн[ые] годы ломк[и] и перестройки — новое поколен[ие] этого не пережил[о] и оно слишком плоскодонно и неглубоко — не знает ни бурь, ни порывов — ни трагедий творч[еской] натур[ы]»[1]. По мысли Т.Д. Рожковой, таким людям, как она, в настоящем была уготована только борьба, в которой они «погибают под ударами грубого практицизма». И потому ей надо было жить не здесь и сейчас, а либо «среди одаре[нных] мечт[ателей] XIX в[ека,] либо в светлом царстве будущ[его] коммунизма»[2]. Романтическое «двоемирие», складывавшееся из мифологизированного прошлого и мифологизированного будущего, таким образом, заслоняло собой настоящее или, как минимум, девальвировало его ценность.

Подводя итоги

Очевидно, что «Сибирские тетради» Т.Д. Рожковой можно было бы «расшивать» и далее, вычленив и рассмотрев как самостоятельные повествовательные единицы (мотивы) смерть, книги, природу и многое др. Это, наверное, могло бы приблизить нас к определению среднего числа мотивных единиц в ретроспективном источнике, но вряд ли позволило бы разобраться в его сути окончательно. Само стремление к такой окончательности означало бы неизбежное упрощение, оставив от дневника Т.Д. Рожковой лишь некие несущие конструкции. При их безусловной значимости дневник не сводим исключительно к ним. Будучи, как и любой другой подобный источник, незаконченным и отрывочным, дневник Т.Д. Рожковой показателен как текст, разворачивание и насыщенность которого лишь отчасти обеспечиваются за счет его мотивного богатства. Важно понимать, что дайаристка — бывшая слушательница «брюсовских» курсов, журналистка, архивист, краевед, лектор и, наконец, поэтесса, то есть человек, явно неравнодушный к тексту, письму и языку — рассматривала свой дневник как безусловно большее, нежели просто череду поденных записей, позволявших упорядочить события внешней и внутренней жизни. Он также был для нее средством реализации потребности в словесном творчестве и (пере)сборки

[1] Там же. Л. 155 об. Запись от 23.07.1950.

[2] Там же. Л. 144 об. Запись от 12.07.1950.

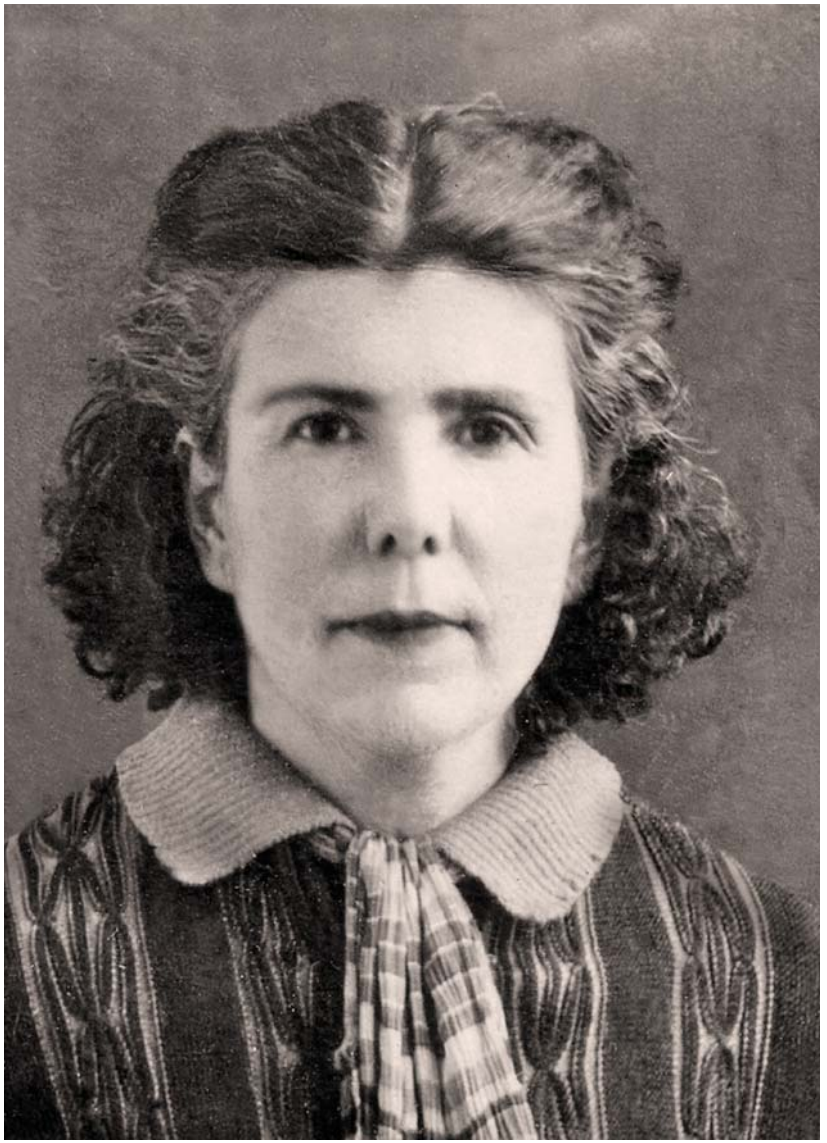


Фото 1. Татьяна Дорофеевна Рожкова. Тюмень, 1947 г.
(ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847 Оп.1. Д. 89. Л. 10)

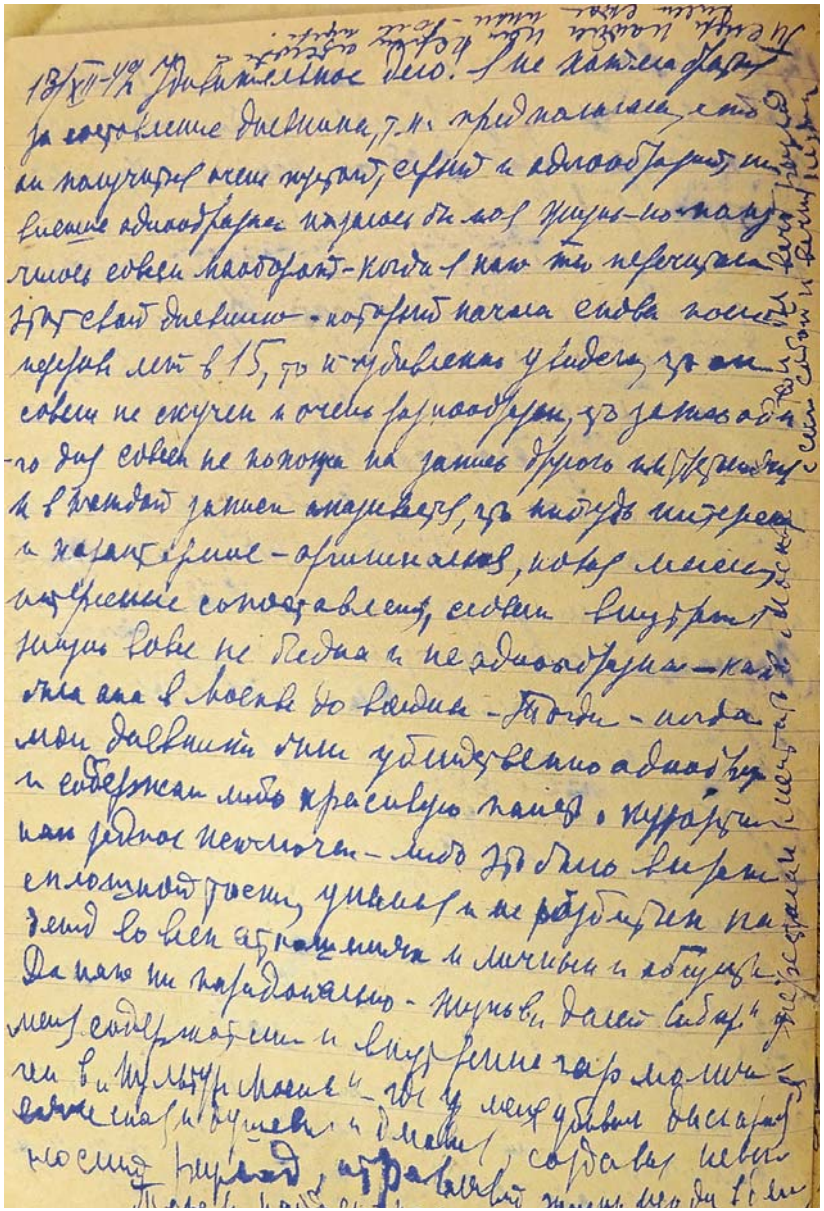


Фото 2. Страница дневника Т.Д. Рожковой.
Запись от 13 декабря 1949 г.
(ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 60. Л. 82 об.)

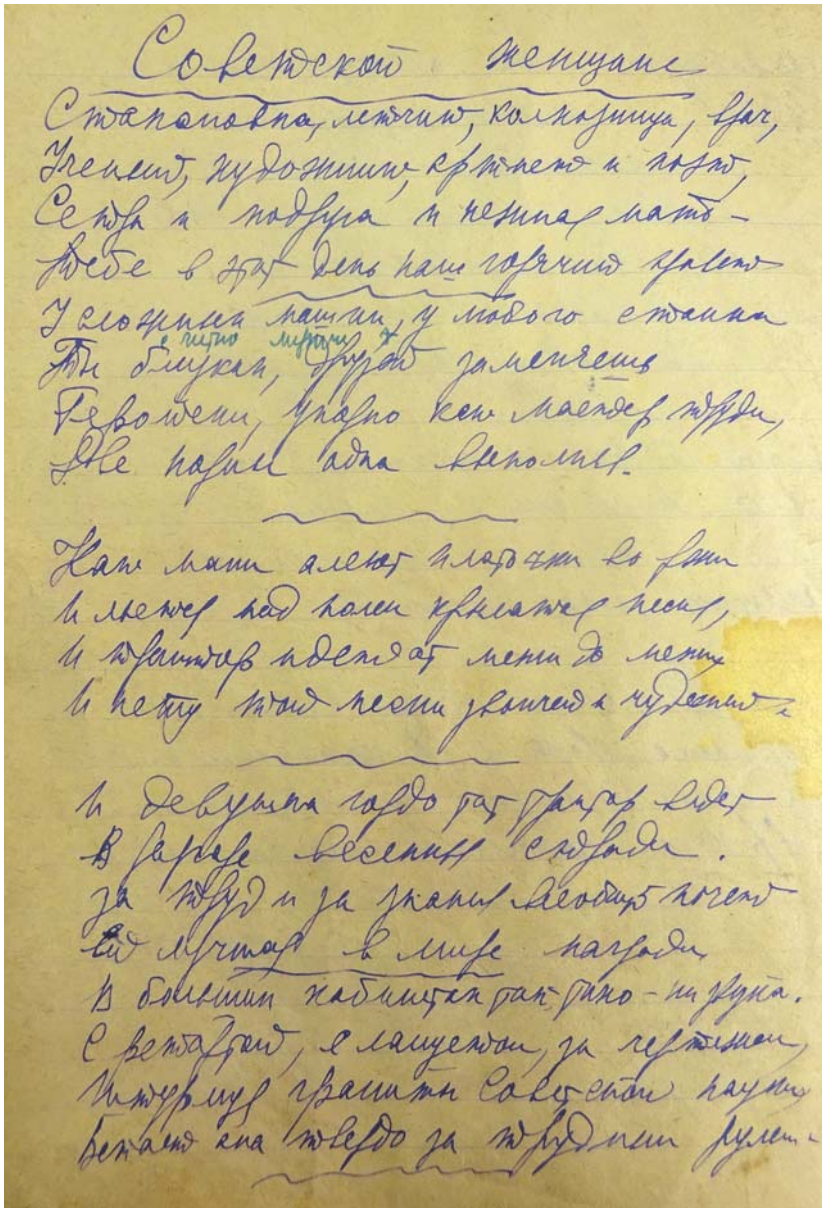


Фото 3. Стихи Т.Д. Рожковой «Советской женщине». 6 марта 1950 г.
(ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 56. Л. 11 об.)

Фото 4. Сотрудники Архивного отдела УВД по Тюменской области; Тюменского областного архива и его филиалов в Ишиме и Тобольске. Т.Д. Рожкова сидит в первом ряду. Тюмень, 1951 г.
(*ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 87. Л. 3)*

Фото 5. Семейная вечеринка архивистов в день Первого мая. Тюмень, 1950 г.
(ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 89. Л. 11)

Фото 6. Сестры Шестаковы с внучкой Наташей и Т.Д. Рожкова. Тюмень, 1951 г.
(ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 89. Л. 13)

Фото 7. Т.Д. Рожкова с кошкой Чернушкой и внучкой Шестаковых Наташей на крылечке возле дома. Тюмень, 1951 г.
(ГА в г. Тобольске. Ф. Р-1847. Оп. 1. Д. 89. Л. 16)

Вклейка 2, к главе III.4

Фото 1. Деревянная скульптурная композиция на блошином рынке.
Мюнхен, 13 октября 2018 г. Архив И.В. Нарского

Фото 2. Автобиографическое резное изображение раненого
Р.Ф. Клеменса в 1942 г.
Мюнхен, 16 октября, 2018 г. Архив К. Клеменса.

Фото 3. Фрагмент деревянной скульптурной композиции —
военный в советской зимней амуниции.
Мюнхен, 13 октября 2018 г. Архив И.В. Нарского

Вклейка 2, к главе III.4

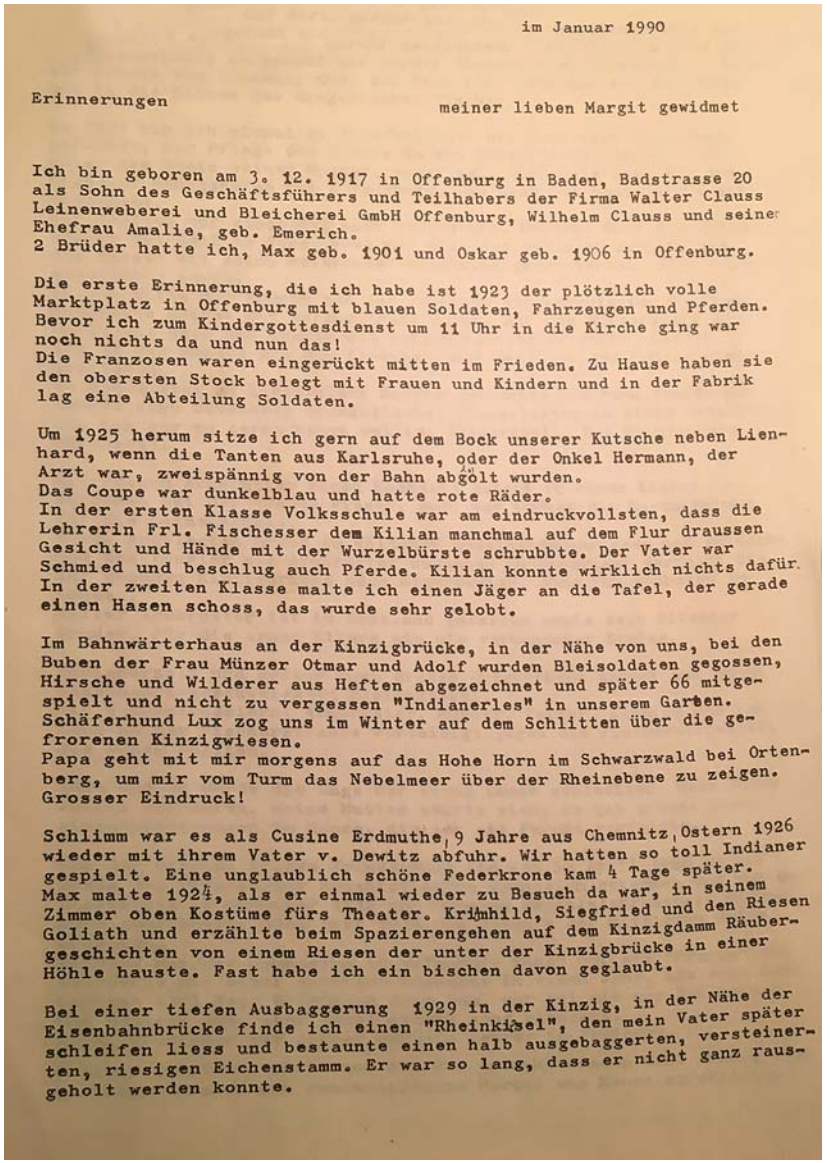
Фото 4. Акварель Р.Ф. Клеменса со сценой на Восточном фронте, январь–февраль 1942.
Мюнхен, 16 октября, 2018 г. Архив К. Клеменса.

Фото 5. Акварель Р.Ф. Клеменса со сценой на Западном фронте, февраль 1940.
Мюнхен, 16 октября, 2018 г. Архив К. Клеменса.

Фото 6. Акварель Р.Ф. Клеменса «Назад из отпуска!
Ночной марш 17–18-го сент[ября] 39 северо-восточнее Кутно».
Мюнхен, 16 октября, 2018 г. Архив К. Клеменса.

Фото 7. Акварель Р.Ф. Клеменса «Ночь перед Соколово, первая ночь на русском фронте, русский лыжник-разведчик, уничтоженный вечером, лежит перед постом». Франция, август 1942 г.
Мюнхен, 16 октября, 2018 г. Архив К. Клеменса.

Фото 8. Акварель Р.Ф. Клеменса «Начало января 1942. Россия, около Сычевки. Ночная атака русских из Тарптулино (?) 1–00. Наша оборона из Капустино».
Мюнхен, 16 октября, 2018 г. Архив К. Клеменса.



im Januar 1990

Erinnerungen

meiner lieben Margit gewidmet

Ich bin geboren am 3. 12. 1917 in Offenburg in Baden, Badstrasse 20 als Sohn des Geschäftsführers und Teilhabers der Firma Walter Clauss Leinenweberei und Bleicherei GmbH Offenburg, Wilhelm Clauss und seiner Ehefrau Amalie, geb. Emerich.
2 Brüder hatte ich, Max geb. 1901 und Oskar geb. 1906 in Offenburg.

Die erste Erinnerung, die ich habe ist 1923 der plötzlich volle Marktplatz in Offenburg mit blauen Soldaten, Fahrzeugen und Pferden. Bevor ich zum Kindergottesdienst um 11 Uhr in die Kirche ging war noch nichts da und nun das!
Die Franzosen waren eingerückt mitten im Frieden. Zu Hause haben sie den obersten Stock belegt mit Frauen und Kindern und in der Fabrik lag eine Abteilung Soldaten.

Um 1925 herum sitze ich gern auf dem Bock unserer Kutsche neben Lienhard, wenn die Tanten aus Karlsruhe, oder der Onkel Hermann, der Arzt war, zweispännig von der Bahn abgeholt wurden.
Das Coupe war dunkelblau und hatte rote Räder.
In der ersten Klasse Volksschule war am eindruckvollsten, dass die Lehrerin Frl. Fischesser dem Kilian manchmal auf dem Flur draussen Gesicht und Hände mit der Wurzelbürste schrubbte. Der Vater war Schmied und beschlug auch Pferde. Kilian konnte wirklich nichts dafür.
In der zweiten Klasse malte ich einen Jäger an die Tafel, der gerade einen Hasen schoss, das wurde sehr gelobt.

Im Bahnwärterhaus an der Kinzigbrücke, in der Nähe von uns, bei den Buben der Frau Münzer Otmar und Adolf wurden Bleisoldaten gegossen, Hirsche und Wilderer aus Heften abgezeichnet und später 66 mitgespielt und nicht zu vergessen "Indianerles" in unserem Garten.
Schäferhund Lux zog uns im Winter auf dem Schlitten über die gefrorenen Kinzigwiesen.
Papa geht mit mir morgens auf das Hohe Horn im Schwarzwald bei Ortenberg, um mir vom Turm das Nebelmeer über der Rheinebene zu zeigen.
Grosser Eindruck!

Schlimm war es als Cusine Erdmuthe, 9 Jahre aus Chemnitz, Ostern 1926 wieder mit ihrem Vater v. Dewitz abfuhr. Wir hatten so toll Indianer gespielt. Eine unglaublich schöne Federkrone kam 4 Tage später.
Max malte 1924, als er einmal wieder zu Besuch da war, in seinem Zimmer oben Kostüme fürs Theater. Krimhild, Siegfried und den Riesen Goliath und erzählte beim Spazierengehen auf dem Kinzigdamm Räubergeschichten von einem Riesen der unter der Kinzigbrücke in einer Höhle hauste. Fast habe ich ein bischen davon geglaubt.

Bei einer tiefen Ausbaggerung 1929 in der Kinzig, in der Nähe der Eisenbahnbrücke finde ich einen "Rheinkiesel", den mein Vater später schleifen liess und bestaunte einen halb ausgebaggerten, versteinerten, riesigen Eichenstamm. Er war so lang, dass er nicht ganz rausgeholt werden konnte.

Фото 9. Фрагмент первой страницы машинописных воспоминаний Р.Ф. Клеменса.
Мюнхен, январь 1990 г. Архив К. Клеменса.

Вклейка 2, к главе III.4

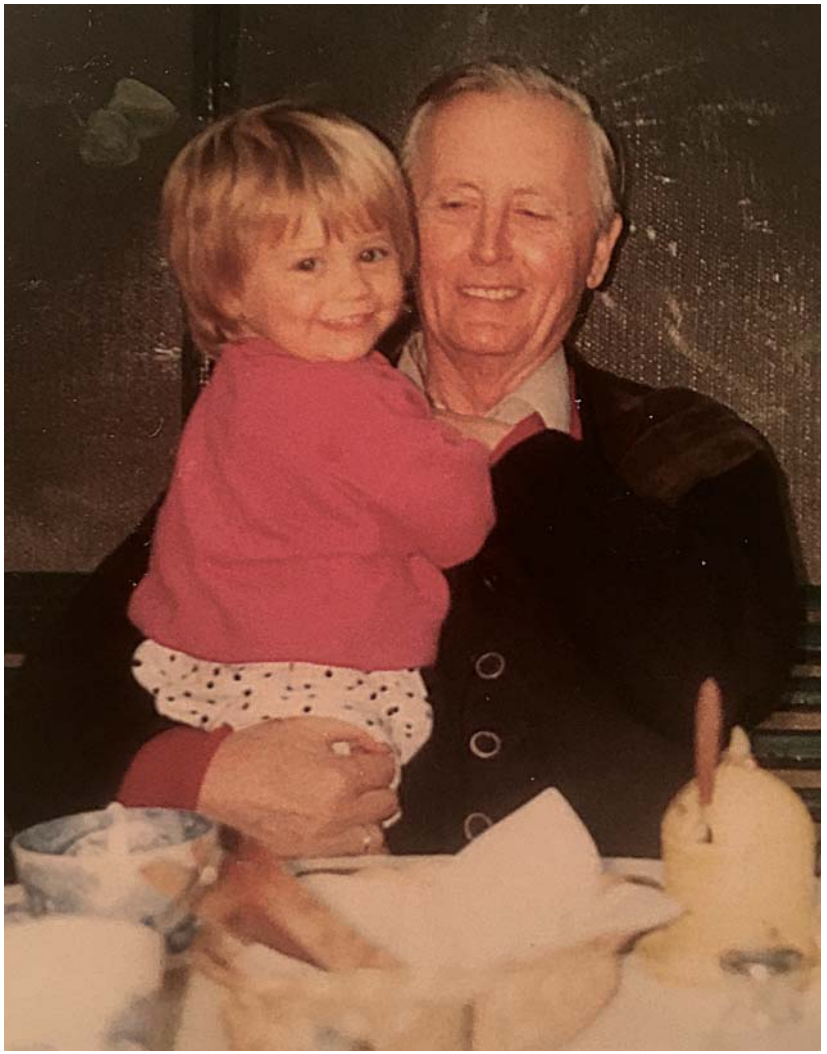


Фото 10. Р.Ф. Клеменс с внучкой.
Мюнхен, около 1990 г. Архив К. Клеменса.

образа самой себя. Поэтому дневник Т. Рожковой интересен не только тем, что за мотивы мы найдем в его тексте. Главная загадка — как они конфигурируются, выстраиваясь в единый комплекс, как в их ансамбле соотносятся эмоциональные начала, рациональные основания и творческие опыты, что меняет их соотношения, а с ними, вероятно, и смыслы дневника? Иначе говоря, для понимания дневникового текста недостаточно выяснить, о чем он, что автор фиксировал в нем прежде всего. Значительно важнее установить, почему он фиксировал именно то, что фиксировал, каким образам он это делал и по каким причинам он делал это именно так, а не иначе?

Глава III.4. Офицер вермахта в советской униформе: Полифония эго-документов из одного семейного архива

(И.В. Нарский)

С некоторых пор я стал заядлым посетителем блошиных рынков тех городов и стран, в которые меня забрасывала судьба историка — преподавателя и исследователя. Несколько лет назад возник (первоначально) индивидуальный исследовательский замысел о блошином рынке как месте альтернативного обращения «обычных», далеких от профессионального историографического цеха людей с прошлым через старые предметы и рассказы о них. Уже в процессе «полевой» работы над проектом я приобрел на мюнхенском блошином рынке странный предмет. Ниже изложены история создания и использования этого предмета его создателем и владельцем, а также перипетии находки и ее изучения.

В результате расследования истории старой вещи обнаружилось, что она входит в комплекс разножанровых эго-документов (мемуаров, дневников, писем, скульптуры, акварелей) об участии немецкого офицера в зимних кампаниях 1941/42 и 1942/43 гг. на территории СССР. В ходе работы с находкой в полный рост встал целый ряд актуальных вопросов, без которых обращение с нею как с историческим источником показалось невозможным. Как историку работать со столь разнородной группой эго-документов (включая интервью с членами семей)? О каких ракурсах и деталях одних и тех же событий рассказывают и молчат различные жанры личных свидетельств? Каковы жанровые преимущества и границы их «красноречия»? Насколько осознавал их создатель возможности различных видов эго-документов? Как он использовал их в устной коммуникации, кому демонстрировал, от кого прятал? Этим же вопросам посвящен предлагаемый микроисторический кейс, являющийся переработанным фрагментом будущей книги о блошиных рынках[1]. Для преимущественно гипотетических ответов на эти вопросы предстоит проделать

[1] Рабочее название рукописи: *Нарский И., Нарская Н.* Private History, или Путешествие на блошиный рынок (Записки дилетантов).

следующие шаги. Во-первых, рассказать об истории приобретения эго-свидетельства на блошином рынке и о знакомстве с его владельцами и продавцами. Во-вторых, предложить теоретическую рамку для исследования обнаруженной «россыпи» эго-документов — текстов и невербальных предметов. В-третьих, контекстуализировать обстоятельства, воплощенные в находке и обрамляющих ее артефактах — личных свидетельствах. В-четвертых, выявить практики обращения создателя этих эго-документов с ними как с местом памяти.

Странная находка

Тихим солнечным октябрьским утром 2018 г. я прибыл на мой любимый мюнхенский блошиный рынок. Припарковал велосипед у западного входа и начал обход рынка. Почти сразу мое внимание привлекло необычное изделие из дерева. На одном из столов-прилавков были разложены типичные «лишние» вещи, не используемые больше в домашнем хозяйстве и хранящиеся на чердаках, в кладовках или в подвалах: солнечные и мотоциклетные очки, дюжина вилок для пикника, электродрель, настенное зеркало в поврежденной резной рамке, белый пуловер, настольные часы в деревянном корпусе в стиле ар-деко и прочая мелочь. Перед прилавком из картонных ящиков торчали подушки и пледы с восточными узорами. За ним, на одежной стойке и внутри стоявшего за ней автофургона, висела пара дамских курток и пиджаков.

Я ни за что не запомнил бы нагромождение всех этих вещей, если бы они не были запечатлены на фотографии в моем телефоне. Я сделал ее в виде исключения: ни до, ни после я не просил у продавцов разрешения сфотографировать заинтересовавший меня товар, как это делают, например, китайские покупатели-посредники, чтобы послать фото заказчику и в телефонном разговоре спросить, интересуют ли его эти сервиз, картина или украшение. Но фотографировал я не перечисленные выше вещи. В глаза мне бросилась крашеная деревянная фигура, вернее — целая композиция.

По фанерной доске-основанию длиной до метра шагает бурая лошадь-тяжеловоз с черными гривой и хвостом и белыми нижними частями ног. Лошадь запряжена в крестьянские сани-розвальни, в которых, широко расставив ноги, стоит правящий лошадью военный в советской зимней амуниции — в подпоясанном черным ремнем с пряжкой тулупе защитного цвета с поднятым высоким воротом, в такого же цвета шапке-ушанке из белой овчины, в теплых коричневых валенках и варежках. В вытянутых руках возница держит веревочные вожжи (см. вклейку 2, к главе III.4, фото 1).

Уже само появление такого предмета с советским «ароматом» на мюнхенском рынке в конце второго десятилетия XXI в. не совсем обычно: все же на дворе не девяностые, и за прилавками стоят не «челноки» из бывшего СССР, торгующие «русскими сувенирами» — матрешками, военными шапками и офицерскими часами. А тут еще такая странная деталь: на отвороте ушанки — что такое? — не красная звезда, а черный орел вермахта! Да и заплечный ранец похож не на советский солдатский вещмешок, а скорее, на немецкий кожаный. Обращаюсь к хозяйке деревянной композиции, приветливой, миловидной блондинке средних лет: знает ли она историю этой вещи? Конечно, но муж знает больше. Это смастерил его отец. А можно сфотографировать? Пожалуйста!

Поблагодарив хозяйку, я отхожу, пообещав подойти позже. Меня удерживает от покупки несколько аргументов. Во-первых, цена, которую запросила продавщица, «кусалась». За такие деньги можно было бы купить золотое кольцо, а то и два, если повезет. Во-вторых, вещь крупногабаритная и хрупкая. Не то что вывезти ее в Россию, но даже «эвакуировать» с блошиного рынка на велосипеде без повреждений практически невозможно. Но вещь уникальная, второй такой не встретить. Отсюда моя просьба сделать фотографию.

Совершив первый круг по рынку, я встречаю добрую знакомую. Мы обмениваемся приветствиями и новостями. В неспешном разговоре я упоминаю деревянного воина в дровнях, увиденного пару часов назад неподалеку, метрах в ста от места, где мы беседуем. Я начинаю перечислять все «за» и «против» покупки, но, не завершив перечня, прерываю разговор и бросаюсь к западному входу на рынок. Если странный предмет еще не продан — я его куплю: второго такого шанса не будет, а покупка наверняка приведет меня к интересной истории.

Мне повезло: возница в дровнях с запряженным в них тяжеловозом на месте. Я соглашаюсь купить предмет, если вкупе с ним получу его историю. Хозяйка не только дает мне номер телефона, но и соглашается увезти массивную конструкцию домой, откуда я смогу забрать ее в удобное мне время — после встречи с ее мужем, который расскажет о происхождении этого предмета и о его авторе. Я расплачиваюсь за приобретение и прощаюсь, так толком и не разглядев покупку.

Новое знакомство, новые находки

Через три дня я направляюсь по предварительной телефонной договоренности на ужин в застроенный виллами тихий пригородный

район. Меня принимает в своем доме супружеская чета Клеменсов[1]. Дорогая, но не броская обстановка, немного изысканного антиквариата, лаконичная мебель в просторных комнатах, приглушенное звучание классики из колонок качественного музыкального центра. Кристоф владеет зубоврачебной практикой, Урсула ведет там же диетологическую консультацию.

За бокалом вина в честь знакомства хозяин начинает рассказывать об отце и его деревянном изделии. Инженер-текстильщик Рольф Хайнц Клеменс (1917–2004) воевал во время Второй мировой войны в Польше, Бельгии, Франции, России и Германии в составе кавалерийского подразделения. В России он провел две зимы «русской кампании» — 1941/1942 и 1942/1943 гг. Лошади спасли его во время отступления, о них он всегда говорил с большой любовью.

После войны он смастерил воина вермахта в русских дровнях и теплой советской униформе. Лошадь с возницей в течение десятилетий хранилась в детской комнате на шкафу. Детская комната ликвидирована, дети выросли. Создатель деревянной скульптуры в могиле. Деревянная композиция слишком громоздка и не имеет художественной ценности. Кроме того, немецкий солдат в тулупе и валенках — не единственная память об отце и его пребывании на Восточном фронте.

На столе, за которым мы сидим, оказываются другие свидетельства о войне, оставленные Клеменсом. Вот вырезанная из дерева фигура мужчины в зимней шапке и шинели, лежащего, опершись на локоть, в розвальнях под теплым пологом (фото 2). В отличие от детально, но несколько наивно, наподобие модели, выполненной группы из возницы с вермахтовской кокардой на ушанке и лошади с дровнями, эта вырезанная из цельного куска дерева фигура длиною сантиметров 25–30 выполнена очень искусно и лаконично. В ней скульптор запечатлел самого себя, отправленного с «русского фронта» с ранением на излечение в тыл (фото 3). А вот несколько акварелей. Одна из них вставлена в рамку: по бескрайней снежной равнине, под слепящим ледяным солнцем, навстречу зрителю передвигается обоз из двух дровней (фото 4). Первыми управляет идущий рядом возница в теплой униформе до пят, шапке-ушанке и валенках. Метрах в десяти за ним следуют вторые розвальни, в которых сидит другой возница. Солнце, стоящее у них за спиной, позволяет увидеть лишь черные силуэты лошадей и людей в зимнем мареве. Но и создающее миражи морозное сияние не оставляет сомнений: на акварели изображен тот самый мужчина с теми же дровнями и с той самой, точно так же шагающей лошадью, что я нашел на блошином рынке.

[1] Фамилии героев изменены.

Остальные акварели лежат в папке, поэтому можно прочитать надписи на обороте. Вот акварель в песочно-серых тонах без подписи (фото 5). На ней немецкий солдат в каске поднимает раненого или убитого товарища, безвольно повисшего на руках камрада. Лиц обоих мужчин не видно. Иконография акварели очень напоминает изображения фронтовых сцен Первой мировой войны в стиле Отто Дикса[1]. Остальные акварели выполнены в черно-красных тонах, передающих ночное время суток. Человеческие фигуры обозначены контурами, лиц также не видно. На одной из картин в ночи, скупо освещенной дальними взрывами, за границы изображения удаляется тяжелая пулеметная повозка, на которой прикорнули двое солдат вермахта в касках. За ними следует третий, также в каске. На обороте — надпись: «Назад из отпуска! Ночной марш 17–18-го сент[ября] 39 северо-восточнее Кутно[2]» (фото 6). На другой на фоне пожарища лежит изуродованный труп, ближе к зрителю, спиной к нему, из-за деревянного сруба выглядывает фигура с широко расставленными ногами в длинной зимней униформе. В правом нижнем углу — подпись и дата: P. Клеменс. 8.42. Но обороте записано карандашом: «Ночь перед Соколово, первая ночь на русском фронте, русский лыжник-разведчик, уничтоженный вечером, лежит перед постом» (фото 7). На третьей акварели зритель из-за спин пулеметного расчета видит охваченную пламенем деревню. Надпись гласит: «Начало января 1942. Россия, около Сычевки. Ночная атака русских из Тарптулино (?) 1-00. Наша оборона из Капустино» (фото 8).

Наконец, передо мной на стол выкладывается машинописный текст на двух десятках соединенных скрепкой листов (фото 9). Это воспоминания Рольфа Клеменса, преподнесенные в январе 1990 г. жене с посвящением «моей любимой Маргит». Какая удача! Радость находки несколько омрачает цензурная осторожность сына автора. Разрешив мне сфотографировать акварели, а затем и воспоминания отца, он после съемки первого листа берет рукопись в руки, внимательно листает и вновь кладет передо мной на стол сразу на четвертой странице. «Ну, это Вам не нужно снимать!» — говорит он.

[1] Отто Дикс (1891–1969) — немецкий художник, один из наиболее заметных представителей «новой вещественности» 1920-х — начала 1930-х гг. в Германии.

[2] Кутно — город в Центральной Польше. 17 сентября 1939 г. было подавлено сопротивление польской армии в районе Кутно — Лодзи, после чего до окончательной капитуляции Польши оставалось менее трех недель.

Чтобы не лишиться остального, я не смею настаивать на ценности целостного документа.

Но и вторую половину текста о войне мне не дано прочитать. «Не надо Вам это так подробно читать! — заверяет меня собеседник. — Это было нехорошо, что они там делали. Впрочем, что им оставалось?»[1] Послевоенная часть воспоминаний, к сожалению, также осталась для меня недоступной, поскольку была, по словам сына, посвящена приватным, семейным событиям.

Подходит время прощаться. В гостиную торжественно вносится моя покупка. Деревянная модель настолько велика, что с трудом входит даже в самую большую клетчатую сумку, с какими ездили наши «челноки» 1990-х гг. в Турцию и Польшу. Кристоф вызывается довезти меня с моей громоздкой ношей до дома. При расставании мы договариваемся, что я позвоню или напишу, как только у меня возникнут вопросы к тексту.

Придя домой, я осторожно распаковываю и водружаю свое «сокровище» на рабочий стол. Это просто огромная конструкция: длина доски-основания — 79,5 сантиметра, ширина — 22,5 сантиметра. В самой высокой точке — от подставки до макушки солдата, непропорционально маленького относительно лошади и дровней, — композиция достигает 29 сантиметров. Фигура лошади размером 32 сантиметра в длину, 27 сантиметров в высоту и 6 сантиметров в ширину впряжена в сани длиной 43 сантиметра и шириной 10,5 сантиметра.

Наконец-то у меня есть возможность не спеша разглядеть деревянную скульптуру-модель. С какой тщательностью она сработана! Часть сбруи сделана из кожи, часть — из тонко скрученного жгута. Доски днища саней скреплены гвоздиками, полозья соединены с оглоблями и кузовом узкими полосками лыка. Сани пережили тщательные ремонтные работы. Разорванные вожжи аккуратно соединены эластичной клеевой массой, высохшее лыко соединений подстраховано тонким, но прочным жгутом. Сколько же времени потребовалось на эту скрупулезную работу!? И зачем художнику и скульптору понадобилось изготовление гораздо менее выразительной модели, чем его акварели и скульптура раненого воина в дровнях? Посмотрим, не поможет ли нам ответить на этот вопрос машинописный текст воспоминаний, которые историки относят в разряд личных свидетельств. Что вообще может рассказать нам этот предмет?

[1] Интервью с семьей К., 14 октября 2018 г., 19:35–19:44 // Архив автора.

Прежде чем обратиться к воспоминаниям создателя деревянной композиции, не лишним будет ответить на ряд вопросов. Что имеется в виду, когда мы говорим, что вещи рассказывают нам свои истории? Что историки подразумевают под личными свидетельствами или эго-документами? Как менялось отношение в историческом цехе к такого рода текстам? Для каких надобностей они могут сослужить историку неоценимую службу?

Разговорчивые вещи

Конечно, старые вещи не являются самостоятельными рассказчиками. Во-первых, они молчат до тех пор, пока им не задают вопросов. А чтобы задать им вопросы, нужно обратить на них внимание. Например, вспомнив о каком-нибудь куда-то запропастившемся или давно утраченном предмете из интерьера ваших родителей, дедушек и бабушек. Или услышав вопрос от детей или внуков о какой-то примелькавшейся вам вещи из вашего же окружения. Или наткнувшись на странный предмет, как случилось со мной на мюнхенском блошином рынке.

Во-вторых, истории, которые якобы рассказывают нам предметы, создают их авторы и владельцы, продавцы и покупатели, оценщики и критики. Когда вы спрашиваете торговца на блошином рынке о происхождении и истории объекта, который намереваетесь приобрести, тот угодливо преподносит вам историю, которая покажет вожделенный предмет в самом выгодном свете и по возможности еще больше возбудит ваш аппетит. Возможно, эту историю рассказчик, будучи непрофессиональным продавцом, слышал от владельцев предмета — своих родителей или их родителей — и постарается воспроизвести ее как можно ближе к тому, что когда-то услышал. А если он эту историю подзабыл, можно ее и досочинить, и приукрасить. Если же вы имеете дело с профессиональным торговцем, то можете быть уверены, что он расскажет вам не больше, чем сам узнал пару дней назад от бывшего владельца или посредника-антиквара, коллекционера или аукциониста, или из ненадежных данных Интернета, или из запасников собственного опыта и воображения. Может быть, вещи в действительности не в состоянии нам рассказать больше, чем мы о них уже знаем из других, надежных или ненадежных источников?

Нет, это не так уже потому, что, в-третьих, вещи с блошиного рынка могут быть носителями вербального послания. Письма, подписанные открытки, девичьи альбомы со стихами и рисунками, дневники, воспоминания, заполненные фотоальбомы, фотографии

с надписями на оборотах, подарки с посвящениями содержат информацию, зачастую, казалось бы, заурядную и не оригинальную. Ведь их авторы — простые, ничем не примечательные люди. Но это только видимость. Личные свидетельства могут оказать неоценимую услугу тому, кто интересуется историей повседневности, атмосферой эпохи, опытом обращения «обычных» людей с прошлым.

В-четвертых, ответы, которые дают нам вещи, зависят от нашего взгляда на них и от наших вопросов к ним. И этот взгляд, и эти вопросы могут отличаться от намерений их заказчиков и создателей, от вопросов их бывших владельцев. Именно таким образом возникают реликвии из предметов, утративших прежнюю функциональность и потребительскую стоимость[1]. Именно поэтому книга или картина, прочитанная или увиденная нами в детстве или юности, вдруг, спустя годы и десятилетия, приносит нам весть, которую мы раньше проглядели — потому что мы сами изменились. Не только книга или произведение искусства, но любой предмет, оторвавшись от «производителя», начинает жить собственной жизнью: «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора»[2].

В-пятых, наконец, именно потому, что старые вещи были созданы не нами и не для нас, они могут приоткрывать нам неожиданные истории, заложенные в них их создателями и пользователями. В этом смысле они могут рассказать нам больше, чем мы ожидаем, они могут оказаться непокорными нашей воле, своенравными рассказчиками, они могут ввергнуть нас в изумление кукловода по поводу неожиданных возможностей управляемых ими марионеток: «В беседе с кукловодом выяснится, что марионетки не перестают его удивлять. Он заставляет марионетку делать вещи, которые невозможно свести к его собственным действиям и которые сам он делать не умеет — даже потенциально»[3].

[1] См.: *Годелье М.* Загадка дара. М.: Восточная литература, 2007; *Pomian K.* Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln. Berlin : Wagenbach, 1993.

[2] Обоснование этого утверждения в рамках структуралистской парадигмы содержится в известном тезисе Ролана Барта о смерти автора: *Барт Р.* Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, Универс, 1994. С. 391.

[3] *Латур Б.* Об интеробъективности // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 2. С. 93.

Эго-документ и историк

Самое время обратиться к вопросу об отношении историков к личным свидетельствам, или эго-документам[1]. В научный обиход континентальной Западной Европы термин «эго-документы» и связанные с ним методические размышления вошли относительно поздно, хотя важные, но почти не замеченные современниками предложения по использованию эго-документов (и сам термин) родились в Европе две трети века назад. В 1958 г. голландский историк Якоб Прессер ввел в научный оборот понятие «egodocumente», которым предложил обозначать такие тексты, в которых автор что-то повествует о своей личной жизни и мире собственных чувств. Десятилетием позже он расширил границы термина, сделав его собирательным для всех источников, в которых эго намеренно или не преднамеренно рассказывает о себе или, напротив, скрывает себя. Таким образом, в интерпретации Прессера понятие «эго-документы» объяло более широкую группу источников, чем личные документы. В нее вошли все материалы, в которых человек рассказывает о себе — все равно, делает ли он это добровольно или под давлением внешних обстоятельств.

Это было методически ценное предложение, поскольку оно, во-первых, позволило задавать вопросы о восприятии и поведении исторических акторов документам, которые ранее под таким углом зрения почти не рассматривались: актам административного производства, следственным документам, материалам судебных процессов. Во-вторых, более доступным для изучения становился мир «нормальных», или «маленьких» людей, не оставивших, как правило, личных письменных свидетельств собственноручного изготовления.

[1] Подробнее об истории вхождения эго-документов в исследовательский оборот наук об обществе и культуре см.: Авто-био-графии: к вопросу о методе: тетради по аналитической антропологии / отв. ред. В.А. Подороги. М.: Логос, 2001; История через личность: Историческая биография сегодня / под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2005; *Репина Л.П.* «Новая историческая наука» и социальная история. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЛКИ, 2009. С. 270–304; *Она же.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальная история и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. С. 287–324; *Gusdorf G.* Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie // Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Wege der Forschung / Niggl G. (Hg.) Darmtadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. Bd. 565. S. 121–147; *Losego S.V.* Überlegungen zur «Biographie» // BIOS. 2002. № 15. H. 1. S. 24–46; *Plato A. von.* Zeitzeugen und die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative Tradierung und kollektives Gedächtnis in der qualitativen Geschichtswissenschaft — ein Problemaufriss // BIOS. 2000. № 13. H. 1. S. 5–29; и др.

Размышления Прессера оказались, однако, преждевременными. Социальные и политические потрясения XX в. породили сомнения относительно свободы личности, ее способности «делать» историю и управлять собственной судьбой. В Западной Европе 1960–1970-х гг. переживала расцвет социальная история, которая рассматривала человека преимущественно как безымянного члена абстрактного коллектива. Вопросы о соотношении структуры и личности и о значении последней в историческом процессе были решены тогда социальной историей в пользу структуры. Действующий в истории человек стал вытесняться социальными процессами, превратившись в зависимую от них марионетку, деградировав до уровня насекомого, тщетно пытающегося вырваться из «паутины» структур.

Современное, широкое понимание эго-документов, созвучное предложениям Прессера 1950–1960-х гг., распространилось лишь в 1980–1990-е гг. Неожиданные исторические перемены планетарного масштаба актуализировали в гуманитарных и социальных науках вопрос о взаимодействии личности и общества, индивида и структуры. В историографию стали возвращаться человек и микроструктуры повседневности, восприятия и опыта. Стали пробивать себе дорогу новые историографические направления и подходы — история повседневности, опыта и гендера, микроистория, новая персональная, интеллектуальная, культурная история — в центре внимания которых оказались восприятие и поведение исторических акторов, в том числе ранее безымянных и бессловесных. Одной из важнейших задач все эти направления выдвинули расширение источниковой базы, прежнее состояние которой грозило сохранить право на историю за сильными мира сего. Это создало благоприятную конъюнктуру для усиления интереса историков к личным свидетельствам.

Смена настроений среди историков по поводу потенциала личных свидетельств как исторического источника наиболее наглядно проявилась в отношении к биографии. Усиление интереса к ней в историческом цехе в последние десятилетия сопровождается переосмыслением ее возможностей и отказом от ряда клише классической исторической биографии XIX в., в первую очередь — от представления об объективности, якобы естественной хронологической последовательности, единстве и целостности человеческой жизни, рассказываемой для поучения современников и потомков. Современные исследователи исходят из тезиса, что правдивость (авто)биографии иллюзорна, поскольку биографический и автобиографический тексты неизбежно основаны на отборе, искажениях, манипуляциях и умолчаниях. Убеждение в том, что биографическое описание отмечено

печатью непосредственности и «подлинности» с легкой руки П. Бурдье оценивается ныне как «биографическая иллюзия»[1].

Научная рефлексия по поводу происхождения (авто)биографии способствовала, в свою очередь, переосмыслению этого феномена и его функций. Биография и автобиография рассматриваются ныне как форма размышлений человека о чужом и собственном опыте, как способ осмысления времени, пространства и бренности существования, как сеть метафор, упорядочиваемых и наделяемых смыслом в момент написания и чтения.

Работа с личными свидетельствами может привести не только к уточняющим результатам, но и к большим самостоятельным решениям. Так, Альф Людтке, один из основателей истории повседневности в Германии, смог прийти к убедительному выводу, что немецкие рабочие искренне поддерживали нацистский режим, поскольку тот вызвался уравнять все виды труда в качестве почетного занятия на благо народа. Ставка гитлеровской пропаганды на высококачественный немецкий труд обеспечила национал-социалистическому движению и государству пусть временную, но активную и массовую поддержку[2].

Возможно, работе с личными источниками действительно удастся заполнить пустоты, зияющие между личностью и обществом в традиционно контрастном представлении об этих феноменах. Опора на личные свидетельства, наверное, лучше других источников в состоянии продемонстрировать, как нормативные системы — государство, право, идеологии, всегда отмеченные неизбежными противоречиями, функционируют на микроуровне человеческих решений и поступков.

Война инженера текстильной промышленности

На первой странице воспоминаний, написанных Рольфом Хайнцем Клеменсом в начале 1990 г. и посвященных любимой супруге, мы узнаем, что он родился 3 декабря 1917 г. в семье управляющего и совладельца фабрики по производству и отбеливанию льняных тканей в Оффенбурге. Оффенбург — город в Шварцвальде, в двадцати километрах от Страсбурга, столицы Эльзаса, отошедшего к Франции по итогам Первой мировой войны. Первые воспоминания мемуариста связаны с эхом мировой войны, со сложностями урегулирования вопроса о репарациях с проигравшей войну Германией

[1] См.: *Бурдьё П.* Биографическая иллюзия // Inter. 2002. № 1. С. 75–81.

[2] См.: *Людтке А.* История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: РОССПЭН, 2010. С. 131–181.

и с Рурским кризисом 1923 г., задевшим юго-западную оконечность Веймарской республики:

> «Мое первое воспоминание — внезапно заполненная солдатами в синей униформе, танками и лошадьми рыночная площадь Оффенбурга в 1923 году. До того, как я пошел в 11 часов на детскую церковную службу, там было пусто, и вдруг такое!
>
> Французы вторглись, невзирая на мирное время. Они заняли у нас верхний этаж дома, предназначенный для женщин и детей, а на фабрике разместили подразделение солдат»[1].

Воспоминания Клеменса о детстве обрываются на 12-летнем возрасте, поскольку его сын не захотел, чтобы я прочел и скопировал следующие две страницы. На четвертой странице ему уже 18 лет, он прошел через национал-социалистическую обработку в гитлерюгенде и запечатлен в униформе «солдата труда», украшенной нарукавной повязкой со свастикой на Цеппелинвизе в Нюрнберге. Страница начинается следующими абзацами:

> «Включающийся и выключающийся в такт маршевому шагу зеленый свет на высокой стене ворот синхронизирует марш десяти тысяч трудовиков. Земля дрожит под ногами. Это должно рождать чувство солидарности: “Где мы маршируем, нас ничто не остановит”.
>
> На огромном поле Цеппелинвизе блестящие пластинки указывали каждому его место. Все команды, например, “Лопаты вверх!”, звучали и выполнялись одновременно. Это выглядело как молния над всем полем. Речь Гитлера была почти не слышна и не имела значения»[2].

Рассказ повествует о параде во время партийного съезда Национал-социалистической партии Германии 16 сентября 1936 г., в котором приняли участие тысячи членов «Армии труда». Родившаяся из опыта трудовой повинности времен Первой мировой войны и борьбы с безработицей 1920-х — начала 1930-х гг. «Добровольная армия труда» превратилась после прихода Гитлера к власти в государственно-партийную организацию. Она объединила воспитание в национал-социалистическом духе с идеей «почетного труда на благо немецкого народа», с реализацией больших строительных объектов, с помощью в уборке урожая, с проектом перераспределения людских ресурсов из промышленно-капиталистического сектора в романтизированный «труд на земле». С апреля

[1] *Clemens R.H.* Erinnerungen (копия) // Архив автора. S. 1.

[2] Ibid. S. 4.

1934 г. каждый выпускник школы обоего пола должен был в течение «обязательного года» заниматься физическим трудом. «Армия труда» создавала мост между обязательным образованием и воинской обязанностью[1].

Мне неизвестно, симпатизировал ли юный Клеменс национал-социализму. Не только потому, что я не читал двух страниц воспоминаний о времени между 1929 и 1936 гг., но и поскольку ветеран Второй мировой войны в 72-летнем возрасте описывал этот период с высоты возраста и опыта с долей иронии в отношении синхронной маршировки и «малозначительной» речи Гитлера. Но очевидно, что успехи режима в первые годы его существования впечатляли мемуариста, поскольку и в родной дом вернулось довоенное благополучие. Впервые с 1906 г. были покрашены здания фабрики и виллы, закуплены новые ткацкие станки, заведен персональный автомобиль[2].

С октября 1936 г. Клеменс отслужил два года в пулеметной роте и был уволен в запас в унтер-офицерском звании. Его воспоминания о последнем годе накануне Второй мировой войны окрашены в ностальгические тона. Он тепло вспоминает о прекрасном путешествии с родителями по Италии, о поездке с ними через всю Германию с юго-запада на северо-восток в тогда немецкий Зорау (ныне польский город Жары) — «Мекку всех ткачей, прядильщиков и отбеливателей льна»[3], где ему удалось отучиться в текстильном техникуме лишь летний семестр 1939 г. В воспоминания о предвоенной поре то и дело вторгается горечь военного и послевоенного опыта: Клеменс вспоминает о посещении родственников, кое-кто из которых затем погиб на фронте или потерял имущество в советском оккупационном секторе, умер в депортации на востоке или на западе после бегства от «Советов», от лишений и испытаний.

Потом началась война, которая выделена в воспоминаниях подзаголовком и занимает более половины доступного мне текста. 26 августа 1939 г. Клеменс был призван из запаса в армию и участвовал в польской кампании в сентябре 1939 г. возчиком конной пулеметной повозки. Здесь его ближайшим сослуживцем стал унтер-офицер Гюнтер Ладохля[4], с которым его связала дружба на всю жизнь.

[1] Подробнее см.: *Benz W.* Vom Freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1968. H. 4. S. 317–346: Электронный ресурс. URL: https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1968_4_1_benz.pdf (дата обращения: 13.06.2021).

[2] *Clemens R.H.* Erinnerungen. S. 4.

[3] Ibid. S. 6.

[4] Фамилия изменена.

Война в Польше описана Клеменсом полной тягот и опасностей. Ускоренные марш-броски по Польше с питанием на ходу, с короткими привалами и ночевками в сараях, с видом первых убитых товарищей представлены как испытания, к которым многие его сослуживцы не были готовы. Он был приписан к ополчению, в котором преобладали ветераны Первой мировой войны. Кто-то маршировал в носках, потому что сапоги стерли ноги, кто-то остался без зубов, потому что не успел забрать у стоматолога зубной протез, кто-то с трудом шел из-за серебряного протеза коленной чашечки. Во время перестрелок везло тем боевым товарищам, кто получил шлемы времен Первой мировой войны — тяжелые, но более надежные. Клеменс участвовал в решающих боях под Кутно, под впечатлением которых возникла одна из акварелей, сохранившихся в семейном архиве[1].

После польской кампании он служил в Германии, во Франции и в Бельгии, пока в конце 1941 г. не был отправлен на Восточный фронт. Война на Западном фронте вспоминается мемуаристом как «необременительное время», когда он вновь мог взяться за кисть и когда были созданы пейзажи, которые он упоминает в своем тексте. Его продвижение по службе было успешным. В звании фельдфебеля (1940 г.) и лейтенанта (1941 г.) он служил возчиком в пулеметном обозе.

В войне на Восточном фронте, на который он был отправлен зимой 1941/1942 г. в той же должности, Клеменс набирается совершенно нового опыта, в формировании которого «русский мороз» становится одним из главных факторов:

> «Поезд идет через Берлин, Позен,[2] Эйдкау[3] (первый снег), Витебск, в Смоленске — двухдневная остановка. Но рассказы пассажиров соседнего санитарного поезда (теплушки) о 30-градусном холоде, об обморожениях и неудержимом напоре русских побуждают к действию. В моей команде был портной, он за два дня шьет из спальных мешков и одеял, которые принесли нам в вагоны во время остановок в Берлине и Позене, высокие чехлы для кожаных сапог моих людей. Позже они помогли выдержать два первых критических марш-броска при 40 градусах мороза по Цельсию, затем они получили валенки. Отстали лишь два человека с обмороженными пальцами ног. Меня спасли вырезанные из войлока тапочки и резиновые калоши на палаточных завязках поверх кожаных сапог. Они прослужили всю зиму»[1].

[1] *Clemens R.H.* Erinnerungen. S. 6–8.

[2] Имеется в виду Познань.

[3] Эйдкау — так в тексте. Эйдткунен (Eydtkuhnen), с 1938 по 1945 г. Эйдткау (Eydtkau) — населенный пункт в Восточной Пруссии, ныне — Чернышевское, поселок в Нестеровском районе Калининградской области на границе с Литвой.

С 15 января до 6 апреля 1942 г., до сквозного ранения в колено и отправки на излечение в Германию, Клеменс участвовал в тринадцати наступательных и оборонительных боях, за что был награжден двумя железными крестами. Отправка на излечение увековечена в деревянной скульптуре воина, лежащего, опершись на локоть, в крестьянских дровнях. Время с ноября 1942 до января 1943 г. он вновь теперь уже в должности старшего лейтенанта провел на Восточном фронте, в районе Жиздры под Калугой, после чего был эвакуирован и госпитализирован в университетской клинике Гейдельберга со злокачественным заболеванием крови. Его воспоминания заканчиваются возвращением в строй под Берлином, где он вновь встречается со старым фронтовым товарищем Ладохлей.

О войне в России он пишет на последней странице воспоминаний о «русском» фронте: «Я никогда не испытал эту страну иначе как в холоде и необозримых снежных равнинах под ледяным небом»[2].

Во время моей встречи с сыном мемуариста тот сообщил мне, что отец был страстным любителем лошадей и до конца своих дней считал, что на войне они спасли его. На один из моих дополнительных вопросов насчет того, как закончилась война лично для его отца, через несколько дней после нашей встречи Кристоф ответил письмом:

> «История отступления закончилась так. Мой отец, после того как он в звании капитана без потерь довел свою роту до Шлезвиг-Гольштейна, пришел на один крестьянский двор и оставил там крестьянину лошадь и седло, сбрую и т. д. с просьбой заботиться о лошади и сохранить для него прочие вещи. Затем он сдался в плен англичанам.
>
> Спустя годы он поехал в Шлезвиг-Гольдштейн и действительно получил обратно свои вещи, за исключением лошади. Поэтому у нас по сей день есть немецкое военное седло, которое проделало долгий путь в Россию и обратно. Кстати, мой отец пользовался седлом еще долгие годы, пока не отказался от верховой езды»[3].

[1] *Clemens R.H.* Erinnerungen. S. 11.

[2] Ibid. S. 13.

[3] Письмо К.К. от 23.10.2018 // Архив автора.

Война после войны

Отгремела война, были залечены раны и болезни, в прошлом остался короткий, шестинедельный плен. Клеменс получил высшее образование, стал успешным текстильным инженером, создал семью, родил детей. По делам службы он несколько раз ездил в Москву на большие выставки текстильной продукции, общался с русскими, которые теперь уже не казались ему смертельными врагами.

На цветном фото я вижу улыбающегося ухоженного мужчину лет 70 за праздничным чаепитием (фото 10). У него тонкие, «арийские», согласно советскому киноканону, черты лица. Он сидит за столом в баварской куртке с костяными пуговицами и с двухлетней внучкой на руках. О чем он думает? Судя по свидетельству сына и предметам, изготовленным Клеменсом, в 1945 г. война для него не закончилась. За воскресным столом, когда собиралась вся семья, он еженедельно заводил разговор о прошлой войне. Ругал американцев, которые изменили ход войны и «загребли победу чужими руками». Презрительно отзывался о румынах и «итальяшках» как «никудышных вояках». С уважением говорил о русских как о самых храбрых солдатах, которых, впрочем, не любил (что не мешало ему быть страстным почитателем русской классической литературы). Превозносил профессионализм и человеческие качества некоторых своих командиров и фронтовую дружбу. В какой-то момент, когда дети подросли и устали от этих разговоров, все более неуместных в контексте новой культурной памяти немцев 1980–1990-х гг., он замолчал.

Тогда-то он и написал воспоминания для своей жены. В них есть экскурсы в будущее, придающие этим мемуарам статус памяти о памяти. Это рассказы о том, как он помог в 1980-е гг. бельгийскому историку, занимавшемуся перезахоронением останков немецких солдат и офицеров, своей акварелью тех времен и мест; что вспоминал позднее со старым фронтовым другом Ладохлей. Интересно, что Клеменс избегал коммуникации с другими ветеранами войны. Он упоминает в тексте свои записи за 1941–1945 гг. в блокноте в коричневом кожаном переплете. Они хранятся в архиве сына его старшей дочери на севере Германии. Надеюсь, когда-нибудь мне разрешат почитать и эти заметки.

Одним из способов работы Клеменса над прошлым стали изготовленные им скульптуры. Изображение воина, лежащего, опершись на локоть правой руки, в крестьянских дровнях под пологом, автобиографично. Здесь он запечатлел себя после ранения в колено

6 апреля 1942 г. Он вырезал из дерева целый рождественский вертеп — святое семейство в яслях с животными и пастухами. И среди всех этих новозаветных персонажей Клеменс, к недоумению детей, каждый раз помещал к рождеству, в самую холодную пору, и раненого офицера вермахта в русских санях.

Воин в зимнем обмундировании, правящий лошадью, стоя в розвальнях, — работа, по уровню художественности значительно уступающая предыдущей, но потребовавшая от автора значительно большего терпения, скрупулезности, времени и труда. В отличие от акварелей военных лет, на которых мы видим человеческие фигуры на фоне военного зарева или слепящего солнца, но не можем различить ни одного лица, ветеран войны тщательно проработал лицо возницы. У него нет портретного сходства с автором. Может быть, Клеменс портретировал Ладохлю или кого-то из своих сослуживцев, не вернувшихся с Восточного фронта?

Во всяком случае, не приходится сомневаться, что работа по созданию модели лошади, запряженной в дровни и управляемой немецким возницей, имела для Клеменса большое значение. Он вложил в нее много сил и времени. Но закончив, убрал на высокий шкаф в детской комнате — наверное, чтобы дети не разорили и посторонние не увидели. Папка с акварелями также была детям недоступна и всегда находилась под замком. Бывший офицер вермахта сохранял свое прошлое для себя: другим, полагал он, оно не интересно и не нужно. Может быть, он был прав.

Во всяком случае, его модель возчика с Восточного фронта оказалась на блошином рынке среди вещей, от которых владельцы хотели избавиться. Но там она, по счастливому совпадению, нашла заинтересованного покупателя. Любопытно, что бы сказал господин Клеменс, если бы узнал, что его работа попадет в руки «русского» и отправится в страну, которая долгие годы неотступно преследовала его память? В страну, которую он навсегда запомнил «в холоде и необозримых снежных равнинах под ледяным небом». Его сын, во всяком случае, считает, что отец был бы доволен и благодарен за такой поворот в его истории обращения к войне.

***

Люди и вещи находятся в сложных и напряженных, но равноправных отношениях. По убеждению французского социолога и философа науки Бруно Латура, «объекты — это не средства, а скорее посредники… Они не передают покорно нашу силу — во всяком

случае, не больше, чем мы покорно выполняем их указания»[1]. С осознанием этого равноправного диалога связан «онтологический», или «материальный поворот» (одним из идеологов которого и выступил Б. Латур) в науках об обществе и культуре, отражающий стремление ученых преодолеть характерное для модерной науки и культуры господство языка и противопоставление объекта и субъекта, натуры и культуры, тела и разума[2].

Работа историка с предметом как историческим источником и исследовательским объектом, требующим специальной теоретической «оснастки», одновременно облегчается и усложняется, если этот предмет относится к комплексу разнотипных свидетельств. С одной стороны, разножанровые свидетельства можно подвергнуть «перекрестному допросу» и тем самым перепроверить информацию, транслируемую ими. С другой стороны, однако, при этом выясняется, что среди них нет ни одного надежного свидетеля.

Конечно, случаи, в которых исследователь имеет дело с различными типами эго-документов одного автора, встречаются нечасто. Подобно тому, как неграмотный свидетель не оставляет после себя (добровольных) письменных свидетельств за отсутствием необходимых навыков, автор эго-документов может выбирать арсенал способов увековечивания своего опыта лишь из тех, которыми владеет. Случай Клеменса интересен тем, что, будучи дипломированным художником, он оставил, наряду с текстами, двух- и трехмерные изображения. То, что в описании своего опыта войны мемуарист экспериментировал со всеми доступными ему формами, свидетельствует, скорее всего, о необыкновенной важности этого опыта для него.

Насколько Клеменс осознавал жанровые возможности для фиксации и трансляции собственного опыта, однозначно сказать невозможно. Но степень цензурной фильтрации пережитого тем или иным типом описания он, скорее всего, понимал. Так, детям адресовались лишь устные рассказы, ограниченные временем воскресной обеденной трапезы и потому наверняка ритуализированные, краткие и назидательные, без лишних подробностей. Супруге можно было доверить больше — не случайно многие страницы адресованных ей письменных воспоминаний Клеменса его сын счел неуместным показывать мне, лицу постороннему. Акварели с изображением ужасов войны и, возможно, поэтому анонимизированные, без человеческих лиц, находились под замком и для детей, и для гостей. Зато скульптуры, более статичные и более «молчаливые», оказались принадлежностью детской комнаты и рождественского «вертепа».

Таким образом, человеческое обращение с вещами, включая разговоры или молчание о них, предательски красноречиво. Взаимодействие людей и вещей способно рассказать о людях, об их буднях и праздниках, о публичном и интимном, о надеждах и страхах, о радостях и печалях больше, чем может представить себе самый словоохотливый рассказчик. В этом контексте метафора говорящей или молчащей вещи перестает быть литературным приемом и становится самостоятельной исследовательской проблемой. Превратить предмет в эго-документ — непростая, но многообещающая задача историка.

[1] *Латур Б.* Указ. соч. С. 96.

[2] О состоянии «онтологического поворота» в социологии и антропологии см.: *Артюшина А.В., Баранов Д.А., Вахштайн В.С., Вдовченков Е.В., Ерофеева М.А., Константинова М.В., Соколовский С.В., Уварова Т.Б., Утехин И.В., Хаховская Л.Н., Шнирельман В.А.* Незамеченные революции // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 7–92; *Вахштайн В.С.* Три «поворота к материальному» // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 22–37; *Дескола Ф.* По ту сторону природы и культуры. М.: НЛО, 2012; *Пирс С.* Новый взгляд на старые вещи // Museum. 1999. № 4. С. 12–17; Российская антропология и «онтологический поворот» / под ред. С.В. Соколовского. М.: ИЭА РАН, 2017; *Соколовский С.В.* К самим вещам? (Об онтологическом повороте в социальных и гуманитарных дисциплинах) // Этнометодология. Вып. 21. 2016. С. 10–35; Социология вещей: сб. статей / под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006.

Глава III.5. Исследовательский потенциал curriculum vitae (резюме) в изучении карьерного пути[1]

(Е.Ю. Рождественская)

В этом тексте мы фокусируемся на таком варианте биографических практик, который построен на уже ставшим привычным элементе профессиональной жизни, а именно резюме или curriculum vitae (CV). Это биографические данные, более широко — эго-документы, но их применение обусловлено институциональными контекстами. Спрос на формы предъявления, структуру и даже визуализацию можно рассматривать как отражение моделей социально-профессионального мира, требований подотчетности со стороны управленческих структур.

Представление себя другим через резюме

Теоретически мы бы связали контекст этой биографической практики с работами Ирвинга Гофмана и его идеями представления себя и управления впечатлениями[2]. Поиски эффективности этого управления подводят к интерактивному характеру производства резюме. CV составляются и воспринимаются/читаются в определенных институциональных контекстах, отсылают к другим перекрестным контекстам и не могут быть поняты вне этих контекстов. Другими словами, резюме, как и любой другой административный документ, никогда не бывает герметичным и исчерпывающим: оно всегда открыто. Здесь может быть полезен анализ исполнения, по Гоффману. Здесь Гоффман выделяет восемь элементов этого процесса, в разной степени соотносимых с оценкой резюме. Прежде всего, Гоффман отмечает веру в ту роль, которую играет человек,

[1] Данный текст представляет собой переработанный вариант публикации: *Рождественская Е.Ю.* Карьерные траектории бизнес-элиты: объективное и субъективное измерения // Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты / отв. ред.: В.В. Семенова, М.Ф. Черныш, П.Е. Сушко. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. С. 143–163.

[2] См.: *Гофман И.* Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.

в то время как профессионалы могут относиться к таким биографическим практикам, как представление резюме, как к институциональной игре или ритуалу, ведь для продвижения по службе или пребывания в должности важно быть искренним исполнителем. Еще одна особенность, которую выделяет Гоффман, — это передний план исполнения, в нашем случае последовательность и текстуальное и визуальное оформление биографической траектории, что подразумевает отбор презентируемых позиций. Далее Гоффман обращается к театральному воплощению или «драматическому осознанию»: резюме нагружено знаками, которые выделяют и подкрепляют факты, которые в противном случае могли бы остаться неочевидными или неясными. Затем Гоффман исследует аспект «идеализации», то есть способ и степень, в которой исполнитель «будет стремиться включить и продемонстрировать официально признанные ценности общества». Правильно составляя или даже подправляя резюме, индивид демонстрирует готовность потратить время и силы на особый способ самопрезентации, который синхронизирован с ценностями профессионального сообщества. Следующий элемент процесса исполнения, «поддержание экспрессивного контроля», по Гоффману, отражает то, что самопрезентация не должна допускать нежелательных вторжений в сцену текущей презентации из других сфер жизни. В случае с резюме одним из возможных примеров этого было бы разделение приватного и публичного или их верная пропорция, сводящая краткое частное к семейному статусу и наличию пристойных хобби. Далее Гоффман тематизирует ложные представления как продукт исполнительского поведения, связанного со стыдом, виной или страхом. Отбор событий для резюме безусловно пройдет мотивационные фильтры, которые послужат управляемой активности по построению предъявляемой идентичности. Могут ли CV быть ложными и даже мистифицирующими, как далее разбирает Гоффман, и за счет каких действий? Возможно, факт неотбора в резюме каких-либо событий, имевших место в реальности, может создавать ложные представления о биографанте. С последним элементом панорамы исполнения, по Гоффману, «действительность и уловки», мы возвращаемся к сути самопрезентации через резюме/CV. Социальные акторы, профессионалы, должны производить впечатление «настоящих профессионалов» или «настоящих представителей деловой элиты». Итак, задача, которая стоит перед профессионалом при написании резюме, состоит в том, чтобы представить профессиональное *Я* не просто в «реальных» накапливаемых достижениях, но и показать посредством

демонстрации этих достижений, что он является полноценным членом профессионального сообщества.

Структура CV как эго-документа

CV как источник данных структурирован трояко: это сведения о карьерных траекториях, профессиональной мобильности и картографирование внутриотраслевых и межотраслевых связей социального актора. Фоновая информация — возраст, пол, отчасти этничность, география, иногда семейный/партнерский статус, а также время, закладываемое в сменяемые позиции.

В отношении карьерных траекторий CV дает возможность оценить время, затрачиваемое на прохождение ступеней карьеры от низших позиций к высшим в сочетании, например, с поколенческими характеристиками, гендерными, внутри отрасли или при смене отрасли. CV отражает различные институциональные рамки, в которых развиваются карьеры, и дает возможность отслеживать различные формы влияния сети, например, через параллельные к занятости формы дополнительного образования. В некоторых случаях CV полезен для идентификации членства в сообществах. Другой фактор — профессиональная мобильность — как в ее географических, так и организационных измерениях. Профессиональная мобильность — динамичная конфигурация индивидуального и коллективного человеческого капитала. Анализ CV открывает возможности для отслеживания профессиональной мобильности[1], продуктивности, отраженной в CV[2].

Кроме того, CV или резюме социального актора — это ресурс для сопоставления отдельных профессиональных траекторий. При этом, отдельные профессиональные траектории развертываются как постоянно меняющиеся социальные конфигурации на базе различных социальных, профессиональных и человеческих капиталов, встроенных в социальные и профессиональные сети. Поэтому CV можно рассматривать как отчет о процессах накопления капитала. Эти процессы являются индивидуальными и групповыми, а CV содержат следы как относительно индивидуализированного накопления человеческого капитала, так и относительно группового накопления социального капитала.

[1] См.: *Gaughan M., Robin S.* National science training policy and early scientific careers in France and the United States // Research Policy. 2004. Vol. 33. № 4. P. 569–581.

[2] См.: *Dietz J., Bozeman B.* Academic careers, patents and productivity: industry experience as scientific and technical human capital // Research Policy. 2005. Vol. 34. № 3. P. 349–367.

Контекст перемен в регуляции карьеры

Изменения на западных рынках труда с восьмидесятых годов простимулировали трудовые биографии, существенно отличающиеся от стабильных карьер[1] середины прошлого века. Очевидно, эффекты политики дерегулирования[2], политики вовлечения женщин на рынок труда, обусловили формирование «модели взрослого работника»[3]. Эта модель стала не только мужской, и не только связанной с последовательностью жизни в три этапа: образование, оплачиваемая работа и пенсия. Сегодня эти этапы имеют различную продолжительность для разных людей, могут частично или полностью перекрываться и могут происходить при нескольких переходах из одной ситуации в другую[4]. Следовательно, можно утверждать, что такая фрагментация и дестандартизация социально-профессиональных траекторий стимулирует индивидуальное участие или меру вовлеченности индивидов в построение собственных траекторий, путем выбора типа образования и наслоения образовательных навыков, смены работы и ее стиля, конфронтации с влиянием институциональных и структурных факторов на отдельную траекторию.

Основные элементы перспективы жизненного пути и событийность

«Ключевыми строительными элементами парадигмы жизненного цикла (или пути) являются события, объединенные в истории или траектории, которые затем сравниваются между людьми или группами, отмечая различия во времени, продолжительности и темпах изменений»[5].

[1] Карьера понимается автором как последовательность профессиональных ролей, статусов и видов деятельности в жизни человека.

[2] См.: *Jessop B.* The Future of the capitalist state. Cambridge: Polity, 2002.

[3] *Annesley C.* Lisbon and social Europe: Towards a European «adult worker model» welfare system // Journal of European Social Policy. 2007. Vol. 17. № 3. P. 195–205; *Lewis J.* The decline of the male breadwinner model: Implications for work and care. Social Politics // Social Politics: International Studies in Gender, State & Society. 2001. Vol. 8. № 52–70.

[4] См.: *Klammer U.* The life course research perspective on individual working lives: Findings from the European Foundation research // NET.Doc. 2009. № 50. P. 51–69: Электронный ресурс. URL: http://www.cereq.fr/index.php/publications/Sen-sitising-life-course-research-Exploring-Amartya-Sen-s-capability-concept-in-comparative-research-on-individual-working-lives KLAMMER, 2009 (дата обращения: 10.09.2021).

[5] *Giele J., Elder G.* Life course research. Development of a field // Methods of life course research. Qualitative and quantitative approaches / Giele J., Glen H. Elder (eds.) Thousand Oaks, CA: Sage. 1998. P. 5–27.

Какие же эмпирические индикаторы событийности можно использовать в соответствии с указанными принципами? Траектория, переход и поворотный момент.

Идея *траектории или пути* относится к последовательности ситуаций, которые происходят в течение всей жизни. Как указывает Дж. Биннер, «каждый шаг по [путям] обусловлен шагами, предпринятыми ранее, личными, финансовыми, социальными и культурными ресурсами, к которым имеет доступ развивающийся индивид, и социальными и институциональными контекстами, сквозь которые движется индивид»[1]. Понятие *перехода* относится к изменениям в состоянии, которые происходят в короткие промежутки времени на протяжении всей биографической траектории. Между двумя точками совершенного перехода — продолжительность затраченного времени.

Далее, *поворотный момент* в концепции жизненного пути «включает в себя существенное изменение в направлении жизни, субъективной или объективной»[2]. Не все переходы предполагают наличие переломного момента. В этом контексте решающее значение имеет адаптация к жизненным событиям, поэтому одно и то же событие или переход, сопровождаемое различными адаптациями, может привести к различным траекториям в дальнейшем. Поворотные моменты также отражают «эффективную работу активного актора в подготовке и реагировании на новые возможности»[3].

Очевидно, что перспектива жизненного пути особенно интересна в последовательности событий, которые составляют биографическую траекторию. В. Хайнц подчеркивал важность анализа траекторий, фокусируясь на анализе карьеры[4]. Здесь речь идет о способности индивидов преобразовывать свои ресурсы в возможности. Аналитический подход, основанный на возможностях, привлекает три ключевых понятия: ресурсы, возможности и модели реализации. *Ресурсы* отсылают к набору различных, в том числе социальных капиталов, которыми обладает индивид. *Возможности* отражают реальный репертуар вариантов, которые индивид перебирает, реализуя активный залог своей деятельности. *Модели реализации* фиксируются на практике как эффективно осуществленные шаги по построению карьеры. В этом подходе подчеркивается агентность индивидов, обладающих рефлексивностью как способностью к пересмотру, калькуляции вариантов, интерпретации прошлых шагов в реализации траектории. Так, Диевальд и Майер полагают, что социология жизненного цикла перешла от «структуры без агентности (agency)» к современному понятию «агентность внутри структуры», предлагая «дополнить информацию, собранную с помощью опросов, информацией о социальных контекстах, измеряемых независимо от респондентов»[1]. Очевидно, баланс активного залога деятельности субъекта (agency) и структуры реконструируем на пересечении биографической информации о траектории, дающей интроспективный план, и плотным количественным описанием контекста действия.

Драматургия презентируемой в CV траектории, о которой мы в опоре на Гоффмана говорили выше, наполнена переходами и поворотными моментами, которые обычно тематизируются в истории жизни или биографии. Нелинейная графика траектории, описываемая социальным актором в биографии, содержит тупики, развилки, перекрестки, пустоты как фигуры умолчания, бессубъектность и возвращение активного залога действия вновь (agency). Важно, что события, которые объективно со стороны внешнего наблюдателя квалифицируются как поворотные моменты, субъективно выстраиваются именно как таковые. Как напоминают Диевальд и Майер, традиция анализа жизненного пути в социологии рассматривала траектории, главным образом, как результат институциональных и структурных аспектов, в то время как именно социальная активность и способность к выбору индивида (agency) являются ключевыми элементами в построении траектории и изменения ее направления.

Субъективные аспекты динамики статусной идентичности

Субъективные аспекты *идентичности,* особенно трудно доступных социальных групп таких, как элиты, представляют собой определенный вызов. Речь идет о динамике различных аспектов идентичности, среди которых социальная, статусная и нарративная идентичности, пересекающиеся друг с другом. Исследования

[1] *Bynner J.* Rethinking the youth phase of the life-course: The case for emerging adulthood // Journal of Youth Studies. 2005. Vol. 8. № 4. P. 379.

[2] *Elder G.H., Johnson M.K., Crosnoe R.* The emergence and development of the life course theory // Handbook of the life course / ed. by J.T. Mortimer, M.J. Shanahan. N.Y.: Springer, 2004. P. 8.

[3] *Bynner J.* Rethinking the youth phase of the life-course: The case for emerging adulthood? // Journal of Youth Studies. 2005. Vol. 8. № 4. P. 379.

[4] См.: *Heinz R.* From work trajectories to negotiated careers: The contingent work life course // Handbook of the life course / ed. by Jeylan T. Mortimer, Michael J. Shanahan. N.Y.: Springer, 2006. P. 185–204.

[1] *Diewald M., Mayer K.* The sociology of the life course and life span psychology. DIW Discussion paper 772. Berlin: German Institute for Economic Research, 2008. P. 17.

социальной идентичности давно установили фундаментальную мотивацию индивидов чувствовать значимую связь и принадлежность к ценным для себя группам[1]. Статусная идентичность выстраивается вследствие восходящей динамики статусных позиций и стоящих за ними событий жизненного пути, но также вследствие субъективно означенного пути восхождения социального актора как представителя группы элиты. Субъективное отношение к социальной траектории составляет нарративную идентичность. Социальные акторы развивают чувство преемственности в социальных ситуациях, их меняющих, и во времени, обращаясь к жизненным историям или рассказам о себе. Повествование как основа для идентичности позволяет развивать целеполагание, выделяя темы для объединения различных аспектов жизни. Таким образом, нарративная идентичность помогает индивидам интегрировать пережитой опыт в образ настоящего и будущего.

Статусная идентичность включает в себя такие аспекты нарратива, которые имеют особое отношение к их жизненной перспективе. Такие повествования часто включают интерпретации основных жизненных изменений и пережитого опыта, которые можно реконструировать, подчеркивая их положительные для восхождения результаты (так называемые легитимирующие последовательности событий). Посредством нарративной идентичности социально-экономические обстоятельства и ресурсы, которыми обладают индивиды, когда они мобильно перемещаются по различным этапам жизни, становятся неотъемлемо связанными с их чувством идентичности и осмыслением своего меняющегося положения в социально-экономической иерархии.

Исследования также установили, что статусная идентичность является особой социальной идентичностью, которая определяет социальные миры людей, хотя иногда она менее заметна, чем другие основные социальные идентичности, такие как этничность, возраст или гендер[2]. Акцент на субъективном опыте динамического понимания индивидом своей собственной статусной идентичности привлекает внимание к способам, которыми изменчивый социально-

[1] *Tajfel H., Turner J.C.* An integrative theory of intergroup conflict // The Social Psychology of Intergroup Relations / ed. by W.G. Austin, S. Worchel. Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979. P. 74–89.

[2] *Bianchi E.C., Vohs K.D.* Social class and social worlds: income predicts the frequency and nature of social contact // Social Psychological and Personality Science. 2016. № 7. P. 479–486; *Thomas V., Azmitia M.* Does class matter? The centrality and meaning of social class identity in emerging adulthood // Identity. 2014. Vol. 14. № 3. P. 195–213.

экономический контекст постоянно переопределяет социальную идентичность человека. Кроме того, когда социальные акторы вовлекаются в социальную мобильность и переходят в новый социально-классовый контекст, например, из среднего класса в субэлиты, возможные риски — в обесценивании пути восхождения, элиминировании внеэлитных периодов идентичности. Ниже, в следующем разделе мы попытаемся сравнить два типа эго-документов через общий сюжет социальной мобильности — через нарратив и через статусные пассажи официального резюме (CV).

Кейс профессиональной мобильности в нарративе и резюме

Кейс построен на сочетании данных из биографического интервью и серии последовательных резюме одного и того же биографанта, размещенных в интернете. Цель совмещения — сравнить нарративную идентичность как субъективное измерение образовательно-карьерной траектории и динамику статусной идентичности на основе институционально сформированной траектории важнейших событий в CV.

Биографант — мужчина 1976 года рождения, генеральный директор крупной бизнес-корпорации, женат, дети. Из интервью[1] с ним:

> «Переломных моментов было несколько точно. Это переход из ... Службы в Министерство ..., когда мне было предложено создать и возглавить департамент по развитию ... и ответить на вопросы, что же в России с конкуренцией и что нужно делать, чтобы конкуренция в экономике усилилась. Мне опыт работы в ... службе помог понимать, как устроены отдельные товарные рынки, как они функционируют и какие зависимости там существуют. И этот багаж мы — кстати, с командой из ... службы, эти ребята ушли со мной — реализовывали эту программу. Меня пригласили в … — еще один переломный момент — на тему ... Мы создали так называемый региональный … стандарт, который сформировал на основе успешного опыта российских регионов. Усилив конкуренцию фактически между ними, создав тренд за внимание резидента.
>
> Логичным продолжением этого проекта стало предложение на третьем году моей работы в … о создании российского агентства… Было предложено … [политику] поддержать эту инициативу, он о ней даже заявил на … форуме, но в силу политических обстоятельств оно не было реализовано. На основе

[1] В нарративе элиминированы все отсылки к конкретным контекстам в целях анонимизации.

созданного стандарта реализовывал проект «Национальная … инициатива». Много чего говорилось, но мы смогли сделать то, что было реально на тот момент. И когда я понял, что энергия, которую я трачу и моя команда на все эти преобразования, превышает эффект, который мы получаем, причем чем дальше, тем больше нужно было усилий и меньше эффект, — я внутренне для себя принял решение, что я не готов работать в этой сфере. Я со спокойным сердцем ушел и сейчас реализую мою мечту к образованию среды уже на конкретном предприятии, которое оказалось в сложной ситуации, и уже второй год бьемся, чтобы его вытащить из кризисного положения».

Итак, субъективно значимые переломные моменты, выделенные респондентом:

— предложение создать и возглавить департамент (внешнее предложение и реализованная задача),

— предложение создать и внедрить региональный стандарт (внешнее приглашение и реализованная задача),

— предложение создать российское агентство (не реализованное из-за внешних обстоятельств предложение),

— реализация проекта Национальная инициатива… в развитие созданного ранее стандарта (частично реализованная задача),

— решение уйти с госслужбы в бизнес (внутреннее собственное решение и частично реализованная задача).

Динамика переходов отражает последовательную смену внешне инициированных переломных моментов, маркированных семантически «мне было предложено», «мне опыт работы помог понимать», «меня пригласили», «стало предложение о создании» с промежуточным «мы создали», на радикальную смену субъектного залога или agency с рефлексией последствий и перспектив — «я понял», «я внутренне для себя принял решение», «я со спокойным сердцем ушел и реализую мою мечту», «бьемся».

А теперь мы представим четыре варианта резюме респондента из открытых источников, которые тем не менее также подлежат анонимизации ввиду приватного характера полученного биографического профессионального нарратива. В сети можно обнаружить несколько вариантов резюме развивающейся карьеры. Рассмотрим их содержание как последовательность меняющихся позиций по образовательной и профессиональной траекториям. Гипотетически эти меняющиеся / переписываемые позиции могут быть проинтерпретированы в ключе функциональности упоминаемых позиций карьеры для предъявляемого в публичности статуса респондента.

CV № 1: период 1976–2001 гг. Родился в 1976 г. в крупном городе. Окончил среднюю школу в городке N N-ской обл. В 1994 г. поступил в N-скую академию государственной службы, факультет «Государственное и муниципальное управление». 1997–1999 гг. — один из создателей и председатель Профсоюзной организации N-ской академии. 1998 г. — член предвыборных штабов кандидатов в депутаты (одна из партий). 1998 г. — стажировка в Министерстве… Российской Федерации. 1999 г. — с отличием окончил N-скую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», специализация «Административный менеджмент». 1999 г. — поступил на заочное отделение аспирантуры. С 1999 г. — член одной из партий. С 1999 г. — помощник депутата Государственной Думы, партийного деятеля. 1999 г. — руководитель территориального штаба кандидата в губернаторы. 2000 г. — член Экспертной группы по реформированию партии. С 2001 г. — по настоящее время — заместитель Директора в одном из Фондов. С 2001 г. — настоящее время — заместитель председателя в одном из отделений партии.

Переходные моменты CV № 1: образовательный путь (завершенные среднее образование, высшее образование), профсоюзный активист в учебной институции, опыт участия в предвыборном штабе партии, членство в партии, помощник депутата, руководитель предвыборного штаба кандидата в губернаторы, зампредседателя одного из отделений партии. Ключевой момент — опыт и социальный капитал связей в роли помощника депутата. Траектория партийной карьеры.

CV № 2: период 1976–2008 гг. Родился в 1976 г. в крупном городе. В 1999 г. окончил с отличием N-скую академию государственной службы (специальность «Государственное и муниципальное управление»), в 2003 г. — аспирантуру. С 1999 г. — член одной из партий. В 1999 г. работал помощником депутата, руководил территориальным штабом кандидата в губернаторы. В 1999–2000 гг. работал помощником депутата. С 2000 по 2004 гг. — замдиректора Фонда. В апреле 2004 г. назначен заместителем начальника управления… службы, с 2006 г. — начальник управления… службы по одной из программ. В 2008 г. назначен руководителем департамента министерства по направлению…

Переходные моменты CV № 2: образовательный путь (высшее образование, появляется этап аспирантуры без защиты), членство в партии, помощник депутата, руководитель предвыборного штаба кандидата в губернаторы, позиция заместителя директора партийного фонда, переход на госслужбу начальником управления, переход в министерство руководителем департамента. Ключевой момент — опыт и социальный капитал связей в роли помощника

депутата. Конвертация партийной карьеры в карьеру госчиновника / руководителя.

CV № 3: период 1976–2014 гг. В 1999 г. с отличием окончил N-скую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». 1998–1999 гг. — предпринимательская деятельность (производство продуктов питания). 1999–2000 гг. — помощник депутата. 2000–2004 гг. — заместитель директора Фонда. 2004–2008 гг. — заместитель начальника, затем начальник Управления по…, член Комитета по стратегии… 2008–2011 гг. — Директор Департамента… в Министерстве РФ. 2011–2014 гг. — Директор по развитию… Агентства…

Переходные моменты CV № 3: образовательный путь (высшее образование, этап аспирантуры без защиты исчезает), опыт раннего предпринимательства (ранее в других резюме не упоминался), исчезает партийная траектория, помощник депутата, остается позиция заместителя директора партийного фонда, исчезает опыт руководства предвыборным штабом кандидата в губернаторы, госслужба начальником управления, переход в министерство руководителем департамента. Ключевой момент — опыт и социальный капитал связей в роли помощника депутата. Конвертация предпринимательского опыта при совмещении партийной позиции без предыстории с конвертацией в карьеру госчиновника/руководителя.

CV № 4: период 1976–2017 гг. 1994–1999 гг. — с отличием окончил N-скую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1999–2000 гг. работал в канцелярии Губернатора помощником депутата государственной думы. 2000–2004 гг. — заместитель директора Фонда одной из партий. 2004–2008 гг. — начальник отдела… управления по… контролю, затем начальник управления контроля госслужбы России. 2008–2011 гг. — директор Департамента… в Министерстве… РФ. 2011–2014 гг. — руководитель Департамента…, затем директор… Агентства… 2014–2016 гг. — генеральный директор… бизнес-корпорации. В 2017 г. назначен заместителем, а затем генеральным директором… бизнес-корпорации.

Переходные моменты CV № 4: образовательный путь (высшее образование), исчезает опыт раннего предпринимательства, исчезает партийная траектория, остается ключевой момент предыдущих резюме — помощник депутата (но в контексте канцелярии Губернатора), остается позиция заместителя директора партийного фонда, исчезает опыт руководства предвыборным штабом кандидата в губернаторы, остается госслужба начальником управления, руководителем департамента в министерство. Ключевой момент — опыт и социальный капитал связей в роли помощника депутата — смещен. Конвертация карьеры госчиновника / руководителя в карьеру CEO в бизнес-корпорации.

Таким образом, контраст биографического нарратива о переломных моментах карьеры и четырех вариантах поступательно развивающегося резюме заключается, прежде всего, в том, что нарратив описывает субъективно важные, но также публично предъявляемые поворотные моменты карьеры с учетом контроля за публичным имиджем статусного CEO[1]. При этом четыре варианта резюме, казалось бы, равномерно охватывают институциональные вехи карьеры, включая образовательную траекторию и историю занятости. Но, как обнаружил анализ нескольких резюме, отдельные пункты институциональной биографии респондента утрачивали или же, напротив, приобретали свою значимость в официально предъявляемой истории. Образование утрачивает свое среднее измерение и фазу аспирантуры, коль скоро она не завершена защитой; партийная траектория с активностью внутри партии уходит со временем на задний план; появляется и исчезает позиция, связанная с ранним опытом предпринимательства; выкристаллизовывается основная предъявляемая траектория руководящих позиций на госслужбе и переход в сферу бизнеса на руководящий пост.

Очевидно, общая траектория спрямляет свою линию, освобождаясь от второстепенных позиций на последних вариантах резюме. При этом ни в биографическом нарративе, ни в последних вариантах резюме не упоминается важнейший переломный момент, который позволил молодому активному человеку, только выпустившемуся из вуза, войти в то социально пространство, старт в котором стал трамплином / акселератором карьеры в целом. Имеется ввиду роль помощника депутата, одного, второго, последний из них руководил той госслужбой (мы анонимизировали данные резюме), в которую устраивается работать наш респондент. Возможно, это — сюжет истории восхождения, который можно было бы отнести к разряду «правил социальной игры», знание о которых необходимо для успеха, но акцент на которых разрушает логику предъявляемого успеха социального актора, который обязан упомянуть об этапах роста. Но присвоенный в конце пути статус — субъектная заслуга, а не случайность или совокупность обстоятельств.

[1] CEO (англ., Chief Executive Officer) — главный исполнительный директор, «первое лицо» компании, ТОП-менеджер, главный администратор или иной руководитель, ответственный за управление всей организацией.

Заключение

По отношению к контрастно представленным эго-материалам интервью и нескольким резюме мыслимы три установочные позиции в перспективе интерпретации. Первая установка проявлена самим биографантом, социальным актором, субъективно описывающим переломные моменты своей карьеры и, тем самым, обнаруживающим предструктурированность своего социального мира реализуемой карьеры. Реконструкция нарративной идентичности актора, ответственной за предструктурацию, тесно связана с той актуальной статусной позицией, которую автор занимает на момент интервьюирования — он CEO, генеральный директор бизнес-корпорации. Отрывок интервью раскрывает с субъективной точки зрения процесс восходящей карьеры, меняющей вектор с госслужбы на карьеру в бизнесе, причем семантически бессубъектность и субординация социального актора («меня пригласили, мне предложили…») при известном диапазоне самостоятельных действий и полномочий радикально сменяется присваиваемой субъектностью («я понял…, я решил… и реализую мечту…») в позиции руководителя бизнес-корпорации. Динамика его статусной идентичности — от старта получающего высшее образование и, тем самым, частично определяющего себя через этот выбор как представителя среднего класса к статусным пассажам или поворотным моментам, ведущим к статусной идентичности представителя управленческой элиты.

Означает ли, что эта заданная субъектностью статусного рассказчика внутренняя картина переломных моментов в карьере не проблематична для ее понимания социальным исследователем? Привлечем мнение Ю. Хабермаса, который акцентирует различение между установкой компетентного социального участника и компетентного исследователя, пытающегося извне, не обладая биографическим опытом рассказчика о специфической карьере, проинтерпретировать такой субъективно определяемый момент, как контрапункты профессиональной жизни: «Тот, кто в роли третьего лица наблюдает нечто в мире или делает высказывание о чем-то в мире, занимает объективирующую установку. Напротив, тот, кто участвует в коммуникации и вступает в интерсубъективное отношение в роли первого лица (*Я*) со вторым лицом (которое, в свою очередь, относится в качестве *Другого* к *Я* как второму лицу), занимает необъективирующую или, как мы сегодня сказали бы, перформативную установку»[1].

Совмещение нескольких установочных позиций в исследовании стало возможным благодаря вовлеченности в биографическое интервью, с одной стороны, и контрастирующему анализу.

[1] *Хабермас Ю.* Проблематика понимания смысла в социальных науках // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 3. С.10.

Сведения об авторах

Веселкова Наталья Вадимовна, доцент кафедры прикладной социологии Уральского гуманитарного института Уральского государственного федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, кандидат социологических наук (*Екатеринбург*)

Годунов Константин Валерьевич, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук (*Санкт-Петербург*)

Голубинов Ярослав Анатольевич, старший научный сотрудник Лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований Института истории и археологии УрО РАН, доцент, кандидат исторических наук (*Екатеринбург*)

Граматчикова Наталья Борисовна, старший научный сотрудник Центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН, кандидат филологических наук (*Екатеринбург*)

Давыденко Михаил Геннадьевич, магистрант Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск)

Зарецкий Юрий Петрович, профессор Школы философии и культурологии Факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики», доктор исторических наук (*Москва*)

Кабацков Андрей Николаевич, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат исторических наук (*Пермь*)

Колоницкий Борис Иванович, профессор Факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук (*Санкт-Петербург*)

Лебеденко Елена Юрьевна, научный сотрудник, заведующая Научным архивом Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук (*Екатеринбург*)

Лейбович Олег Леонидович, главный научный сотрудник Лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований Института истории и археологии УрО РАН, профессор, доктор исторических наук (*Екатеринбург*)

Литовская Мария Аркадьевна, главный научный сотрудник Центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН, профессор, доктор филологических наук (*Екатеринбург*)

Нарский Игорь Владимирович, профессор Кафедры междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного национального исследовательского университета, профессор, доктор исторических наук (*Пермь*)

Подлубнова Юлия Сергеевна, научный сотрудник Центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН, кандидат филологических наук (*Екатеринбург*)

Пушкарева Наталья Львовна, заведующая Центром гендерных исследований, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, президент «Российской ассоциации исследователей женской истории», профессор, доктор исторических наук (*Москва*)

Родигина Наталия Николаевна, ведущий научный сотрудник Сектора археографии и источниковедения Института истории СО РАН, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического университета, доктор исторических наук (*Новосибирск*)

Рождественская Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований социальной интеграции, профессор департамента социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики», доктор социологических наук (*Москва*)

Ромашова Мария Владимировна, директор Музея истории Пермского университета, доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат исторических наук (*Пермь)*

Савельева Ирина Максимовна, научный руководитель Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева НИУ «Высшая школа экономики», профессор, доктор исторических наук (*Москва*)

Савкина Ирина Леонардовна, университетский лектор Отделения русского языка, культуры и перевода Тамперского университета, доктор философии (*Тампере, Финляндия*)

Суржикова Наталья Викторовна, заместитель директора по научным вопросам Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук (*Екатеринбург*)

Список аббревиатур и сокращений

АН — Академия наук
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВОВ — Великая Отечественная война
военпред — военный представитель
ВОХР — военизированная охрана Главного управления лагерей
вуз — высшее учебное заведение
ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения
(В)ЦИК — (Всероссийский) Центральный исполнительный комитет
В(ЧК) — Всероссийская Чрезвычайная комиссия Совета народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ГА в г. Тобольске — Государственный архив в г. Тобольске
ГАНО — Государственный архив Новосибирской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАПО — Государственный архив Пермской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАТО — Государственный архив Тюменской области
Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет Народного комиссариата просвещения РСФСР
Гос. — государственный
ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека
ГРЭС — Государственная районная электрическая станция
ГУ МВД — Главное управление Министерства внутренних дел
ГУЛАГ — Главное управление лагерей
ДОК — деревообрабатывающий комбинат
ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество
ИВИ — Институт всеобщей истории РАН
ИГВ — История гражданской войны
Изд-во — издательство
Изд. — издание
илл. — иллюстрация
ИМЛИ — Институт мировой литературы РАН имени А.М. Горького
Ин-т — институт
Истмол — Комиссия по изучению истории Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи и юношеского движения в СССР
Истпарт — Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)
Истпроф — Комиссия по изучению истории профессионального движения в России и СССР
ИФЗ — История фабрик и заводов

ИЦ — издательский центр
ИЭА — Институт этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая
Комакадемия — Коммунистическая академия
КГБ — Комитет государственной безопасности
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КРФ — Комитет Румынского фронта
Лнгр. – Ленинград
МГБ — Министерство государственной безопасности
МИРОНО — Музей истории развития образования в городе Новосибирске и Новосибирской области
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МТС — машинно-тракторная станция
НАН Украины — Национальная академия наук Украины
Нарпит — паевое кооперативное товарищество «Народное питание»
НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НМЦ — Научно-методический центр
(О)ГПУ — (Объединенное) государственное политическое управление
Облит — Областное управление по делам литературы и издательств
ОМПУ — Объединенный музей писателей Урала
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ОТК — отдел технического контроля
ПВО — Противовоздушная оборона
Пг. — Петроград
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социально-политической истории
ПК — Петроградский комитет большевиков
политпросветотдел — политико-просветительный отдел
политэкономия — политическая экономия
ПСС — Полное собрание сочинений
рабкор — рабочий корреспондент
РАН — Российская Академия Наук
РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей
Реввоенсовет — Революционный военный совет
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории

РК ВЛКСМ — районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
СВГБ — Союз ветеранов госбезопасности
СМИ — средства массовой информации
СО — Сибирское отделение
ССП — Союз советских писателей
СССР — Союз Советских социалистических республик
США — Соединенные Штаты Америки
Тип. — типография
ТГУ — Томский государственный университет
ТОО — Товарищество с ограниченной ответственностью
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения
ун-т — университет
УралАПП — Уральская ассоциация пролетарских писателей
УрФУ — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ЦГИА СПб. — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦК — Центральный комитет
ШМСТ — школа мастеров социалистического труда
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
ADN (итал. Archivio Diaristico Nazionale) — Национальный архив дневников
CEO (англ. Chief Executive Officer) — главный исполнительный директор
CV — Curriculum vitae
YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut) — Исследовательский институт идиша, ныне — Институт еврейских исследований (Institute for Jewish Research)

СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов *(М.А. Литовская, Н.В. Суржикова)* 3

Эго-документы советского времени
(из исследовательского опыта), или
Вступительное слово *(Ю.П. Зарецкий)* 6

РАЗДЕЛ I. ТЕКСТЫ

Глава I.1. Личная история vs Великий нарратив
в дневниках военного времени *(И.М. Савельева)* 29

Глава I.2. Изотексты как эго-документы: гендерный аспект
послевоенной повседневности советских женщин и бывших
японских пленных (1945–1955 гг.) *(Н.Л. Пушкарева)* 61

Глава I.3. История завода в эго-документах
и художественных текстах *(Н.Б. Граматчикова)* 87

Глава I.4. Письма и «рабочие записи» П.П. Бажова:
меняет ли «вброс» эго-текстов легендированную
биографию писателя? *(М.А. Литовская)* 119

Глава I.5. Репрезентации автобиографического *Я*
в воспоминаниях новосибирских учителей
о школе 1920-х гг. *(Н.Н. Родигина, М.Г. Давыденко)* 144

РАЗДЕЛ II. КОНТЕКСТЫ

Глава II.1. «Корниловщина» как гражданская война:
восприятие политического кризиса
и легитимация насилия в свидетельствах современников
(Б.И. Колоницкий, К.В. Годунов) 170

Глава II.2. «Большие проекты» (ИФЗ и др.) и маленькие
истории: эффект мультискалярности *(Н.В. Веселкова)* 192

Глава II.3. Урал заводов и рудников
в эго-текстах Ларисы Рейснер *(Ю.С. Подлубнова)* 213

Глава II.4. Партийная автобиография:
становление жанра в 1920–1930 гг. *(О.Л. Лейбович)* 226

Глава II.5. «Мой многострадальный дневник»:
как эго-документ становится архивным документом
(случай пермской общественницы Валентины Соколовой)
(М.В. Ромашова) 255

Глава II.6. Эго-документы и (авто)биографии
как расследование *(Я.А. Голубинов)* 270

РАЗДЕЛ III. ПОДТЕКСТЫ

Глава III.1. Реалист? Фланер? Изгой? *Я* и косвенный адресат
в дневниках Георгия Эфрона *(И.Л. Савкина)* 284

Глава III.2. О чем молчит дневник рабочего
завода № 19 А.И. Дмитриева *(А.Н. Кабацков)* 309

Глава III.3. «Внутренняя жизнь вовсе не бедна
и не однообразна», или Почему личный дневник всегда сложнее,
чем нам кажется *(Е.Ю. Лебеденко, Н.В. Суржикова)* 333

Глава III.4. Офицер вермахта в советской униформе:
полифония эго-документов из одного семейного архива
(И.В. Нарский) 369

Глава III.5. Исследовательский потенциал
curriculum vitae (резюме) в изучении карьерного пути
(Е.Ю. Рождественская) 388

Сведения об авторах 401

Список аббревиатур и сокращений 403

Научное издание

Рекомендовано к печати Ученым советом
Института истории и археологии УрО РАН

**Эго-документы:
Россия первой половины XX века
в межисточниковых диалогах**

Компьютерная верстка
С. В. Лёзова

Корректор
С. Ш. Ибрагимова

Оригинал-макет подготовлен в научно-редакционном отделе
Института истории и археологии УрО РАН
620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
тел. 8 (343) 374–28–40

Издательство «Кабинетный ученый»
Россия, 620014, г. Екатеринбург, а/я 489
http://armchair-scientist.ru

Подписано в печать 30 ноября 2021 г.
Формат 60x90 1/16, Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 23. Уч.-изд. л. 25,5. Тираж 500.